

И О В Ы И  
М И Р

9

И О В Ы И  
М И Р

1961

9



1961

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 9

Сентябрь, 1961 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЕЛИКИЙ ДОКУМЕНТ НАШЕЙ ЭПОХИ	3
МАКСИМ ТАНҚ — Из книги «Мой хлеб насущный», стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский	11
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Продолжение	15
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Из писем с дороги, стихи	85
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга третья	88
ВАЖА ПШАВЕЛА ( <i>К 100-летию со дня рождения</i> ) — О смерти слышать не хочу. Молодой олень, стихи. Перевел с грузинского Лев Пеньковский	153
РАФАЭЛ АРАМЯН — Рассказы. Перевели с армянского Э. Кананова и Елена Алексанян	154
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. Из ранних рассказов: Банальная история. Могила матери. Перевела с английского Р. Райт.— Алексей Эйсер. Он был с нами в Испании (Странички воспоминаний).— Р. Орлова. После смерти Хемингуэя (По страницам зарубежной прессы).	165
<b>НА ПУТЯХ СЕМИЛЕТКИ</b>	
Е. ОСЛИКОВСКАЯ — Новое звено	179
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ГЕРМАН СОКОЛОВ — Вода в степи	187
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
РУД. БЕРШАДСКИЙ — В двух шагах от экватора	200
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
И. ВИНОГРАДОВ — О современном герое	232

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	255
<b>Е. Добин.</b> Справедливость.— <b>А. Турков.</b> Разговор трудный, но необходимый.— <b>А. Кондратович.</b> «Дело наживное».— <b>Н. Прянишников.</b> Как не стоит писать о Чехове.— <b>М. Злобина.</b> Сюрпризы Сомерсета Моэма.	
<i>Политика и наука</i>	274
<b>С. Воробьев.</b> Опыт кубинских партизан.— <b>Евг. Бурче.</b> Воспоминания летчика-героя.— <b>М. Кораллов.</b> Живая древность.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

---

## ВЕЛИКИЙ ДОКУМЕНТ НАШЕЙ ЭПОХИ

**М**ир. Труд. Свобода. Равенство. Счастье всех народов. До недавних дней история не знала документа, в котором бы с такой силой утверждались на земле эти великие принципы, равно важные для жизни каждого простого человека и для всего человечества в целом, как это сделано в проекте новой Программы Коммунистической партии Советского Союза. Как только появился этот проект, народы всего мира сразу же назвали его величайшим политическим и теоретическим марксистско-ленинским документом нашего времени, Коммунистическим Манифестом нашей эпохи. В Программе ярко и вдохновенно воплощена мудрость партии, гигантский опыт советского народа, созидającego новое, коммунистическое общество.

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», — писали сто с лишним лет назад основоположники научного коммунизма Маркс и Энгельс. То, что казалось лишь призраком, стало величайшей силой современности, обществом, создаваемым на огромных пространствах земного шара. Это общество творит чудеса. Оно воздвигает мощнейшие гидроэлектростанции, пробуждая к жизни извечную таежную глушь, оно распахивает миллионы гектаров земли — и целина становится обжитой, в один из апрельских дней это общество посылает в неведомые выси, в космос, первого в мире космонавта, Юрия Гагарина, и тот огибает нашу планету со сказочной скоростью: «кругосветное путешествие» продолжается всего лишь час с небольшим; проходит меньше четырех месяцев, и Космонавт № 2 — Герман Титов — совершает за 25 часов 17 оборотов вокруг Земли, покрыв за это время расстояние, почти равное удвоенному расстоянию от Земли до Луны.

В обращении ЦК КПСС и Советского правительства в связи с успешным полетом Г. С. Титова говорится:

«Второй космический полет советского человека вокруг Земли — это новое яркое подтверждение великого могущества народа, построившего социализм. Наши достижения в освоении космоса не являются случайными, они отражают закономерное шествие победоносного коммунизма. Коммунизм неудержимо идет вперед. И нет такой силы в мире, которая могла бы помешать неукротимому движению человечества к своему светлому будущему.

Враги мира раздувают военную истерию. Этой истерии мы противопоставляем наши величественные планы коммунистического строительства, нашу твердую уверенность в своих силах, в правильности пути, указанном марксистско-ленинской наукой».

Седьмого августа 1961 года миллионы трудящихся нашей страны с огромным вниманием слушали выступление товарища Н. С. Хрущева по радио и телевидению. Советский народ единодушно одобряет внутреннюю и внешнюю политику партии и правительства, мероприятия по укреплению могущества страны, ее обороны.



В ответ на призыв партии и правительства все советские люди, воодушевленные проектом новой Программы КПСС, великой победой в космосе, выражают единодушное стремление с удвоенной энергией строить коммунизм, отдавать все свои силы на благо Родины.

Капитализм, некогда двигавший прогресс, давно омертвел и стал тормозом поступательного движения человечества. Во всех областях жизни мы видим явные преимущества социалистического строя, с исторической неизбежностью пришедшего на смену капитализму. Уже треть человечества строит новую жизнь под знаменем научного коммунизма. «Мир социализма, — говорится в Программе, — расширяется, мир капитализма сужается. Социализм неизбежно придет повсюду на смену капитализму. Таков объективный закон общественного развития. Империализм бессилён остановить неодолимый освободительный процесс».

Кажется, сама история начертала эти слова. Да так оно и есть. В наши паруса дует ветер века. Социалистическое общество — молодое, жизнеспособное, полное энергии и веры в свой успех — стремится свой бег к своей высшей цели: к коммунизму. Партия говорит нам: «Высшая цель партии — построить коммунистическое общество, на знамени которого начертано: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». В полной мере воплотится лозунг партии: «Все во имя человека, для блага человека».

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!

И это не мечта, а трезвый взгляд в будущее, это непосредственная практическая задача, которую мы все вместе должны решать. Будущее — дело рук наших. Это будущее — бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе со всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства польются полным потоком. Это будет общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа.

Проект Программы — ясная каждому человеку система идей, принципов, положений. Необычайный, захватывающий дух размах предстоящих работ сочетается в ней с трезвым реализмом и убедительностью.

Главная экономическая задача советского народа, говорит партия, состоит в том, чтобы в течение предстоящих двадцати лет создать материально-техническую базу коммунизма. Задача эта грандиозна. Но давайте вспомним недавнее прошлое — разве не казались нам почти фантастическими наметки первой пятилетки? Добились своего, выполнили тот план и с превышением и раньше срока! Выполним и этот план партии!

А он гласит:

объем промышленной продукции увеличится за 10 лет примерно в два с половиной раза, а за 20 лет — не менее чем в шесть раз;

наша промышленность к концу второго десятилетия сможет вырабатывать в год до 2 700—3 000 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и выплавлять примерно 250 миллионов тонн стали;

валовая продукция сельского хозяйства возрастет за 10 лет примерно в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с половиной раза. Национальный доход увеличится за двадцатилетие примерно в пять раз, а реальный доход на душу населения — более чем в три с половиной раза.

Все это — и рост электроэнергии, и увеличение добычи стали и угля,

и повышение урожайности,— все это направлено и устремлено к одной цели: к росту благосостояния советского народа. «Выполнение грандиозной программы повышения благосостояния советского народа,— говорится в проекте Программы,— будет иметь всемирно-историческое значение».

Рост экономики — ключ к перерастанию социалистического общества в бесклассовое коммунистическое общество. Главный пафос Программы — забота о благе и счастье народа, трудящегося человека. Проект Программы намечает контуры общества, в котором утвердятся и станут навеки незабываемыми самые справедливые законы общественной и личной жизни, в котором все люди будут счастливы и человек человеку станет другом, товарищем и братом.

Представляя себе путь формирования коммунистического общества в нашей стране, следует всегда помнить, что это формирование совершается в обстановке ожесточенной борьбы двух идеологий, происходящей в современном мире,— борьбы идеологии коммунистической и идеологии буржуазной.

«Идеологическая борьба империалистической буржуазии направлена своим острием прежде всего против рабочего класса и его марксистско-ленинских партий. Отражением буржуазного влияния на рабочий класс является социал-демократизм в рабочем движении и ревизионизм в коммунистическом движении».

Идеологическая борьба требует от каждого строителя коммунизма неусыпной бдительности, высокой идейной вооруженности.

Утверждая принцип мирного соревнования между социализмом и капитализмом как специфическую форму классовой борьбы между ними, проект Программы вместе с тем напоминает о необходимости повседневного и последовательного разоблачения буржуазной идеологии. «Мирное сосуществование государств с различным социальным строем не означает прекращения идеологической борьбы,— настойчиво напоминает каждому коммунисту наша Программа.— Коммунистическая партия и впредь будет разоблачать антинародную, реакционную сущность капитализма и всяческие попытки приукрасить капиталистический строй».

Проект Программы напоминает о том, что не должна ослабевать бдительность на всех участках идейного фронта, что «непримиримая борьба с ревизионизмом, догматизмом и сектантством, со всякими отступлениями от ленинизма — необходимое условие дальнейшего укрепления единства международного коммунистического движения, упрочения социалистического лагеря».

Идейная чистота, непримиримость по отношению к чуждым, враждебным идеям — неременная черта в облике нового человека, активного строителя коммунистического общества.

В новом обществе утверждается идеология, кристально чистая и беспощадная ко всему тому дурному, злему, антигуманному, что вносит во взаимоотношения между людьми уродливое, несправедливое капиталистическое устройство.

Проект новой Программы КПСС констатирует:

«Советское общество достигло крупных успехов в социалистическом воспитании масс, в формировании активных строителей социализма. Но и после победы социалистического строя в сознании и поведении людей сохраняются пережитки капитализма, которые тормозят движение общества вперед».

На устранение этих пережитков должны быть направлены все средства идейно-воспитательной работы, имеющиеся в распоряжении нашего общества.

Особо подчеркивается в проекте Программы то значение, какое на нынешнем этапе нашего развития придает партия утверждению коммунистической морали. «В процессе перехода к коммунизму,— говорится в проекте,— все более возрастает роль нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера действия морального фактора и соответственно уменьшается значение административного регулирования взаимоотношений между людьми». И далее сказано, что в ходе строительства социализма и коммунизма коммунистическая мораль «обогащается новыми принципами, новым содержанием». Нельзя без волнения читать излагаемый вслед за этими словами моральный кодекс строителя коммунизма — кодекс, проникнутый подлинно коммунистическим гуманизмом. В нем мы встречаем слова и понятия, близкие сердцу любого человека, живущего в любой точке земного шара:

преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;

добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;

забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния; высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;

коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;

гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку — друг, товарищ и брат;

честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;

взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;

непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму;

дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;

непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;

братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Так учение о высшей фазе коммунизма и о путях его становления, которое было гениальным предвидением классиков марксизма-ленинизма, становится конкретно разработанной программой, руководством в повседневной работе и жизни сотен миллионов людей, творящих живое, реальное дело коммунизма и в этом деле пересоздающих свои собственные души. Лучшее, что есть в человеке, становится основой сущности всех людей.

Человек коммунистического завтра — не мечта. Он уже есть. Это наш современник, творящий уже сейчас чудеса во всех уголках нашей Родины. Это человек, о котором еще Горький сказал:

«От Арарата до Мурмана и от Востока до Ленинграда, на этом поле, на этом огромном пространстве сейчас родился новый народ. Этот новый народ, эта великая сила — вы. Все, что сейчас творится,— творится вами. Цель ваша ясна. На вас смотрит весь мир, к вам прислушиваются, у вас учатся».

Преобразуемое сознание людей нашего социалистического общества становится такой же реальной основой Программы, таким же убедительным залогом ее выполнения, как и материальные ценности, создаваемые вдохновенными строителями коммунизма.

«В ходе созидания коммунистических форм общественного устройства все сильнее и прочнее будет утверждаться коммунистическая идейность в жизни, труде, в отношениях между людьми, вырабатываться умение разумно пользоваться благами коммунизма. Совместный, пла-



номерно организованный труд членов общества, их повседневное участие в управлении государственными и общественными делами, развитие коммунистических отношений товарищеского сотрудничества и взаимной поддержки ведут к преобразованию сознания людей в духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма.

Повышение коммунистической сознательности трудящихся содействует дальнейшему идейно-политическому сплочению рабочих, колхозников и интеллигенции, их постепенному слиянию в единый коллектив тружеников коммунистического общества».

Ослепительно яркими маяками, освещающими контуры прекрасного и близкого будущего, вспыхивают в нашей сегодняшней жизни живые проявления этого преобразуемого человеческого сознания, которое формируется социалистическим укладом нашей общественной жизни. То видим мы в луче маяка бескорыстный коллективизм Валентины Гагановой, то осветит он нам подвиг жизни Александра Гиталова, то покорит весь мир обаятельной цельностью характера Юрия Гагарина и Германа Титова. И таких маяков загорается все больше: в заводских цехах, в шахтных забоях, на колхозных полях, в научных лабораториях — везде, где трудятся во имя светлого будущего советские люди.

Именно этот всеохватывающий процесс совершенствования человеческого сознания реально обусловил появление в проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза нового развернутого раздела о задачах партии в области культурного строительства, литературы и искусства.

Для ленинцев-«искровцев», принимавших первую Программу русских коммунистов на II съезде партии в 1903 году, был актуален вопрос о свержении царизма, об освобождении трудящихся и утверждении народовластия. В области культуры в качестве главной и первоочередной задачи приходилось лишь выдвигать требование обязательного и всеобщего обучения.

Шестнадцать лет спустя, грозной весной 1919 года, когда молодая Советская республика, зажата в кольце блокады, отбивала удары врагов, наносимые с юга и севера, с запада и востока, делегаты VIII съезда РКП(б) с твердой верой в торжество Революции обсудили новую Программу партии. Пункты о народном образовании составили здесь обширный раздел. Сегодня мы хорошо знаем, к каким блистательным результатам привело нас неуклонное выполнение этих мудро предначертанных положений. Весь мир восхищенно оценивает систему подготовки советской интеллигенции. Американцы, англичане, люди других стран признают в печати, в десятках специально написанных об этом книг, что Советский Союз далеко обогнал самые передовые державы капиталистического мира в деле воспитания высококвалифицированных кадров современной науки. Но не только о задачах в области народного просвещения говорилось в Программе, принятой VIII съездом партии. Там было сказано еще и о том, что «необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров».

Речь шла об овладении всеми высотами человеческой культуры, достигнутыми на протяжении тысячелетий. Речь шла о том, чтобы вчерашний пролетарий царской России, вчерашний неграмотный мужик не только ознакомился с Гомером, Шекспиром и Толстым, с Праксителем, Леонардо да Винчи и Репиным, с Бетховеном и Чайковским, но и стал бы достойным наследником и продолжателем лучших традиций мирового искусства.

Свершилось и это смелое предначертание.

Те, кто в дни VIII съезда с винтовкой в руках отстаивал на фронтах гражданской войны дело партии, первые завоевания утверждающейся Советской власти, сразу же после нелегкой победы, не снимая истребанных фронтовых шинелей, пришли в вузовские аудитории. И вскоре из их среды вышли люди, которые вместе с лучшими представителями старой русской художественной интеллигенции составили первое поколение творцов, создававших советское искусство. Не прошло и десятилетия, как книги наших писателей, музыка наших композиторов, спектакли наших режиссеров, фильмы советской кинематографии, полотна советских живописцев пополнили сокровищницу мировой культуры, внося с собой драгоценные идеи самого высокого гуманизма, самого страстного свободолюбия, самой непреклонной готовности к борьбе за всеобщее счастье.

Вот почему теперь в проекте новой Программы Коммунистической партии Советского Союза, представляемой на утверждение XXII съезда КПСС, задачи в области культурного строительства, литературы и искусства составляют самостоятельный обширный раздел, исполненный общенародного значения.

«Культурное развитие в период развернутого строительства коммунистического общества явится завершающим этапом великой культурной революции», — сказано в начале этого раздела.

Более четырех десятилетий накапливался драгоценный опыт советского народа, творящего эту беспримерную культурную революцию. И именно весь этот огромный и совершенно конкретный опыт, вся сумма наших реальных достижений позволяют нам смотреть далеко вперед и говорить с полной уверенностью в высокой справедливости этих слов:

«Культура коммунизма, вобравшая в себя и развивающая все лучшее, что было создано мировой культурой, — новая, высшая ступень в культурном развитии человечества. Она воплотит в себе все многообразие и богатство духовной жизни общества, высокую идейность и гуманизм нового мира. Это будет культура бесклассового общества, общенародная, общечеловеческая».

Характерной чертой, отличающей формирование культуры коммунизма, является то взаимообогащение, которое происходит в социалистической культуре народов СССР. В проекте Программы говорится об этом: «Усиливается идейное единство наций и народностей, сближение их культур. Исторический опыт развития социалистических наций показывает, что национальные формы не окостеневают, а видоизменяются, совершенствуются и сближаются между собой, освобождаясь от всего устарелого, противоречащего новым условиям жизни. Развивается общая для всех советских наций интернациональная культура».

Все стремительнее совершенствуют жизнь нашего общества разнообразные счастливые перемены. Все более возрастает степень достатка в жизни людей, количество доступных им материальных благ; сокращается время, отдаваемое труду. Все это неизмеримо повышает роль литературы и искусства в жизни общества, расширяет и укрепляет связи между трудом и искусством, создает новые возможности и перспективы.

«В условиях перехода к коммунизму творческая деятельность во всех областях культуры становится особенно плодотворной и доступной для всех членов общества», — сказано в проекте Программы. Глубокую справедливость этого положения подтверждают бесчисленные примеры, с которыми мы повседневно сталкиваемся уже и в сегодняшней нашей жизни. И закреплением на будущее того, что давно утвердилось в социалистическом обществе и обеспечило все славные победы советской литературы и искусства, является предначертание, внесенное в проект Программы и гласящее: «Партия будет неустанно заботиться о рас-

цвете литературы, искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого человека, об эстетическом воспитании всех трудящихся, формировании в народе высоких художественных вкусов и культурных навыков».

Неустанную отеческую заботу партии испытывает на себе каждый советский художник. Эта последовательная и мудрая заботливость взрастила тот новый тип писателя и работника всех родов искусств, который с подлинной свободой и страстью отдает свое творчество народу,— тип художника-гражданина, самоотверженного борца за торжество коммунистических идей. Труд его неразрывно связан с трудом и борьбой народа, со всей кипучей созидательной жизнью.

Чтобы обеспечить новый расцвет культуры и искусства, необходим мощный подъем материальной базы культуры. Проект Программы предусматривает дальнейшее расширение полиграфической промышленности и производства бумаги, развитие системы культурных учреждений, завершение радиофикации страны, строительство телевизионных центров, увеличение количества народных университетов, распространение разнообразных самостоятельных культурных организаций, организацию широкой сети общедоступных научных и технических лабораторий, художественных мастерских, киностудий, где могли бы работать все, у кого есть стремление и способности.

Нашему искусству присуща страстная партийность. Распространение коммунистических идей, использование всей могучей воспитательной силы, какой обладает искусство, для того, чтобы способствовать воспитанию самых широких масс в коммунистическом духе,— в этом видят советские художники свою главную и благородную задачу. Поэтому и рассматривает партия писателей и работников искусства как своих верных помощников в формировании человека нового, совершенного общества. В проекте Программы КПСС подчеркнута необходимость еще более повысить воспитательную роль литературы и искусства.

«Главная линия в развитии литературы и искусства — укрепление связей с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отражение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед».

В этих словах снова и снова утверждаются принципы народности и партийности, давно уже ставшие для нашего искусства тем воздухом, каким оно дышит, какой питает его жизнеспособность и силу, все его поиски и свершения. Для каждого советского литератора, для работника искусства и деятеля социалистической культуры слова эти являются вдохновляющим руководством к действию, к многообразному проникновению в окружающую жизнь, к настойчивому художественному совершенствованию.

Проект новой Программы КПСС, подводя итог большого пути, пройденного советским искусством, и намечая столбовую дорогу его дальнейшего развития, призывает сочетать смелое новаторство в художественном изображении жизни с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры. «Перед писателями, художниками, музыкантами, деятелями театра и кино открывается широкий простор для проявления личной творческой инициативы, высокого мастерства, для многообразия творческих форм, стилей и жанров». Развитие международных культурных связей в интересах взаимного обмена достижениями науки и культуры, взаимопонимания и дружбы народов делает еще более ответственной и вдохновляющей роль советского художника, еще далее слышным его голос.



Ленинский принцип партийного руководства литературой и искусством, проверенный всей историей советского общества и оказавший неоценимую помощь всем деятелям социалистической культуры, звучит в проекте Программы КПСС с могучей силой.

«Коммунистическая партия заботится о правильном направлении в развитии литературы и искусства, их идейном и художественном уровне, помогая общественным организациям и творческим союзам работников литературы и искусства в их деятельности».

Эта забота является вернейшим залогом того, что «советская литература, музыка, живопись, кинематография, театр, все отрасли искусства,— как говорится в проекте Программы,— достигнут новых высот в развитии идейного содержания и художественного мастерства».

«Главный вывод, который делает советский народ, изучая проект Программы,— сказал Н. С. Хрущев в выступлении по радио и телевидению 7 августа,— это вывод о необходимости трудиться и еще раз трудиться во имя ускорения коммунистического строительства, укрепления могущества и процветания нашей Советской Родины».

Советские люди восприняли проект новой Программы Коммунистической партии Советского Союза как свое кровное, родное дело, как величайшую цель своей жизни, знамя всенародной борьбы за коммунизм. Центральный Комитет КПСС вынес проект Программы на обсуждение партии и всех трудящихся нашей страны. С огромным воодушевлением проходит это поистине всенародное обсуждение. Горячо одобряя проект Программы, строители коммунизма вносят деловые, конкретные предложения, выражают готовность отдать все свои силы выполнению предначертаний партии.

Новая Программа Коммунистической партии Советского Союза, утвержденная на XXII съезде КПСС, станет для каждого советского человека законом всей его жизни, повседневным руководством к действию. И всеобщий вдохновенный труд наших великих народов является верным залогом того, что эта историческая программа построения коммунистического общества будет выполнена целиком и полностью в predetermined партией сроки.



---

---

МАКСИМ ТАНК

★

ИЗ КНИГИ «МОЙ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ»

\* \* \*

О вас я забочусь, родные края,  
Об урожае, о мирном сне,  
О том, чтоб хватало людям жилья,  
О том, чтоб деревья цвели по весне.  
И эта земная забота моя —  
Мой хлеб насущный.

Порою он горьким от пыли был,  
Порою от слез он соленым был,  
Порою горячим от пороха был...  
Зато он пахучим и сладким был,  
Когда я с друзьями его делил —  
Мой хлеб насущный.

И не кладите мне хлеб иной  
В походную сумку, в мешок вещевой,  
На стол, за которым с гостями сижу,  
На грудь, когда на ней руки сложу...

1961 г.

ПАТРИС ЛУМУМБА

Когда принесли ему в кружке воду,  
Он отдал ту воду Конго;  
Когда принесли ему хлеб, он отдал  
Свой ломоть последний Конго;  
Когда предложили ему свободу,  
Он отдал свободу Конго.

Себе он взял только смертный металл,  
Которым целились в Конго;  
Себе он только могилу взял —  
Ее копали для Конго.  
И потому он бессмертным стал,  
И здравствовать будет Конго.

1961 г.

**РЕКЛАМЫ БРОДВЕЯ**

«Эта книга — бестселлер!  
Автор — новый наш Драйзер».

«Фирма «СКВИВ» выручает вас,  
Ближних любя!»

«Там, где жизнь существует,  
Там пиво «Бадвайзер».

«Что курить? —  
Каждый сам вопрошает себя.  
Сигареты «Вайсрой»!  
Необычные! С фильтром!  
Для любителей умственного труда!»

«Кто купил наши теплые  
Пледы и свитеры,  
Тот не знает зимы,  
Тот доволен всегда!»

«Ремонтируем все!  
Нашей фирме доверься.  
Чиним спутники,  
Бочки,  
Кастрюли,  
Ножи!  
Ремонтируем  
Даже разбитое сердце!  
Полагаясь на нас,  
Ни о чем не тужи!»

«Тысяча одна ночь!  
Сказки Шехерезады!  
Ослепительных гурий  
Вы найдете у нас,  
Коль пожалуете  
В ресторан «Эльдорадо»  
И послушаете  
Рабиновича джаз!»

Надрываются так  
Телевиденье, пресса.  
А рекламносители  
До хрипоты  
Это все повторяют  
В гумане белесом,  
По Бродвею неся  
Размалеванные щиты.

Вот они тротуаром  
Слоняются пыльным,  
Средь гуляющих,  
Делая дело свое,  
Подгибаясь под грузом,



Почти непосильным,  
Обещая утеху,  
Еду и питье.

Обещанья реклам  
Не для них, безработных,  
Не для тех,  
Что всегда в ожиданье, в пути,  
Вплоть до самой могилы  
Блуждают бесплодно  
По стране  
И не могут работу найти.

И гляжу я на них,  
Обреченных на муки.  
Скоро ль вместо щитов,  
Где рекламы пестрят,  
Стиснут до крови  
Их утомленные руки  
Этих улиц булыжник  
Или протеста плакат?

Нью-Йорк. 1961 г.

\* \* \*

Какие березы стояли  
На этих песчаных наносах!  
Когда я домой возвращался,  
Когда завершалась дорога,  
По старым камням узловатым  
Знакомо гремели колеса:  
— С приездом тебя! С возвращеньем!  
Ты возле родного порога!

Березы обрушены бурей,  
Войны огнедышащим валом,  
А все же и нынче, как прежде,  
Откуда б ни шел и ни ехал,  
На месте, где белая роща  
Меня осеняла, бывало,  
Мне слышится грохот колесный —  
Умчавшейся юности эхо.

1960 г.

\* \* \*

...А море, должно быть, само угадало,  
Зачем прихожу я на берег порою.  
В часы отлива оно предо мною  
Открыло подводные рифы и скалы,  
Чтоб мог я, ступая по дну по морскому,  
Хотя бы немного приблизиться к дому.

1961 г.

**ГРИБЫ**

Я принес их из леса, из позднего лета,  
Где с брусникою дикою вереск в родстве.  
Я нашел подосиновик с красным беретом  
Под осиною старинной, в росистой траве.

Я лисичек набрал на тропинке замшелой,  
Возле лисьего лаза, у лысых корней.  
Подберезовик взял под березою белой,  
Где настойчиво пела капелла шмелей.

Сыроежки нашел на пологом пригорке,  
Где в тиши муравьиный поселок возник.  
Взял опенки у пней, где скрывались тетерки.  
И, конечно, во мху подобрал моховик.

Сколько рыжиков, сколько волнушек в чащобах!  
Все богатство собрать не хватило и дня.  
А уж где боровик, не скажу тебе, чтобы  
Ты в тот лес по грибы не пошла без меня.

1961 г.

*Перевел с белорусского Яков Хелемский.*



---

КОНСТ. ФЕДИН

★

## КОСТЕР

*Роман\**

### Глава третья

1

**Д**орога от станции вела мимо усадеб, огороженных штакетником, обтянутых проволокой либо кружевными полосками жести, выкинутыми за ворота штамповальных фабрик и рачительно подобранными владельцами дачек.

Давно отцвели петушки, и лиловый водосбор уже не покачивал на жидких ножках колокольцами в шпорах, и стручки лупинов начинали чернеть — все странно торопилось созреть этим знойным летом. Стояла сушь, обильная листва подорожника сизовела от пыли. Но беззаботны казались на солнце домики с излюбленными под Москвой резными наличниками оконцев и раскрашенными карнизами мезонинов.

Лет пять назад, еще студентом, Алексей Пастухов прошел этой чуждой ему дорогой единственный раз и, хотя она теперь изменилась, легко ее узнавал. Он снова направлялся с той же целью, как и тогда, к своему отцу, однако, думая о встрече с ним, не испытывал ни прежнего стеснения, ни тяжести.

За эти истекшие пять лет отношение Алексея к отцу несколько не менялось. Горечь и обида обратились в привычное разочарование и не мучили сердца, как первое время, когда отец внезапно ушел из дома.

Памятным далеким утром в Ленинграде Александр Владимирович позвал к себе сына и, стоя у отворенного книжного шкафа, без пиджака, с закатанными по локоть манжетами голубой рубахи, проговорил безжизненными губами:

— Пока ты доучиваешься, будешь получать от меня... свое содержание. Это я хотел сказать, чтобы ты знал.

Он не подымал взгляда на сына, делая вид, что поглощен отбором книг, раскиданных на полу, и оба постояли несколько секунд неподвижно.

— Я буду переводить матери для тебя, — сказал отец и, отвернувшись, договорил: — И для нее... насколько возможно.

Он порывлся в книги, вынул одну, отнес на конторку, за которой обычно работал, и перелистал нервно.

— Мы еще увидимся. Я уезжаю вечером, «стрелой».

Алексей не мог сразу уйти. У него что-то небывалое творилось в горле, он боялся, что все эти тяжи, которые его душили, лопнут и он либо

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

закричит, либо разрыдается. «Лишь бы удержаться, не заговорить»,— думал он, все еще не двигаясь и не сводя глаз с головы отца.

— Ты как будто читал «Пармский монастырь»? Принеси. Стендаля я беру,— сказал отец.

Алексей знал, что роман читает мать, и видел, что отец не хочет еще раз заговорить о матери или, может быть, создать впечатление, будто что-то отнимает у нее.

Но Алексей продолжал молча стоять.

— Я все оставляю матери. Только кое-что возьму из кабинета,— сказал отец резко.

Он тут же обратил голову к сыну, и Алексей встретился с невиданным, пылающим, отчаянным взглядом его небольших зеленых глаз.

— Мне ничего не надо. Ничего! — вырвалось у отца придушенным криком, и он тотчас опять залистал книгу.

В эту минуту открылась дверь, и Алексей увидел мать.

Анастасия Германовна, словно нарочно празднично одетая, как она одна умела одеваться — почти скупое, но с удивительной красочной тонкостью (отцу раньше нравилось полюбоваться: «Я говорю, Ася, у тебя адова бездна вкуса!»), — вошла с букетом душистого горошка и приостановилась.

— Что это? — спросил отец.

— Смотри, какие огромные! И совершенно покоряющего аромата! — мягко выговорила мать, делая шаг и глядя на мужа с каким-то восхищенным испугом и растерянной, извиняющейся улыбкой.

— Ну и ешь, пожалуйста, сама, — ответил отец, в то время как раздражение его сменялось нарастающей злобой. — На здоровье, — вдобавок буркнул он, сдерживая себя.

Мать так и осталась с протянутым букетом и с той же улыбкой. Алексей выбежал вон из кабинета.

У него долго не проходила боль за мать, за праздничный, надушенный ее наряд, и за цветы, и особенно за смятенную ее улыбку и страх, который она силилась прикрыть неправдоподобным восхищением. Ведь, значит, хорошо знала, что от отца можно ждать оскорбления, если страшилась. Зачем же унизила себя до такой прозрачной игры — будто все доброхотню принимает, со всем мирится, будто все происходит по обоюдному душевному согласию, тогда как отец ее бросал, бросал семью, дом и уходил к другой женщине? Вот и получила за вымученное свое великодушие, сразу холодно разгаданное отцом как готовность терпеливо все снести, лишь бы он не рушил ее жадную надежду, что когда-нибудь все возродится, вернется и ее дом станет вновь его домом. Мать предлагала на будущее мир, в сущности просила о милосердии. Отец отвергал ее заискивающее предложение, хотя вся вина лежала на нем, а вся правота была за ней.

Алексей глубоко понимал мать, делил с нею обиженное человеческое и женское чувство, слабость ее казалась ему оскорбительной. В отце же его поразило, что он был так непонятно безрадостен и рассержен, хотя ведь будто бы уходил от плохого к хорошему — за своим новым счастьем.

Год спустя Алексей, уступая просьбе матери, согласился поехать к отцу, который словно запечатывал о своем обещании помогать Анастасии Германовне.

Александр Владимирович принял сына у себя на недостроенной подмосковной даче, водил его по участку, где разбивался сад и были выкопаны ямы под яблони, показывал саженцы, завернутые в рогожу, неостекленные рамы для теплиц.

Подшли к мокрой куче грунта. Рылся колодец. Худенький подросток

залезал в бадью, вымазанную глиной. Перепачканное личико его жалко высунулось между острых коленок.

— Давай,— скомандовал он грозно, подбадривая себя.

Землекоп начал крутить ворот, парнишка исчез в яме.

— Сколько вынули? — хозяйственно спросил Александр Владимирович.— До песка дошли?

— Какое песок! — ответил землекоп, кивнув на комья глины, по которым срезы лопаты лоснились, как полировка.

— Любопытная наука — колодезное дело,— сказал отец с медлительной улыбкой.— Позвал я инженера, чтобы определил, где рыть. Тот мудрил, мудрил, говорит — копайте здесь. Пришел колодезник, кинул на землю прутик, посмотрел на него: тут, говорит, вода навряд будет. А где будет, спрашиваю. Потоптался он по участку, опять кинул прутик, раскумекал, говорит: вот тут вроде должна быть, копай. Рассказал я о прутике инженеру. Смеется, говорит: народ премудрый! Где же все-таки копать, спрашиваю,— по вашей выкладке или по пруту? Выкладка моя, отвечает, правильная. А сам усмеивается. Ошибался я, говорит, редко, но и древним опытом не пренебрегаю: копайте по пруту!..

— А что? — обидчиво сказал землекоп, плюнул в ладонь, взял заступ.— Вот еще кубометру вынем, пойдет песок. А там и вода.

— Колдуны! — засмеялся Александр Владимирович.

Жена его находилась в отъезде, он спешил окончить дом к ее возвращению, видно было, что ему все нравится,— он пошучивал с печниками, которые клали плитку, пробовал, хорошо ли подогнаны дверные замки, лазил на чердак и через слуховое окно любовался отдаленными холмами, побуревшими от поднятой зяби.

— Смотри, воздух сверкает паутиной,— говорил он с одышкой,— продержится сухая осень. Надо сразу заложить весь сад.

Вероятно догадываясь, зачем мог приехать сын, он небрежно сказал, когда наконец уселись в сторожке:

— Чертовских затрат стоит это обзаведение. И не видно конца. Я в долгу, как в шелку.

Алексей подождал, пока хлопотавшая у самовара женщина не вышла за дверь.

— Мама хотела бы знать, что она может продать из обстановки,— сказал он, краснея.

Вся история с поездкой и разговором о деньгах представлялась ему обидной для самолюбия. Он не был согласен с матерью, что старое имущество принадлежит одинаково ей и отцу, но она считала, будто «вместе нажитым» она не может распоряжаться одна, и все это теперь надо было объяснять отцу.

— Может быть, рояль? — спросил Алексей, принуждая себя не торопиться.— Маме как-то теперь не до музыки... Если ты не хочешь ей помогать... За рояль дадут... не знаю... Нам хватило бы на год... Через год я кончаю институт.

— Ты все еще не куришь? — спросил отец, доставая портсигар.

Нет, Алексей по-прежнему не курил. Он сказал себе в эту секунду, что больше не проронит ни слова. Отец медлил, раскуривая папиросу. Потом крупными глотками опорожнил наполовину стакан чаю, оставил его, прищурился на Алексея и немного удивленно подтянул вверх редкие брови: сын возмужал, но юношеской красотой все еще был похож на мать.

— Прошу тебя, Алеша,— проговорил отец не строго, даже сердечно,— никогда больше не бери на себя роль посредника. Это роль неловкая, особенно для молодого человека. Когда у тебя будет личная жизнь, ты мой совет оценишь.



У него погасла папироса. Он взял новую, закурил, ленивым помахиванием руки затушил спичку, недовольно кинул ее далеко на пол. Все в этом жесте было хорошо знакомо Алексею.

— Но раз уж ты взялся за такую роль,— продолжал отец,— я помогу тебе ее исполнить. Скажи маме, чтобы она перестала рассчитывать на мое возвращение.

Он еще сильнее прищурился, выпытывая в неподвижных глазах сына, так ли понимал тот намерения матери, когда принял ее поручение.

— Я не вернусь,— произнес Александр Владимирович черствее,— это надо выбросить из головы. Что же до обстановки, рояля и вообще... финтифлюшек, то я в свое время сказал: мать может всем, что у нее осталось, распорядиться, как хочет. Я не в состоянии ее поддерживать... сейчас. У меня — видишь?

Он мотнул головой на окно: перед домом, фыркая выхлопной трубой, разворачивался грузовик с цистерной извести.

— Тимофей! — вдруг закричал Александр Владимирович. — Тьфу, черт, опять заехали на вскопанное!

Он вышел из сторожки. Тимофей — мужичонка с густо-желтыми, как грецишный мед, усами — бежал к цистерне, яростно махая кулаком.

— Стой, куда, ах, паразит! — приговаривал он негромко, фальцетом, чтобы брань его слышал только хозяин, но не шофер.

— Вот так все время: одни делают, другие портят,— с брезгливой усталостью сказал Александр Владимирович.

Он направился проводить сына до ворот, но подошли рабочие, он затолковался с ними, и Алексей покинул его, дав себе слово больше не бывать в этом новом отчем доме.

Он уходил, подавленный телесным ощущением, что не любит человека, которого должен называть отцом и которого в детстве обожал. Ему казалось непостижимым, что из всех качеств, некогда изумлявших в отце, он заметил теперь лишь одно — пронизательность, чутье, с каким отец распознал тайную надежду матери (Алексей сам подозревал, что она хотела выведать, может ли надеяться на примирение). Другие, прежде столь привлекательные черты отцовского характера улетучились, — его ненасытное любопытство к людям, умение пошутить с серьезным видом — все было словно вытеснено пошловатым хозяйским запалом. Такого скучного безразличия, которым Алексей был встречен, он никогда бы не мог заподозрить в отце, и это настолько его обидело, что он даже не написал ему, когда окончил институт и стал инженером. Единственно, что облегчало его воспоминание о тяжелом визите, это тогдашнее отсутствие новой жены отца, Юлии Павловны, — «мадмазель», как ее мысленно называл Алексей.

И вот он нарушил данное себе слово и после пятилетней разлуки или, вернее, после разрыва с отцом, без сторонней просьбы или подсказки, решил заехать к нему опять с тем же разговором о матери.

Он был давно не юношей, ему шел двадцать девятый год, он вряд ли мог бы, как тогда, по нечаянности, оказаться в оплошной роли «посредника». Однако вовсе не эта зрелость, исключавшая риск выслушать новый урок от отца, толкнула Алексея к уже испробованному шагу. Да он и не рассуждал долго — испробован однажды этот шаг или нет, разумен он или глуп, достоин или унижен.

Произошло нечто столь необычайное в мире, что все бывалое, привычное будто заколебалось в своей власти над жизнью. Не только в Алексее, но во всех, кто его окружал, в короткий миг возникло новое сознание, и это новое сознание за какие-нибудь трое суток после того, как возникло, успело настолько подчинить себе все мысли, что старое сознание послушно уступило ему место во всем.

Трое суток назад, в Феодосии, в доме отдыха, где Алексей проводил отпуск со своим товарищем — плановиком завода Бегичевым, — его застигло известие о начавшейся войне.

Раннее утро этого дня прошло особенно хорошо. Ездили в большой компании на автомобилях в Коктебель, купались, собирали на пляже камушки нежнейшего лунного свечения, и Бегичев за неимением иной упаковки завязал полупудовую коллекцию, на общую потеху, в мокрые купальные трусики. Вернувшись, Бегичев и Алексей сходили еще раз на море — освежиться — и после завтрака, усталые, решили спать.

Когда часу в двенадцатом Алексей проснулся, дверь в комнату стояла настежь, какие-то люди в пижамах отдергивали на окнах занавески, из коридора слышались голоса.

Бегичев, спустив босые ноги на пол, сидел косматый, с полуоткрытым ртом, видимо не понимая, откуда явились и что делают эти люди. Но вдруг он потянулся с такой силой, что хрустнуло в плечах, и громко сказал:

— Вставай, Алексей. Кончились наши отпуска. Отдохнули. И вообще, брат...

— Война, товарищ Пастухов! — перебил Бегичева сосед по комнате, бодренько затягивая на животе тесемочный пояс пижамы.

— Напали немцы, ночью, — сказал кто-то глухо.

Алексей привскочил на локти. Он услышал шумные толчки в ушах, но этому внутреннему шуму в то же мгновение будто ответила тишина огромного дома, в которой удивительно прояснился каждый звук. Неожиданно из гостиной нижнего этажа всплыл торжественный голос радио с гитарным отливом, и через окно медленно вошел далекий накат морской волны.

Только потом Алексей догадался, кто произнес — как ему почудилось, неприятным тоном — «напали немцы». Это был недавно приехавший на отдых другой его знакомый, тоже заводской служащий, по фамилии Сочин. У Алексея были с ним счеты, при встрече в доме отдыха они едва раскланялись. Но в тот момент, который позже Алексей назвал пробуждением в войне, все люди, нечаянно оказавшиеся в комнате, потеряли отличие друг от друга, да если бы тогда Алексей и узнал Сочина, он не удивился бы, что тот пришел. Все это стало неважно.

Дом был словно манием руки переброшен в мир тревожный и страшный. Установилось непрерывное хождение по лестницам, коридорам, вестибюлям, всюду хлопали двери, народу будто прибавилось, хотя многие ушли в город. Среди отдыхающих находились приезжие из Москвы, Ленинграда, но были и киевляне, одесситы. Они сразу бросились на телеграф запрашивать свои семьи о благополучии — самым страшным и чудовищным для них казалось сообщение о воздушных налетах на мирные города.

Алексей и Бегичев решили выехать из Феодосии в тот же день — в воскресенье. Оба они числились на военном учете в Колпине, под Ленинградом, где служили на Ижорском заводе. Сочин присоединился к ним, и Алексей принял это молча: поступками руководили новые обстоятельства, и было некогда вдаваться в чувство обыденной неприязни к человеку.

На вокзале у билетных касс шумели чуть ли не битвы. Нетерпеливые людские очереди выползали из дверей на площадь. С азартной энергией Сочин пробился к осажденному народом коменданту и, козыряя документами, вырвал у него талоны в военную кассу. Очередь к ней змеилась в самой гуще толпы, выделяясь своим составом, — тут были почти сплошь мужчины, и множество в военной форме.

Бегичев, Алексей и Сочин дежурили за билетами, сменяя друг друга, чтобы после духоты вокзала отдохнуть и размяться на воле. К полудню жара стала нестерпимой. Алексей вручил свои документы Бегичеву и пошел к морю.

Берег был пустынен, только вддали, у портовой пристани, пестрела подвижная масса людей.

Алексей прилег на горячую гальку. Лениво шелестела по ней утихшая волна. В воде шла мраморная переключка красок. По поверхности моря расходились круги, как от ныряющих поплавок. Алексей разлил близко от берега лоснящийся купол медузы ветчинной окраски. Он поднялся и встал на камень у самой береговой кромки.

Он увидел стадо медуз. Это было нашествие многокрасочных, разнокалиберных тел, игравших на солнце пульсацией своих студенистых тканей. Большинство напоминало по цвету свежую ржавчину с вялым мясным отливом. Среди этих ржаво-красных скопищ то всплывали к самой поверхности, то солидно окунались поглубже особи опаловые или молочно-васильковые. Крупные медузы были подобны гигантским шампиньонам. Их ножки окружались придатками, похожими на стаканы. Маленькие медузы плавали, как нефтяные пятна, отличаясь от них только звездочками либо крестами посредине.

Прозрачные, беспорядочно меняющие свою форму существа будто взвешивали себя в чистой воде, толчками погружаясь и восходя. Их наступление из пучины к берегу было притягательно-красиво и, по всей видимости, бессмысленно.

Алексей обладал особенной чертой: он «задумывался». Вероятно, душевная жизнь не знает каких-нибудь границ отдельных своих способностей. Человек не может только чувствовать или только мыслить. Он всегда чувствует, если мыслит, всегда мыслит, если чувствует. Но сила, с какой проявляют себя эти способности, редко бывает одновременно одинаковой. То мысль, то чувство пересиливают друг друга. И вот бывает, что чувство еще не успело захватить человека, пробуждаясь к полной жизни, а мысль, уже перестав вдумчиво работать, еще не задремала.

Эти мгновения напоминали Алексею переход через ручей. Случалось, он подойдет к берегу и, не мешкая, вступит на мостик. У него нет никаких намерений, кроме одного — перейти ручей. Но внезапно его что-то удержит, и он долго глядит за стремниной ручья над сверкающей донной галькой, чтобы потом взбежать на другой берег с совершенно перерожденным чувством.

Так произошло и теперь.

Зрелище нашествия несуразных морских чудищ наделило Алексея на минуту застывшим равновесием. Он дивился этому все подавляющему обилию жизни и этому отсутствию в них смысла. Но до одиночества у моря тревога рассеивала его мысли. Теперь удивление перед неисчерпаемой и равнодушной к человеку природой сосредоточило и привело в строй его размышления.

Он с неожиданным спокойствием признал, что пробуждение в войне означало полную перемену его существования. Ему стало ясно, что он уже подчинен новой цели, которой, вольно или невольно, подчинились все, кто встретил это утро. И вспомнив, что уже пора возвращаться, Алексей отчетливо увидел вокзал, и волнующиеся толпы у билетных касс, и лица, так резко изменившие свое обычное выражение, и вдруг не подумал, а словно выговорил в уме: «Вот качество, которого уже потребовала война, — терпение». И он двинулся в город, кинув последний взгляд спокойному морю.

Когда смеркалось, Бегичев, выйдя из дома отдыха в сад, высыпал

под старую тую камешки, собранные на память о коктебельском пляже. Секунду он смотрел на них, потом улыбнулся и медленно разровнял их ногами.

Чемоданы были уже заперты. Алексей и оба его спутника вечером выехали в Джанкой.

Оттого, что они и тут действовали согласной тройкой, их настойчивости поддались все препятствия: они попали в московский скорый.

## 3

С каждой сотней километров война упорнее рвалась в поезд. На узловых станциях ожидающие колонны пассажиров, пошумев с проводниками у запертых тамбуров, оставались на перронах ждать следующих поездов, в то время как толки и слухи алчно проглатывались вагонами и уносились дальше в горячую степь. Кто мог протиснуться из купе в коридор к радиорепродуктору, долго не уступал места под черной тарелкой, дребезжавшей и сыпавшей осколками новостей. Все больше рассказов о первых бомбежках передавалось со слов ухитрившихся проникнуть в неприступный скорый. Все строже делались лица. И уже нигде не слышно было смеха.

Харьков долго не принимал. Разъезды рокотали под длинными составами платформ. Шли пушки в чехлах и без чехлов. Шли грузовые автомобили, покрашенные однотонно, с заводской свежестью. Шоферы-красноармейцы дремали в кабинах за недвижными рулями. Странно было видеть застывшие колеса автомобилей над озабоченно бегущими колесами платформ. Как будто пробуя на ощупь рельсы, плыл воинский эшелон. В широких дверях товарных вагонов кучились бойцы. Они поднимали руки в ответ на приветствия из окон скорого. Паровозных гудков не было — они предназначались теперь только для воздушных тревог, — и непривычной молчаливостью дорога выражала суровый долг своей военизированной службы.

Вокзал наконец принял московский поезд. Перед Алексеем открылся перрон, забитый красноармейцами. Дожидалась посадки пехотная часть. Скатанные шинели, винтовки, фляги, саперные лопаты, противогазы — все это новым языком соединяло людей, твердя о перемене, которая всех ожидала. Командиры то появлялись, то пропадали в разрозненных рядах красноармейцев, перехваченные своими портупьями, с пистолетами на поясах и планшетками, заключавшими в себе нечто таинственное и делавшими даже младших лейтенантов многозначительными.

Дохнув возбужденного нетерпения красноармейцев, ожидающих отправки, Алексей словно нащупал у себя на одном бедре пистолет, на другом — эту таинственную и важную планшетку командира. Здесь, на харьковском перроне, родилось его убеждение, что он будет тотчас призван по мобилизации, как только вернется домой. И с этого же момента его начало мучить беспокойство за мать, которая должна была остаться одна после его ухода в армию.

Когда подъезжали к Туле, Бегичев уже заразился уверенностью Алексея, что на войну возьмут сразу всех. Сначала он спорил, доказывая, будто завод не может отпустить инженеров, пока не найдет для них надежной смены. Потом согласился, что одних возьмут, другие останутся, — всякого рода переброски людей ему, плановику, знакомы были и по мирному времени.

— Мирное время, черт побери! — воскликнул он, вдруг усмехнувшись. — Позавчера еще так не говорили.

— Да. Жили-поживали. А нынче — Отечественная война, — сказал нахмуренный Сочин.

Это слово — Отечественная война, — услышанное впервые по радио, изумило пассажиров и повторялось всем поездом. Мало того, что, обладая историческим содержанием, оно казалось неприменимым к иному событию, чем 1812 год; но все привыкли думать, что история наименовала так войну с Наполеоном лишь после того, как она обнаружила себя именно отечественной. Теперь война, только что вспыхнувшая, называлась по имени, которое могло бы быть ей присвоено разве лишь в будущем, и это было в первый момент так неожиданно, как если бы войну с Фридрихом объявили Семилетней, едва она началась. Но все чаще повторяясь, слово «Отечественная война» стало утрачивать тождество со своим прежним содержанием давнего исторического факта. Из старого оно делалось новым. Оно перебрасывало мысль от прошлого к предстоящему, заставляя думать о значении и небывалом объеме события. И, может быть, ничто другое, как это слово, не в одном Алексее и не в одном Бегичеве так быстро не укрепило убеждения, что война неизбежно захватит собою каждого, захватит всех.

— Ну, пойдем за тульскими пряниками! — сказал Бегичев, поднимаясь.

Два прошедших дня, однако, успели очистить Тулу не только от пряников: киоски, тележки, лотки продавцов были опустошены. Людские потоки и на этой промежуточной станции удесятерились.

Протискиваясь к вокзальному буфету, Алексей заметил, как высокий желтоволосый молодой человек в веснушках, заползавших на шею, осторожно просунул пятерню под руку Бегичеву.

— Послушай-ка, джентльмен! — прикрикнул Алексей, хватая молодца за локоть.

Но тот не обратил внимания на окрик, а тут же обнял Бегичева сзади, крепко прижав его к себе. Бегичев метнул назад скошенный взгляд. Большой его рот растянуло удивленной улыбкой.

— Павел! — сказал он. — Чудила! Здравствуй.

— Не дали залезть к тебе в карман, — засмеялся желтоволосый, мельком посмотрев на Алексея.

— Откуда взялся? — спросил Бегичев.

— Это я должен спросить — откуда ты?

— Из Крыма. Отдыхал. Но пришлось выехать до срока: что делается, а?

— Я в июле тоже собирался было в отпуск. Теперь уж, наверно, до какого-нибудь Карлсбада!

— Вон куда целишь!

— А что? Не верится? — спросил Павел уже вполне серьезно.

— Далековато, думаю.

— Это вопрос другой.

Они продолжали тесниться к пивной стойке, сдавливаемые народом, обняв друг друга накрест сильными руками. Алексей, немного смущенный своим обхождением с незнакомым человеком, разглядывал его, продвигаясь следом за приятелями.

Павел был человек широкой кости, с покатыми плечами атлета. Лицо его выделялось крупными правильными линиями и здоровым цветом с желтизной от веснушек, которые ровно, без пятен, окрашивали всю кожу и только за уши забегали в рассыпную, отдельными зернами. Говорил он быстро, с вызывающей веселостью и казался очень самоуверенным (Алексей, впрочем, с детства не расположен был к рыжеволосым).

Они дождались, пока им нальют пива, слегка выбрались из давки, чокнулись пузатыми кружками, с наслаждением окунули губы в холодную пену.

— Познакомься,— сказал Бегичев Алексею.— Мой товарищ по Туле, вместе работали. Павел Тихоныч Парабукин, оружейник. А это ижорец, Пастухов Алексей Александрович.

Парабукин мгновение придержал на Алексее свой яркий золоченый взгляд и тряхнул головой, словно говоря, что, мол, знакомство ничего, приемлемое.

— К тому Пастухову отношения не имеете? — спросил он.

— К которому — тому?

— Ну, пьесы его на театре. У нас в Туле тоже одну играли... как ее? Забыл сейчас...

— Родной сын,— сказал Бегичев.

— А! — опять одобрительно тряхнул головой Павел.— Ну, что он, новенькое чего сочиняет, да?

— Я его давно не видел,— с неохотой отозвался Алексей.

— А...— почти сочувственно протянул Парабукин.— Теперь на театре надо крепче насчет немцев,— добавил он, подняв вровень с пивной кружкой левый кулак — ненамного поменьше кружки.— Вы ему посоветуйте, что, мол, этих фашистов надо пластать, как рыбу. Везде, где придется. Чтобы народ видел.

— Мы живем с отцом врозь,— ответил Алексей.

— Так вы ему напишите,— сказал Парабукин, не задумываясь, и допил пиво.— Кончайте, хватим еще по одной, я тут без очереди, меня пивник знает. (Он озорно мигнул Бегичеву.) Как это в столицах называется — бармен, что ли?

Он забрал в одну руку все три кружки и, протягивая их над головами толпы, крикнул:

— Давыдыч! Нацеди, пожалуйста,— опаздываю!

— Да ты куда едешь разве? — спросил Бегичев.

— В Москву. Думал попасть на скорый, не вышло. Через полчаса идет местный, доплетемся как-нибудь.

— Командировка?

— Дня на два, не больше. Заваруха получилась с одним изобретеньцем. (Он еще раз мигнул Бегичеву.) Протолкнуть требуется.

— Заводских у вас призывают?

Парабукин хлебнул из свежей кружки несколько жадных глотков, выдохнул, надувая щеки, сказал:

— С отбором, конечно. Ясно?

— А тебя? — спросил Бегичев.

— Меня? Я заявил, что пойду добровольцем. Директор спрашивает — повестку получил? Нет, говорю, не получал. Так я, говорит, постараюсь, чтоб ее не было. Забыл, спрашивает, каким делом занимаешься? Поедешь, говорит, завтра в Москву, и чтобы все было в порядке. («Насчет изобретеньца»,— опять мигнул Парабукин.) А добровольцем, говорит, пойдешь после меня... Точка.

— Оружейникам сейчас дадут жару! — улыбнулся Бегичев.

— Представляешь себе! — вскинул голову Павел и выпятил нижнюю губу.— У меня в Москве еще дельце: вывезти племянницу. Она там гостит. А выбратся не так-то просто. Да еще девушке. Ты видал ее когда — Надю?

— Не помню.

— Давно, правда, было, третий год как ты из Тулы, а? Нынче Надя невеста — десятилетку кончила... Ну, мне в кассу, а то прозеваю билет. Будь здоров.

Они подняли кружки. Душевно глядя на Павла, Бегичев начал говорить, что вот, дескать, закрутила метелица и только жди — поднимет все с земли и понесет, понесет, загудит буран (он был из степного

Заволжья и знал, как там заглатывают бураны землю), раскидает кого куда, и потом не встретишься нигде да, может, и не досчитаешься иных друзей.

Павел, не дослушав, без передышки выпил, утерся кулаком.

— Ладно загадывать, уцелеем — не умрем!

Он стал прощаться. Уже толпа отделила его, когда, повернувшись, он со счастливой простодушной улыбкой крикнул:

— Бегичев! Я женился!

— Давно?

— Да уж порядочно. Четвертый пошел день! — громче закричал он и махнул тяжелой растопыренной пятерней.

Желтый затылок его понирял еще над толпой и скрылся.

— Какой парень! — вздохнул Бегичев. — Мы с ним душа в душу жили. И смекалка редкая. Старики конструкторы им дорожат.

— Туляк?

— Родом он волжанин. Артистку Улину видал?

— Слышал, кажется.

— Это его сестра.

— В каком она театре?

— На Волге играла, на Урале. Вообще... Народная. Я ее здесь в Туле смотрел. У нее муж — большой человек. Только, говорят, что-то с ним неладно...

Алексей не слушал.

Его раздражали расспросы незнакомых об отце. Иногда он даже отвечал, что не имеет ничего общего с «тем» Пастуховым: однофамилец. Он хотел быть самим собой, а не отголоском, не отражением «того» Пастухова.

Разговор с Парabuкиным вдруг навел на нечаянную мысль. Алексей решил, что предстоящий его уход в армию даст матери основание ждать поддержки от отца. Сама она, конечно, не обратится к отцу — слишком застарела между ними рознь. Но что мешало Алексею подготовить отца к такой неизбежности? Ведь это не прихоть. Война должна была не только переиначить, но просто устранить сложившееся с годами чувство к отцу. Он проверил себя и нашел, что не ошибается: он словно забыл прежнюю вражду. В конце концов это только долг перед матерью. Решимость его созрела — тотчас по приезде в Москву отправиться к отцу и договориться.

Потоки людей, которые всюду текли к станциям и бушевали, в Москве будто слились в одно русло и низверглись водопадом. Все здесь клотало.

Оглушенные, стараясь не терять друг друга, трое спутников окунулись с перрона в туннель, проплыли подземельем, вынырнули, отдуваясь, на городской площади. Водоворот понес их куда-то на край, где волны грозились опрокинуть павильончики пригородных касс. Они были изумлены, когда прибой взмахнул их вместе с багажом в утлый кузов пикапа. Маршрутное такси совершило головокружительный переход по Садовому кольцу с Курского вокзала на Октябрьский. Друзья попали в новое круговращение.

Тут Алексей сказал Бегичеву, что хочет съездить к отцу.

— Поезжай. В твоём распоряжении целый день. Мы с Социным все сделаем для пересадки. Кстати, ты деньгами не богат?

— Немного осталось.

— У Социна не хватает, он просил.

Алексей осмотрелся. Социн стоял поодаль, поставив ногу на чемодан. Он вообще, где мог, старался держаться слегка особняком. Это было в его нелюдимой манере. Они встретились глазами, и оба отвели их.



Алексей вздернул плечи.

— Сочин явился в Крым позже нас — мы уже могли прожитьяся.

— Почему я знаю, он не докладывал, как это у него вышло.

— Сочину я денег не дам, — с тихим упрямством выговорил Алексей.

— Что же, бросить его по дороге?

— Словом, вот так. Для него денег нет. Тебе — пожалуйста. Сколько?

— Хорошо, я верну, как приедем. Давай.

Отсчитав деньги, Алексей посмотрел на Сочина и опять поймал его нестойкий взгляд. Алексей кивнул ему. Сочин быстро снял ногу с чемодана и ответил вежливым поклоном. Застенчивой и чуть насмешливой улыбкой он как будто благодарил за деньги.

Алексей наскоро пожал руку Бегичеву. Через несколько минут метро перебросило его на Белорусский вокзал.

#### 4

В густом хвойном участке еловый лапник казался черным, и его тени на траве словно хранили ночную мглу, а рядом пятна света ослепляли огнем безоблачного дня. Тут не ощущалось жары, удручавшей открытые пространства, но она точно отжимала из деревьев соки, и весь лес был напоен теплом душистого, клонящего ко сну дыхания хвои. На разные лады тут все манило и звало к отдохновению — крапивницы, в пару ведущие свою обманную игру на солнце; белка, вдруг рассерженно кинувшая с елки пустую прошлогоднюю шишку; голубое крыло мелькнувшей сойки и на лету ее перепуганный крик; и нарисованные в воздухе листы бузины, и загадочный сумрак под нею, и женское далекое игривое «ау-у»...

Но Алексей удержался от соблазна. Только миновав лесную дорогу и деревеньку на косогоре, он остановился. Да и кто прошел бы мимо того, что перед ним открылось?

Недвижный пруд лежал, окольцованный крутыми берегами. Дремучие ветлы, намертво скованные корнями плотину, как по отвесу, ниспустили свинцовые ветви к воде. На выступах берегов клонились березы, готовые ухнуть в пруд вместе с подмытыми корнями. Позади них темнел вековой парк с шапками лиственниц посередине, кучно подброшенными в поднебесье. Ряска зеленой крупой накрыла заводи, и, рассекая ее, точно перенизанные ниткой, скользили друг за дружкой сахарные утки. Рыболов в колпаке из газеты тихонько шугал их удилицем, чтобы не мешали. Грачи летели, и там, где все отражалось вниз головой, летели их отражения вверх животами. Где-то прилежно урчал мотор, и, будто стараясь перебрехать его, ярилась собачонка. На водосбросе колокольцем била струя, отыскавшая в заслоне щель. Влажной синей дымкой трепетал вдали воздух.

Это была обыкновенная, стократ повторенная русской природой картина. Но ее обаяние состояло как раз в том, что она была обыкновенной, как нередко в обыкновенном лице заключено самое значительное, что есть в человеке. Алексей удивился, как мог он не заметить этого пруда пять лет назад, когда приехал к отцу первый раз. Значит, и правда тогда от поездки не осталось на сердце ничего, кроме обиды.

Разительно было противоречие картины той тревоге, которая держала Алексея последние трое суток. Природа будто говорила: жизнь должна быть такой, как я. Но и другой голос звучал в нетронутым спокойствии дня. «Меня грозят отнять у тебя, — внушал этот голос Алексею, — отнять навсегда. Я тебя вырастила, я тебя научила понимать и любить прекрасное, я — твоя колыбель. Лучшее, что ты видел и слышал во все-

ленной, что когда-нибудь чувствовал, дала тебе я. Ты — мое создание и моя надежда, мое дитя и мой гений. Теперь меня хотят вырвать из твоей жизни. Чем же будет тогда твоя жизнь, если ты не встанешь и не оградишь меня от поругания своей грудью?»

В первый момент у Алексея появилось желание проститься с этим солнечным миром, выплывшим на его пути. Но он взгляделся в бесконечно простые и чудесные его черты, как в черты матери, и внезапно сказал ему: «Здравствуй! Здравствуй, вечный мой спутник, ключ моих сил, отрада сердца, здравствуй всегда!»

С неожиданным волнением он двинулся дальше, вдруг зашагав длинным скорым шагом, как на походе.

Садовая калитка на даче Александра Владимировича была приоткрыта. Откуда-то вышла на тропинку бурая, в черных подпалинах, овчарка, торчком нацелила вперед уши. Отступить было нельзя: Алексей маршировал прямо на нее. Ее ноздри подрожали, и вдруг, опустив голову, она положила уши и гостеприимно раскачала волчий хвост.

Через отворенные дачные окна сыпался дробью стук ножа. Алексей толкнул дверь черного крыльца и очутился на кухне.

Низкорослая стряпуха, вся будто из подушек, захватив край передника, мазнула им по верхней потной губе и только было любезно улыбнулась, как в комнатах раздалось бойкое трик-трак каблучков и серебряная, в высшей степени озабоченная колоратура прозвенела на всю дачу:

— Мотя! А шафран вы не забыли, Мотя?

Юлия Павловна в своем утреннем великолепии выпорхнула на кухню. Все замерло на ней, и секунду она была похожа на живую модель, которую приготовился снять фотограф. Ни одна складочка не дрогнула на ее темном капоте, шитом цветами бледных шелков, ни один волосок не шелохнулся в кипенной ее седине, уложенной умелыми руками.

Алексей сказал:

— Здравствуйте.

— Боже мой! — шепотом ответила Юлия Павловна и медленно сложила ладони, точно умоляя ее не пугать. — Алеша? Какая неожиданность!

— Да, я, — сказал он, переступая с ноги на ногу.

— Я вижу, вы! Но я не верю глазам! — воскликнула Юлия Павловна.

Голос ее опять зазвенел, то забираясь тоненько на самый верх, то падая вглубь, будто она пробовала диапазон своего сопрано. Она засмеялась, и с этого момента каждая черточка ее начала ту оживленную деятельность, для которой была создана натурой вкупе с упражнениями, ставшими привычкой. Почти уже не было заметно, что Юлия Павловна изображала обворожительную женщину, — движения ее были естественны, как у артиста, у которого мастерство игры вытекает из прирожденного жеста.

Она схватилась за голову, ничуть не потревожив прически, брови ее выразили испуг, но улыбка не исчезала.

— Как же вы прошли садом? Я не слышала, чтобы наш Чарли лаял. Он должен был разорвать вас в клочья!

— Он добродушный пес.

— Вот плоды воспитания! — опять всплеснула руками Юлия Павловна, и россыпью заискрились ее ноготки. — Шурик так распустил Чарли, что он кидается только на своих. Представьте, этого лютого зверя не боятся даже котята!

Она вдруг серьезно всмотрелась в Алексея. В глазах у нее мелькнули изумление и грусть.

— Что такое, Алеша? Вы стали еще красивее! Гораздо красивее, чем раньше! Это... это, наконец, прямо неприлично!

Она засмеялась на ласковой нотке, откровенно любуясь им и, пожалуй, еще больше — собою.

— И как возмужали! Что значит — инженер!

Он все не мог уловить паузы, чтобы заговорить. На Юлию Павловну не действовало время: она была такой же, как прежде, когда отец представил ее Алексею. («Изволь познакомиться с этим обаятельным созданием, — шутливо сказал Александр Владимирович, — и не думай, что это бабушка: Юлия Павловна научилась так ловко красить волосы, что парикмахеры сходят с ума от зависти».) И тогда Алексей впервые увидел смех Юлии Павловны, услышал ее речь, вплетенную в этот смех, как нить в кружево. («О, мой отец в двадцать шесть лет был сед, как луны! — сказала она. — И он говорил, что это у нас в роду. И что это не от старости, а... от мудрости! Видите, я не выродок. По крайней мере что касается седины».)

Как тогда, при первом знакомстве, так и теперь сплетение речи и смеха Юлии Павловны возбуждало в Алексее двойственное чувство. Слишком много эффекта таилось в непринужденности, с какой она держалась, и в то же время не верилось, чтобы такая непринужденность могла быть деланной.

— Что вы все смотрите на меня? — продолжала спрашивать Юлия Павловна, довольная, что с нее не сводят глаз. — Я постарела? Не могло же у меня прибавиться седых волос!

Седина была коньком Юлии Павловны — ровная, будто наполированная голубая седина, еще больше украшавшая и без нее красочное лицо молодой женщины. Она готова была поступиться многим, но не своими волосами, которые подсинивала, чтобы увеличить голубизну: это она не считала краской и любила говорить, что женщина, покрасившая волосы, уже отступила на один шаг перед старостью. Ей, правда, незачем было делать такого шага — она была едва за тридцать.

Алексей глядел на нее и думал, что, наверно, только наедине с собой, да и то нечаянно, Юлия Павловна могла заметить в зеркале лицо, отражающее ее существо. «Да, мадмазель», — чуть не вылетело у него, когда она с налетом обиды подсказала ему его вопрос:

— У вас на языке один вопрос — дома ли Шурик?

— Да, Юлия Павловна, мне надо поговорить с отцом.

— Какая же досада, — прощбетала она, — Шурик со вчерашнего дня в городе. Но он скоро вернется. Не позже, чем к вечеру. Вы ведь побудете у нас, Алеша? Или... (испуг и укор раскрыли ее глаза) или вы все еще не можете меня терпеть?

— Я проездом и очень спешу.

— Что вы говорите! — еще больше испугалась она и приложила кончики пальцев ко рту. — Шурик мне ни за что не простит, если я вас отпущу! Нет, нет! Вы должны дождаться!

— Это невозможно.

— Неужели вы серьезно? После того как столько лет вы нас с Шуриком совершенно не признавали, вдруг заехать и не повидаться!

— Разрешите, я напишу отцу записку.

— Нет, нет, что вы! Никуда вы не пойдете! Я просто натравлю на вас Чарли!

Алексей достал записную книжку и стоя начал писать.

Юлия Павловна сказала упавшим голосом:

— Боже мой, что за упрямец! Куда вы торопитесь? Скажите, может быть, это связано с этими неслыханными событиями? Что вы думаете о войне, Алеша? — проговорила она вдруг благоговейно.

Он что-то промычал, не переставая писать.

— Шурик был разбит и подавлен. Но только первый момент. Потом он это принял как неизбежность и сказал, что готов ко всему. Да, конечно, надо быть готовыми! Шурик очень мужественно все это переносит. Ему так трудно, бедняжке!

Вдруг она откинула назад голову и не то чтобы закатила глаза, но немного притомила взгляд, отчего он выразил сочувствие и печаль.

— Боюсь, я все понимаю. О да, я угадала! Вы мобилизованы, да?

— Нет.

— Но вам придется идти на войну, да?

— Что значит — придется? Долг каждого.

— Конечно, долг. Но разве это не ужасно?

— Вот, пожалуйста, передайте отцу, — сказал Алексей, вырывая из книжки листок.

Она близко подошла, взяла бумажку, медленно вложила ее в нагрудный карман его пиджака.

— Я не возьму ничего, пока вас не отпущу. Проездом в Москве, да еще добирался на пригородном поезде (она выпятила губки), не пимши, не емши (она хихикнула)... Мотя, что у вас готово? Кулебяку вынули?

Она приподняла суровое полотенце с противня на столе, вкусно понюхала корочку кулебяки, что-то детски-жадное появилось в ее улыбке.

— Право, как у Чехова! Помните, Алеша? Кулебяка должна быть бесстыдная, во всей своей наготе, — проговорила она, подражая Александру Владимировичу, любившему цитировать. — Сейчас, сейчас мы снимем пробу! Я не зову вас, Алеша, в комнаты, у нас такой кавардак!

Она ускользнула в дверь.

Алексей все время разговора слышал перезвон посуды в комнатах. На кухню вышла девушка, — юбка в обтяжку. Прижимая к груди стопку тарелок, стрельнула любопытным взглядом на гостя, выпалила:

— Мытья — прямо я не знаю, спаси бог! — Поставила тарелки, одернула юбку, ушла назад.

Тотчас вернулась Юлия Павловна с салфеткой в руках.

— Что же вы, Мотя, не предложите сесть? Садитесь, Алеша. Мотя, отодвиньте противень. Я здесь накрою.

Она встряхнула трещащую крахмалом салфетку, разгладила ее на уголке стола. Мотя вытерла табуретку передником.

— Так будьте любезны, передайте это отцу, — вполголоса повторил Алексей и положил записку на салфетку.

— Так вы в самом деле... — начала и не кончила Юлия Павловна. Поведя одним плечиком, она беспомощно опустила руки. — Если уж кулебякой вас не прельстишь, то что же еще мне остается?

— Я не хочу тут занимать чужое место, — сказал Алексей и легонько отодвинул табуретку ногой. Кровь густо проступила на его щеках.

Она тоже вспыхнула, но улыбнулась.

— Насильно мил не будешь. Только помните, Алеша, — мне за вас от Шурика попадет. Это на вашей совести.

Он попрощался. Она проводила его на крыльцо, и он услышал за спиной ее серебряный распев:

— Тимофей! Подержите Чарли! Чарли! Тимофей!

— А чего его держать, теленка? — откликнулся ленивый голосишко.

За калиткой Алексей поглядел в ту сторону, откуда пришел. Тянуло жгучим ветерком, кустарник вдоль забора шуршал рано подсыхнувшими листьями. Он вспомнил пруд, дрожащий влажный воздух над водой, в ушах его ожил колоколец на шлюзе плотины.

В тот же момент весь путь сюда, увенчанный приемом мадмазель, по-

казался ему бессмыслицей, ее щебетание и салфеточка на уголке кухонного стола — издевательством. Злость просилась наружу, он обозвал себя дураком. Идти тем же путем назад — значит все время ругать себя за глупость. Он решил возвратиться в Москву по другой дороге и отправился искать станцию.

Он не прошел полсотни шагов, как на него выкатилась песня под удалое многоголосье гармонии.

Ельник, по широкой, заросшей травами просеке, шли четверо парней в обнимку и за ними, стайкой, девчата. Зеленый свет задорно пятнал сквозь деревья молодые лица, нарядные девичьи платья, рубахи парней.

«Что нынче за день? — спросил себя Алексей. — Почему деревня гуляет?»

Молодежь, видно, была навеселе, шла неровно, но быстро, пела веселую песню, и, однако, что-то в ней щемило за душу.

«Призванные, — подумал Алексей. — Это призванные. Уже пошел четвертый день... четвертые сутки после пробуждения».

Он будто заглянул в календарь: двадцать пятое июня. Вдруг он остановился: черт поberi! Двадцать пятое июня? День рождения отца!.. Так вот что это такое — кулебяка, кавардак в комнатах, перезвон посуды, «мытья — прямо спаси бог». Александр Владимирович Пастухов зовет сегодня гостей.

Да, да. Он всегда любил в этот день попить, отвести душеньку. Неужели и на этот раз он не поступится своим обычаем? Неужели он спит, как спал мирным сном Алексей в Феодосии, пока не пришли люди отдергивать занавески? Неужели не настало для него пробуждение?

— Цельный все-таки характер — мой папаша! — усмехнулся Алексей и набавил шаг.

Гармонь долго еще провожала его тоскливо.

## Глава четвертая

### 1

У Александра Владимировича Пастухова в этот день была неудача. Театр, который чаще других играл в Москве пьесы Пастухова, прекратил репетиции его новой комедии.

Причина была ему не совсем ясна, но, впрочем, только в первый момент. Разговор в кабинете директора носил тот особенный, знакомый Пастухову характер, когда театральные люди не желают сказать всю правду сразу, чтобы не портить отношения с автором. Отведенный на потолочный карниз задумчивый взгляд, вдруг очень деловая фраза, вдруг шутка, смех и потом опять серьезность — вот нежная пастель, раскрашивающая беседу, после которой почтенный комедиограф, выйдя из театра, останавливается посредине улицы и спрашивает себя: «Что, собственно, мне там сказали?..»

— Нет, нет, пьеса твердо остается в плане театра! — сказал художественный руководитель таким убежденным тоном, каким говорится: «Сохрани вас бог подумать что-нибудь другое!» При этом он, сморщив над переносицей шишку, гипнотизирующе посмотрел по очереди в глаза директору, его заместителю, режиссеру и заведующему литературной частью.

Все четверо подтвердили его убеждение разнообразными кивками — кто быстро и горячо, кто плавно и ласково, кто с восторгом.

— Короче говоря, вы хотите пустить пьесу в засол, — сказал Пастухов нарочно грубоватым голосом.

— Вы думаете — замариновать? — довольно весело спросил заместитель директора.

— Что идет в засол, то не маринуется, — улыбнулся художественный руководитель, и на секунду все очень оживились.

— Бросьте эти штучки, — строго сказал Пастухов. — Мы знаем друг друга не первый год, и я хочу получить прямой ответ: что значит — прекращены репетиции?

— Но, Александр Владимирович, за все наше знакомство никогда не было таких обстоятельств! — воскликнул режиссер.

— Форс-мажор, настоящий форс-мажор! — тихо выговорил заведующий литературной частью. Его белые ручки и головка сонливо выглядывали из маленького аккуратного пиджачка.

Пастухов повернулся к нему, сказал запросто, по-домашнему:

— Ты мне, завлитчастью Боренька, французские пивявки не ставь. Форс-мажор! Говорил ты или нет, что это лучшая комедия из всех, которые я написал за тридцать лет?

— А разве я отказываюсь? — как будто очнулся завлитчастью. — Вот, пусть все скажут. Я своих мнений никогда не меняю. Одна из лучших. Превосходная комедия! Но...

— Не в том дело, что она лучшая ваша комедия, — сказал директор, не дослушав, — а в том дело, что она — комедия.

— В данном случае — к несчастью, — поддѣржал художественный руководитель.

— Дни-то пришли какие! — опять воскликнул режиссер.

— О чем же я говорю? — сказал завлитчастью, робко высовываясь из своего пиджачка. — Если бы ты сейчас написал что-нибудь... что находилось бы... перекликалось... отвечало нашим...

Пастухов вспыхнул. Поднявшись, он оперся раздвинутыми пальцами о стол.

— Я написал. Понимаешь? А мне опять говорят: если бы написал! Напиши ты, литчасть!

— Кто же из нас драматург? — немного смелее сказал завлитчастью.

— Речь идет о написанном, — продолжал, не слушая, Пастухов, — о том, что пьеса театром принята и что вы ее хотите сейчас зарезать.

— Александр Владимирович! — умоляюще сказал режиссер.

— Сто театров сделали заявку на пьесу. Где же она не прошла? В Москве. В театре, со сцены которого мои вещи не сходили годами. Что это значит? Все сто постановок, а может, больше, летят к чертям!

— Зачем же так истолковывать? — опять взмолился режиссер. — Мы отодвигаем работу на некоторое время перед лицом факта, который...

— Вы, мой друг, отодвигаете заодно с работой меня. Вот что вы делаете. Это факт.

— Единственный факт сегодня — война, — сказал директор и начал переключивать на столе красиво подшитые рукописи.

Пастухов оттолкнулся от стола, слегка отряхнул пальцы. То, что он сказал, прозвучало печально-торжественно:

— Я пережил, товарищи, три войны. Кто из вас помнит хотя бы одну, знает, что фронт войны воздвигается тылом. Наша помощь войне — в бодрости, которой мы зарядим в театре зрителя. Сцена должна дышать радостью, весельем. (Он медленно развел руки в знак того, что — увь! — слова излишни и надо ставить точку.) Поэтому вы гоните меня с моей комедией вон из театра.

Его подбородок из двойного превратился в тройной и завесил узел

галстука. Он сделал едва приметный поворот своего тучноватого стана, намекая, что готов уйти.

Все встали, расстроенные его обидой и сами обиженные. Художественный руководитель подошел к нему, переполненный участием, и произнес решительно и в то же время интимно:

— Ты глубоко прав, Александр Владимирович. Как никогда, в этот час сцена должна внушать зрителю бодрость. Но бодрость — не только смех или веселье. Бодрость — это гнев, это героическое чувство, это смелый зов на подвиг. В такой час...

Он поборол невольное пресечение голоса и поглядел на своих коллег. Они тотчас согласились: он говорил сильно. Тогда он взял Пастухова за локти и, с каждой фразой крепко потягивая его руки книзу, стал продолжать:

— Наш театр исполнит свой долг. Но, поверь нам, мы не мыслим наш театр без тебя. Это было бы трагично. Мы будем тебя просить.. Нет, нет, не возражай! Не сейчас! Мы взволнованы не меньше тебя.. Мы будем просить. Да... Но теперь ты должен понять. Мы озабочены. Нам нужен репертуар, который полноценней ответил бы требованию событий, великих событий, пойми! У нас в репертуаре кое-что есть бодрое, но именно только в том смысле, в каком ты сказал, — веселое, смешное...

— И более полноценное, чем моя комедия, — холодно вернул Пастухов.

Оратор выпустил его локти.

— Коллектив репетирует вещь, которая сейчас не может прозвучать, — сказал он в сторону. — Это нонсенс. Если бы твоя пьеса была уже на сцене — другое дело...

— Мы были бы счастливы, — скорбно вздохнул заведующий литературной частью и, как улитка, вобрал шею.

Пастухов помахал бортами пиджака: было, правда, очень душно. Он достал папиросу. Директор пододвинул пепельницу с самолетиком из прозрачной пластмассы. Заместитель директора шелкнул зажигалкой в виде пистолета. Художественный руководитель спросил режиссера:

— У тебя сейчас новые вводы?

Тот молча заглянул под рукав на часы. Заведующий литературной частью спросил директора:

— Вы хотели дать мне почитать?

Директор взялся перебирать фолианты.

— Я считаю, — сказал Пастухов, выпуская из ноздрей сердитую затяжку дыма, — мы здесь этой нашей милой беседой вопроса не исчерпали.

Он начал прощаться. Его обступили. Директор вышел из-за стола и потряс ему руку с выражением полного взаимопонимания.

До выхода из театра его пошли провожать художественный руководитель и завлитчастью. Он спускался по лестнице неторопливо, молчанием своим показывая, что принял решение бороться.

— Ты на дачу? — спросил художественный руководитель.

— Я в Комитет, — ответил он твердо. — Хотя вовсе не собирался портить себе нынешний день.

— Постой! — воскликнул завлитчастью и сразу будто выполз из своего костюмчика. — Поздравляю тебя, дорогой мой. Ведь нынче твое рождение? Правда? И я мог забыть!

Все трое остановились.



— Поздравляю, поздравляю,— сказал художественный руководитель.

— Благодарю,— ответил Пастухов, чуть шевеля гипсовыми губами, и вдруг ухватил протянутые ему руки.— Очень обрадован вашим подарком. Большой сюрприз! Дорого яичко...

— Ей-богу, напрасно ты расстраиваешься,— совсем убито проговорил завлитчастью.

— Не липни пластырем, Боренька,— сказал Пастухов и пошел к дверям.

Уже очевидно было ему, что война — удобный предлог отказаться от комедии, принятой театром с большими колебаниями. Пьеса обладала легкостью, которую ставили Пастухову в упрек. Недостаток этот казался ему достоинством. Ему часто удавалось обрисовать сценический характер одной мимолетной репликой так метко, что исполнителю оставалось только хорошо ее произнести. Актерам нравилось играть его вещи, зрители не скучали на спектаклях, театры привыкли, что каждая вторая его пьеса подолгу делает сборы, он сам привык к этому. Но и актеры, и театры, и зрители не ждали от него вещей особенно значительных, с героями большими и сильными. Создалось обыкновенное отношение к драматургии Пастухова с той легкостью, которую в ней находили. Это задевало его, но он утешался успехом и тем, что — как он любил повторять — комедия есть высший жанр критики. Он охотно критиковал, это у него получалось. И он не мог изменить того, к чему пристрастился, даже если бы очень хотел: природа есть природа — он больше писал легкие пьесы.

Пастухов расспросился перед выходом на артистический подъезд. Когда он ехал в театр, у него было намерение вечером повезти к себе на дачу художественного руководителя и, может быть, Бореньку, человека не совсем бесполезного, на чей счет Пастухов как-то пошутил: «Литчасть в театре, конечно, не аорта, но все же капиллярный сосуд».

Теперь ему было неприятно, что он собирался этих людей пригласить. Прощаясь, он не сказал им ни слова.

Он сел в автомобиль, чтобы ехать в Комитет по делам искусств. Его, как в бане, обдал жар раскалившегося на солнцепеке кузова, и он стащил с себя пиджак.

— Заедем в «Националь», я хочу пить,— сказал он шоферу.

Кафе было полно народу. Открытые окна с шевелящимися тюлевыми занавесками не успевали выхлебывать табачный дым. Официантки вытирали лоснящиеся лица. Кое-кто назвал Пастухова по имени, пока он зигзагами пробирался между стульев. Он только кивнул в ответ.

Перед короткой стойкой толпились люди, подходившие сюда из зала и с другой улицы через неудобную узкую дверь. Пастухов встал на цыпочки, стараясь разглядеть, что делается за прилавком.

— Лимонад есть? — спросил он, ничего не видя, кроме затылков, и без всякой надежды, что ему ответят.

— Идите к нам, Александр Владимирович!

Пухлый, с коротким торсом человек в белой паре выглядывал из-за спин, теснившихся вокруг столика. Пастухов продвинулся к нему, и он, закидывая назад голову, как делают низкорослые люди, и пытаясь стать так, чтобы лучше был виден наколотый на грудь орден, поздоровался довольно величаво.

— Мы разжились двумя бутылками нарзана. Сейчас достанем вам стакан.

— Вот, пожалуйста. Я еще не начинал,— сказал молодой человек, протягивая стакан с водой.

— Очень хорошо,— одобрил человек в белой паре.— Вы не знакомы, Александр Владимирович? Художник Рагозин. Станковист. Иван Петрович. Делает кое-что для нашего зала.

— Ну, это только так...— сказал неловко художник.

— Да, да. Сухой кистью, как говорится. Портреты артистов к юбилеям или в этом духе. Для убранства.

— Подработать,— опять будто с неловкостью за себя выговорил Рагозин.

— На бутылку нарзана?— почти подмигнул Пастухов, принимая стакан и рассматривая художника.

Человек в белой паре, выпив воду, начал просушивать лицо отрывистыми прикладываниями платка, точно ощупью проверяя, все ли на месте.

— Очень кстати встретились, Александр Владимирович,— сказал он важно.— Напоминаю ваше обещание выступить у нас на дискуссии.

— На какой?

— Не помните? Даже и тема-то была согласована с вами — о природе комического и прочее. Словом, дискуссия о комедии на советском театре.

Пастухов сощурился, встретив колючие, придвинутые к переносице глаза собеседника. «Знает или не знает?» — подумал он и повернулся к художнику.

— Я отнял у вас стакан. Умрете от жажды — за вас еще отвечать...

— Пейте, сколько хотите,— сказал художник с улыбкой, которая вдруг настирила и без того широкое его лицо.

— Так мы напечатаем ваше участие на пригласительном билете,— сказал человек в белой паре, нажимая на слова, чтобы заставить себя слушать.

Пастухов обвел над его головой взглядом, словно заинтересовавшись, что происходит в окружении.

— Видите ли, я думаю...— проговорил он, и было видно — он действительно придумывал, что бы такое сказать.— Я думаю, эта тема...

— Очень тонкая тема! — сказал собеседник, показывая намерение забежать вперед.

— Где тонко...— остановил его Пастухов.— Сейчас не до тонкостей. Мы будем новыми задачами. Природа комического от нас не уйдет.

— Э-э, а собрать аудиторию? Тут момент тактический. Начнем с комедии, перейдем на более серьезные вещи.

— Карамельки сейчас никого не соблазнят.

— Почему — карамельки? Вы же не карамелька?

Неожиданно ясно почувствовав — «знает!», Пастухов остановил взгляд где-то на касательной к макушке своего визави.

— Искусство не прощает хитростей,— сказал он увесистым тоном и опять обернулся к художнику.— Понимаете меня?

— Конечно, лучше говорить напрямик, что думаешь,— буркнул Рагозин.

Пастухов отдал ему стакан таким жестом, каким вручаются отличия: ему понравился этот малый — крупнолицый, похожий на ахалтекинского коня. Пастухов готов был заключить с ним союз против человека в белой паре, продолжавшего говорить с важностью:

— Вот вы и скажете, Александр Владимирович, о новых задачах театра напрямик. Как раз то, что от вас ожидаем. Но умоляю, умоляю,— он повторил это слово с оттенком предупреждения,— не отказывайтесь. Без вас невозможно... Кстати, что с вашей комедией? Репетируют?

— Я ее снял,— мгновенно ответил Пастухов.

— Сняли? А театр? Театр согласился?

— Что же вы думаете, театр не понимает, какой сейчас момент?

— А Комитет?

Кажется, этот напыженный лилипут был не из очень понятливых. Пастухов заглянул ему в глаза: что, если он ничего не слышал о решении театра? Все равно. На попятную идти было поздно. Пастухов сказал полновесно:

— Я как раз еду в Комитет заявить, чтобы репетиции были прекращены. До свиданья.

Прощаясь с художником, он посмотрел на него насколько мог ласково.

— Вы выставлялись?

— Немного.

— Где же кончали? У кого?

— Учился у Гривнина... а кончить пока не довелось.

Рагозин опять, после мгновенной неловкости, широко улыбнулся.

Пастухов чуть-чуть помигал своими легкими веками.

— Пейзажики? — игриво спросил он.

Рагозин вдруг помрачнел:

— А что? Пустой жанр?

— Будьте здоровы, — сказал Пастухов и пошел к двери, не обращая внимания на встречающих, толкавших его в бока.

«Что за противный день», — подумал он, откидываясь на горячем сиденье автомобиля.

— В Комитет? — спросил шофер.

— К черту Комитет! Едем... в парикмахерскую.

## 2

Александр Владимирович любил гостей. Трудно сказать почему. Потому ли, чтобы множилась молва о широте его натуры, либо потому, что он был и правда широк по натуре. Свое тщеславие он называл друими именами — гордостью, честолюбием, достоинством. Он даже посмеивался над тщеславием. Его забавлял работавший у него шофер Матвей Веригин, которому нравилось покрасоваться за рулем, хвастнуть машиной и ездой.

Но Веригин своей невинной слабостью доставлял порядочное удовольствие хозяину и преоглично это знал. Трехголосной трубой раздавался сигнал Матвея, точно сел за орган консерваторский профессор Гедике, и прохожие как вкопанные останавливались на перекрестках: что за возвышенную персону катит лимузин, оснащенный такой музыкой? Пастухов только усмехался в нос.

Раз он добродушно сказал шоферу:

— Вам бы служить у какого-нибудь нувориша.

— Кто такой?

— Большой вы щеголь, Матвей Ильич.

Веригин ехал минуту молча, потом ответил с доброй улыбкой:

— Подшучиваете, Александр Владимирович. А самим по душе...

Пастухову на самом деле было все это по душе — и трубный глас сигнала, и крепдешиновые шторы на заднем стекле автомобиля (плоды обдуманых забот Юлии Павловны), и то, что Веригин, обогнав по шоссе какую-нибудь машину, старался как можно дольше придерживаться серединной черты дороги, которая отведена правительственным автомобилям. Поощряя эту ребяческую мистификацию, Пастухов сваливал весь грех на шофера, хотя сам испытывал щекочущую приятность оттого, что машина его и впрямь могла сойти за правительственную.

Юлия Павловна питала к Веригину большое расположение, и это давало Пастухову повод иногда подшутить и над ней.

— Что ты делаешь, Юленька?

— А что такое?

— Даешь Матвею чай с лимоном! Ведь этак у Ляли разовьется ма-локровие...

В разговоре с женой он прозвал Веригина Лялей: как бы Лялю не просквозило... у Ляли утомленный вид...— шпильки эти должны были означать, что если бы не Юлия Павловна, то Пастухов никогда не пота-кал бы шоферскому форсу.

К молве о себе Александр Владимирович относился настороженно, и, если она не благоприятствовала ему, он умел создать впечатление полного безразличия к ней. Многолюдье за домашним столом, потче-ванье и пированье он любил искренне, но жестоко скучал, если гостей мало ублажало его радушие.

Сейчас, чтобы не думать о театральной неприятности, Пастухов ста-рался перестроиться на праздничный лад и разъезжал по магазинам, забирая, где посчастливится, редкие марочные вина (тут он знал толк с молодых ногтей), разыскивая себе в подарок новое вечное перо и по-путно покупая мундштуков, галстуков, цветных носовых платоч-ков.

У него была способность управлять ходом своих мыслей: работая — размышлять о работе, отдыхая — освобождать голову от всего серьез-ного. Вещи влияли на его настроение, точно климат,— довольно было подержать в руках удачно расписанную старинную табакерку, как душа начинала улыбаться.

На этот раз и мысли и настроение Пастухова заупрямились. Он хо-тел представить себе приятный вечер с гостями, а воображение не слу-шалось. Хотел рассеяться, перелистывая на уличном столе букиниста «Русские простонародные праздники — Святки, Авсень, Масленица», а ему что-то мешало понять, есть у него желание купить вековой дав-ности книгу или он сейчас закроет ее здесь, на Кузнецком мосту, чтобы больше никогда о ней не вспомнить.

Усталый от жары, он наконец велел ехать домой.

Московские улицы быстрее покатались за его спину, и, когда уже поздно было придумывать, куда бы еще зайти, Пастухов вдруг почув-ствовал, что ему не жалко своей несчастливой пьесы. Он почувствовал, что настроиться на отдохновенный лад ему мешала не театральная не-удача; а то состояние сжатой груди, которое, наступив три дня назад, притаилось в нем и не хотело отпускать.

С этим изменившимся чувством Пастухов наново взглянул на свою размовку с театром и увидел, что она не имеет значения для него, по-тому что не имеет никакого значения для театра, для всех театров, со-биравшихся поставить комедию, и главное — не может иметь того зна-чения для зрителей, на которое он прежде рассчитывал.

В один миг после причудливых новых домов Можайского шоссе оборвалась Москва. Машина взлетела на Поклонную гору. Русской иг-рушкой проглянула издали выточенная церковь Покрова. Набегая спе-реди и уходя под бок, потянулись Фили с приземистыми жилыми ба-раками и с перекрещенными улицами старинного села. Простор равни-ны вливался в обвешанное редкими облаками небо, и на нем разрознен-но виднелись фабричные трубы, массивы высоких зданий.

Одни эти названия — Фили, Поклонная гора — уводили Пастухова по исхоженным тропкам размышлений в давно прошедшие времена. Ко-торый раз за свою жизнь задавался он вопросом, повторяет себя чело-

веческая история или нет. И если повторяет, то во всем и всегда ли? Во многом, слишком многом есть сходство между тем, что когда-то было и что происходит нынче. Но ведь неизбежно и различие. Чего больше? Существует прогресс, и, значит, различий между минувшими и нынешними временами становится все больше. Но одно меняется быстро, другое слишком медленно. Сколько раз за десятилетие отыщет себе новое русло какой-нибудь ручей, а леса стоят веками, и скалы недвижимы тысячелетия.

Бонапарт ждет на Поклонной горе, когда «бояре» поднесут ему ключи Москвы. Всё говорит, что час его торжества наступил. Но перед тем как нога его коснулась Поклонной, военный совет в Филях решает, что час пробьет позже. И вот торжеству нетерпеливого цезаря суждено обернуться унижением. Из века в век цезари не только побеждают, но и просчитываются. И, однако, за одним цезарем является другой, гонимый неумиряющей жаждой господства над миром, уверенный, что хорошо обучился истории и не даст ей над ним посмеяться. Повторится ли история на этот раз, несмотря на все различия времен? Заурядный австрийский фельдфебель, еще вчера смешной, а нынче превратившийся в чудовище, ужаснувшее Европу,— этот горлан в римской тоге, взятой напрокат в балагане древностей,— удержится ли он на цезарском помосте, на который вскарабкался, посаженный пушечными королями Рура?

Пастухов глядит через смотровое стекло прямо перед собой. «Кадиллак» мчится по широкой линейке Минской магистрали. В боковое опущенное окно жужжит встречный ветер, пропитанный горячим духом асфальта, еще мягкого от дневного пекла. Солнце уже опускается, и на северо-западе облака золотятся. Далеко впереди линейка шоссе кажется кинжалом, положенным на землю. Асфальт отсвечивает краской заката, и похоже, что кинжал окровавлен... Вчера сообщалось о новом налете бомбардировщиков на Минск. Что будет сообщено завтра? Каким еще варварством, каким срамом покроет себя восславляемая на всех перекрестках цивилизация Запада? Какими еще жертвами, какой отвагой ответит народ, снова вынужденный кровью отстаивать советскую землю от нашествия врага? Что там сейчас, на другом конце этой новой, совсем недавно отстроенной магистрали? Как знать. Но вовремя, к самому сроку протянут на запад ее отшлифованный кинжал...

Вдруг Пастухов увидел, как там, где склоняется солнце, прикрывая его, выпучилось громадное темное облако с отливом голубиного пера посередине и с огненной оторочкой по краям. Оно повторяло контур сфинкса, но вместо львиной головы несло остроносую морду павиана. Сфинкс не менял очертаний, не двигался. Только оранжевый хвост, обнимавший поджатые лапы, медленно вело книзу, будто страшилище собиралось им шелкнуть.

— Смотрите-ка, Матвей Ильич! — показал Пастухов на небо. — Жуть!

Он поежился, продолжая разглядывать странное облако, потом беззвучно засмеялся и посмотрел на шофера.

Матвей сидел строгий, сосредоточенный. Его челюсти, обычно игравшие мускулами, когда он не хотел отвечать, были крепко сжаты. Он шоферски быстро повернул голову вправо, косым взглядом задел Пастухова, остановил глаза на облаке и опять вперил их в даль дороги.

— А правда, страшно, — сказал он после молчания и набавил скорость.

«Черт знает! — немного насмешливо подумал Александр Владимирович. — Не хватает еще дождаться небесных знамений!..»

«Кадиллак» брал отлогий подъем, и впереди постепенно открывалась близящаяся навстречу длинная колонна машин. В голове колонны катился «газик» с опущенным тентом, поверх которого вспыхивало на коротком древке воинское знамя. Командир, стоя позади древка, плыл в легкой скорлупке автомобильного кузова и, словно капитан буксира, наблюдающий за караваном, посматривал за следовавшими тягачами с пушками на прицепах.

Матвей сбавил ход. Можно стало приметить загорелые лица красноармейцев, плечом к плечу сидевших на тягачах. Гусеницы, скрежеща, выжимали на асфальте рубчатые дорожки глубокого следа, а бежавшие за тягачами прицепы тяжкими колесами стирали рубцы и наносили на шоссе елочку резиновых покрышек.

Грохот колонны, и эти тесно сидящие расчеты артиллеристов на тягачах, и обтянутые брезентами, прямые, точно гигантские указки, стволы орудий на прицепах — все это изредка встречал Пастухов и прежде по той же дороге к себе домой. Но его поразило, что передвижение артиллерии сейчас наполняло чувство чем-то чрезвычайно значительным, как будто по виду знакомая картина могла вместить в себя смысл наступивших событий.

Надо было поворачивать влево, и Матвей остановил машину, пропуская колонну. Тогда полбженные дистанции между бегущими орудиями стали казаться длиннее, сам бег медленнее, скрежет тягачей пронзительнее. Пастухов старался лучше взглядеться в красноармейцев, но движение сливало их в короткие полосы, мелькавшие мимо, он не мог ухватить глазом ни одного лица в отдельности, и от этого люди чувдились составной частью катившихся стальных машин.

Когда колонна прошла и «кадиллак» свернул с магистрали на лесную дорогу, воздух все еще пропитан был газами бензина, горелого масла, вонью перемятого асфальта, и далекое грохотанье тягачей долго не угасало в ушах. Пастухову хотелось как-нибудь выразить возбужденные свои чувства, но то, о чем он думал, представлялось ему слишком отвлеченным для Матвея, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— Хороша тяжелая наша артиллерия, правда?

— Это зенитки.

— Я понимаю. Я про калибр.

— Калибр средний, а не тяжелый.

Снисходительность, с какой неторопливо отвечал Матвей, остудила Александра Владимировича. Он был небогат военными познаниями. Но, наделенный умением держать себя с достоинством, скромно переменил специальный разговор на общедоступный.

— Исковеркает асфальт гусеницами. Жалко шоссе.

Матвей выдержал куда более продолжительную паузу, чем раньше.

— Людей жалче, — нахмуренно сказал он.

Пастухов поднял брови: пожалуй, слово как раз было тем самым, что залегло в мыслях, о чем бы он ни начинал думать. Жалко людей, жалко себя, жалко налаженной, такой содержательной жизни, которая вот-вот, наверно, разладится и рухнет. Не таится ли в душе шофера нечто очень близкое тому, что не пускает Александра Владимировича в эти душные дни вздохнуть полной грудью? Бог его знает, этого Лялю! Очень может быть, Юлия Павловна справедливо считает его весьма деликатным созданием.

— А как по-вашему, Матвей Ильич, деревня лихо будет драться?

Веригин ответил сразу, но словно бы с неудовольствием откалывая словечко за словечком.

— На деревне стоим. Надо — она дерется. Надо — замирается... Да всегда пашет, — отрубил он под конец и дал сердитый сигнал, неожиданно тормозя.

Дорогу загоразивали машины. Что-то происходило за вытянутым поворотом на выезде из леса. Тут начинались земли колхоза, соседнего с дачей Пастухова, и он хорошо знал места. Он с удовольствием распахнул дверцу.

— Пойду взгляну.

Сразу за поворотом столпилась кучка людей, неподвижная, тихая, — деревенские женщины в белых платках, дачницы с загорелыми, босоногими ребятишками, шоферы. Слышался стук по загоняемым в доски гвоздям.

Поперек дороги стоял грузовик. Несколько человек кончали стелить примост к открытому кузову с построенным из брусьев станком для коня. Чуть в стороне от дороги низкорослый мужичок-крепыш в заломленной на затылок кепке держал за повод гнедую лошадь.

Это был знакомый Пастухову колхозный конюх — пожилых годов малолетославец, безбровый, с круглым, рыжим от веснушек лицом и подвернутой с одного бока верхней губой. Он глядел немигающими сизыми глазами, как налаживают примост. Рука его с поводом не шевелилась, весь он был скован напряжением и, несмотря на малый рост, странно похож на лошадь, которая, насторожив уши, тоже не сводила блестящих черных глаз с людей, работавших у грузовика.

Пастухову с первой минуты стало ясно, что колхоз сдает коней по поставке в армию. Но только увидав конюха с лошадью, а в полусотне шагов — разинутые воротца конюшни, казавшейся сиротски брошенной среди поляны, он ощутил, как затомилось сердце, будто это у него самого забирал ремонтер добрую гнедую из опустевшей, уже ненужной конюшни.

Совсем неподалеку отсюда начинался тот пойменный лужок, куда гоняли лошадей в ночное. Здесь как-то вечером, на прогулке, Пастухов расслышал добродушно-острастный, хрипчатый голосишко: «Ку-да, ку-да?» Жеребята норовили зайти в клевер, на смежное поле, и с неохотой, но послушались, повернули назад, к стреноженным маткам. Сидя на корточках, мужичонка затягивал на колу длинную привязь, на другом конце которой пушена была пастись статная гнедая кобыла. На пастбище и состоялось знакомство Александра Владимировича с колхозным конюхом.

Это был человек настолько словолюбивый, что не успел Пастухов полюбопытствовать, почему это все лошади пасутся вольно, а гнедая привязана, как он в ответ начал выкладывать про кобылу, что надо и не надо, в придачу же — едва ль не всю свою бесприхотную жизнь.

Оказалось, гнедая была нравна и хитра, и если уж когда не дастся стреножить да вырвется в поле, то хоть скачи за ней верхом — не сгонишь, не заарканишь, не приманишь и лаской.

— Сказать по-настоящему, не конюхово это дело — сторожевать в ночном. А подмоги колхоз не дает. Поставили раз парня, на манер подпаса, да никудышного. Все только лается. Я ему выговор: ты что на коня материшься? Что он тебе — человек? Конь любит с собой обращение. А парень все свое. Выгнал его. Вот и маюсь один.

Поговорить особенно разохотили конюха папироски из пастуховского портсигара — выкурено их было за тот вечер на луговых кочках с полдюжины и про запас на ночь положено в кармашек не меньше. Он рассказал о службе своей в Малоярославце и о том, как приуныл в этом невеликом городе, пошел искать местечка по душе, из деревни в деревню, осел у самой Москвы, прижился, был принят в колхоз.



— Доверие мне полное,— говорил он, входя во вкус своей повести.— Конский состав у меня на высоте. Молодняк другая смена подрастает. К примеру, бедовая эта гнедая была жеребенком, как я приступил к руководству, а нынешний год второй раз сама ожеребилась. Все бы хорошо, лучше не надо. Да вот год назад овдовел... Жена у меня была обыкновенная. Прожили вместе тридцать лет, и что я к ней, что она ко мне — без особого внимания. А померла — все одно отпилили мне руку. Ни обшиться, ни постираться, ни шей сварить. Хожу, машу одной рукой — как есть ничего не образуется. Только и свет, что в конюшне. Домой хоть не заглядывай... Стал я соображать — не жениться ли на какой старухе? Дай, думаю, схожу к покойнице, спрошу ее, может, что присоветует, надоумит. Купил четвертинку, пришел, отпил на могилке половину, спрашиваю — как, мол, ты скажешь? Плохо мне без тебя, обносился весь, не с кем словом перемолвиться, только и покричишь что на кобыл. А она и досказать не дала, про что я хотел. Спокойно так говорит: «Дурак ты, дурак старый, помирать тебе пора, а не жениться...» Из-под земли! Вот ей-богу!.. Аж меня прознобило всего... Хотел убежать — ноги дрожат, нейдут, того гляди свалюсь. Ну, кое-как удержался, допил остаток. Корочка была в кармане, посорил у крестика крошками, сказал спасибо за совет — да тягу!.. С той поры ни с чем и живу.

...Сейчас, глядя с дороги на конюха, Пастухов не узнавал его. Так хорошо помнилось лицо любопытного знакомца, когда он раскуривал папироски и спичкой озарялись крапины веснушек на его пухлых щеках и странная улыбка подвернутой губы. Крылись тогда в его смешливых чертах наивность и мыслишки себе на уме. Теперь ничего не оставалось от прежнего в этом лице. Оно было жестко в каждой складке, как наплыв на коре дерева.

Примост кончили делать, люди у машины расступились, негромкий голос прозвучал в тишине: «Давай, веди!» Вокруг стало еще тише, словно чего-то все ждали.

Конюх потянул за повод, тронулся вперед, и лошадь сразу пошла за ним, острее насторожив уши и раздвинув дрожашие ноздри. Конюх шагал отрывисто, как на марше, и твердо ступил на примост, только шаги его укоротились, когда он, подымаясь, согнул колени. Звонко отозвались доски на цоканье подков по примосту, скрипнул кузов грузовика. Конюх с ходу ввел за собой лошадь в станок, поднырнул под его боковой брус, а на передний, у затылка кабины, кинул и туго примотал повод.

Кончив дело, он слегка хлопнул лошадь по шее и, не глядя на нее, спустился на землю, стал спиной к машине. Пока шумно заделывали брусом станок позади лошади, скидывали примост и запирали на крюки борт грузовика, он все стоял неподвижно с открытыми своими сизыми, как олово, глазами. Но вздрогнула, забарабанила выхлопами машина, и он обернулся на лошадь.

Она косила сверкающим, испуганным глазом, отыскивая хозяина, не в силах двинуть привязанной головой, перебирая тревожно ногами, вздрагивая всем своим плотным, красивым станом. Вдруг всю окрестность огласило ее перекатистое, долгое ржание. И сразу, только оно на низком угрожающем ворчании оборвалось, прилетело вырвавшееся из конюшни ответное пронзительное жеребьячье ржание, точно отчаянный вопль. И матка забила копытами, заторкалась в станке и опять заржала по-степному дико.

Тогда конюх сорвал с себя кепку, швырнул ее оземь, со всей мочи крикнул что-то бессмысленное и побежал. Он бежал, сломя голову, раз-

махивая руками, как бегают мальчишки, напрямик через поляну, к конюшне, и без оглядки скрылся в темноте за ее распахнутой дверью.

Машины засигналили, начали разворачиваться, распутываться на узкой дороге. Люди молчаливо расходились.

Пастухов не мог двинуться с места. Он отдавал себе отчет, что стоит уже один на поляне, и, как всегда, его ненасытные чувства не переставали поглощать внешний мир. Он заметил, что поблизости видневшийся приусадебный участок одинокой избы засеян рожью и что цветущий колос будто посыпан белой пылью, а стебли снизу еще синеют. Но сознание его не закрепляло впечатлений, а подчиняло все чувства одной мысли.

Мысль состояла в том, что наступила жизнь, совершенно не схожая с тем, что было прежде, что люди уже сменили все прежнее на что-то новое и переменились сами. Прежнего не стало, а новое было понятно только тем, что оно грозно. Он стоял и стоял, а эта мысль, точно внезапное открытие, на которое натолкнуло его зрелище расставания конюха со своей гнедой, — мысль не прекращала упрямого кружения, пока до слуха не долетел вежливо-краткий знакомый гудок.

«Кадиллак» дожидался на опустевшей дороге. Пастухов сел рядом с Матвеем, и тот, по обычаю выдержав паузу, сказал:

— Мобилизовали лошадку-то?

— Мобилизовали! — тотчас ответил Пастухов.

Он мельком покосился на Матвея. Ему показалось, что слова шофера недружелюбны и он не все договорил. Но вернулась навязчивая мысль, что теперь не надо думать о прежнем, и Пастухов даже сказал себе, какой же он олух, что расстраивался своими театральными делами. Сейчас их уже нет, они только были в отлетевшем, возможно навсегда, прошлом.

Он увидел открытые ворота на даче — его ожидали. Размышления перебились. Он спросил себя: чего мог не договорить Матвей? Не хотел ли он сказать, что вот, дескать, лошадку мобилизовали, и не дурно бы забрить также вас, уважаемый Александр Владимирович? Но это же нелепость! Давно уже не в тех годах Пастухов, чтобы воевать. Да и довольно все-таки умен Матвей Ильич, чтобы такое подумать...

Не те года, не те! Но как-никак в свои пятьдесят восемь Пастухов прямо-таки хоть куда! И с удовольствием сейчас усядется за стол пображничать с гостями. Наверно, они уже собрались. Ах, если бы не эти задержки в дороге!..

Матвей сделал ловкий, всегда удивлявший Пастухова поворот, так приятно откидывавший седока вбок, и самочувствие Александра Владимировича тоже совершило легкий, незаметный поворот. «Кадиллак» въехал в дачный сад. Пастухов провел ладонью по лицу со лба к подбородку и стал самим собой, то есть совершенно прежним.

### 3

Прибыло уже пятеро гостей, когда Пастухов вошел в столовую с распахнутыми окнами и дверью на веранду, где был накрыт стол.

— Мы ужасно тревожились за тебя, — сказала Юлия Павловна, хотя никто не обнаруживал тревоги, а все улыбались хозяину.

Он также с довольной улыбкой рассматривал гостей — это были люди, встречавшиеся у него, хорошо знакомые друг другу.

— Я выстоял чудовищное сражение, — медленно сказал он, выбирая, с кого начать здороваться.

— Сражение? Где же это, дорогой друг? — спросила худая дама.

— В «Гастрономе»,— ответил он, подходя к ней.— В очереди, из которой вырвался, оставив противнику две пуговицы.

— Ну что это, Шурик! — умоляюще сложила руки Юлия Павловна.— Зачем тебя понесло в «Гастроном»? Я же тебе сказала: дома все есть!

— Ты только поди, Юленька, посмотри на кухне, какого я отвоевал титанического рыбака! — говорил Александр Владимирович, нагибаясь к худой даме и целуя ее немного костлявую, но приятную, с длинными пальцами, руку.— Это уж даже не рыбец, а какой-то абсолютный чемпион мира!

Кругленький гость, выглядывая из-за цветов на кабинетном рояле, крикнул, прикрыл, а потом выпучил светлые, как бумага, добрые глаза.

Юлия Павловна, смеясь и в то же время показывая неудержимый интерес к рыбаку, выбежала из столовой.

Худая дама взяла в ладони лицо Александра Владимировича, как берут ребенка, когда хотят сказать, что готовы от любви его съесть, поцеловала в лоб, сказала проникновенно-тихо, с большими паузами:

— Неизменный. Всегда неизменный. Как это хорошо. Особенно в эти дни.

— Да... эти дни...— тоже тихо сказал Александр Владимирович и задержался в наклонной позе.

Любовь Аркадьевна Доросткова, актриса известного московского театра, немолодая, отличной сценической репутации, давно дружила с Пастуховым. Они встречались редко, как многие москвичи, даже обитающие по соседству, но каждый раз, встретившись, переживали минуту растроганности. Александр Владимирович глядел в умные, подведенные карандашом глаза Доростковой, а Любовь Аркадьевна — в глаза Пастухова, оба с тоскливо-нежным выражением, будто говорили: вот ведь безжалостная жизнь — мешает нам видеть друг друга каждый день!

Пока они здоровались, муж Любви Аркадьевны, режиссер Захар Григорьевич Торбин — вечный рыцарь, отпечаток вкусов и лепщик славы жены,— стоял около нее с неподвижно простертыми руками и молитвенной улыбкой. Застывший его жест почти пел за него: приди, приди ко мне скорее, иначе сердце мое не выдержит этого беззвучного экстаза ожидания!

Пастухов наконец вошел в раскрытые режиссерские объятия и сам обнял Захара Григорьевича.

— Сто лет вам жить, милый наш друг,— проговорил Торбин.

Голос его тремолировал, слеза накоплялась у переносья.

— Какой, значит, он? Абсолютный чемпион мира? А? — спрашивал кругленький гость, выходя из-за рояля.

— Ты уж крикнул, Карп Романыч! Не терпится! — баском заметила его супруга, Муза Ивановна Ергакова, женщина рубенсовских красок. Взгляд ее выразил насмешку и утомленность — соединение, нередкое у людей, которые для разнообразия супружеской жизни ничего друг другу не спускают.

— А почему я должен терпеть, а?! — задорно спросил Ергаков.— Ради кого было сражаться в «Гастрономе», а? Правда, а? Терять пуговицы, а?

Он тряс хозяину руку, а другой рукой толкал в локоть подошедшего доктора Нелидова и все не переставал вопрошать, выпучивая свои бумажные глаза на жену, на Пастухова, на доктора.

— Кому предназначается этот самый чемпион мира? Дорогим гостям? А разве я не дорогой гость, а? Почему же не крикнуть, а?

— Подождал бы акать, пока не выпил,— сказала Муза Ивановна пренебрежительно.

— А в предвкушении нельзя? Ну, поздравляю, дорогой, а? Какой у тебя нынче юбилей? По-моему, подбирается к шестидесяти, а?

— Перестань толкаться,— сказал доктор.

Пастухов глядел на Нелидова хитровато, немного свысока.

— Что, спорщик? Выставляй шампанское,— сказал он с добродушной усмешкой и хмыкнул в нос.

Доктор вынул платок, прогладил длинные, как усы, брови, словно все обдумывая ответ.

— Постараюсь расплатиться. Если не успею, считай за мной. Завтра я — в военкомат.

Пастухов отступил на шаг.

— Вы проиграли пари, доктор? — спросила Муза Ивановна.

— Вас берут в армию? — почти в голос с ней, но беспокойнее спросила Доросткова.

— О чем пари? — настойчиво повторила Ергакова.

— Тебя забирают, Леонтий? — негромко выговорил Пастухов.

— Да, третий раз надеваю военный китель.

— Но ведь на войне нужны хирурги. Разве вы хирург? — спросила Доросткова.

— Десять лет вы у нас в театре, и мы всегда считали вас терапевтом,— добавил ее муж,— а вы хирург?

— Volens polens,— сказал доктор.

— Он главным образом мичуринец,— улыбнулся Ергаков и снова толкнул доктора в локоть.

— Он не хирург и не мичуринец, он невежа,— сказала Муза Ивановна.— Почему вы не отвечаете, Леонтий Васильич, какое пари вы держали?

— Сколько ты выставляешь? — спросил Ергаков.

— Не примазывайся,— заметила ему Муза Ивановна.

— Да, черт возьми, пари! — вздохнул Пастухов и тяжело провел ладонью по лицу.— Я честно хотел бы тыщу раз проиграть, чем этот один раз выиграть.

— Ну, положим! — засмеялась Муза Ивановна.— Выиграть всегда приятней.

Пастухов посмотрел на нее строго.

— Я спорил с Леонтием, что война неизбежна. Он утверждал, что мы из войны вышли.

Было одно мгновение чуть неловкой паузы, когда, наверно, каждый подумал, что у всех на душе одно и то же и никак нельзя избежать всеобщей мысли о событии, которое проникало в жизнь до самого ее ядра.

Ергаков отвел глаза к окну, они стали еще светлее и еще больше подобрели.

— Пари, извиняюсь, легкомысленное,— сказал он, словно обиженно.

Любовь Аркадьевна, разглядывая свои красноречивые пальцы и как будто обращаясь к ним, произнесла в тоне сожаления:

— Но ведь все были убеждены, что война будет. Разве кто из вас верил фашистам? Ни капельки. Все было подстроено ими для обмана. (Она резко оторвала взгляд от пальцев.) Подло подстроено.

— Решительно никто не верил! — отчаянно подтвердил Захар Григорьевич.

— Я бы даже не подумала спорить. Верный проигрыш,— сказала Муза Ивановна.

— А Леонтий думал выиграть,— сказал Пастухов, потом прижал доктора к себе и поднял голос, чтобы слышали все: — И давайте скажем

начистоту — еще прошедшую субботу большинство было одного мнения с доктором.

— Ничего похожего, — гордо отвернулась Муза Ивановна.

— Никогда! — воскликнула Доросткова. Она казалась расстроенной больше всех, и это передавалось ее мужу, который нервно поламывал пальцы.

Опять развеселясь и толкнув доктора под локоть, Ергаков сказал:

— Как же это, а? Опростоволосился, Наполеонтий Васильич?

— Старо, уважаемый товарищ, — хмуро отозвался Нелидов.

— Да уж там старо не старо, товарищ Гбридов, а шампанское — на стол!

Муза Ивановна нетерпеливо вздернула плечи.

— Гбридов тоже старо, Карп Романыч. Не прикидывайся, что тебе весело.

— Наполеонтий Васильич Гбридов, — досаждал Ергаков, не сдавая позиций шутника, но с улыбкой немного поблекшей.

— Меня зовут Леонтий Васильевич Нелидов, — еще больше нахмурился доктор.

— Идите вы ко всем чертям, — сказал Пастухов, обнял приятелей, столкнул их животами.

Ергаков засмеялся, выпаливая свое словечко «а? а?», будто понуждая всех согласиться, что он неотразим. Нелидов мрачно сказал:

— Остроумные люди не повторяются. — И отпихнул от себя Ергакова в низенький его живот кулаком.

— Гривнины! Благословенная чета Гривниных! — серебряно оповестила Юлия Павловна. Каблучки ее были слышны еще перед тем, как она вбежала в комнату, остановилась в дверях и повела рукой, приглашая новых гостей.

Бойко вбежал за ней Никанор Никанорович Гривнин, ближний сосед Нелидова по дачному участку и тоже приятель Пастухова, — человек в галстук бантиком, в широком неглаженном костюме, под которым все время чувствовалась странная работа тела: оно то вдруг заполняло собой мягкий пиджак, так что набухали плечи и выпячивалась грудь, то вдруг съеживалось, и не только пиджак, но и жилет и рубаха обвисали на нем, чтобы через мгновение опять набухнуть под напором грудной клетки. Он был светлорус, кудряв, веки его розовели от просвечивавшей крови. Смена жизнерадостности и удивления, похожего на испуг, происходила у него скачками, и он так же часто казался восторженно-счастливым, как потрясенно-несчастливым.

Вбежав, он тотчас спохватился, что не пропустил вперед жену, и бросился назад.

Она вошла — полная, уравновешенно-довольная, показывая большие светлые зубы, — приубавив шаг, поклонилась, проговорила сочным голосом:

— Я очень рада, о-о!

Француженка родом, Евгения Викторовна была давнишней спутницей Никанора Никаноровича, которого называла «мой de l'académie» (Гривнин не был академиком, но преподавал живопись и носил звание профессора), считала мужа единственным современным пейзажистом, ласково снисходила к его несколько сумбурному быту, что самой ей не мешало оставаться прижимистой и домовитой.

Ей навстречу пошел хозяин, они расцеловались. Пастухов осмотрел ее с головы до ног.

— Черт знает, сколько в тебе шику, Женя.

— О-о! — ответила она и снова огляделась. — Никанор, смотри, как красиво георгины отражаются в пианино!

— Очень,— быстро согласился Гривнин,— только, матушка, это не георгины и не пианино, это пионы и рояль.  
— О-о, ты не можешь без колкостей,— сказала она и засмеялась; и ей в ответ начали все смеяться: женщины, целуясь с ней, мужчины, ожидая очереди поздороваться.

Гривнин поднес хозяину завернутый в газету маленький этюд в рамке. Картину развернули. Пастухов сощурился, держа ее в вытянутой руке. Гривнин внезапно засмутился, пробормотал:

— Так себе... нотабене к твоему рождению...

— Поскупился! — воскликнул Ергаков.

— Пустячок,— сказал Гривнин с извиняющейся улыбкой, отошел на середину комнаты, вопросительно помычал «гм? гм?» и вдруг полной грудью дохнул, в изумлении обводя всех розовым своим взором.— Как вам нравится? Вы понимаете или нет? Ломят и ломят напропалую! Будь они прокляты!

Мужчины бросили рассматривать картинку, подступили к нему ближе. Ергаков продекламировал:

— Гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть и ад со всех сторон... А? А?

— Феноменальная память на стихи,— вполне серьезно сказал Пастухов.— Откуда эти забытые строчки?

— Брось, пожалуйста, издеваться,— неожиданно покраснел Ергаков.

Гривнин будто уже забыл, о чем начал говорить, и поворачивал голову со светлой улыбкой, оглядывая по стенам картины, точно узнавая приятных знакомых.

— Ты любишь, Александр, свои старые пьесы? Какое, наверно, наслаждение — взять и перечитать!

— Необыкновенное! — ответил Пастухов.— Иногда просто хочется завывать.

— А я люблю вот так поглядеть... на самого себя.

Все стали повертываться, следуя за взглядом Гривнина.

Когда-то Пастухов купил несколько его картин — излюбленные гривнинские мотивы: вода, пепельные ветлы, дороги, уходящие в нежные дали, пасмурное утро, либо просветы неба после дождя, и опять те же ветлы, вспыхнувшие сталью влаги.

— Талантливо все-таки! — сказал Гривнин. Лицо его сияло от внутреннего умиления.

Ему сочувственно улыбались.

— Ей-богу, здорово! — еще больше просиял он.— Хотя и не очень много мыслей... Что делать?.. Мысли передаются жанром, портретом. А если кому не дано?

— Если в самом деле не дано? Тогда как, а? — засмеялся Ергаков.

Гривнин стал серьезен.

— Я сделал больше полсотни автопортретов. Напишу, покажу. Спрашивают: это, наверно, ты?..

— Страшный кошмар! — сказал Пастухов и обнял Гривнина.

— Вы про искусство? — спросила Юлия Павловна, подводя под руку Доросткову и Евгению Викторовну.

— О, мой *de l'académie* всегда только об одном! — сказала Гривнина.

— Да, вы знаете, это ужасно! — почти на самом деле ужаснулась Юлия Павловна.— Судьба жены художника — делать вид, что ей не надоело слушать каждый день разговоры об искусстве. Надо быть настоящей героиней, чтобы это выдержать! Надолго ли может хватить терпения? У одной женщины — на год, у другой — на два. Но только у редких — на всю жизнь.

— Ты сама, Юленька, из редких? — спросил Пастухов и часто помигал, точно хотел прочистить глаза, чтобы лучше всмотреться в лицо жены. — Понять страдания жены художника нетрудно, — брезгливо двигал он опущенными губами. — Надо только представить себе, что было бы с ней, если бы она вышла замуж за водопроводчика и он каждый день плел бы ей про фановые трубы.

— Шурик сердится, но я говорю, что мы, жены, обязаны всегда с увлечением слушать наших водопроводчиков. (Юлия Павловна приложила голову к плечу Доростковой, потом к плечу Гривниной.) Софья Андреевна Толстая — всем нам поучительное назидание. Если бы она терпеливо слушала за обедом и ужином проповеди Льва Николаевича, может быть не было бы никакого Астапова? (Она сделала задумчивую мину.) Мне кажется, частые семейные драмы в среде художников объясняются именно этим неумением женщин годами слушать с утра до ночи: искусство, искусство, искусство! Это неизбежно ведет к разводам.

Все хором засмеялись, но так же сразу утихли, и кое-кто взглянул на хозяина.

Безжалостно раздался полный удовольствия голос Музы Ивановны:

— Это что? Предупреждение?

Юлия Павловна значительно поглядела на всех женщин по очереди, будто посвящая их в свои особые мысли.

— Интересно, Юленька, но немного длинно, — сказал Пастухов.

— Однако я страшно начинаю беспокоиться, — другим голосом сказала Юлия Павловна. — Стол накрыт на веранде, и мы должны откусать, пока светло: там не сделано затемнения.

— Да, затемнение... — сказала Доросткова.

— Тогда чего же терять время, а? — забеспокоился Ергаков.

— Кого вы ждете? — по-деловому спросила Муза Ивановна.

Хозяйка подняла брови.

— Как — кого? Должны приехать народные.

— Ах, народные? Кто же именно? — спросила Гривнина.

— Тетя Лика, разумеется, — сказала баском Муза Ивановна.

— А еще кто?

— Шурик просил тетю Лику привезти Улину, — сказала Юлия Павловна несколько пышно, как подносят сюрприз.

— Будет Аночка? — на громком шепоте проговорила Доросткова. — Разве она в Москве?

— Ах, Улина! — скучно сказала Муза Ивановна. — Это которая приезжала с этим... как его, этот периферийный театр?

— Нас не было в Москве, когда Аночка приезжала, и я страшно рада, что она сегодня будет, — сказала Доросткова с нежностью. — Я ее обожаю.

— Ну что она за Аночка? Вторая молодость к концу, — возразила Муза Ивановна.

— Она цветет, как вербена, — сказала на шепоте Доросткова.

— Удивительное существо, — вздохнул Захар Григорьевич, — и достоинство необычайное: актеры при ней галстуки подтягивают.

— Берите пример, женщины: рассказывают, она возит с собой мужнины фотографии! — вдруг нравоучительно сказал Пастухов.

— Это говорит больше о муже, чем о ней, — сказала Муза Ивановна.

— Мои, к примеру, фотографии Муза Ивановна не возит, а, а? — засмеялся Ергаков.

— Гудок! Слышите? Едут, едут! — воскликнула Юлия Павловна и побежала через веранду в сад.

Все пошли за ней.

Тимофей трусил по дорожке — открывать ворота, Чарли, наострив уши, обгонял его с увлечением, какой-то красный кот с перепугу махнул по стволу липы в гущу кроны.

В сад осторожно въехал длинный черный «зис».

Маленькая старушка, сперва попробовав одной ногой землю, как пробуют лесенку, спускаясь в купальню, бочком выбралась из дверцы автомобиля, вытянула за собой допотопный ридикуль и с улыбкой во все лицо осмотрела встречающих. Глаза ее совсем потонули в радушно-лукавых морщинах. Пастухов взял у нее сумку, она подняла руки для объятий. Но раздалось сразу несколько голосов:

— А Улина?

— Аночка разве не приехала?

— Где же Анна Тихоновна?

Морщины тети Лики расправились, блеснули быстрые глаза.

— Родимые мои! Вы что ж, не знаете, что ли? Ведь она, наверно, к немцам угодила!

— К немцам? Аночка?

— Бог с вами, Гликерия Федоровна! Она же в Москве!

— Кабы в Москве, милые!

— В себе ты, матушка, или нет? — оторопело сказал Пастухов. — Где ж мы ее с тобой видели?

— Сашенька мой, — с выступившими слезами ответила она и быстро прижала к себе руку Пастухова. — Да-ть Аночка наша за день до войны в Брест улетела! На гастроли!

— Боже мой! — выдохнула Доросткова, закрывая лицо длинными своими пальцами, и Захар Григорьевич участливо потянулся к ней.

— Ну, здрасте, приехали, — баском сказала Муза Ивановна.

Все двинулись к дому, по пути наскоро целуя Гликерию Федоровну — кто в щеки, кто в губы.

Ступив на крыльцо, она вдруг оборотилась назад, еще раз осмотрела всех мокрыми, горько сморщенными глазами, потрясла головой, будто жалеючи всех нестерпимой бабьей жалостью, сказала:

— Вот ведь мерзавцы какие, что делают, супостаты окаянные, а?

И пошла в дом, кулачком вытирая лицо.

## 4

Есть дружбы, которые выражаются постоянными взаимными насмешками или подтруниваниями друзей. Это особый фасон, рожденный неприязню к открытым излияниям чувств. Люди, умеющие любовно посмеяться над приятелем, умеют посмеяться над собой, знают настоящую цену шутке. Искренностью симпатий поощряется юмор, и юмор исключает показательные высказывания любви — они отдают лестью.

Застольный шум у Пастухова на веранде был похож на зауряд-дачные семейные празднества. Может быть, всего было побольше — побольше болтовни, смеха, спичей, побольше и споров, цитат к месту и не к месту, громких, однако не слишком радикальных расхождений. Вин было не много, зато на разный вкус, и каждое только на изысканный. Совсем не было пения.

Пастухов заметил однажды, что когда не о чем разговаривать, тогда поют. Карп Романович весело возразил:

— По-моему, поют, чтобы не было слышно, о чем разговаривают.

Пастухов сощурился на него.

— Так вот почему ты всегда порываешься сколотить хор! По-твоему, наши разговоры надо замазывать от чужих ушей пением?

— Ах, что ты! Просто я музыкален...



Намек не очень понравился Александру Владимировичу: по части музыкальности природа отнеслась к нему безразлично, и он это скрывал.

Теперь диалог возобновился. Когда выпиты были первые бокалы за новорожденного и за хозяйку, Ергаков вызвался сказать экспромт. Юлия Павловна потребовала, чтобы все налили вина и сейчас же после экспромта выпили за его автора. Карп Романович поднялся, выпучил на хозяина глаза, заигравшие от первых порций сухого, прочел:

Он Мельпоменой вставлен в раму  
В честь признанных своих заслуг.  
Он к пенью глух, он любит драму,  
Зане он в пенье туг на слух.

Все, кроме хозяина, захлопали в ладоши. Карп Романович сиял. Он потянулся к Пастухову со своим бокалом, но тот сказал, подымаясь:

— Минута терпения! Пьем за здоровье Карпа Романыча, но не раньше, чем все прослушают мой ответ на его «зане».

Гости притихли. Он сморщил нос, слегка пофыркал и прогнусавил речитативом:

Хи-хи! Стихи! Люблю стихи я,  
Зане о не — моя стихия.

Под общий смех он любезнейше чокнулся с Ергаковым. Разделявая на тарелке цыпленка, прислушивался, как комментируют соревнование импровизаторов. Ергаков закричал:

— Я посрамлен! Жалкий любитель, я складываю оружие к ногам профессионала. Какой блеск рифмы, а?! И что за элегантная вольность в обращении с грамматикой!.. Стихи, насколько понимаю, род мужеский. И вдруг они стали о не! А?

Пастухов забил ножом по бокалу. Дожевывая, не подымая взгляда, он выждал внимания и сказал как можно тише:

— Следуют разоблачения... Во-первых, Карп Романыч располагал почтенным сроком на сочинение своего экспромта. Владея в совершенстве стихом, он на протяжении недели... подыскал две... удобоваримых рифмы...

Голоса со всех концов стола уже перебивали его. Он не менял ни позы, ни тона. Муза Ивановна басом вторглась в шумы.

— Карп Романыч потел над стишком всего только одни сутки!

— Это была его Болдинская осень! — крикнул Гривнин.

— Доктор! Вы же классик! — пропела Доросткова.

— Вы классик, Леонтий Васильевич, — вторил ей супруг. — Разъясните недоразумение с Мельпоменой!

— Но дайте Шурику закончить разоблачения! — звенела колоратура Юлии Павловны.

— А что с Мельпоменой, что? — всерьез беспокоился Ергаков.

— Во-вторых, — начал Пастухов и подождал, когда гости угомонятся. — Я не отвечаю за двустиише. Ни за грамматику, ни за рифму. Шедевр принадлежит стихоплету дореволюционных времен.

— Плагиат! — чуть не взвизгнул Ергаков.

— Нисколько. Я сказал, что это мой ответ, а вовсе не экспромт. Память подвела, не могу назвать автора. Но он был пророком. Он предчувствовал приход эпиграммиста Ергакова. Занеже подцепиша Карпа на свой крючок.

— Долой плагиатчика! — протестовал Карп Романович.

— Леонтий, добей его, — почти скомандовал Пастухов.

Нелидов положил пенсне перед своей тарелкой.

— Богиня Мельпомена,— вступил он учительски,— покровительствовала трагедии. Но трагедия древних, вы это знаете, включала хоры. Оценив заслуги пастуховской драматургии, богиня тем самым отдала дань всей совокупности звучания сценического искусства Александра...

— Послушай, ты!..— прервал было Ергаков, но его остановили дружные возгласы, требовавшие, чтобы он дал договорить.

Любовь Аркадьевна умоляюще сложила и вскинула руки.

— Милый доктор, но ведь надо отличать хоры в понимании древних от того, о чем говорится в эпиграмме. Права я?— обратилась она к мужу.

Захар Григорьевич не успел ответить: доктор методически продолжал.

— Несостоятельность эпиграммы, которая противопоставляет драму пению...

Ергаков был не в силах слушать дальше.

— Если ты сейчас же не прекратишь свою лекцию, ты, клистирная трубка...

— О, о!— завоскликала Евгения Викторовна, и ее певучие нотки подхватили на разные голоса все женщины, и хохот мужчин аккомпанировал им рокотаньем.

— наших бьют!— кричал Гривнин, как защитник, прижимая к себе доктора.

Ергаков вскочил, попробовал что-то сказать, но безуспешно. Муза Ивановна потянула его за рукав и усадила.

— Сдаюсь!— протяжно выкрикнул он, склонив голову, озираясь исподлобья со смиренно-лукавой улыбкой.— Ну что вы подняли хай? В конце концов что я сочинил? Стихи военного времени, не больше.

До сих пор молчавшая тетя Лика встрепенулась, точно в испуге провела ладошкой по плечу Пастухова, с укоризной остановив бесцветные свои глаза на Карпе Романовиче.

— Что это вы, батюшка?

Гривнин утратил всю живость и спросил холодно.

— Ты это серьезно?

— Ну, если хочешь, чтобы серьезно, то ведь я шутил не больше вас всех,— сказал Ергаков.— И наконец, не угодно ли вспомнить предложение хозяйки дома и выпить за...

— Да, да! За милого Карпа Романыча, которого совершенно напрасно исклевали в кровь!— бравурно и ласково договорила Юлия Павловна.

С питьем, однако, не поладилось, хотя все притронулись к вину. Ергаков один решительно осушил бокал и, чтобы сгладить наступившее затишье, опять начал говорить. Похоже было, он себя выгораживает.

— В общем ясно, почему на меня ополчились. Зависть! Я сказал экспромт, а вы этого не умеете делать. Вот и все... А насчет твоего вопроса, Никанор Никанорыч... Давай, не шутя. Подлинная поэзия живет вечно и во все времена года. Для нее нет зимней или какой иной спячки. Но я имел в виду стихи, приуроченные к событиям. К тем или другим. Так сказать, служебную поэзию...

— Оратор, перестань нести чушь!— сказал Пастухов.— Служебная поэзия просто не поэзия.

— Она тогда поэзия,— настаивал Ергаков,— когда исполнена волнения. Сейчас, как никогда, перед поэтом стоит задача писать взволнованно...

— Крышка, брат, коли волнение становится задачей,— опять перебил Пастухов.— Тогда дело поэта безнадежно, как если станет задачей любить женщину. Да еще «как никогда».

— Я понимаю. Я хочу...

— В том и беда, что не понимаешь! Искусство так же, как знание, как наука, существует независимо от того, когда оно добыто — в войну или когда еще.

— Ты повторяешь меня!

— Но я не повторяю твоих глупостей. Война повышает требования к каждому человеку, стало быть и к поэту тоже. Не каким-то служебным должно быть искусство в войну, но лишь самим собой. И разве только выше.

— Ах, это замечательно верно! — проникновенно выдохнула Доросткова, и казалось, муж дохнул с нею одной грудью.

— Шире, а не выше, — возразил Гривнин, — искусство должно стать шире.

— Что это означает — шире? Ниже? Хуже? Прimitивней? — доби- вался Пастухов.

— Шире — значит распространенней, — заявил Гривнин с некоторым удивлением перед тем, что сказал.

— Но тебе лучше знать, что распространенней видишь, когда поды- маешься выше.

— Распространенно — это чтобы не для одного моего глаза, а чтобы для целого миллиона глаз, — сбивчиво торопился художник и вдруг вызы- вающе кончил: — Если нынче потребуется плакат, я брошу пейзаж и буду рубать плакат!

— Если только сумеешь, рубака! — дружелюбно улыбнулся Па- стухов.

— О, я узнаю наших метров! — всем по очереди показывая жизнера- достный зубатый рот, провозгласила Евгения Викторовна. — Они уже сидят... как это говорят... о такой лошадке?..

— Сели на своего конька, — подсказали ей.

— Уже сели на коньки, — поправила она.

— Женя — прелесть! — рассмеялся Пастухов. — Ты вынула у меня изо рта, что я хотел сказать. Каждый теперь должен сесть на своего конька. Работать то, что лучше всего умеет. И во всю силу.

Он отпил несколько маленьких глотков вина, пожевал губами, хотел что-то добавить к своей мысли, для него самого совершенно нечаянной. Но тут Юлия Павловна принялась громко перечислять закуски, которых еще никто не отпробовал, и посмотрела за окна, с изящной озабочен- ностью поводя своею красочной головой. Время шло к сумеркам, а ужин, не в обычай пастуховским празднествам, подвигался вяло.

Александр Владимирович тоже взглянул за окна и вновь ощутил тот, другой, простиравшийся где-то в бледном небе мир, грозную власть ко- торого он стряхнул с себя, подъезжая к воротам дома. Перед ним вспых- нул глаз лошади, горящий страхом, и он увидел ее начищенное, лосня- щееся рыжизной и дрожащее тело. В уме его путалась чепуха из фраз о коньке и коньках, но не было весело, и он чувствовал, что привычное подшучивание друг над другом не доставляло гостям искреннего удо- вольствия. Хоть и безобидно, но шутки маскировали собой то, чего никто не скрывал и что было явью. Пастухов вспомнил, что надо скорее кон- чать с ужином и переходить в комнату, где подготовлено затемнение.

Он взглянул на тетю Лику, в ее сморщенное лицо с подобранными по-старушечьи, но тотчас улыбнувшимися губами.

— Что сидишь, точно на поминках? — спросил он в усвоенной смо- лоду просторечно-грубой манере, всегда получавшейся у него удиви- тельно приятной, почти нежной.

Гликерия Федоровна сразу прониклась этой озорной нежностью и с готовностью общения, которая движет сердцем актрисы, отозвалась по- рывисто, но так, чтобы слышал он один:

— Сашенька, милый мой! Не выходит у меня из головы наша Аночка! Проснусь, подумаю, так и бросит меня в холод.

Он не нашелся, что сказать, и только часто замигал, продолжая глядеть на нее в упор.

— Грызет меня совесть,— убиваясь, прошептала она и тихонько подалась к нему ближе.

— При чем твоя-то совесть? Ты, что ль, пошла на нас войной?

— Ах, Сашенька! Ведь чуть ли не я сама взяла да спровадила Аночку в Брест.

— Что ты плетешь?

— Уж чего там, касатик! Расписала ей брестскую труппу, выпускников институтских наших, похлопотала о молодежи...

— Да кто тебя дернул сватать? Когда ты успела? — изумлялся Пастухов.

— А в прошедшую пятницу, как она нам с тобой встретилась, прихожу домой — трещит телефон. Она сама, наша милая, из гостиницы. Явилась к ней от театра, рассказывает, директор с администратором, зовут на гастроли. Говорит, сама смеется, вроде и не думает о гастролях. А я вдруг распелась. Так уж, мол, хорошо получится, ежели свой первый сезон театр начнет с твоих гастролей. Поезжай, мол, не раздумывай... Очень уж молодежь способная.

Тетя Лика нагнулась, подцепила с пола свой ридикюль, сейчас же застрявший между стульев, неуклюже и сердито начала его дергать. Пастухов помог вытащить ридикюль и молча ждал, пока она раскрывала его, шарила, как в суме, и потом вытянула невесомый шелковый платочек, стала прессовать мокрые щеки.

— Ну! — поторопил он.

— Тут нукай не нукай, милый мой,— вздохнула она.— В субботу собиралась Аночка ко мне прийти, не пришла. А в воскресенье, как услышала я по радио... Ох, господи! (Она снова комочком платка размазала по морщинкам легко побежавшие слезы.) Кинулась я звонить в гостиницу. Насилу-насилу добилась. А мне словно спицей в ухо: гражданка Улина вчера утром выбыла!.. Так я и села, ни жива ни мертва.

— Мало ли что, выбыла! — неуверенно сказал Пастухов.— Уехала, может, куда еще...

Гликерия Федоровна обвела гостей вопрошающим взором.

— Неужто я дура, бог с тобой! Вся Москва говорит — в субботу поутру улетела в Брест. И в институте знают, и где только ни спрашивала...

Она прижала к губам платочек, на мгновение отстранила его, со всхлипом вытолкнула из груди:

— Видно, уж никакой надежды!

Перед ужином она отказалась говорить об Улиной — мешало волнение, и ее не расспрашивали. За столом уже с середины рассказа голос ее звучал громко. Все слушали. У Доростковой навertyвались слезы. Ергаков порывался выпить, но Муза Ивановна блюститительно перехватывала его руку. Гривнин сидел напыжившийся, с пылающими веками. Ему очень хотелось утешить Гликерию Федоровну, и он наконец отыскал утешение.

— Но как можно винить себя в чем-нибудь, когда это... как гром! (Он с воплем затряс над головой руками.) Гром над нами всеми грянул!

— Грянул, я и крещусь! — слезно подхватила его вопль, Гликерия Федоровна и, правда, мелко перекрестила грудь, как делала по необоримой привычке перед всяким своим выходом на сцену.

— Тетя Лика, а вы об Улиной у мужа ее не интересовались? — деловито спросил доктор.— Мужу, наверно, известно. Кто он у нее, актер?

— Он инженер, я знаю,— сказал Захар Григорьевич.

— Инженер в Сормове,— подтвердила Любовь Аркадьевна.

— Проснулись, родненькие! — сказала тетя Лика.— Давным-давно не в Сормове. Сколько лет как в Туле. Аночка прошедший сезон только из-за мужа и согласилась играть в Туле. Он там партработник какой-то...

Будто и не было слез, она обратилась с любопытством к Пастухову.

— Тоже ведь, как ты, саратовский, муж-то ее. Извеков. Не слышал такого?

— Извеков? — переспросил Александр Владимирович.— Не помню, матушка, нет.

— Извеков... что-то как будто...— начал Гривнин и живо хлопнул себя ладонью по лбу.— Нет, не то!.. Но так же вот: Извеков... Ученик мой рассказывал, помню, одну историю. Там, кажется... в истории этой...

— Меня сегодня с одним твоим учеником в «Национале» познакомили. Славный этакий мордоворот,— сказал Пастухов.

— А по фамилии?

— Черт его... Зовут, по-моему, Иван. Да и с лица Иван!

— Рагозин? — вскрикнул Гривнин, весь задвигавшись от удовольствия.— Иван Рагозин! Мой, этот мой! Насчет физиономии ты это верно. Анфас у него округленный.

— Постой, постой,— говорил Пастухов, протягивая над столом руку и шелкая пальцем.— Что это за история, о которой ты... погоди! Извеков! Да ведь это... Никанор! Какой же это Рагозин?..

Но распутать невразумительную путань с фамилиями не удалось.

Крикливые женские и мужские голоса долетели из сада. Юлия Павловна выглянула в отворенное окно, сейчас же оборотилась к мужу, испуганно шепнула:

— Шурик! — И, уже кидаясь к двери, на бегу досказала вслух: — Там драка.

Ергаков вскочил, броском навалился локтями на подоконник, высушившись едва не наполовину в сад.

— Товарищи, товарищи! — позвал он в тревоге.

Все начали подниматься, шумно двигая стульями. Пастухов встал мешковато, одернулся, проговорил, неестественно отделяя слово от слова:

— Прошу, пожалуйста, оставаться на веранде! — И удалился картинным шагом.

## 5

Кухонная дверь стояла настежь. В маленьких сенях жались заплаканные женщины, не давая выйти на крыльцо Юлии Павловне, которая старалась заглянуть наружу и что-то требовательно бормотала.

Александр Владимирович молча протиснулся вперед, отстранив жену, и, спустившись на две ступени, оглядел свысока поле боя.

Шофер «зиса», темноволосый, устрашающе-плечистый малый, возвышался между Веригиным и Тимофеем Нырковым, широко раздвинув руки, не пуская противников сойтись. Он удерживал Матвея, упирая ладонь в его грудь, а другой рукой легонько отталкивал петушившегося Ныркова.

Матвей, белый и словно похудевший, с надвинутыми на злые глаза бровями, ненавистно следил за перекошенным лицом Ныркова. Было видно, что схватка остановлена, но не кончена, и шагни только в сторону усмиритель, как буяны сцепятся вновь.

Пастухов спустился еще на ступеньку и медленно возложил крестом на грудь руки, надеясь одной монументальностью позы всех призвать к порядку. Нырков ухватил его появление, смекнул, что пора искать расплаты, вызывающе зажалобился:

— Насилье на мне произведено, Александр Владимирович! Истребовать милицию надо! Товарищ шофер свидетель. Матвей удар мне нанес. В самое это место, сюда...

Он тер скулу, закрывая пятерней половину дергавшегося лица.

— Протокол на него составить, на лиходея! Нешуточный удар! С ног сбил. За такие дела под суд!

Матвей повернулся ко всем спиной. Шофер, понимая, что свое дело выполнил, отошел прочь — руки за спину. Нырков понемногу сбавлял голос и придвигался поближе к хозяину.

Пастухов, довольный внушительным воздействием своего вида, сошел наконец с крылечного пьедестала на землю.

— Не похоже на вас, Матвей Ильич, — сказал он властно, но на низкой ноте, что звучало не столько выговором, сколько отеческим попреки.

— Но что такое произошло? — раздался сверху изумленный и вкрадчивый голосок.

Он бросил назад строгий взгляд. Женщины уже стояли на крыльце и впереди всех — Юлия Павловна, как всегда, похорошевшая от волнения. Пастухов возвысил тон, давая почувствовать, что он один вправе рассудить дело как следует.

— Устраивать патасовки? Скандалить? Что это вам вздумалось?

— А чтобы этот сволочуга не ждал к нам своих немцев! — глухо ответил Матвей, опять с угрозой поглядывая на Ныркова.

— То есть как — своих? — успел спросить Пастухов.

Но Тимофей перекрыл его слова криком:

— А что я сказал? Свидетель у тебя есть?

— Дурак ты болтать при свидетелях! Мы тебя знаем!

Матвей сунул в пиджачный карман руку и так судорожно рванулся к Пастухову, что он невольно отступил, и на крыльце ахнули женщины.

— Вот! — сказал Матвей, все еще тяжело переводя дыхание, и потряс выхваченной из кармана бумажкой. — Я ему показал повестку, он прочел и говорит... Вон у сторожки разговор был... Дурень, говорит, будешь, коли явишься. Пойдешь ты или не пойдешь в армию, все одно немцы фронт наш поломали. Добьют таких, как ты, придут, наведут порядок. Я спросил, фашистский порядок-то? Он мне: не знай какой, только самый для нас подходящий. Куда придут? И сюда, говорит, придут.

— Бреши больше. А кто слышал? — опять крикнул Нырков.

— Скажи спасибо вон шоферу, а то я вытряс бы из тебя твоих немцев!

Пастухов взял у Матвея бумажку. Держа ее далеко от сощуренных глаз, прочитал, не спеша вернул и крепко утерся ладонью. С брезгливой миной он глянул на Ныркова.

— Ступайте к себе, в сторожку.

— Я сам знаю, куда мне иттить! — запальчиво ответил Нырков, трянув головой на Матвея. — Клепать на меня? Я тебе это не спущу! Участковый разберет...

Он вздернул брючишки, с форсом сделал поворот и шибко засеменял к садовой калитке. Ему только посмотрели в затылок.

Внимание всех притягивал Веригин, осанкой и лицом выразивший свою полную, но возмущенную правоту. Шустро сбежала к нему по ступенькам кубастенькая женщина с прилизанными на прямой пробор льяными волосами и крошечной головкой. Лишь теперь узнал в ней Пастухов жену Матвея, которую видел раз в жизни. За нею сошли вниз кто был на крыльце. Из сеней показывались гости.

Юлия Павловна взблеснула россыпью своих ноготков, поправляя, впрочем, нисколько не потревоженную прическу.

— Как это было молчать, Матвей Ильич? — укоряюще спросила она.— Прямо нельзя поверить!

— Отчего нельзя? — сказал он грубовато.

— Но когда? Когда вы уходите? — продолжала она, все время рассматривая его жену, которая старалась приладить на мужнином пиджаке надорванный лацкан.— Надо было предупредить нас, чтобы мы знали.

— А я знал? Только что вот из города жена привезла повестку. Завтра являться.

— Как? — тихо выговорила Юлия Павловна, на миг замирая.— А мы?..— вылетело у нее вдруг, но она оглянулась на Александра Владимировича, и он поправил ее:

— Мы что же, больше не увидимся разве?

— Это мне неизвестно,— уже спокойнее сказал Матвей и отстранил женины руки от своей груди: — Брось. Дома зашьешь. Сейчас поедем...

Он неторопливо осмотрел всех вокруг, увидел выжидающие, нацеленные на него взоры, прогладил кудерчатую свою голову и, точно скидывая с нее мешающую тяжесть, махнул рукой.

— Теперь — как военкомат, завтра меня в часть направит или когда еще. (Он едва заметно, будто стесняясь, улыбнулся.) Вернее будет, пожалуй, проститься.

— Ах, боже мой! — вздохнула Юлия Павловна, обеими руками обхватывая протянутую ей руку Веригина.

— Спасибо вам за все. Счастливо оставаться,— сказал он чуть веселее и неожиданно расплылся в сияющей своей уверенной улыбке.— Придется вам, Юлия Павловна, с завтрашнего числа заступить мою должность. За руль пожалуйста.

Она с игривостью засмеялась:

— Ты как, Шурик, согласен положить мне веригинскую зарплату?

Пастухов, не отвечая на смех, сказал за нее, что хозяйка приглашает гостей в комнаты. Подошедшего проститься Матвея он подвел к соседям-дащикам, и сперва они, потом остальные гости уважительно трясли ему руку, желали, кто тише, кто громче, всякой удачи и не торопясь уходили в дом. Опять стала утирать глаза кулачком Гликерия Федоровна, и заразительная горечь добрых ее морщинок отозвалась на лицах других женщин: стряпуха пустила в ход подол передника, и у жены Матвея, ревниво косившей на плачущую молодую домработницу в модной юбке, полились слезы.

Отведя Матвея за угол дачи и не выпуская его локтя, Пастухов начал строго говорить:

— Я прошу мне писать. Где, как и что... Мы не должны терять связь. Если понадобится моя помощь, немедленно сообщи, чтоб я тебе мог...

Он вдруг понял, что впервые сказал Веригину «ты», и это мгновенно тронуло его самого. Показалось, настала минута вылиться чувствам, накопленным за годы службы шофера. Но только он произнес слова о верной дружбе, как зашекотало в горле. Растроганный вконец, он прижал к плечу голову Матвея, на его по-мужски крагкий поцелуй быстро ответил двумя — в обе щеки — и пошел.

В коридорчике, соединявшем кухню с комнатами, он натолкнулся на Ергакова.

— Кадры дерутся у тебя, а? — засмеялся Карп Романович, локтем пихнув Пастухова в бок.— Нехорошо, драматург! Воспитательная работа с личным составом запущена, а?

— Иди к черту! — отрубил на ходу Пастухов.

У себя в кабинете он выдвинул средний ящик стола, отсчитал несколько билетов из бумажника. Ему бросился в глаза электрический фонарик рядом со стопкой книг. Он повертел его в ладони, зажег. Огонек засве-

тился ярко. Он взглянул за окно: сумерки сгустились. Он опустил фонарик в карман, задвинул ящик, хотел идти. Но в ладони оставалось ощущение чего-то приятного, прохладного и удобного — жалко было бы расстаться с таким фонариком. Подумав, он положил его на старое место, опять полез в стол, добавил из бумажника еще два билета к отсчитанным раньше.

Вернувшись и найдя коридорчик пустым, он позвал из кухни Матвея и, когда тот вошел, прикрыл за ним дверь, в темноте нащупал его руку и заставил зажать в кулаке деньги.

— Тут подъемные,— негромко сказал он.— За расчетом велите жене приехать к Юлии Павловне. И не забывайте, о чем договорились. Договорились? — спросил он, тронул Веригина за плечо и ушел в столовую.

Здесь было оживленно: гости переносили с веранды закуски, вина, приборы, ставя где придется, не исключая рояля и кирпичного карниза над топкой камина. Хозяйка дирижировала суетой, но каждый делал, что получалось, и незаметно стол на веранде опустел, овалами, кружками расставились по комнате стулья, в затворенной двери шелкнул ключ.

Никто не садился. Пастухов с женою взялись разматывать шнуры оконных шторок. Это была черная бумага, накатанная на палки в размер рам. Когда шнуры были пущены, рулоны начали раскатываться, шурша и постреливая щелчками покоробленной на склейках бумаги. Сумрак комнаты мерно переливался в темноту. Все почему-то молчали. Занявший позицию у электрического выключателя Ергаков тихонько откашливался. Одна за другой палки стукнули о подоконники. Наступил мрак.

— Порядок,— сказал Ергаков, и в тот же миг вспыхнула под потолком люстра.

Все ослепленно огляделись, будто попали в иной мир и не знают, чего от него ждать.

— Кто-нибудь дайте мне вина,— на глубокой, дрогнувшей нотке попросила Доросткова.

Кругом задвигались, стали отыскивать свои бокалы, наливать, рассаживаться, перебрасываться одним-другим словечком, пока странным образом вновь не сделалось тихо.

Обводя взглядом комнату, ерзая на стуле, Гривнин несколько раз кряду повторил удивленный вопрос:

— Знаете, на что стало похоже? На что? Знаете? — И сам ответил, будто вычитывая по буквке: — Похоже на зиму...

Попробовали пошутить. Муза Ивановна, обмахиваясь веерком, требовала затопить камин. Юлия Павловна жаловалась, что, живя в деревне, возит дрова из города, и в сарае — ни полена. Ергаков утешал — чего, дескать, тужить, когда в доме столько гривнинских ветел? Хватит протопиться целую зиму! Даже Евгения Викторовна ужалила обожаемого своего *de l'académie*:

— О, я стала бы капиталист, если бы за его красивые деревья платили, сколько за дрова.

Александра Владимировича не только не забавляла болтовня, но она казалась ему унылой и была противна. Он не верил в возможность другого общего разговора, чем тот, который всплывал сам собою и которого хотели бы избежать, потому что пришли на званый вечер. Пастухов чувствовал — пир не получался.

— Никто не может угадать, что такое будет нынешняя зима,— сказал он, когда шутки оборвались паузой.

— Ты о войне? — с невинным любопытством спросила Юлия Павловна.



— Нет, о парижских модах... Кстати, их нынче контролируют гитлеровские обер-лейтенанты.

— Невероятно! — вспыхнул Гривнин.

— Что именно невероятно? Капитуляция модниц?

— Я эти дни хожу, точно лунатик. Но вдруг очнусь и — хватя за голову! Как это мы дали себя обвести вокруг пальца?

— Наш милый доктор, — усмехнулся в ответ Пастухов, — передал мне разговор с одним виднейшим нашим штабистом. Доктор усомнился в пригодности наших мерзких дорог для современной войны. Штабист ответил, что доктор — ребенок, и успокоил его: если, заявил, на нас нападут, то мы совершенно готовы, чтобы пользоваться отличными дорогами противника... Правда, доктор?

Нелидов наклонил голову. Все заволновались. Пастухов участливо покивал доктору, с улыбкой заметил:

— Поэтому ты дерзнул пойти со мной на пари, бедняга! (Он помолчал.) Да. Люди, которые войну готовят, в какой-то момент отдаются в руки обстоятельств и не знают, куда эти обстоятельства их приведут... Войны никогда не наступают в заранее намеченные сроки.

— Это можно также прочитать в неглупых романах, — вернул Ергаков.

— Но я не заимствую, — парировал Александр Владимирович, небрежно вложив в губы папиросу, и зажег спичку.

Раздумчиво, но с твердым убеждением прозвучал голос Нелидова:

— Дело будущего — исследовать, объяснять, судить. Война идет, и мы должны думать только о победе.

— Только о нашей победе! — на шепоте повторила Доросткова с поднятой головой.

Пастухов швырнул догоравшую спичку в тарелку, пососал обожженный палец, медленно дотянулся до бокала, встал.

— За славу советского оружия... — проговорил он тихо, и за ним поднялись все и выпили молча.

Мигута эта, как он ее воспринял, разомкнула настоящее чувство и привела с собою простоту искренности, которой не доставало вечеру.

— Но, черт возьми, — снова всем телом задвигался Гривнин, — мне никто не хочет ответить, зачем мы дали водить себя за нос, чтобы потом напороться на такое вероломство!

— Остынь, метр, — сказал Пастухов. — Выкинь из башки это слово. Мораль проста. Не надо с разинутым ртом считать в небе галок. Вероломство существует столько же, сколько человеческая вражда. Займись историей. Наш классик может тебе порекомендовать что-нибудь поучительное. Какой-нибудь пример, Леонтий, можешь?

— Примеров слишком много, — пожал плечами доктор.

— Зачем поднимать пыль с книжных полок? — сказал Ергаков. — Жизнь рвется в окно... Александр Владимирович доверил свой дворец вкуче с собственной персоной ревнительному стражу. А страж сказался контрой! Вероломство или нет, а?

Пастухов продолжительно помигал.

— Представь, тебе удалось сказать нечто умное... Я, правда, этому Нырккову большой веры не давал. Думал, смиреннько доживет свой век, и все... Сейчас я увидел его новым глазом. И знаете?.. Такие фрукты дадут нам хлебнуть горя. Война — их реванш. Новые события они надеются взять в старый мундштук.

— Погоди ты с пророчествами! — не уступал Гривнин. — Ты же отсылаешь меня к истории! Примеры, где примеры, доктор?

— Пророчества вытекают не из чего иного, как из опыта истории, —

сказал Нелидов.— Но пророчествам так же трудно верить, как легко забывают историю.

— Божественная интродукция! — зажмуриваясь, вздохнул Ергаков.

— Заткнись,— одернула Муза Ивановна.

— Пример? Ну хотя бы о тех же германцах,— не теряя ритма, говорил доктор.— С точностью не назову сейчас германские племена времен Гая Цезаря. Вроде узипетов и еще как-то. Замечательно, что родное гнездо их — хорошо знакомый нашей эпохе Рур... Для римлян германцы были варварами, опасным противником. В войну с Цезарем они отправили к нему послов для переговоров. Добились перемирия, а во время перемирия врасплох напали на его войско. У них была горстка конницы. Римских всадников — тысячи. И римляне бежали. Таков был урок... Научил ли он чему-нибудь Цезаря? Да. С истинной наивностью варваров германцы еще раз отправили к нему послов. Но он сказал, что глупо доверять столь клятвopеступным, вероломным людям, задержал послов и двинул свое войско на германцев...

— Чудесные гимназические воспоминания,— сказал Ергаков мечтательно.

Но никто будто не слышал его, и доктор, передохнув, продолжал грустно:

— На моей жизни отгремело столько войн! В последних трех я орудовал собственноручно. К счастью, только скальпелем и пилой. Кому не хотелось бы, чтобы нынешняя война была на земле последней? Добиться этого можем, наверно, одни мы... Но если нам будет угрожать еще и еще война, то надо молить судьбу, чтобы мы не позабыли урок, который нам дан нынче цивилизацией Германии, как Цезарь не забыл урока, полученного от германцев-варваров.

Ергаков, стараясь изобразить испуг, остановил глаза на Пастухове.

— Не самая ли пора запевать?..

— Я тебя вздую! — пригрозил хозяин.

Юлия Павловна воспользовалась моментом, чтобы свернуть разговор с глубоких рытвин на травку.

— Довольно, довольно! Пойте или пейте, играйте в фанты, делайте, что хотите, но перестаньте вещать, предсказывать, повторять учебники!

Она подняла крышку рояля, пробежала пальчиками не слишком бойко по среднему регистру.

— Карп Романыч! Я аккомпанирую. Пойте, что угодно.

— Хотел бы, с вашего позволения, без сопровождающих лиц.

Он взял бокал, выступил на шаг, начал, заикаясь: «Пы... пы... пы...» На него замахали руками: «Старо, старо!.. Долой!» Он все-таки спел два стиха, на хмельной цыганский лад коверкая и вставляя гласные, куда не надо:

Пыдошел, усы рас-пыравил,  
В карыман полез...

Он вытянул из кармана платок, прогладил вправо и влево бритые губы. Его заглушали выкрики. «Ах, как это делает Москвин!» — выпевала Доросткова. «А как подавали Лаврентьев, Певцов!» — вторил Захар Григорьевич. «Провалился, провалился!» — басила Муза Ивановна. «Долой!» — гудел Гривнин.

Ергаков кое-как превозмог сопротивление, но уже не спел, а, подходя с вином к Пастухову, наскоро продекламировал:

Лёксашу с пыраздником про-здыравил —  
Хрисытос воскырес!

— Ах, богохульник! — легонько охала тетя Лика.

Она все помалкивала и нет-нет перебирала в мягких пальцах платочек. Когда Доросткова спросила, что же она ничего не выпьет и, может, ей нездоровится, она взяла руку Любови Аркадьевны и, ласково ошупывая косточки, сказала:

— Дорогуша моя, мы тут пьем да несем чепуху, а люди, поди, за нас не знай где кровью исходят.

Она покосилась на Пастухова, поняла, что он слышал ее, и уже громче договорила:

— Признаться вам, милые, я об Аночке нашей нынче молебен отслужила. Она хоть и нехристь, но такой души женщина, что бог ей простит.

Тогда Любовь Аркадьевна перехватила ее руки и сама начала ласкать их благоговейно.

— Не поехать ли уже домой, тетя Лика?

— Да я давно думаю... Машины-то, видела, чай, какие теперь? Недели на фонари на ихние шоры какие-то, словно лошадям. Чтобы не пугались, что ли?.. Противно ездить-то стало! (Она повернулась к Пастухову.) Ничего, что я молебен-то отслужила?

— Абы не панихиду! — вырвалось у него, и он даже не пожалел, что напугал нечаянным словом милую старуху. Ради приличия он вынул из рук Доростковой ее горячую маленькую кисть и поцеловал.

Он видел, как Юлия Павловна лихорадочно перелистывает жиденькую стопку нот, догадался, что жена будет петь, и от скуки у него физически засосало под ложечкой.

Нет, пир не задался. И Александр Владимирович с тоскою выжидал: скорее бы, скорей разъезжались гости.

## 6

После отъезда городских гостей, когда совсем рассвело, хозяева вышли за ворота проводить Гривниных и Нелидова.

Договорили о том, что тетя Лика все еще необыкновенно жива и — нам бы вот такую старость («Ничто так не старит, как годы», — заметил Пастухов, вспоминая остроумца Власа Дорошевича); о том, что Ергаков невозможен с его привычкой толкать локтями («На мне не осталось живого места!» — сказала Юлия Павловна); о том, что Доростковы забавны своим взаимным обожанием, но что они трогательные и хорошие люди.

— Что за воздух! — воскликнул Никанор Никанорович, раздувая ноздри.

Заломив как можно выше руки, он вдруг обрушил объятия на свою супругу и потом так же внезапно и сильно перецеловал всех подряд.

— Боже, откуда эта уйма темперамента! — сказала Юлия Павловна.

— О, вы не знаете, когда он выпьет... — поправляя волосы, сказала довольная Евгения Викторовна.

— Подумать только! — опять, но уже печально, воскликнул Гривнин. — В такое утро где-то там, в Белоруссии...

Он оборвал себя, схватил под руку Евгению Викторовну, потянул ее за собой, враскачку шагая.

— Идем, старуха, на плотину, смотреть восход!

Распрощавшись, Нелидов пошел было за Гривнинными, но вернулся.

— Я тебе хотел сказать, Александр. Выкопай у меня осенью мичуринки. Переседи себе... Какие полюбятся.

Он говорил торопясь, нетвердым голосом, будто ему было неловко.

— Брось, к черту! Вернешься, позовешь меня чай пить с вареньем из твоего пепин-шафрана, — сказал Пастухов.

Лохматые брови Нелидова поднялись высоко, он сорвал пенсне с переносья и глазами, необычно большими для постоянного его близору-

кого прищура и вспыхнувшими отсветом теплого востока, смотрел через голову Пастухова.

— А наша возьмет верх,— сказал он новым, задорным голосом забияки и прищуренно впился взглядом в глаза Пастухова.

— Дождаться бы,— помолчав, ответил Пастухов.

— Дождаться не штука. А вот добиться! — сказал Нелидов и, мотнув головой, словно откидывая со лба волосы (он стригся коротко), быстро пошел догонять Гривниных.

Пастухов с женой немного поглядели ему вслед.

— А ведь все может быть! — пробормотал Александр Владимирович.

Они возвратились в сад, он поднял с земли слегу — запереть ворота. Где-то на деревенской стороне зазвучала и сразу оборвалась негромкая песня: молодежь, наверно, догуливала проводы товарищей.

— Что может быть?

— Может быть, мы видели Леонтия последний раз.

— Типун тебе на язык,— сказала Юлия Павловна и неохотно улыбнулась.

Вдруг обычным своим жестом она зажала ладонями виски.

— Шурик, милый! Ты должен... Ты просто меня прибьешь!

Она и правда пугливо покосилась на слегу, которую он заносил одним концом кверху, чтобы сунуть в железную скобу на верее ворот.

— Что такое? — спросил он безучастно.

— Ты прости. Я совершенно позабыла с этими гостями... за разговорами...

— Ну что, что? — повторил он, с ленивым усилием тыча засовом и все не попадая в скобу.

— Ты не поверишь,— говорила Юлия Павловна, стараясь заглянуть в лицо мужу,— такая неожиданность! Сегодня поутру приходит вдруг Алеша...

Пастухов повернул к ней голову, помычал и застыл, продолжая неудобно держать на весу тяжелую слегу.

— Алеша, да, да,— подтвердила она, хотя было ясно, что он сразу понял, о ком она говорит.

— Ну?

— Ну... и так как он был проездом и не мог тебя дожидаться...

— Я вижу, не мог дожидаться,— перебил он.— Но ты, наверно, и не просила, чтобы он дождался?

— То есть как не просила? — сказала Юлия Павловна обиженно.

Пастухов досадливо бросил слегу наземь и огляделся с таким удивлением, словно не мог понять, как он попал в это место, в этот час и почему возится с этой дурацкой слегой.

— Он по какому-нибудь делу?

— Не представляю себе. Ему, вероятно, гордость не позволила высказаться,— проговорила Юлия Павловна свысока.— Он оставил записку. Пойдем, она у тебя в столе. И, пожалуйста, не сердись.

— Нет,— ответил он,— я посижу в саду. Брось записку в окно.

— Я принесу,— сказала она опять обиженно и деловитыми шажками пошла к дому.

Пастухов запер ворота, отряхнул руки, медля и останавливаясь, двинулся к скамейке под жимолостью.

Стояла нетронутая тишина, которая предшествует первым птичьим голосам. Уже все прояснилось, но сон вокруг еще длился, и холодок нет-нет пробегал по спине, сообщая телу Пастухова свежесть росной земли. Он поднял воротник пиджака, сел.

Явился спросонья Чарли, несмело переставляя лапы, то вскидывая на хозяина, то виновато опуская глаза.

— Совести нет, дурак,— сказал Пастухов.

Чарли поблагодарил, потянулся передними лапами, поджимая хвост, потом задними, вытягивая кверху морду, зевнул и — оживленный — бросился по дорожке навстречу Юлии Павловне.

— Ты здесь?— спросила Юлия Павловна, издали хорошо видя мужа, но все-таки вертлявыми движениями показывая, что ей трудно разглядеть за кустами, где он.— Ты не простудишься?— сказала она и плотнее укутала его шею поднятым воротником, садясь рядом.

Он молча взял у нее записку. Алексей писал:

«Я проездом в Ленинград и, как приеду, наверно, буду мобилизован. Извини, что обращаюсь к тебе. Но ничего нельзя предвидеть. И я хлопоту не о себе. В случае мать лишится моей помощи, прошу тебя поддержать ее. Это единственная моя просьба. Перед уходом в армию я матери скажу, что оставил тебе эту записку».

— Он пишет — был проездом. Откуда?

— Он не сказал.

— Ты спросила?

— Но я говорю, он пробыл всего несколько минут,— как будто дивясь нежеланию ее понять, ответила Юлия Павловна, но тут же сменила удивление опять на заботу.— У тебя неприятности?

— Время приятностей прошло,— сказал Пастухов раздраженно.— Ты так с ним ни о чем и не говорила?

— Я его все время оставляла, а он отказывался, боялся, наверно, опоздать к поезду. Я даже угощала его кулебякой, а он...

— Даже?— усмехнулся Александр Владимирович.

— По-твоему, я должна была умолять его на коленях?— громче сказала Юлия Павловна.

— По-моему, надо было, как я приехал, сказать, что он был.

— Ну, Шурик, ты же можешь понять, что я запамятовала! — протянула она с плаксивым выражением покорности и просьбы больше ее не мучить.

— Я съездил бы на вокзал повидаться. Поезда уходят поздно вечером.

— Но ты говоришь, извини, невероятные глупости! А гости?

— Это ты говоришь глупости. Алексей уходит на войну,— сказал он, значительно разделив слово от слова.

— Ужасно,— шепотом сказала она и поежилась.— Мне холодно.

Она вновь запахнула ему воротник, поцеловала его и поднялась.

— Мы поговорим в комнате. Не сиди долго. У меня зуб на зуб не попадает.

Она обхватила свои голые плечи крест-накрест кистями рук и побежала.

Александр Владимирович не только не сомневался теперь, что Юлии Павловне известно было содержание записки, но уверился также, что она вовсе не позабыла о приходе Алеши. Ей, как всегда, было неприятно напоминать ему об Асе, он это знал по прошлому. Но избежать напоминания она не могла, потому что скрыть приезд Алеши было нельзя,— она только оттянула передачу записки, может быть действительно для того, чтобы Александр Владимирович не вздумал разыскивать сына на вокзале.

Когда он уверился в этом, лживость Юлии Павловны подняла и раньше знакомую ему неприязнь к ней, а эта неприязнь обратилась в подобие симпатии к прежней семье, ему сделалось почти стыдно перед Алешей и Асей, чего он давно не испытывал. И чем больше он раздражался, думая о Юлии Павловне, тем сочувственнее начинал думать об Асе.

После шума и болтовни с гостями в тихой чистоте утра чувства его постепенно собрались. Из возбуждения и рассеяния он перешел к сосредоточенности и заново увидел памятью свой разрыв с семьей так ясно, как глаза его видели каждый лист в саду и всякую замершую травинку в эти минуты восхода.

Это не были воспоминания, какие складно рассказываются самому себе в момент спокойной задумчивости. Это были нестройные куски картин без всякой последовательности, но отчетливые, вызывавшие беспокойную работу души, то очень далекие, то недавние, которым делалось теснее и теснее в памяти. Он будто глядел на свое прошедшее со стороны, а глаза его не переставали удивляться прелести утреннего сада, и у него росло ощущение прекрасной простоты этого мира рядом с уродством того, о чем он думал...

## 7

За всяким воспоминанием, как бы нестройно оно ни было, стоит логика события, оживляемого памятью, подобно тому, как за видимой суетой улицы стоит разум человеческих дел, порожденных городской жизнью.

Пастухов вспомнил себя в двух смежных комнатах Юлии Павловны, где она жила со своей двоюродной сестрой, лет семь назад. Он зашел к ней после театра, где они случайно встретились, еще мало знакомые, и он предложил проводить ее. По пути их застиг дождь. Она настояла, чтобы он переждал непогоду в ее квартире. Кузины, как называла Юлия Павловна сестру, не было дома. Она заставила его снять сырой пиджак и пошла приготовить кофе. Явилась она переодетой в белое кимоно, шитое маркими цветами, и стала собирать на стол, все время запахивая на себе непослушную просторную одежду.

Они выпили кофе с остатками хорошего коньяку, которые обнаружили в буфетике, много смеялись, и Юлия Павловна, оживленная тем, что почти беспричинный смех нравится Пастухову, не переставала жестикулировать, вскользь подбирая с висков рассыпавшиеся прядки волос. Это была не экзальтация, а только непринужденность, и казалось естественным, что она, смеясь, вдруг высоко подняла локти, переплела пальцы на голове и так подержала руки несколько мгновений. Но в одно из этих мгновений он заметил, что она уловила его взгляд, остановленный на ней, когда ее широкий рукав кимоно скатился на плечо и раскрыл белый бок с темной ямкой подмышки. Она уловила взгляд и не сразу опустила руки, и он понял ее готовность продолжать начатую игру. Спустя недолго она повторила жест, будто подтверждая, что он верно понял и — да, она готова.

Пастухов пробыл у нее долго. Дождь не переставал. Она уговорила взять дамский зонтик, и Александр Владимирович, никогда не носивший зонтов, шел домой по пустынным улицам, рассерженный происшествием, униженный своим потешным видом.

На другой день он рассказал жене в забавных красках всю историю. Анастасия Германовна смеялась вместе с ним. Он говорил нарочно о всех подробностях, не опустив комичной манеры Юлии Павловны заламывать руки, и не сказал лишь о том, что в эту ночь началась с нею его связь.

Первое время приключение не очень его тревожило — он считал, оно того не стоит и скоро забудется. Неприятно было солгать жене, но он постарался отнестись к этому по-мальчишески — мало ли чего не случается: он свою Асю не обманывал прежде, не будет и впредь. А что было, то сплыло.

Но почему-то не сплывало. Раз, идя по шумному, веселому проспекту и чувствуя себя вместе с толпой жизнерадостным, он испытал счастье все удовлетворение, что досадная горечь поступка прошла. Он сознавал себя сильным настолько, чтобы не повторять обмана. Но чем больше гордился в душе уверенностью в себе, тем настойчивее выдвигалась ему Юлия Павловна. Он перешел с солнечной стороны проспекта на теневую, но вдруг свернул на перекрестную тихую улицу. Многолюдье неожиданно его утомило и хотелось двигаться свободнее. Сообразив, что ноги сами ведут к Юлии Павловне, он заколебался, хотел воротиться, но в ту же минуту внушил себе, будто надо непременно сказать ей, что случившееся можно исправить только забвением навсегда. Она встретила его поцелуем, каких он не запомнил в жизни. Дома он с необыкновенной легкостью сказал, что ему давно так не гулялось по волшебному Ленинграду, как этот раз.

Другой раз по виду незначительный случай призвал совесть Александра Владимировича к ответу.

В тот день Юлия Павловна по телефону просила разрешения зайти за своим зонтиком (погода была сырая). Она говорила с Анастасией Германовной, заверившей ее горячо и смущенно, что уже укоряла мужа его необязательностью и он непременно сегодня же лично доставит зонтик. Но Юлия Павловна не менее смущенно умоляла не беспокоить Александра Владимировича, потому что она находится поблизости и ей ничего не стоит забежать к Анастасии Германовне на одну секунду. Свидание прошло с обоюдной восторженностью в присутствии виновника этой приятной встречи, который дал повод подшутить над собою и шутил сам. Зонтик, кстати, очень пригодился, так как опять начался дождь. Но перед самым уходом Юлии Павловны хозяйка дома увидела открытые туфли гостя и страшно испугалась, что на дожде они испортятся, а главное — промокнут ноги. Туфли были к тому же славненькие. После борьбы великодушного настаивания с великодушными отказами Юлия Павловна согласилась примерить летние ботики Анастасии Германовны. Ботинки были маловаты, однако наделись, только застежки не поддавались усилиям Юлии Павловны. Тогда хозяйка легко опустилась перед сидящей гостьей на колени и помогла застегнуть кнопки. Сделала она это быстро и ловко, будто в шутку. И так же точно в шутку Юлия Павловна слегка приподнимала свои ножки, чтобы удобнее было застегивать, и при этом со счастливым смехом взглядывала на Александра Владимировича.

Он смотрел на Асю, скованный небывалым стыдом и страхом, что она обернется, увидит его омертвелую и (он потом сам себе говорил) подло-лживую улыбку. Однако Ася видела только обаятельную гостью. Он овладел собою и на прощание сказал в своем пародийно-грубоватом тоне, что надеется, Юлия Павловна не зажилит новые ботики. Когда дверь закрылась, Ася назвала Юлию Павловну очень милой, и он, удаляясь к себе в кабинет, согласился, что — да, мила, хотя излишне вертлява.

Так началось самое мучительное время в жизни Пастухова, длившееся бесконечно долго. Стыд терзал его наяву, стыд угнетал во сне. Никакими ухищрениями он не мог изгнать из головы не отступавшее от него ни на час воспоминание. Если бы мука стыда была не так велика, он решился бы во всем признаться. Но у него не доставало сил еще больше увеличить свою муку решением открыть Асе то, что казалось позорнейшим во всей его тайне. Позор этот был в том, что он не только обманывал, но принудил жену, стоя на коленях перед любовницей, обувать ее. Он испытывал к себе омерзение.

Никогда он не ответил бы — сознательно или случайно в то особенно трудное, первое время мучений он взялся читать рассказ Льва Толстого «Дьявол», и сами ли собой или под впечатлением рассказа возникли его размышления о самоубийстве. Тогда же он узнал, что Толстой написал два варианта финала рассказа и долго колебался, какой конец естественнее, то есть какой из двух должен избрать герой рассказа Иртенев — убьет ли он себя или убьет свою любовницу Степаниду. Пораженный близостью переживаний Иртенева к тому, что его мучило, Пастухов спрашивал себя, не лучше ли одним ударом кончить все (были же люди, способные так кончать), и тоже решал, и тоже не мог решить, убил ли бы он себя или убил бы Юлию. Размышления были не слишком продолжительны и протекали, так сказать, в плане заданной драматической коллизии, потому что за всеми голосами души не умирал очень тихий, но стойкий голосок, утверждавший Пастухова в сознании, что он не убьет в действительности ни себя, ни Юлию.

Его дьявол не переставал укреплять свои позиции. Все чаще встречался Пастухов с Юлией Павловной, все необоримее его к ней влекло. Ему бывало легче с нею, чем с женой, по одному тому, что с нею не надо было лгать. Особенно же привлекательны становились эти встречи с тех пор, когда он начал убеждаться, что она может его полюбить с большой страстью. И тогда же с новым приливом страха он заподозрил, что Ася догадывается или даже знает о его связи.

Как-то поздно возвратившись домой, Александр Владимирович, встреченный женою, передал ей поклон от Ергакова, с которым и прежде ему случалось засидеться ночью где-нибудь в прокуренной шашлычной. Ему почудилось, Ася ждет чего-то, кроме поклона. Он рассказал, как встретился с приятелем, в какой ресторан пошли, какой ужин съели. Она смотрела на него, дружелюбно улыбаясь, но в дружелюбии ему виделась насмешка. Она будто испытывала его молчанием и ждала оправданий. Он стал припоминать подробности своего разговора с приятелем. Чем больше он говорил, тем яснее видел, что она не верит ему, и это было оскорбительно, потому что он говорил сущую правду обо всем, касавшемся ужина, ресторана и Ергакова.

Он остановился, спросил: «Ты, кажется, не веришь мне?» Она страшно удивилась вопросу, и это настолько показалось ему неискренним, что он с раздражением повторил: «Ты подозреваешь меня во лжи?» Она вдруг стала серьезной. Он спохватился, поняв, что своими вопросами запутывал себя, пугал и настораживал жену. У него вспыхнула надежда, что она в самом деле ни в чем его не подозревала. Но он не нашелся, как отступить. Жгучее желание узнать, известны ли Асе его отношения с Юлией, озлобило его, и он внезапно начал поднимать голос, пока не перешел на крик. Он кричал, что ему надоел вечный контроль за каждым его шагом, что он не может, не хочет дольше переносить нетерпимость Аси ко всякому человеку, с каким бы он ни встретился, если только этот человек хоть капельку его интересует, и что такой ненасытный эгоизм Аси отравляет ему жизнь. Она едва могла перебороть слезы и ушла к себе, сказав, что ему надо успокоиться и, по видимому, с его нервами не совсем ладно.

Два открытия сделал Александр Владимирович после сцены, неожиданной для него самого. Он отдавал себе отчет, что обвинения, обрушенные на Асю, были лживы. Но, во-первых, эта новая ложь была несравненно легче прежней и заметно умерила тяжесть его муки. Во-вторых, ему стал очевиден лучший способ самооправдаться, состоявший в том, чтобы как можно сильнее разгорячить себя против жены.

Когда-то в полушутку он сравнил себя и Асю с двумя лодками, которые встретились на просторе, поплыли рядом и пристали вместе к



берегу. Теперь он сказал ей, что эти лодки на приколе у берега похожи на пару ночных тувель. Свой дом он обзывал пасторским, свою жизнь — пресной, воспитание сына — мешанским. Во всем была виновата жена, которая мнила благополучие мужа единственно в банальном уюте семейного обиталища. А Пастухову нужны были бури (когда в уединении пришли на ум эти бури, он усмехнулся — «ой ли?»); ему нужно было находиться в гуще жизни, потому что он не обыватель, а художник (этого-то у него никто не отнимет, вполне убежденно подумал он).

И так, хотя не во всеоружии, но он готов был встретить контрударом неминуемое столкновение свое с женой.

Если земля полнится слухами, то слухи о любовных связях проникают до ее недр. Жизнь Юлии Павловны не могла быть скрыта от людского глаза; даже если бы за стенкой не проживала кухня. Ни Юлия Павловна, ни Пастухов не дознавались, кто породил о них молву или какими судьбами молва дошла до Анастасии Германовны. Она должна была дойти, и это все.

Пастухов не мог потом припомнить, с чего, собственно, началось его объяснение с Асей. Он помнил, что, когда оно началось, он не испытывал больше страха, которого ждал, а был рад, что ожиданию наступил конец. Он запомнил особенно одно слово из скупой речи Аси, сказавшей, что он ослеплен своим увлечением. Это слово, а главное, то вызывающее смирение, с каким оно выговорилось, и совершенная уверенность Аси, что ослепление должно пройти, — вот что подняло в Пастухове негодование, к которому он себя готовил, которое было насквозь притворно и оттого тем более яростно.

Он даже не столько оспаривал обвинение в измене (хотя с места вскачь отвергнул его), сколько возмущенно торжествовал правоту своего приговора жене. Он винил ее в зоологической ревности, в закреплении его неотвратимым бытом, в опеке над его личностью. Он кончил тем, что жена сама толкает его бог знает на что и делает жизнь с нею для него невозможной. Действительно, ему уже немислимо стало видеть ее сострадающее лицо с глазами, светившимися чистотой и странной покорностью несчастью: он понял в тот момент, что она понесла это несчастье не как свое, а как нерасторжимо-общее с ним.

Сразу после объяснения он пошел к Юлии Павловне. Несмотря на созревшую решимость с одного маху разрубить узел, он чувствовал, что по-прежнему противен себе и яма лжи, куда он упал, стала глубже.

Снова вспоминая историю Иртенева, он обнаружил в ней гораздо меньше сходства со своим положением, чем казалось ему раньше. Ему представился приемлемым тот третий путь, который считал для себя невозможным герой «Дьявола». Иртенев не мог уйти жить со Степанидой, бросив жену, и не мог также оставаться с женой, будучи бессилем перебороть свою страсть к любовнице. Он думал об этом третьем пути — об уходе от жены — и отверг его. Пастухов же настолько успел раздражить себя против жены, что почти готов был к разрыву с ней. В то же время он уверился в своей страсти к любовнице, и если бы остался с женой, то это было бы не чем иным, как продолжением гнетущего обмана.

Свое состояние Пастухов находил теперь схожим с муками Иртенева только в том, что оба были мерзки себе, потому что не могли перебороть власть дьявола. Но либо дьявол отнесся к Пастухову снисходительнее, чем к Иртеневу, либо это были два разных дьявола, только там, где для Иртенева выхода не существовало, для Пастухова он отыскался. Идя к Юлии Павловне, он укрепил свое решение уйти от Аси. Что же до чувства омерзения, то — откровенный с собой — он проницательно при-

знал, что, значит, не так уж себе мерзок, как был мерзок Иртенев себе, а мерзок умеренно, то есть более или менее неприятно противен себе. Это тяготило в силу привычки быть собой довольным, и он знал, что будет стараться впредь сохранять эту привычку в неприкосновенности.

Юлия Павловна, конечно, любила его, страстью своею горяча ответное чувство. Любовь проявлялась не в словах, а нюансами настроений, всегда ко времени нисходившими грустью, задумчивостью или необъяснимо печальными слезами, которые не обременяли, но трогали. Юлия Павловна умела смеяться, обладала юмором, к месту безобидным или довольно колким, если язвительность благосклонно встречалась Пастуховым. Она была музыкальна, начитана, разумеется в известной степени. Вообще в ее натуре было всего понемногу, и если бы человеческие качества поддавались сложению, как в арифметике, то в сумме Юлия Павловна была бы женщиной незаурядной. Когда она сблизилась с Александром Владимировичем, некоторые ее природные свойства проявились утонченно — например, способность к сочувствию: она бессловесно, лишь одной мимикой сумела внушить ему свое растущее участие к страданиям, которые причиняла ему жена. Однажды он невольно схватился за голову: как это прожил четверть века с Асей, не замечая, сколько пришлось перетерпеть?

Пастухов считал раньше свою семейную жизнь благополучной. В ней были испытания и радости, невзгоды и довольство. Он не обольщался счастьем, не замечал и недостатка в нем, а зайдет об этом популярном предмете разговор, спросит приятель: «Как семейшка?» — пошутит в ответ: «Благодарю покорно, все в брачной норме».

Он мог гордиться любовью сына. Алексей, выросши, сохранял нетронутым детское убеждение, что отец его — существо исключительное, полное примерных достоинств. Поэтому в мрачную пору разлома семьи, когда тайное становилось явным, Александру Владимировичу больнее всего было наблюдать, как замыкается от него сердце сына, оскорбленное изменой не меньше матери. В какой-то слишком хмурый час отец не удержался и, пряча свою нестерпимую боль за полусерьезной, полунасмешливой грубостью тона, спросил:

— Ты что, молодой человек, вздумал бойкотировать отца?

Алексей опустил глаза. Секунду побыв неподвижно, он молча вышел из комнаты. Это было для отца ударом невиданным и невозможным во всю прежнюю жизнь: сын, казалось, сломал в эту секунду природу души своей, нежной и чуткой. И тогда отраженным разрядом пробил для Александра Владимировича та секунда, которую он так долго и так нерешительно ждал.

Перед ним стоял только что налитый Асей чай. Он медлительно позвякивал в стакане ложечкой. Отворачивая лицо к окну, поводя взглядом по серому небу, точно прикидывая, не собирается ли дождик, он сказал в усталом разочаровании:

— Так вот что ты сделала из нашей красной дёвицы!.. Ты восстанавливаешь против меня сына?

— Он все видит и многое знает, — ответила Анастасия Германовна. — Тебе надо проявить мужество. Алеша должен ясно понять тебя.

Голос ее был спокоен, как будто она не только оправдывала сына, но видела в нем свою опору, как в союзнике. Александр Владимирович удивленно взглянул на нее и сразу опустил глаза с тем выражением стыда и решимости, с каким только что сделал это сын.

— Ты права, — сказал он. — Все должно быть ясно. И будет... как только я уйду от тебя.

Она помолчала немного.

— Может быть, так... Но ты вернешься.

Он поднял глаза. Лицо ее горело ровными красками, и странно воодушевлен был неустрашимо осуждающий взгляд.

— Нет,— твердо сказал Пастухов.

Позже, думая об этих минутах, он изумлялся тишине, в какой они прошли.

Наконец Александр Владимирович и Юлия Павловна провели месяц на курорте, не очень пышном, но и не захудалом. Их объединение под одной кровлей не произвело шума. Киты, на которых держится мир любовных сенсаций, не шевельнули хвостами. И где-то у моря, вечерним часом, посвятив Юлию Павловну в подробности своего освобождения от семейных уз, Пастухов поставил на прошлом крест. Несколько тревожный вопрос Юленьки — а как же с разводом — развеселил его, и он ответил, что все остальное теперь — вопрос техники...

Сейчас в молодом саду, который запечатлевал собою новую жизнь Александра Владимировича, он особенно долго вспоминал первую пору этой жизни. Главным тогда казалось ему — позабыть свою муку стыда, вернуться к равновесию и довольству. Но ему мешали иногда назойливые сравнения прошедшего с наступившим, Аси с Юленькой.

Началось это вскоре же после развода, когда Юлия Павловна заметила Пастухову, что он слишком щедро одарил бывшую семью и ушел, говоря попросту, в том, что на нем было. Чрезвычайно огорчило Юлию Павловну, что даже кабинет карельской березы остался за Анастасией Германовной. Александр Владимирович инстинктом мужчины почувствовал, что дело идет об угрозе той брачной норме, над которой он любил посмеяться, и немедленно отвел претензии Юлии Павловны, потребовав никогда не возвращаться к разговорам о его отношениях с семьей. О кабинете же добавил, что получил его от отца и хочет, чтобы он перешел сыну — на будущее. Юленька быстро отступила, но с той поры он неизменно примечал ее скрытую ревность к Асе и к сыну, и каждый раз спокойствие его омрачалось мыслями о прежней жизни.

Он сидел, облокотившись на колени и держа на ладони записку Алексея. Размеренно складывались сами собой выводы, почему-то не приходившие на ум раньше. Он думал, что чувство требует принуждения, дабы сохраняться и давать плоды. Оно не должно быть разнужданным, совершенно так же, как мысль, которую надо все время понуждать к деятельному порядку, к направлению, иначе она опустошится и придет рассеяние. Чувству тоже присуще рассеяние, оно требует, чтобы его вели.

Куда же и как поведет он живое, с тоской затрепетавшее свое чувство к сыну?

Вдруг звякнула щеколда калитки, и писк петель скрипуче вплелся в первые запевки и перекличку птах. Минуту не было слышно, чтобы калитка затворилась, будто кто-то открыл ее — заглянуть в сад. Потом она громко хлопнула. Послышалось неровное шарканье сапог. Чарли не подавал голоса.

Пастухов поднялся. Между стволками молодых лип хорошо проглядывалась полоска дороги, и он увидел Тимофея.

Нырков плелся домой медленными, нетвердыми шагами. Исчезнув за густыми деревьями, он приостановился, потом вновь заволочил тяжеле ноги и, когда дошел до дачи, стал прямо против веранды. Видно было, как он покачивался и то вскидывал голову, то ронял ее. Неожиданно взмахнув рукой, он погрозил пальцем веранде и засмеялся. Рука его опустилась, он качнулся, будто собравшись идти, но опять поднял руку и ткнул по направлению веранды на этот раз кулаком.

— У-у, пара-зит! — выговорил он для хмельного неожиданно отчетливо. — Спишь?.. Тря-се-ссия?!

Чарли подбежал к нему, он забормотал что-то и, натываясь на собаку, вместе с нею двинулся к сторожке.

Пастухов вернулся на скамью. Не спеша, он расправил смятую в ладони записочку Алексея и спрятал ее в карман.

Стайка воробьев, драчливо кружась, зашумела над ним листвою и тотчас умчалась. Он усмехнулся, сказал им вслед: «У-у, паразиты!» Словечко было любимым у Ныркова. Однажды Пастухов показал на запылавшую в сумерки, как раскаленная сковорода, полную луну и спросил Тимофея: «Хороша сторожиха-то, правда?» Тот покачал головой и ответил с весьма язвительным одобрением: «Вот паразит!» Тогда это словцо понравилось Пастухову. Нынче оно толкнуло его призадуматься — он уже знал, кто должен заставить его трястись по расчетам Ныркова. И он спросил себя: что же будет делать Нырков, когда Алеша пойдет на фронт и, может быть, сложит голову за землю, которую отстаивать идет все его поколение и с ним, если будет нужно, поколение отцов?

Серебряный голосок прозвенел в недвижимом воздухе:

— Шурик! Ты простынешь! Я не могу заснуть...

Пастухов хотел крикнуть что-то злое, но промолчал и остался в саду. Надо было привести в крепкий строй все пережитое меньше чем за одни сутки.

## Глава пятая

### 1

Утром в воскресенье Кирилл Николаевич Извеков проводил свою дочь Надю с тульского вокзала в Москву, куда она ехала подавать бумаги о поступлении в университет и погостить на даче у своей давнишней подруги.

Он с улыбкой глядел в ее глаза — светлые, выпуклые, как у матери, с розоватым оттенком тончайших жилок на белках.

— Не выпалась, гулёна,— сказал он.— Смотри не вздумай кутить в Москве!

— Ах, ведь это только раз в жизни такое совпадение: дядюшкина свадьба и выдача аттестата!

Ей было приятно слово «аттестат», обиходное раньше, чем его ввела школа,— за последние дни она сказала его сотни раз, на всевозможные лады и с каким-то особенным вкусом выговаривая все его «т».

— Мне ужасно жалко, что мама не увидит моего аттестата!

— Конечно! Это не идет в сравнение с тем, что ты в Москве не увидишь самой мамы,— сказал отец с видом сочувственного понимания.

— Разве могу я с чем-нибудь сравнивать маму? Я просто подумала, что вот сдам аттестат в университет и больше даже не подержу его никогда в пальцах.

— Ничего, будешь держать университетский диплом.

— Ну-у, диплом — это что-то такое абстрактное! А мой аттестат — вот он! Реальность!

Она торжествуяше приподняла к плечу свою сумочку, ладонью шелкнула по ней и тут же несколько раз быстро поцеловала отца в щеку, как всегда, по-детски туго притягивая его голову к своему горячему лицу, в то время как он ласково похлопывал ее по спине.

Она вскочила в вагон. Кирилл Николаевич постоял, пока виднелась ее машущая над чьими-то головами маленькая рука, и пошел опустевшим перроном к выходу.

То связно, то разрозненно шли с ним его мысли о новых не совсем буденных семейных событиях — окончание школы дочерью, новая поездка жены, свадьба шурина. Особенно занятой казалась свадьба, на которую Извеков не мог попасть из-за кропотливого и не безбурного пересмотра городских строительных смет на заседании исполкома.

Брат его жены, Павел Парабукин, инженер Оружейного завода, в четверг прошедшей недели объявил, что он в субботу женится. Сделать это на тридцать втором году была самая пора, и выбор его тоже не составлял тайны: как он ни отшучивался, все хорошо знали, что он увлечен Машей Осокиной — одноклассницей Нади по Яснополянской школе. Но полной неожиданностью было, что он и его невеста назначили свадьбу будто сломя голову — как раз в день празднования выпускниками окончания школы. Когда Извеков сказал шурина, что, мол, ты, дружище, хоть недельку повременил бы, а то как-то нескладно — со школьной скамейки да прямо в загс, Павел ответил со смехом:

— Наоборот, очень складно! Крепче запомним этот день: сразу два свидетельства в семейной шкатулке. Я уж и шкатулку заготовил.

— Вот и сестра как раз в отъезде. Неловко, чай, перед ней, — укорил Извеков.

— А меня Аночка давным-давно благословила! Авансом! — опять засмеялся Павел.

Так и сыграна была свадьба в Ясной Поляне: получив в школе свидетельства, ребята гурьбой отправились в загс. Обе любимые приятельницы Маши — Надя и Лариса — были свидетелями при регистрации, а потом вместе с молодыми пошли пировать в избу Осокиных, в семье которых Надя прожила все время своего учения в трех последних классах. Пир был на славу. Молодых встретили на крыльце пригоршнями пшеницы, усадили в красный угол, разлили брагу. Пили и горькое вино и шампанское, и перед Машей на столе высилась старинная инкрустированная шкатулка с двумя документами на глубоком дне: одним — завоеванным десятилетней зубрежкой премудрейших истин, другим — подаренным судьбой. Кто-то из девушек бросил в шкатулку гривенник — Маше на счастье. И тогда дружно посыпалась в ларчик звонкая мелочь, и Павел провозгласил:

— Теперь наше свадебное путешествие обеспечено!

Оно и впрямь было обеспечено этими драгоценными копеечными дарами. Когда окончилось застольное веселье, и под баян оттанцевали перед избой на дворовой лужайке, и в танцах, как обычно, Надя отличилась своей природной грацией, все двинулись провожать Машу с Павлом такой знакомой длинной улицей села и потом парком, засечным лесом до самой станции, и молодые вместе с Надей и другими гостями-горожанами поехали ночным местным поездом в Тулу.

Надя, рассказывая отцу о свадьбе с восторженными девичьими ахами и охами, через каждые две фразы приговаривала:

— Что это, папа, была за ночь! Какой восход!

— Да уж понимаю, понимаю! — отвечал он.

И через минуту опять:

— Ах, папа, если бы ты видел, какой чудесный был наш Павлик! И знаешь, откуда только взялась у него предстательность!

— Ну а как же иначе, конечно, положение обязывает. Несмотря на то, что, конечно, он порядочная, в сущности, свинья. Не мог отложить свадьбу. Ты кончила бы свое дело в Москве, приехала бы студенткой, да и мама, может, возвратилась бы. Лучше ведь было бы, а?

— Разумеется, лучше. Но, во-первых, я уже все равно студентка. А... понимаешь, вчера как было здорово, честное слово! В общем, если Павлику что-нибудь втемяшится... Разве ты его не знаешь?

Кирилл Николаевич знал его отлично.

Павел вырос в семье Извековых, и его сестра Анна Тихоновна звала его своим старшим ребенком. Иногда, рассердившись за что-нибудь,— неудачным ребенком. Но на самом деле он был тем стоящим малым, каким считал его Извеков, и если случались на его пути неудачи, то он справлялся с ними своими силами и, как он говорил, без драм.

— Драм — это не по моей части!

Он с детства понимал, что сестра «тянула» его. Ему приходилось учиться в разных городах, большей частью — где работал Извеков, но иногда и там, где служила сестра. Переезды стоили денег, так же как жизнь на два дома, а жизнь, особенно на первых порах, шла чаще всего на два дома: сестре хотелось играть в больших театрах, но большие театры не всегда были там, где строились большие заводы, на которые назначали Извекова. Павел никогда не испытывал своего сиротства, он жил в доме родным, но, может быть, именно как родному ему рано начало казаться, что в дом надо что-то приносить, дому надо давать. Одна из его неудач была следствием этого чувства, если не исключительно кризисом отроческого возраста. В пятнадцать лет он решил бросить школу и пойти на завод. Извеков сказал ему:

— Недоучки нынешним заводам ни к чему.

— Я все возьму практикой,— ответил Павел.

— Для практики ты не подготовлен.

— Я начну чернорабочим.

— Нерасчетливо. Ты уже слишком много лет потратил на образование.

— Ну вот: то не подготовлен, то слишком образован.

— Что делать, это так.

— Я пойду в фабзавуч.

— Сейчас нет набора.

— А разве нельзя, чтобы... сверх набора? Разве вы не можете так, чтобы приняли?

— Зачем я буду делать то, что нахожу для тебя неправильным?

— Все равно,— сказал Павел.— Меня интересует одна практика.

Извеков тогда написал жене об этом разговоре, она ответила большим письмом и вложила записку брату из четырех слов: «Дорогой Павлик, ты дурак». Он вспыхнул, хотел разорвать записку, но посмотрел на Извекова, спросил:

— Вы прочитали?

— Что?

— Записку.

— Как же я могу читать, что не мне адресовано?

Павел медленно сложил записку на много-много сгибов, квадратиком, спрятал ее в карман, пошел к себе, лег на постель — думать. Он не ходил в школу неделю, затем поутру, когда Извеков уезжал на завод, остановил его в дверях:

— Я пришел к убеждению, что надо окончить школу.

— По-моему, ты совершенно прав.

— Только... Я не говорил вам... Я сказал директору, что больше не буду учиться.

— А! Ну, если тебя исключили, я поговорю в школе... что там они могут сделать. Будь здоров. Мне пора.

— И еще хотел...— сказал Павел, хмуро нагнув голову.— Я хотел... Можно мне опять поцеловать вас?

— Конечно, дружище мой! Отчего же? — улыбнулся Извеков и сам поцеловал его в обкусанные, шершавые, толстые губы.

Много лет спустя, уже инженером, Павел как-то с шутливым задором спросил Извекова:

— А что, правда вы тогда не прочитали записку Аночки?

Извеков помедлил, чуть-чуть сощурился, чуть вытянул шею, словно ожидая услышать нечто чрезвычайно его интересующее.

— Само собой — правда.

— И Аночка ничего вам не говорила?

— Не помню. А что там такое было?

— Это секрет!

И оба они долго смеялись, вычитывая друг у друга в глазах, что было не договорено и без слов понятно.

На Оружейный завод Павел попал года за два до переезда в Тулу Извековых, после окончания Бауманского института в Москве. Наверно, поощренный Извековым, он рано научился читать чертежи, ковырялся в механизмах, любопытствовал около всяких замысловатых устройств. В институте его захватило конструкторское дело, так что и оружейники скоро почли его подходящим заводу специалистом.

Извековы были счастливы новой встречей с ним. Первое время они испытывали в Туле одиночество, и Павел утешал их слегка насмешливым радушием:

— Не горюйте, я всегда с удовольствием составлю вам общество!

— Очень благодарны за покровительство,— отвечал Извеков,— но чем же ты изволишь нас занять?

— Начнем, дорогие мои, с трека. В Туле трек — это как Колизей в Риме.

Он во всем был самым обыкновенным молодым человеком новых лет России — горячо, хоть и не всегда ровно, трудился, был общителен, любил кино, смотрел футбол, ездил на велосипеде и, длинноногий, достиг в этом традиционном тульском спорте порядочного успеха, даже какого-то нагрудного значка, который накалывал на праздничный пиджак, пока не потерял. Начав хорошо зарабатывать, он сразу купил мотоцикл.

Он очень любил Надю, говорил, что она росла у него на закорочках (между ними была разница в тринадцать лет), и, когда первой же ее тульской осенью у нее обнаружился инфильтрат в легком и ее поселили в Ясной Поляне, он вызвался быть постоянным связным между городом и Ясной. Чуть не каждый свободный час он залетал на сияющем, фыркающем, брешущем мотоцикле к Извековым, спрашивал: «Есть что отвезти? Давайте, отвезу!» — и мчался к Толстовской заставе и дальше прямо, прямо по Орловскому шоссе в деревню.

— Надюшка, здравствуй. Я привез тебе жамок!

— Что еще такое?

— Где ты уродилась, чудище, если не знаешь, что такое жамки?

— Там, где ты, — на Волге.

— Все заволжское Понизовье спит и видит во сне жамки!

— Сколько ни сплю, не видала.

Он вытряхивал из пакета на стол кучу медовых круглых пряников. — Только это не настоящие жамки. Туляки хорошо умеют делать одни свои печатки. И как раз что умеют, того в Туле не достать.

Он засовывал себе в рот пряник, подсаживался к Наде на шезлонг.

— Славно у тебя на курорте! Как делишки-то? На поправку?

На этом курорте Павел и познакомился с беленькой девушкой, таким же подростком, как Надя, и так случилось, что через год-другой он уже нетвердо знал, ради кого больше ездит в Ясную — ради племянницы, давно поправившейся, или ради Маши Осокиной.

Вспоминая сейчас эти маленькие подробности, Извеков усмехнулся про себя: «Доездили!» Ему досадно было, что не удалось побывать на

свадьбе, посмотреть (как он подумал в эту минуту о Павле) в его счастливую, веснушчатую морду, полюбоваться Машей и Ларисой, потому что они были, наверно, хороши, эти девушки, а главное — потому что они были милы его Наде.

Но еще больше он досадовал, что свадьбу сыграли без его жены. И тут опять, знакомым ему быстрым бегом, пробежала у него мысль о ее поездках, которым он потерял счет.

Анна Тихоновна, по сцене Улина, по себе Парабукина, всю жизнь была связана с театрами провинции. Слуху ее долго было приятно это отзвучавшее словечко, ей нравилось повторять: провинциальная сцена, провинциальный актер. Она не считала случайностью, что для народного зрителя театр родился в маленьком городке Ярославле, ничем тогда не знаменитом, кроме древностей. Самыми желанными были для нее старые волжские сцены. Но этой привязанности нисколько не мешало то, что она называла своими эскападами. Вдруг вместо летнего отдыха ринуться куда-нибудь в глухомань, сыграть полузабытый спектакль на новостройке или в дальнем военном гарнизоне — это было ей нужно, как испытание бывает нужно верности. Она была убеждена, что актер — спутник русского человека, потому что у нас театр — любимое училище жизни.

Извеков привык к вечным поездкам жены, иногда совсем внезапным. Он разделял ее романтическое обожание сцены, заложенное еще кочевыми представлениями артистов на фронтах гражданской войны перед красноармейцами. Ее рассуждения были ему своими, он соглашался с ними без спора. Но ни он, ни она никогда не сказали бы, что не видеть друг друга месяцами отвечает их обоюдному желанию. Она спросила его однажды в тихий час близости:

— Тебе очень трудно без меня?

— Ты ведь знаешь, — сказал он, как обычно, помолчав немного. — Но если я выбрал женой актрису, я представлял себе, на что иду.

— Бедный мой, на что ты пошел! — засмеялась она не столько его словам, сколько удивительной сладости услышать от него самого то, что она чувствовала без его слов.

Они переписывались, когда живали врозь, и, несмотря на то, что после писем жены ему острее недоставало ее, он как-то по-юношески жадно хотел бы получать их каждый день. У нее образовалась своя манера разговаривать письмами, начиная с очень серьезных новостей своего местопребывания, с театральных событий, толков о пьесах и переходя к наивной всякой всячине, за которой вдруг слышался одной ей принадлежащий женский и женин голос: «Тут эту быструю неделю стало так тепло, что хочется ходить безо всего. А у тебя?.. И как все мигом распустилось и зацвело, заблагоухало! А у тебя?.. У меня такое состояние, едва выйду на улицу, что вот-вот запоют и деревья и синее-синее небо. И так стучит сердце! А у тебя?.. Что в твоей рабочей Венеции, которую ты строишь, строишь и никогда, наверно, не выстроишь? Распустились прошлогодние лужи, да? И по-прежнему ты подымаешь из трясины автомобиль вагой? Ах, я с удовольствием налегла бы с тобой вместе на вагу, помнишь, как прошлый раз? На самый конец, и поболтала бы в воздухе ногами. Напиши скорей, как у тебя...»

После этих писем он продерывал несколько решительных диагоналей по комнате, одергивался, затягивал потуже ременный пояс, сперва теребил, потом приглаживал затылок и строго-озабоченным выходил к обеду. Если случалась за столом Надя, она секунду вглядывалась в отца, с укоризной вздыхала:

— Зачем ты, папа, притворяешься?

— Что значит — притворяюсь?



— Ведь на лице у тебя написано: пришло письмо от мамы!

— На лице ничего не пишется, если желаешь знать...

— Прочтешь? — вкрадчиво спрашивала она.

— Подумаю, — отвечал он загадочно.

Обыкновенно он читал дочери что-нибудь из письма на выборку, а Надя тянула его за руку, допрашивая:

— Что опять пропустил? Покажи. Ведь я тебе без пропусков показываю, что мне мама пишет.

— Читай лучше Пушкина. У него это все гораздо удачнее получалось.

— Что, что получалось?

— У него все получалось.

— Я знаю. А ты прочитай, что у мамы получилось не как у Пушкина!

Он выбирал еще какие-нибудь строчки, кроме тех, которые заставляли его вдруг бегать по комнате и тербить затылок.

Да, конечно, отсутствие жены ему было не внове. Но нынешнее совпадение обидело его. Надо же, чтобы так произошло с этими упрямыми, братом и сестрой! И вот уж правда: один другого стоит.

Аночка, только что закончив сезон в Тульском театре, уехала ненадолго в Москву. Сезон в Туле был для нее унылым предприятием, придуманным, чтобы пожить с семьей после трудного и сложного у мужа трехлетия, в течение которого она могла бывать дома только в отпуск и короткими наездами. Извеков проводил ее буквально накануне того, как Павел заявил о свадьбе. В пятницу на протяжении дня нельзя было добиться телефонного разговора с московской гостиницей, где Аночка осталась, а ночью она сама позвонила ему и сказала, что отправляется в двухнедельную гастрольную поездку в Брест. Он сообщил ей о новости. Она ахнула.

— Пусть Павел не смеет этого делать, пока я не вернусь!

Извеков ответил, что уговоры не подействовали.

— На него может подействовать Маша. Придумай что-нибудь. Скажи ей, что ты будешь посажёным отцом Павла и просто требуешь, чтобы эту сумасшедшую свадьбу отодвинули на две недели.

— Не вернее ли на два дня отодвинуть сумасшедшую поездку?

— Ты сердисься? Я вовсе не поехала бы, если бы ты позвонил днем. А я вот только-только подписала договор. Завтра утром вылетаю, в воскресенье играю спектакль.

— Что ж, в добрый путь. И счастливо возвращайся.

— Ты только пойми, Кирилл, как же теперь нарушить слово? Ведь договор! Знаешь, очень интересная труппа, сплошь молодежь. И потом мне так вдруг захотелось...

— Понимаю. Но вот и Павлу тоже вдруг захотелось.

— Я вижу, ты в самом деле недоволен. Но что я должна теперь сделать? Не могу же отговориться свадьбой брата! Если он заупрямится, скажи ему, что я на него зла и никогда не прощу. И вот еще что мне приходит в голову: подари им от нас чайный сервиз... Что?.. Ну конечно, молодым! Синий с полосочкой. Надя знает. Мы с ней уговорились... Как ее дела?.. А когда же она в Москву, если свадьба...

На этом месте междугородная перебила — истекло время, разговор надо было кончать. И Аночка кончила его, как много, много своих телефонных разговоров с Кириллом, сказав, что целует его, и, торопясь, подымая голос, успела прибавить: «Очень-очень-очень!» А он, будто из неловкости перед междугородной, ответил кратчайше:

— И я...

В конце концов все эти мысли о житейских делах надо было привести к какому-нибудь заключению, сделать вывод из воспоминаний.

Впрочем, вывод явился Извекову сам собой и был не менее прост, чем мысли и воспоминания. Выросла Надя, прочно стоит на ногах Павел, полна жизни Аночка, каждый из них чувствует себя свободным, верит в свое дело, а что всяк молодец на свой образец — значит тому и быть. Не по домострою закладывалась семья, не по домострою ей и бытовать.

Дорогу домой от вокзала Кирилл Николаевич шел прогулочным шагом. Он решил устроить себе день отдыха — не зауряд-календарное воскресенье, а такой праздник, когда не делается ничего обязательного, и ноги ходят, куда им захочется, и на душе беззаботно, как у дошкольника.

Он оставался один в доме. Было жарко, и ноги прямо привели его в комнату, которую Надя окрестила «периферийной ванной». Называлась комната так потому, что собственно ванны в ней не было. На широких скамьях и под ними стояли ведра, тазы, кувшины, по стенам развешаны были баки, вместительные лохани и всяческие иные сосуды и посудины, на том же языке Нади именовавшиеся «физкультуринвентарем». По утрам звонкие вместилища наполнялись свежей водой, затем в доме начинал раздаваться ес плеск или переливание, бурление, шум; и по ее музыке все легко узнавали, кто из обитателей заперся в комнате на крючок.

Извеков проделал последовательный, как служебный устав, ритуал мытья с той неторопливостью, которая вызывалась удовольствием. Ощущения в такие минуты господствуют над головой, она будто освобождается от прямых обязанностей, а тело всякой своей долькой внушает единственное певучее чувство: хорошо, что ты всю жизнь заботишься обо мне и меня холишь, смотри, как я живу и хочу жить, жить! И как ни механичен был усвоенный Извековым с юношеских лет уход за телом, сколько ни казалось, что, пока руки заняты заученными движениями, мозг продолжает делать свое дело, — в действительности мозг только отдыхал, наслаждаясь телесной работой, посылавшей ему, волну за волной, разгоряченную кровь.

Так же медленно, со вкусом, Извеков занялся старой своей бритвой, отдав должное правке ее на оселке и ремне. После бритья снова умылся и потом, в легкой пижаме, подошел к полке с книгами. Палец его нажал было на корешок «Духа законов» Монтескье, но тут же и вдвинул книгу на место, а взгляд уже переместился на другую полку. Почему бы в такой час не почитать то, к чему был интерес и на что никогда не хватало времени? Беллетристика? Сколько ведь разных томов и томиков выстроились в ряд, которые откладывались до поездки в отпуск!

Он наклонился к переплетам, но зазвонил телефон. Он снял трубку.

Павел, не поздоровавшись, спрашивал его, уехала ли Надя и что он сейчас делает.

— А, молодожен! Поздравляю. Я думал тебя предупредить: собираюсь к тебе с подарком.

— Интересно, что же это, — насмешливо и как-то вскользь сказал Павел.

— Это уж ты сам рассмотришь.

— Что-нибудь бьющееся?

— Вроде того.

— Самая пора! Черепки на свадьбе, говорят, к счастью.

— Ты что, подарки бить собираешься?

— Я — нет... Вы радио слушали? — быстро спросил Павел.

— А что? У меня выключено.

Только в это мгновение Извеков уловил непривычно глуховатый тон в голосе Павла и едва не пустил вдогонку своему вопросу шуточку

насчет похмельного утра или бессонной ночи, но Павел так же быстро сказал:

— Включите. Сейчас опять передают обращение. Война. Понимаете?

— Какая... что ты...— начал Извеков и тотчас расслышал в трубке отчеканенно-строгую речь диктора, которую тут же заглушил Павел:

— Включайте скорее. Как прослушаете — сразу к нам. Мы с Машей будем ждать.

Приемник стоял рядом с телефоном. Извеков протянул руку, включил ток. Пока нагревались лампы, у него странно столкнулись друг с другом несовместимые мысли. Он подумал, что уже в первые часы супружества появляется эта священная формула — «мы с ней, мы с ним»: почему — мы с Машей будем ждать, а не просто, как еще вчера,— я жду?.. Война идет без малого два года. Как ее только не называли! Придумали — стоячая война. А она растеклась по всей Европе... Старая манера Павла — вдруг хлоп трубкой, и ничего толком не поймешь... Хорошо еще нас не втянули в побоище — ни в стоячее, ни в лежачее... Мы с Машей! Как-то ты с ней уживешься, когда, сколько тебя ни учили разговаривать по-человечьи, все без толку. Ну вот, раньше кино звали «Великим немым», теперь онемело радио. Как бы правда не начал ты с Машей бить посуду...

Он вертел нетерпеливо регулятор настройки. В волосок тоненький писк, обломки далекого танго, актерский хохот, треск, какие-то выхлопы грузовика раздались вперемешку, и за ними, внезапно чисто, он услышал ту самую дикторскую речь, которая на секунду прозвучала в телефонной трубке, когда Павел сказал — война.

Он понял все сразу.

У него открылся рот и стали подниматься все еще черные, как в молодости, сросшиеся в одну черту над переносицей брови. Рука сама отделилась от приемника, взяла за спинку стул, потянула. Чтобы шум не помешал слушать, он заставил руку приподнять стул. Не отрывая глаз от неподвижной шелковой шторки приемника, за которой чеканились неслыханные слова, он тихо опустился на сиденье.

От его слуха не ускользал ни один звук этих слов, и в то же время он так же ясно, как звуки, воспринимал беззвучный голос сознания, отвечавший, казалось, на каждое слово.

«Так, так,— говорил голос,— они все-таки обрушили на нас войну. Мы уже в войне. В той самой, в которую им не удавалось втянуть нас. Которой мы противились изо всех сил. Которую ненавижим. Они оборотили ее против нас, чтобы не дать нам из нее выйти. Они опрокинули его мир и хотят опрокинуть всех нас. Со всем, что мы сделали, что делаем. Это их война. Так, так. Теперь она наша война. Уже наша. Наша война против их войны. Война нашей ненависти к их войне. О, как неожиданно! Как вдруг! Мы должны были ждать. Могли ждать. Ждали, и все же как неожиданно! Все великое, говорят, приходит вдруг. И все подлое, наверно, тоже. Так, так. Подлое тоже...»

Извеков слушал оба голоса — тот, что звучал, и другой, беззвучный. Все в нем было неподвижно, как неподвижна была натянутая шелковая шторка приемника. Только медленно закрывался рот, и, когда сжались губы и на выбритой досиня губе прямее прочертилась ложбинка к носу, рот как будто все еще продолжал сжиматься, и тени вздрагивали на челюстях под покрасневшими ушами.

Выше зазвучал голос радио, еще выше — и вот высоко: «Победа будет за нами!» Мгновенная тишина после этих высоких нот, нестерпимая пустота, будто из дома все исчезло, будто исчез сам дом,— и вдруг, отшвырнув ногою стул, Извеков поднялся.

Все, что отзвучало в комнате, все, чем только что ответило на эти звуки сознание, все отлилось в единственное слово: Брест.

Аночка в Бресте! Она сама сказала ему, сама произнесла — Брест. Почему он сразу не подумал об этом? Неважно. Все неважно. Она там, где огонь. На границе! Может быть, он ослышался? Почему не переспросил ее? Неужели она действительно выговорила это? Не ошибся ли он? Ее последние слова были: «Очень-очень-очень!» Но почему — последнее? Что значит — последнее? Что это?

У него тяжело поднялись руки, словно растопыренными пальцами им хотелось впиться в голову. Он принудил их опуститься. Он почувствовал, что сейчас закричит. Он не закричал. Натренированным усилием мужества он заставил себя опять сесть и зажал кисти рук коленями.

В комнате грянул марш.

Походный марш. Такой бодрый, веселый. С такими форшлагами, трелями. Из-за той же неподвижной шторки. Надо готовиться. Аночка второй день в Бресте. Сегодня она должна играть спектакль. Сегодня с рассвета она в огне. Надо прежде всего телеграфировать. Нет, послать радиogramму. Не растеряться. В этом все дело. Просить радиogramмой, чтобы Аночку вывезли немедленно самолетом. Кого просить? Что это за театр, которым она соблазнилась? Должен знать Комитет искусств. Он отвечает. Он не может не знать, куда поехала народная артистка. Сейчас же телеграфировать. Да, черт, там никого нет — воскресенье! Надо поручить Наде, чтоб она завтра утром... Да, Надя! Она сейчас еще в поезде. Лучше всего через военные организации, через военкома. Власть в Бресте сейчас у военных. В армии Аночку знают. И через Комитет одновременно. Адрес Нади в Москве? Ах да, она хотела прислать. Она сегодня — прямо на дачу. В поезде, наверно, уже все известно. Надя узнала и возвратится. Зачем ей возвращаться? Неизвестно. Все предстоящее всегда неизвестно. Но сегодня я его знаю. В такой опасности Аночка никогда не была. Надо обдумать спокойнее. Поспешность — это тревога. Не поддаваться ей, нет...

Забил настойчиво-частый телефонный звонок, каким вызывают для междугородного разговора. Извеков бросился к аппарату.

Низкий, с хрипотцой курильщицы голос, который он сразу узнал, монотонно, но с любезностью проговорил:

— Товарищ Извеков?.. Здравствуйте. Товарищ Новожилов просит вас прибыть в обком на совещание. Совещание начинается через полчаса. Что передать?

— Сейчас иду.

Он шагнул к двери передней, увидел, что на нем пижама, и повернул к спальне. Он одевался нарочно не спеша, стараясь занять внимание тем, на что оно не требовалось. Сосредоточенную его мысль можно было заметить лишь по надвинутой на глаза черной черте бровей в линейку.

Проходя мимо телефона, он вспомнил о Павле.

«Ничего,— подумал он,— позвоню из обкома. Подождет. Молодожен!»

Он проверил, в кармане ли ключи от входных дверей. Все было в обычном порядке.

## 2

Когда Кирилл Николаевич вышел из дому, взгляд его приостановился на водоразборной колонке, из крана которой, серебрясь на солнце и завиваясь, текла струйка воды. Колонка стояла на углу через дорогу, как раз против дома. Извековы пользовались ею вместе с соседями по кварталам, и Кирилл Николаевич, конечно, сотни раз замечал ее, выходя на улицу.

Но эта колонка имела для него некоторое особое значение, о чем он, пожалуй, никому не сказал бы, чтобы не вызвать на свой счет шуток. Достойный, хотя слегка устарелый прибор, воздвигнутый в интересах материальной культуры горожан, был отлит из чугуна в форме толстого знака вопроса, и к нему приспособлена была такая же чугунная ручка, выгнутая, как запятая. Сооружение стояло на пяточке бетона, всегда мокрым, а у переднего края пяточка, в черноземе, вымыта была водою скважина, переходившая в канаву, которая извивалась вниз по улице поэта Жуковского, образуя между тротуаром и мостовой рубеж, живописно поросший травой и усеянный булыжником.

Что-то лирическое слышалось в полязгивании ведер у колонки, в шуме наливаемой воды, и звукам этим мирно отвечал кудрявый уличный ландшафт с его липами, ясенями, простиравшими зелень над крутизной всего спуска — от кладбищенской стены улицы Льва Толстого, через перекрестки Гоголевской, Пушкинской к нижнему ярусу города.

В семье Извековых эта местность звалась «литературным заповедником». Надя с матерью посмеивались над Тулой, говоря, что, назвав именами писателей старые улицы, отцы города исчерпали свою любовь к литературе и оставили классикам девятнадцатого века самим заботиться о своей репутации в двадцатом. Извеков переносил насмешки с виду добродушно, хоть и не очень ему было по душе, если Надя в его присутствии спрашивала подружек: «Ну как, девочки, потопали по Жуковскому или по Тургеневу?» И те отвечали: «Все одно притопаем на Колхозную».

Великолепие писательских имен напоминало Извекову не только его прямую принадлежность к отцам города. Он сам облюбовал по приезде в Тулу литературный заповедник для своего жительства с семьей и выскал квартиру против водоразборной колонки.

В тот год, усталый от пережитого, он бродил по незнакомому городу, в котором ему предстояло жить и работать, — бродил, потому что выдался ничем не занятый час и противно было сидеть в гостинице.

Неожиданно он остановился против гигантской липы в два обхвата, необычайно пышной красоты. Тень ее целиком накрывала длинный одноэтажный дом, крашенный по тесу темно-коричневой масляной краской. Дом был тоже не совсем обычный: приземистый, с посаженными, одаль друг от друга, тремя тройками окон в резных наличниках и с разрисованными такой же резьбой старого вкуса воротами. Незадолго перед тем прошел дождь, и листва липы, краска дома, деревянные завитушки на нем искрились влагой, а по размытым канавам улицы еще журчала вода, сверкая на белых гольшах.

Вдруг улица показалась Извекову очень похожей на саратовские родные волжские взвозы, где по таким же вымоинам мостовых бормочут дождевые потоки, и он подумал: а славно было бы поселиться в таком доме! С камушка на камушек он перешел дорогу, махнул через канаву под покров липы, но тут же и увидел, что поселиться в этом доме ему вряд ли удастся: с самым живым удивлением он прочитал на памятной доске, прилаженной к фасаду, что здесь родился писатель Глеб Успенский. Дом сразу приобрел новый интерес, и все вокруг стало вызывать к себе внимание и любопытство. Извеков пошел дальше в гору и только теперь, изучая надписи на уличных углах, обнаружил, что бродит как бы по редкостному, нигде не бывалому конспекту истории русской литературы.

Ему это представилось занятным, и что еще неожиданнее для него было — это странная, но явно ощутимая уместность звучных писательских имен в приложении к этим улицам, не претендовавшим на что-

нибудь знаменитое, показное или хотя бы щеголеватое. Нет, это были самые простые, хранящие провинциальную свою неприхотливость, в большинстве бедные дома, построенные во фронт, по линейке, но только что не по росту, и больше в тесовых мундирах с дырками вместо отличий. И, однако, общая картина улиц, богатый убор деревьев, переживших век-другой, живописные дворы с наполовину поглощенными землей заборами,— картина была привлекательно-уютной и — уж без малейшего отклонения — русской. То есть это и была решительно не изменившаяся оболочка той самой жизни, той самой России девятнадцатого века, которую пели, любили, которой мучились, терзались и которой пророчили лучшую в мире долю создатели ее литературы, чьи имена теперь прославлялись дощечками на перекрестках тульского историко-литературного удела. Само собой, только наружная оболочка жизни и только России девятнадцатого века; оговорку эту сделал про себя Извеков сейчас же, едва пришла мысль в голову, что о русской литературе, звавшей к обновлению жизни, и надо было напоминать новой нашей эпохе как раз этими старыми улицами. Здесь уют и миловидность как-то даже внезапно сочетались с грозным предупреждением молодой России: смотри, как будто говорил наглядный музей прошлого, не переделаешь старины-матушки — вот так все и останется!

Наверно, отцы города столь далеко и крепко не замахивались, думал позже не раз Извеков, но получилось у них с этой смелой реформой очень внушительно.

Именно тогда, в момент этих неожиданных впечатлений, Извеков и подошел к водоразборной колонке на самом углу улицы Жуковского и Гоголевской.

Из крана бежала струйка игривым винтом вокруг своей оси, отскакивая от бетона и яркими брызгами исчезая в скважине, где глубоко шумел мутный дождевой поток, несшийся по мостовой сверху. Бетон был раскрошен, и чугунная труба крючком вопросительного знака наклонилась вперед. Извеков решил отведать водицы, нажал на ручку со всей осторожностью, но вода вдруг ринулась из крана мощной массой, как из пожарного рукава, и он отскочил в сторону.

«Ага,— улыбнулся он, постукивая мокрыми сапогами по булыжнику,— техника, однако, на высоте!»

Тут, с этой техники, началось раскрепощение пленной мысли Извекова, не дававшей ему покоя после того случая с ним, который привел его в Тулу. Он глянул своими мыслями не на то, что оставалось позади, а туда, куда ему надо было теперь идти. Он не только подумал, но с присущей ему телесной живостью ощутил, что хотя находится перед обстоятельствами несравненно более стеснительными и мизерными, чем те, из каких его вырвали и в каких он приучился действовать, но что он и в них отыщет свое рабочее увлечение, без которого не умел жить.

## 3

Пока он тогдашним летом бродил по литературному заповеднику, ему встретились дай бог трое прохожих, да и те что-то совсем мало примечательные, сонные, а за водой так никто и не подошел, сколько он ни стоял у колонки. Только двое мальчишек перебежали со двора на двор, и тот, кто улепетывал первым, кричал на высочайшей ноте, а преследователь его грозно вертел над своей головой деревянным мечом татарского образца времен Куликова поля. Потом опять все заснуло. Дремотный темп идеально отвечал тихим декорациям кварталов, возобновляя в памяти Извекова с детства запечатленную гармонию таких же солнечных улиц родного города в такой же предобеденный безлюдный час.

Сколько же годин минуло с его детской поры и где запропастились двадцать лет революции, переворошившей, казалось, весь мир, если убереглись в целомудрии такие музеи закоулочного русского быта? Как же это за два-то десятилетия в городе, славном исстари мастерствами и гордо прозванном «кузницей русского оружия», не дошли руки, чтобы развести водопроводные трубы по домам, флигелям, квартиркам, право же, по-своему привлекательных уголков обок с городским центром? Неужели тут обретается такой замшелый народишко, что его осудили до конца света ходить по воду с коромыслами, как на деревне? И что же, собственно, ты сам-то, премногоуважаемый товарищ, совершил такого, чтобы до человеколюбивого упразднения коромысел дошли руки?

Задавая себе этот вопрос, Извеков, в силу свойственного каждому инстинкта самооправдания, опять скользнул мыслью по своему прошлому, на котором поставлен был тогда крест не по его воле.

Получалось, что наработано было Кириллом Николаевичем за истекшие годы немало. Больше того: его работа и состояла как раз в замене всякого рода допотопных коромысел самыми новейшими орудиями. Извеков, конечно, не мог думать, что освобождение человека от неустройства старого быта произойдет прямо и сразу. Он был убежден, что тут неизбежна своеобразная стратегия, провести которую должна помочь методическая тактика. Стратегия состояла, так сказать, в большом заходе, тактика же — в показательности примера. В эту свободную минуту размышлений Извеков слегка, правда, но остановил внимание на том, что называется неравномерностью развития, на том, почему же получается, что в одном направлении все так быстро движется к лучшему, в другом несколько отстает, в третьем же не только хоть бы топталось на месте, но даже как следует и не стояло, а засасывалось своими зыбучими грунтами.

Рассуждения о неравномерности развития были Извекову и прежде знакомы, однако здесь явилось в них одно звено, раньше им как бы пропускаемое.

Существование старого быта для него было легко объяснимо как временное. Но объяснение это вдруг показалось ему чересчур отвлеченным. Занятый всю жизнь делами большого стратегического захода, Извеков почти уже не примечал старого быта как нечто грубо существующее. Это не значит, что он стал бы утверждать, будто все уже отличным образом переустроено. Наоборот, он чувствовал себя в разгаре переустройства. Но он строил непрерывно только новое, и отношение ко всему старому определялось для него одним словом: пережитки. То обстоятельство, что все новое неизбежно возникает из старого, означало для него не больше, чем для строящегося дворца могут означать деревянные бараки, окружающие строительство: выстроится дворец — бараки будут снесены. Если, однако, сами бараки были не больше как пережитками, то такими, которые должны были бы легко убираться и без следа исчезать, едва только воздвигался дворец.

Шутливо-горький лозунг, гласящий, что нет ничего более постоянного, чем временные сооружения, Извекову был ненавистен. Он хорошо знал, как прекрасное, могучее предприятие обрастает за время своего возведения подсобными для строительства халупами, хижинами; как они облепляются дровяниками, курятниками, свинарниками; как вся эта мусорная стихия бытования превращается в некую самость — и вот уж необозримо простерся на косогоре ни людьми, ни богом не спасаемый град, по которому ни пройти ни проехать, который гниет, починяется фанеркой, снова гниет и о котором давно позабыли, что его строили затем, чтобы сломать.

Большим заходом стратегии был для Извекова всеобъемлющий дворец, заложенный революцией и состоявший из тысяч строителей, которыми заняты были тысячи тысяч людей и среди них — Извеков. Он поглощен был своим трудом, как долей всеобщего, он отдавал его с радостью то одному, то другому делу — быть может, крошечному, но необходимому для возведения дворца. И он так часто собирал и так часто сносил всяческие бараки вокруг своих дел, что само время ускорилося, укоротилось в его воображении.

Но на этих тульских улицах, перед этой колонкой на перекрестке он спросил себя:

«Каково же должно быть исчисление, применяемое ко временности пережитков? Чем измеряется пропорция, в которой одни из них отмирают, а другие здравствуют? В каких цифрах выразится неравномерность развития, если сопоставить большой заход стратегии с тем фактом, что вот есть же уголки, где будто и не думают дотронуться до бабушкиного быта? Ну, цифры цифрами. А все-таки неужели тут так и забыли, что пережитки надо искоренять? Выстроили бы один, что ли, восьмизэтажный дом, чтобы кругом понимали, куда идет развитие. Как же так, без примера?..»

Тактика показательности примера рисовалась Извекову так же, как всем. Если, допустим, некий мир состоит из десяти условных единиц, то переустраивается сначала одна, а девять остальных ожидают очереди, проникаясь превосходством первой и стремясь к тому наилучшему, что в ней наглядно воплотилось. И в теории и по опыту Извеков находил метод примера жизненно полезным и лично работал всегда с необыкновенно искренним воодушевлением, до полной самоотдачи, над созданием примеров, достойных всеобщего подражания. (Тем более, между прочим, поразило его, когда он сам очутился в глазах многих примером сомнительным, если даже не опасным.) Путь примера, очевидно, неоспорим. Но в нем таится коварство, редко замечаемое теми, кому выпадает счастье пользоваться превосходством первой, уже переустроенной единицы: они слишком поспешно и далеко уходят вперед от девяти других единиц, ожидающих своей очереди быть переустроенными.

Дойдя до этой точки рассуждений, Извеков и ухватил звено, которое прежде от него ускользало.

Не был ли он в самом деле счастливецом, увлеченным большой стратегией настолько, чтобы за возведением нового совсем упустить из виду одновременное существование старого? И еще: не утешился ли он на том, что уже пользуется благами превосходного способа жизни, в то время как люди, продолжающие бытовать по закоулкам прабабушек, покуда только мысленно готовят себя к превосходству жизни, демонстрируемому как пример для всех?

На последний вопрос Извеков ответил категорическим «нет». Он даже усмехнулся такому вопросу к себе. Нет, он никогда не удовольствовался бы тем, что может жить лучше других. Целью его была лучшая жизнь именно для других, для всех. Да и жил-то он сам очень просто, как научен был с детства матерью — Верой Никандровной, всегда обходившейся достатком школьной учительницы. Что же до вопроса об увлечении стратегией в ущерб тактике, то Извекову сразу пришло в голову готовое на такой случай понятие «противоречий», и можно было бы на этом все объясняющем слове поставить окончательную точку рассуждениям. Но он уже так настроился, что точка не получилась.

Она не получилась, потому что Извеков не только рассуждал, но все время испытывал как бы сопротивление чувств ходу мысли. Мысль исходила из того, что каким-то чудом уцелела нетронутой оболочка прошло-



го века, давно подлежащая замене оболочкой более совершенной, как того требует век настоящий. Но глаза, уши, дыхание Извекова не переставали впитывать собой тончайшую жизнь привольно разместившихся по улицам деревьев, журчание воды по промоинам стоков, запахи орошенной дождем травы, холодок теней, кинутых домами на мостовую. Он нечаянно для себя, одним влечением симпатии, облюбовал угловой, светлый, отштукатуренный дом — второй его этаж, с окнами, густо закрытыми листвою ясеней. — и маленький двор под нависью одинокого могучего дерева. Он не сказал себе, а почувствовал: тут мы будем жить с Аночкой, Надей и мамой! Он почувствовал также, что люди, испокон дней обитающие в этих заповедных кварталах, любят их, любят свои дворы, свои домишки, несмотря на великую их скромность, и что — случись какая угроза всему этому человечьему гнездовищу — обитатели его, как один, бросятся грудью отстаивать от беды каждый закуток, ибо это есть не замененное ничем лучшим и потому единственное, что пока дано их любви.

Надо было бы сносить, выкорчевывать пережившее свой век бытовое старье — так выходило по рассуждениям Извекова. Но не совсем так выходило по его чувству, потому что он, к удивлению своему, понял, что, если уж второй раз облюбовывает себе здесь будущее жилье, значит прельщает же его нечто в прабабушкином быту, все равно — ландшафт ли, воспоминание ли о волжских взвозах или тишина, целительная для усталых нервов. Может быть, если бы, паче чаяния, оказалось, что уже ни в каком захолустье и никогда больше не встретишь подобного ласкового взору угла, то и пожалеешь, что он навечно ушел в небытие и не существует даже как памятник.

Впрочем, Извеков тотчас признал, что все-таки какой-нибудь восьмизэтажный пример тут водрузить следует, так как лирика лирикой, а дело делом. Выстроить многоэтажную громадину, пустить по улице для начала, скажем, один автобус, сфотографировать громадину с автобусом, напечатать фотографию в газете — это будет шаг. Рано или поздно, а с пережитками кончать надобно, и, пожалуй, если поздно, то будет плохо. Дело и заключается в скоростях, в соревновании скоростей, в расчете сил: будет ли коромысло быта оттягивать плечи по-прежнему или ослабит тягу, и скоро ли ослабит — как долго придется ждать?

Вопрос был изрядно загадочный. Но одно было в нем несомненно — это то, что коромысло оттягивало плечи и что Извеков не придавал этому особого значения, поглощенный заботами большой стратегии. Очевидно, сказал он себе общепринятым словом, я таки оторвался от действительности: противоречия-то развития не так уж бойко у нас изживаются.

Это был момент, когда он ясно увидел свое дело, ожидающее его на новой работе, когда новая работа перестала казаться ему бедной по сравнению с той, что он выполнял прежде. И хотя он подумал насчет фотографии с одним автобусом несколько иронически (встреченные им в жизни фоторепортеры всегда выискивали для своих камер некий предмет прогрессивных достижений, чтобы шелкнуть его на переднем плане), он с точностью теперь знал, что в корчевании старого быта и будет состоять его деятельность, которую на него возлагали в качестве наказания и которую он сам считал тяжелым наказанием, пока не забрел на картинные тульские улицы.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы Извеков сделал для себя какое-нибудь открытие — он и до этого момента хорошо понимал, в чем состоят обязанности заместителя председателя исполкома городского Совета по коммунальному хозяйству. Но до сих пор он больше думал о том, что

с этим внезапным назначением он попадал, так сказать, в штрафные, что его возвратили более или менее в исходное положение, потому что ровно восемнадцать лет назад он тоже работал в городском исполкоме. Поэтому момент был важен, так как мысль о наказании уступала место совсем иной: с чего же все-таки придется начинать, чтобы обуза старого быта живее уменьшалась, а новый помогал бы не столько фото-репортажу, сколько революции?

## 4

Появление Извекова в Туле было неожиданностью не для него одного. Лично его здесь мало кто знал, а те, кто знал, считали его кадровым работником промышленности и недоумевали, зачем и почему прислан он заниматься коммунальным хозяйством незнакомого ему города. Пусть бы на Оружейный завод или на металлургический Косой Горы — никто бы не повел глазом. А то с большой дороги куда-то вбок, да еще и под откос: каждый ведь, кто об Извекове слышал, узнай только, что его прочат в начальники какого-нибудь отменного главка либо даже повыше, счел бы это естественным. Но никогда никто и тем более в исполкоме не мог бы допустить, что Извеков пойдет в городское хозяйство по своей охоте.

На этот счет немало было гаданий, и особенно старались гадать сотрудники городского хозяйства, где столь же давно, сколь безрезультатно ожидали перемены начальства.

Возглавлял коммунальное дело города бывший заместитель председателя исполкома Михаил Антипович Придорогин, человек внушительной, но не совсем толковой энергии, и притом с фантазией. В постановлении о нем, подшитом к делам исполкома, значилось, что он освобождается как не справившийся с работой и временно, до назначения нового заместителя, будет исполнять свои прежние обязанности. Как на мотив освобождения указывалось, что Придорогин допустил засорение кадров сотрудников чуждыми элементами, среди которых действительно некоторые проявили вполне легкомысленное отношение к государственной собственности.

Михаил Антипович, в жизни своей не встречавший Извекова, больше всех, однако, о нем разузнавал, мимоходом внушая, где мог, впечатления, что от приезда его в Тулу вряд ли можно ждать чего-нибудь хорошего. Едва ли не ему принадлежало словцо, пущенное на ветер, но подхваченное: «Случай Извекова». Он был из мудрецов, которые предпочитают во всех житейских обстоятельствах подозревать нечто худое, делая вид, что не усомнятся и в наихудшем. Его этим никто особенно не попрекал, так как похулить ближнего считалось простой осторожностью. Скажешь о человеке плохо — ничего не произойдет, а похвалишь — тут тебе и крышка: поддерживал, солидаризовался — изволь нести ответ и за себя и за того, кого похвалил. Осмотрительность Придорогина широко стала известна, и он не заметил, как сделался ее жертвой. Его облепили мастаки играть на слабых струнках, и он, точно конь, вострил уши на шорохи, которыми его подпугивали. Он только и слышал: «Время-то какое, Михаил Антипович, время-то!» Он уже и шага не ступал, чтобы не сказать себе самому: поглядывать надо, товарищ Придорогин, поглядывать! Не успеешь зевнуть, как прослынешь соучастником дела, о коем ты ни сном ни духом. Вольное и невольное отплачивается нынче возмездием без кропотливого деления на категории. Забывать об этом нельзя ни на минуту. Посему знай себе — смотри в оба!

После того как к протоколам исполкома подшили роковую для Ми-

хаила Антиповича резолюцию, он пережил такой шок, что даже разговаривать начал на каком-то геометрически округленном языке, так что и щекотливая тема, обработанная этим способом и преимущественно с помощью молчания и мычания, не давала собеседнику подцепить какие-нибудь определенные выводы. Конечно, с друзьями он говорил более откровенно, чем с малознакомыми, да и то, во-первых, лишь в том случае, если разговор происходил с глазу на глаз, а во-вторых, и с друзьями, в силу привычки к осторожности, пользовался отчасти мимикой и языком округленности.

Подобным дружеским излиянием была беседа Придорогина с его старым приятелем, городским архитектором Филиппом Филипповичем Бокатовым — родственником его по жене.

Оба они ехали в служебную командировку, в Москву, и на их счастье удалось получить отдельное купе в южном поезде. Закрыв дверь и усевшись визави у навесного столика под окном, приятели вздохнули с облегчением, достали папиросы, обменялись сентенциями насчет вреда курения, помолчали. Хотя день был яркий, Придорогин повернул выключатель настольной лампы под оранжевым колпачком искусственного шелка. Тока не было. Придорогин медленно оглядел стену, обнаружил над окном черную тарелку радио, встал, нащупал регулятор, покрутил его в обе стороны. Звука не последовало.

— Пора бы тебе, Михаил, жирку сбавить,— сказал Бокатов.

Охлопывая себя по оттопыренному животу, подобранному широким желтым ремнем, Придорогин опустился на диван, опять вздохнул, ответил:

— Жизнь, братец мой,— борьба с излишками веса. Теперь будет время физкультурой заняться.

Снова помолчали.

— Сдаешь? — спросил Бокатов.

— Приготовливаюсь.

— Что-то затянулось.

— Извеков не хочет принимать, пока семью не перевезет. А тут два пункта. Первое — квартира не готова. Второе — его жене театр отпуска не дает. Привык с удобствами.

— Где ему квартиру отводишь?

— Да он сам придумал: кварталом ниже кладбища, на Жуковской. Я ему предлагал в новостройке — так нет, уперся: там, говорит, у вас ничего, кроме щебня да известки. А он, видишь ли, желает, чтобы с деревьями.

— Будет хозяином — пускай себе озеленяет, где хочет.

— Я тоже думаю — пусть озеленяет. Пусть и квартиру устраивает, какая понравится. Хоть на Жуковской, хоть... на самом кладбище.

Они улыбнулись друг другу.

— Да правда,— с досадой сказал Придорогин.— С Жуковской, чтоб он въехал, надо десятерых жильцов переселять. А куда? Извеков говорит — вот, мол, ты и предоставь им жилплощадь в новостройке, где мне предлагаешь. Так ведь они не очередники на площадь, жильцы-то, отвечаю ему. Вот, говорит, ты своих очередников размести в новостройке, а на ихнюю площадь пересели жильцов с Жуковской. Ишь, говорю, какой ты ученый! Этак ты все новостройки очередникам разбазаришь. А он мне: разбазаривать, говорит, не следует, а распределить между очередниками — твоя обязанность. А как же, спрашиваю, быть со вновь прибывающими ответственными товарищами, которых к нам назначают на работу, вроде, например, как ты, а? Куда их прикажешь? Может, в очередники зачислять или как?

Бокатов засмеялся.

— Это ты подколот!

— А как же? Приезжают на готовенькое! И жильцов им высели, и ремонт произведи, и чтобы с деревьями.

— Да что ты с ним нянчишься? Поживет в гостинице.

— Говорил!.. Он мне: я в гостинице, говорит, не намерен каждое утро терять полтора часа в хвосте к умывальникам. И умывальники, говорит, у тебя такие, что тошно руки сполоснуть. И все, знаешь ли, «у тебя», да «у вас», да «твое», словно сам ни бог весть из какой Филадельфии заявился.

— Да,— заметил Бокатов,— рассказывают про него — крутоват.

— Кто рассказывает?— насторожился Придорогин.

— У меня в мастерской чертежник один, работал прежде в Сормове, сталкивался с ним.

— Сталкивался? Конфликт какой был?

— Нет, не то чтобы... А приходилось наблюдать по работе. Неудобный будто этот самый Кирилл Николаевич, ну и шибко требовательный, крутоват.

Придорогин, чуть повременив, рассудил:

— Если так подумать, то ведь оно и нельзя по-другому. Время такое. Да и народ такой, правду сказать. Страна особенная. Строгость требуется. Распустишь — революцию упустишь Нельзя.

— Конечно. Но ведь одной строгости мало. Рассказывают, он порядочный будто дипломат.

— А как же? Без гибкости далеко не уедешь. Крутоват — хорошо, дипломат — хорошее. Народ требует к себе подхода.

— Политик!

— Кто? — почему-то даже испуганно спросил Придорогин.

— Да Извеков-то.

— Что ж ты хочешь? Тридцать почти лет в партии — да чтобы не политик.

Бокатов подался немного вперед, мигнул Придорогину, сказал тише:

— А на тот счет как полагаешь?

Придорогин поднял плечи, сделал руками такое движение, словно на его кисти надели моток шерсти и он помогает перематывать ее на клубок.

— В оппозиции он словно бы не был,— сказал он на низкой ноте.— У него, братец мой, позиция, а не оппозиция.

— Своя позиция и есть оппозиция.

— Не скажи. Дисциплину он понимает. Ни одного ему выговора, говорят, не записали до этого случая.

— Говорят и другое. Ни одного будто предложения не примет, если нет особого постановления. Всякое, мол, предложение принимать — и своего ума не надо.

— А разве не верно? — довольно громко возразил Придорогин. — Не успеет человек себя на каком деле показать, как на него пошли сыпать предложения — делай это, и то, и другое, и там тебя ждут, и тут ты нужен. Приучают народ к работе спустя рукава, плодят формалистов. Извеков не формалист, он работник.

— Разделяешь, значит, его установки? — не без колкости вставил Бокатов.

— На кой он мне сдался!

Разговор приостановился, как будто собеседникам надо было дать себе отчет, одобряют они Извекова или порицают и до какой черты допустимо то или другое.

— Работник! — скептически начал Бокатов.— Все мы работники, а приходится иной раз поработать не то, что хочется... У Извекова всегда шло по шерсти. Чего захотел, то и получалось. И постановления насчет его работы поспевали как раз такие, которые ему нравились. Рука у него наверху, в аппарате... Оно и получалось.

— Ты кого думаешь? — требовательно, но опять потише спросил Придорогин.

— Рагозина. Слыхал?..

— Думаешь, один ты слыхал?.. Рагозин в военном отделе, а Извеков по тяжпрому.

— А военный отдел гóлоса, что ль, не имеет в тяжелой промышленности?

— Ну, коли хочешь знать, Рагозин нынче Извекова против шерсти и погладил!

Бокатов вроде как удивился, но промолчал из соображения ответственности предмета, который всплыл по его же вине, и решил несколько отступить:

— Странно все-таки. Не чужак ведь какой. Надо было — воевал, торговал, речной флот восстанавливал. Буксиры-то, говорят, к нижегородской ярмарке кто под пары ставил? Извеков. Пришло время заводы строить — он в первом ряду. На автомобильном конвейер при ком налаживали? Не хуже спецов-инженеров справлялся. Учился, совершенствовался. Не клевал носом, не спал.

— А кончил, с чего начал: коммунхозом! — усмехнулся Придорогин и вдруг крепко ударил друга по коленке.— Непонятная одна в нем черта: всегда он словно бы на втором плане стоял, до настоящего руководства не подымался, в замах ходил! При его-то партстаже, а?

— Знаешь, ведь есть люди, без которых настоящего дела не сделаешь, которые ценности создают и этим свою гордость питают. У которых что голова, что руки — золото.

— А руководители безрукие, что ли? — укоризненно заметил Придорогин.

— Одни руки водить предпочитают, другие — делать работу. Сам говоришь, что Извеков — работник. Завод-то ехал на нем, так?

— Это все разговоры. Неизвестно, какими он их фактами подтвердил. Зачем-то ему надо. говорю, в полутени держаться, не на солнышке, не на припеке самом, а?

Придорогин отвалился в угол дивана, закрыл глаза. Он обладал способностью мгновенно задремывать и даже прихрапывал легонько при этом, вздувая обширный живот, но, так же быстро и неожиданно пробуждаясь, он мог как ни в чем не бывало продолжить прерванный спор или начать любой новый. Бокатов знал это за ним и, хотя на сей раз Михаил Антипович уснул надолго, спокойно дождался момента, когда тот поднял веки и глазами лунного света оглядел купе.

— Вот так-то, братец мой,— сказал Придорогин, устранивая свое тело удобнее.— А в чем, собственно, самая что ни на есть закавыка этого случая, мы с тобой так и не знаем! Про Извекова-то...

— Ошибка, говорят.

— То-то, что говорят. Кто говорит-то?

— Ошибка с каждым может случиться.

— Это мы понимаем. Только мало нынче что-то слышно, чтобы ошибки случались ни с того ни с этого. Вот так иной копошится в тени, на свет не выпячивается, а глядишь, он воду мутит да вдруг на каком-нибудь этаким процессе в полном освещении и предстал!

— Такое не с одним замами бывает, — сказал Бокатов.

— Тоже верно. Иной всю жизнь мораль преподавал, к верности заветам призывал и прочее такое, а глядь — ведут, голубчика, без пояса, и два красноармейца по бокам, при винтовочках. Вот тебе и мораль...

— Время такое. Ни за кого без проверки не поручишься.

— О том и говорю. Послали к нам для первоначала товарища Извекова городской канализацией заниматься, а погода да присмотревшись к его портрету — цап сокола да на цепочку...

— Да,— согласился Бокатов,— уж больно самостоятельного ума человек.

— То-то и есть,— заключил Придорогин.— Знали мы таких гордецов!.. Вставай, Филипп Филиппыч. Пора.

Они поднялись, разложили по карманам папиросы, причесались.

Уже взявшись за ручку двери, Михаил Антипович остановился, обнял другой рукой Филиппа Филипповича, приклонил голову к его уху:

— Товарищ Новсжилов встретил Извекова очень, передавали, сочувственно: по старой работе будто бы знаком. Неосторожно все-таки, думаю я. Пес его знает, что у Извекова за спиной. Поглядим. Представят бумаги в кадры — будет нагляднее.

Он с силой отодвинул дверь, шагнул в коридор, где уже толпились с чемоданами пассажиры, и во весь голос сказал:

— Ну, вот и матушка Москва!

Правда, словно отвечая его возгласу, из всех тарелок громыхнула по радио песня, почему-то прямо с середины припева: «Страна моя, Москва моя...»

И Придорогин бодро попал в тон: «...Ты самая люби-има-я!»

*(Продолжение следует)*



---

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

★

## ИЗ ПИСЕМ С ДОРОГИ

\* \* \*

...Пусть падают листки календаря,  
пусть будет долгий жизненный твой путь.  
Но день двадцать шестого октября,  
но первый снег его — забудь.  
Совсем забудь.

Как не было... Тот мокрый, вьюжный снег,  
застывшее движенье городское  
и до смерти счастливый человек,  
под артогнем бредущий человек  
в жилье чужое, но еще людское.

Как буйствовала в подворотне мгла,  
голодная, в багровых вспышках вьюга!  
Как я боялась в доме — как ждала  
войной-судьбою суженного друга.

О первый грозный, нищий наш ночлег,  
горсть чечевицы, посвист канонады  
и первый сон вдвоем...  
Забудь о нем навек.  
Совсем забудь. Как не было. Так надо.

\* \* \*

О, как я от сердца тебя отрывала!  
Любовь свою — не было чище и лучше —  
сперва волго-донским степям отдавала...  
Клочок за клочком повисал на колючках.  
Полынью, полынью горчайшею веет  
над шлюзами, над раскаленной землею...  
Нет запаха бедственного и древнее,  
и только любовь неотлучно со мною.  
Нас жизнь разводила по разным дорогам.  
Ты умный, ты добрый, я верю доньше.  
Но ты этой жесткой земли не потрогал,  
и ты не вдыхал этот запах полыни.





Слова долгожданного  
ты мне не сказал...

Путь наш пройден-вымерен,  
как река Нева:  
ведь в глазах — сибиринка  
и она права.

Сыплет дождик сыренький,  
дождик городской.  
...Не покинь, сибиринка,  
поздний праздник мой.

1959 г.



---

---

И. ЭРЕНБУРГ

★

## ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

*Книга третья*

1

**П**оздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отошавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сония»). В одной из танцулек хриплый тенор выл: «Завтра светопреставление...» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии — «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплатц; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь, она называлась Гогенцоллернплатц. В комнатах пансиона висели портреты Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик; лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегда-таев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кошунственными стихами, и тем сочеганием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими

буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами, сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге гайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокко», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «полицайштунде» была остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе — «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское — лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят — разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? — вздохнула почтенная мамаша. — Это светопреставление...»

Незадолго до моего приезда в Берлин иступленные националисты убили одного из руководителей партии центра — Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнем, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщили, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...)

«Уфа» поспешно изготавливала кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, иступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного из таких фильмов. Героиню отец пытался заму-

ровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец — для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с тем, что мы привыкли считать искусством. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками — их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбузье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции... А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вечерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру — традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух, язык Татлина, Малевича, Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция проризаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться — и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка — Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно хороший человек.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь — не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве...»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», помещалось «Романишес кафе» — приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или прода-

вали мелкие купюры долларов. Солидные бургеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гедехтнис-кирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» — им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми — обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуверр» — в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа — время обедать... Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит пролетариат победит. Страсть к организации — почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей — берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна...

В пивной на Александерплатц я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочее и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов, и русских... Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий...»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполняли тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был новым кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал книги Шпенглера; но все знали название одной из его работ — «Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики — если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Иости» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе... Истощение на почве

хронического недоедания...» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!»

Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние.

Поэты из журнала «Акция» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум...» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» — безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет...»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать, одни ожидали революции, другие — фашистского путча. Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение — хотя бы несколько страниц удались. Другое дело — вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может... Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза...)

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след банды убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было множить на «шлюссельцаль» — на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот. На экранах окраинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистрировано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста — Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называли фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательно моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма,

типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренились будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим — и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «...Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине... Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин — город отвратительных памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось...

Маяковский, приехав впервые в Берлин, осенью 1922 года объяснялся в любви: «Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и моя любовь к тебе расцветает романнее и романнее». «Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине: не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы; а в мае 1945 года — советские солдаты...

## 2

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние — Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако, вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме россий-

ских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длинейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал: «Языком, что без оков глупости болтает, забывает Милюков, что терпенье тает. Загораются огня, мщения пожары. Он погибнет от меня, черные гусары!» Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков — масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купфенберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский — Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Койранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского — канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого. Беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех: Белые газеты что ни день объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низверженных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва—Петербург—Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов — Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика — А. Г. Вешняк. Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Он издавал советских авторов и рассорился с эмиграцией. Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревой; были они моими близкими друзьями, добрыми, хорошими людьми и погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и



прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз...»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть. В бой последний, как на праздник, соберайтесь. Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Поэтом он вообще был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно — женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного труда. Нужно воспитывать детей — от них зависит будущее. Очаги воспитания — такая задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» — «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была немецкая овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный гост: «Встретим, радуясь, как дети, год тысяча

девятьсот двадцать третий... Конец распрям вздорным, Андрей Белый подружится с Сашей Черным... Шкловский примирится с содержанием Шекспира, Пасгернаку достанется Лермонтова лира. А председателю Минскому в награду за старанья достанутся бурные рукоплексканья...»

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими,— страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Яшенко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко»,— но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама... Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и полахничали... В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения... И все оподзели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно...» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны...»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского: «Как изваянья слипшиеся пары. И тяжкий вздох. И тяжкий вздох сигары... Жди — резкий ветер дунет в окорино по скважинам громоздкого Берлина, и грубый день взойдет из-за домов над мачехой российских городов».

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исплосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство других русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россией в письменах». Андрей Белый говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг — «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и одна моя книга перечеркивала другую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке,— слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком; умел поновому построить книгу. В его рисунках сказывается и чувство цвета и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали. После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными — с такими он, видимо, родился. Мне кажется, что этому пылкому человеку бывает часто холодно. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение — внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и подчеркнуто личная интонация, — все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она — москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле, Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович — своеобразный человек, его страсть — лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна приехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна — розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла, Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общеевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи — сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб в тридцатые годы, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецей; он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) — древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, он томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал «Про меня говорят, что я сволочь, что

я хитрый и злой черкес». Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но им нравится, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть,— говорили они,— а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый...» Журналист Василевский — Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, говорил, что меня нужно бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...» Он знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики — наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные...», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне — двадцать пять лет, Герцен — двадцать три года, Гюго — девятнадцать лет, Мицкевич — двадцать шесть лет; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была. В эмиграции могут оказаться разные писатели — и разведчики, и обозники. Кажется, Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно унести родину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство — непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старающихся «французить». Мне противен советский мещанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным — это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мещанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее — чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ли-

керы в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» — поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатрированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я — о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми: «Мы широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся! Мы обернемся к вам своею азиатской рожей! Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл, с монгольской дикою ордою!»

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи!» Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в те годы, — история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе — «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура — от Киевской Руси до Ленина — неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или чем душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «а вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги — так я чуть не зарыдал...»

Со времени тостов в кафе Вилли прошло почти сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, которого застрелил некогда ультрамонархист, теперь один из самых читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та севрюга, о которой писал Чехов, осталась...

## 3

В 1922 году в бюргерский пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я — Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили — «как корабли в море», я скажу — как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка...»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима...

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожид до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые начетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, оступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она — функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой, столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?.. Тувим страдал боязнью пространства — агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облаки». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи друг на друга.

В 1939 году один левый критик уверял, что для Тувима характерна «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства и мысли людей, но нечто самое важное поэт пронесет через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земьянская» со своими друзьями «скамандритами» — Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам...»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир...» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках,—

он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, что ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт — в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдаётся: «Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью моего свободного званья поэта. Господь не нацепит вон те созвездья на ваши мундиры и эполеты».

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи — читал отрывки из моих книг. Тувим закинул меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостиницу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзинском «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар — восемь золотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». «Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся — наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима: «Пусть те восхваляют Сорренто, Крым, кто на красоте падок. А я из Лодзи. И черный дым мне был отраден и сладок».

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война!» По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за шитами окон было светло и шумно — военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без усталости: никто в точности не знал, с кем Франция воюет — с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги — парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вздрезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел — многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился — дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном — о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили...», — а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые «ополченцы», когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка — Тувим говорил о дружбе, о любви,

о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте, я послал телеграмму Эренбургу — телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко врать с иными из своих давних друзей, но жил он одним — близкой встречей с Польшей, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри — какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время — гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце — груды щебня, развороченные дома с ключьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые уютятся в подвалах, в землянках, в шельях. Но Тувим видел красоту в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городских на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское носилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии...»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи подозревали, что у него рак, и он об этом узнал (у него была язва желудка, а умер он пять лет спустя от инфаркта). Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую — вот граница... Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книжки поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчишке, который поет грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчишку свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами. «Только нет приюта в мире человечьем странникам-евреям с песней сумасшедшей».

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы — польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»?» Вопрос в известной степени обоснованный. Мне



задают его еврею, которым я всегда говорил, что я — поляк. Теперь мне будут задавать его полякам, для которых я в большей или в меньшей степени остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим... Я — поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и на обиженных, на достойных и недостойных. Я делю поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм — международный язык фашистов... Я — поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь... Я — поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я — поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими резонными доводами... Я слышу голоса: «Хорошо. Но если вы — поляк, почему вы пишете «мы — еврей?»» Ответу: «Из-за крови». — «Стало быть, расизм?» — «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая — это сок тела, ее исследование — дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и, в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение — кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, честные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей — крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы. Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в нелегкое время — в 1952 году... Многие мы вспомнили, о многом говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдем в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски...»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород, — ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой показаться высоко-

мерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце», — как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?..» Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпика; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой — тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом — приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе... Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?..» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-«скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Дуглава Венявский, обожавший мир искусства, — там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглощали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался: «В час дня благовеинно балбес вошел в кофейню, сел важный, энергичный, почти что заграничный, из кожи лез бедняга, изображая гордо боксера иль варяга, а может быть, и лорда... Никем замечен не был и, улыбаясь криво, решил быть испанцем Де Мендос-и-Олива, дельцом из Пампелоны, певцом из Аликанте, испанцем-монархистом, испанцем-эмигрантом. Но было все напрасно, хоть был он из Толедо, и посему пошел он до Ватер-и-Клозедо. И там, излившись горе старухе бестолковой, вернулся в дом семнадцать на Малой Кошиковой».

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину — трогательно-насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека: «Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами, ждут, глядят — нет клиентов, томятся, без дела шатаются, сами бреются, сами стригутся — все сами и сами, перемолвятся словом, задремлют, всхрипят и опять просыпаются... Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают, парикмахерам страшно, забежали — слышите гром! Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают, то стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом». Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами...» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что, будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима: «Я, может, лишь день там прожил, а может, прожил век... Я помню только утро и белый-белый снег».

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном...» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни... Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...»: «А может, снова, дорогая, в Томашув на день закатыться. Там та же вьюга золотая и тишь сентябрьская длится... В том белом доме, в том покое, где мебель сдвинута чужая, наш давний спор незавершенный должны мы кончить, дорогая». Может быть, это и есть «самое трудное» — поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: о необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливым, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чуде Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам походил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытается опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали эти стихи родственны «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже семь лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

## 4

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путанными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного Жида. А Белый неистовствовал, металась руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, выдавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек...»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался метром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной

молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях — и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог бы привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?.. Андрей Белый потрясал всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого: «Ему кавказские кричали горы и нежных Альп стесненная толпа, на звуковых громадах крутые всходы его ступала зрячая стопа»; и все же, выражая смятение других, писал: «Скажите, говорят какой-то Гоголь умер? Не Гоголь, так себе писатель... гоголек. Тот самый, что тогда невнятицу устроил, который шустрился, довольно уж легок, о чем-то позабыл, чего-то не усвоил, затеял кавардак, перекрутил снежок...»

В 1919 году я так описал Андрея Белого: «Огромные, разверстые глаза — бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм — не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми... Белый выше и значительнее своих книг. Он — блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов... Почему даже пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком — его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил «жало мудрых змеев», но не коснулся его сердца...»

Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинемюнде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о серафиме и сердце, ошибался: принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря.

Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих (да и не только великих) неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только историческую ценность, писал красками, им изготовляемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались, и миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о «таинственной улыбке» Джоконды... Есть писатели, которые меньше написанных ими книг: вспоминаешь человека и дивишься, как он мог такое написать?.. Есть другие. Я и теперь, как сорок лет назад, думаю, что Андрей Белый был крупнее всего им написанного.

Я не хочу сказать, что его произведения незначительны или малоинтересны. Некоторые стихи из книги «Пепел» мне кажутся совершенными; роман «Петербург», как ни подходи к его замыслу, — огромное событие в истории русской прозы; мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей.

Большая Советская Энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Н. В. Бугаева, а Борису Николаевичу не повезло — он назван в манере 1950 года «клеветником». (Снова я думаю о преимуществе точных наук: к работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь...)

Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого: мешают придуманные им словообразования, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался «перекрутить снежок»: «Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым... И не раздеваясь садился, слагал на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папирски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках...» Это кажется написанным на древнем языке, нужно расшифровывать, как «Слово о полку Игореве». Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него (как и без Ремизова) трудно себе представить историю русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях некоторых современных авторов, которые, может быть, никогда не читали «Петербург» и «Котика Летаева».

Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланг-иланга, никогда не применяются в чистом виде, но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция неизменно разбавляется водой. Мало кто способен прочитать от доски до доски собрание сочинений Велемира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию — скрытыми, обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого.

Его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка, в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены, и начинал шаманить неохотно, может быть с голоду или по привычке; но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому не понятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане. Мне кажется, что Борис Николаевич и говорил и писал часто в состоянии иступления, если угодно, шаманил — торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов.

Он вдохновился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, всерьез, иступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцулек; растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал неистово танцевать, пугая своими глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано поседел; лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью.

Все в нем было несчастьем: и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разуверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафию себе: «Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел; думой века измерил, а жизни прожить не сумел». Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет не от солнечных стрел, а от усталости: хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его, то оставался позади — «жизни прожить не сумел». Все, кажется, он испробовал — и

мистицизм, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса; был после Дорнаха руководителем литературной студии Пролеткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную «Глоссалию», не раз хоронил себя и снова «затевал кавардак».

Непримиримые эмигранты его ненавидели: он им казался перебежчиком — ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мережковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура в Советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят.

«Скифы» считали его своим, трудно сказать почему, вероятно потому, что он восхищался гражданским мужеством Блока. Ничего «скифского» в Андрее Белом не было, и он боялся «панмонголизма», о котором писал Соловьев и которым вдохновился Блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения.

Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине (я писал, как высоко ценил Белый поэму «Человек»), Борис Николаевич сказал: «Все в вас принимаю — и футуризм, и революционность, одно меня отделяет — ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки — это я только приветствую. Опасность в другом — в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека...» В другой раз Белый поспорил с писателем, близким к сменовеховцам. Борис Николаевич кричал: «Вам не по душе революция, вы верите в нэл, вы восхищаетесь порядком, твердой рукой. А я за Октябрь! Понимаете? Если мне что-нибудь не по душе, то именно то, что вам нравится...»

Я уже писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. (Он писал об этом в своем дневнике 1915—1916 годов «На перевале».)

Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу забросил... В себе сжег художника, став, как Гоголь, большим!.. Легкомысленнейшее существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. Материалистом стал!..» Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом — и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликаньи». Вероятно, это самое правильное объяснение: сложнейшая партитура и слабый человеческий голос.

Отсюда и одиночество. На берегу моря, крепкий, казалось бы бодрый, он говорил мне: «Всего труднее найти связь с людьми, с народом». Подарив мне «Петербург», надписал: «...с чувством постоянной связи». Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее. Он так хотел живой связи с людьми! А судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом, «золотом в лазури». В стихотворении, посвященном Андрею Белому, Мандельштам писал: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь». Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича.

## 5

Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и А. М. Ремизов, хотя их книги теперь почти всеми забыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений, много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремизов был домоседом, жил на земле, даже под землей, походил на колдуна и на крога, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил.

В 1921—1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики — Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Зощенко, многие другие; почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремизовым. Я как-то заглянул в мои книги того времени («Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах») и удивился: запутанные или оборванные фразы, переставленные или придуманные словечки; а когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и «Голый год» Пильняка и многие произведения молодых «Серапионов». Если это можно назвать болезнью, то, говоря по-газетному, она была болезнью роста.

Влияние Белого и Ремизова на молодых писателей было настолько очевидным, что А. М. Горький писал К. А. Федину: «Но — не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя — отнюдь! Да, у них изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка — Н. С. Лесков. Но — ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Я рассказал об Андрее Белом. Теперь мне хочется вспомнить А. М. Ремизова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мешанской немецкой квартире, в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и с живыми, лукавыми глазами. Его жена, Серафима Павловна, хлопотливо потчевала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукописи, написанные, вернее нарисованные, мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались различные черти, вырезанные из бумаги: домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался: в тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая — Пильняк, который рассказывал фантастические истории о жизни в Коломне.

В Берлине Ремизов был таким же, как в Москве или в Петрограде, писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк — я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал В. Г. Лидин в 1921 году: «Не перевелись еще человечки такие, русские, земляные, мышинные,— живет и здравствует, и дай бог лета долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему — в голодуху и холод — царю обезьяньему Алексею Михайлычу Ремизову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» К. А. Федин вспоминал первые годы революции: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть в присядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно, приюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст». (Лидин написал приведенные мной строки в годы повального подражания Ремизову, Федин — двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексее Михайловиче, невольно заговорил на давно забытом ремизовском языке...)

Среди прочих игр Ремизов играл в некий таинственный орден, созданный им, — «Обезьянья великая и вольная палата», или «Обезволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, «Серапионов». Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».

В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Незачем напоминать, какие это были годы. Много несчастий перенес и Алексей Михайлович. В годы немецкой оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Павловна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах, те же черти кружились по комнате и так же он писал — древней вязью, записывал сны, писал письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать.

Недавно Н. Кодрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, с трудом писал, называл себя «слепым писателем», но, удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность и работал он до последнего дня; писал все о том же и все так же — «Мышкину дудочку», «Павлинье перо», «Повесть о двух зверях». Умер он в 1957 году, в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до смерти писал в дневнике: «Напор затей, а осуществить не могу — глаза!.. Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти — на книгах, изданных в последние годы, значится: «Цензуровано в верховном совете Обезволпала».

Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему: Ремизов узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда нелепее всего, что он мог придумать.

Писатель всегда старается обосновать поступки своих героев; даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои алогизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, а Жюльен Сорель стреляет в госпожу Реналь. А жизнь не писатель, жизнь может без всяких объяснений все перепутать или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремизов был наирусейшим изо всех русских писателей, а прожил за границей тридцать шесть лет, говорил: «Не знаю, почему так вышло...»

В ранней молодости, будучи студентом, Ремизов увлекся политикой, стал социал-демократом, угодил в тюрьму, шесть лет провел в ссылке вместе с Луначарским, Савиновым и будущим пушкинистом П. Е. Щеголевым. В ссылке он встретил свою будущую жену — Серафиму Павловну, наивную эсерку. Ремизов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти: «Как в России делалась революция. Переустройство жизни — уклада жизни. Мое чувство начинается — нищие на паперти и фабричные каморки». Он продолжал три месяца спустя: «История мне представляется кровавой, война и расправа, надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголодь не всякому удастся. Не насытившись и не выспавшись. Завота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба».

В одной из последних книг, говоря о Тургеневе, Ремизов возвращает к той же проблеме: «В революцию все бросились на «Бесов» Достоев-



ского, искали о революции... И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Новь» и которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а к стати поискать «бесов» совсем не там — жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы!» — нет, не там, и уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым — вот полчища бесов, а имя которым праздность и самовольная праздность».

В книгах «Пруд», «Крестовые сестры» Ремизов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Роллан в предисловии к французскому переводу «Крестовых сестер» писал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю.

Бунин знал, почему он жил и умер в изгнании, а Ремизов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно — «они», повторял: «Что они ни говорят, а живая жизнь в России». Н. Кодрянская приводит такие слова Алексея Михайловича: «Из 1947 года мне памятли три крепких отзыва: «ретроград», «подлец», «советская сволочь». Когда я был у него летом 1946 года, он говорил «паспорт у меня советский» — хотел хоть этим утешить себя и печально улыбался.

За границей он мыкался, его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его обвинили в том, что он развел мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру.

К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть и в действительности был своеобразнейшим «правым фронтом» литературы». Слово «правый» относится, конечно, не к политике, но к эстетике: Ремизов у Федина противопоставлен «лефовцам». А мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отличающая Ремизова, была присуща и Хлебникову, без которого нельзя себе представить «Лефа».

Ремизов говорил, что из современников ему ближе других Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак. Не очень-то «правые» вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык.

Ремизов часто с любовью вспоминал М. М. Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. В своей автобиографии Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал: «Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся ему приветливо и так наивно-простоудшно спросил на ходу: «Неужели все о своих букашках пишешь?»

Конечно, Ремарка читают больше, чем Гофмана, и Апухтин был куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дела: есть крылья разного калибра для разных полетов.

Ремизов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую он мне подарил, он написал: «Здесь все для елки». Елки одно время были у нас не в почете; потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни: играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда печалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание «букашек» — долгих трудов писателя Алексея Михайловича Ремизова.

Произведя меня в кавалеры «Обезволпала», А. М. Ремизов определил «С хоботком жужелицы» не случайно: жужелица, защищаясь, выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником.

В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь; вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить. В католических церквях исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя — в его книгах; это верно; однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, замагает следы — есть у него, помимо книг, личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, о ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу.

И все же эта книга — исповедь. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга И. Терещенко «Современный нигилист — И. Эренбург». (Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося исторического факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, — почти в клеймо позора».) Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.

С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей, взрослых. Так было и потом; слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя, а дойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждения, но не натуру. Три года назад я написал в стихах о моем отношении к слепой вере, которой противопоставлял критическое мышление и верность идее, людям, да и себе. «Не был я учеником примерным и не стал с годами безупречным, из апостолов Фома Неверный кажется мне самым человеческим. Услыхав, он не поверил просто — мало ли рассказывают басен? И, наверно, не один апостол говорил, что он весьма опасен. Может, был Фома тяжелодумом, но, подумав, он за дело брался, говорил он только то, что думал, и от слов своих не отступался. Жизнь он мерил собственной меркой, были у него свои скрижали. Уж не потому ль, что он «неверный», он молчал, когда его пытали?»

Я упоминал не раз в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверно мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых устлан розами; но, переживая временные неудачи или поражения, они видели, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума, не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей.

Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы, искусства, о том, что «физики» опередили «лириков». В 1892 году А. П. Чехов писал: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы

кислы и скучны, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой, заглядывая в прошлое, успокаиваешься: когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его пугь идет в гору, что в тифлисской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что двенадцатилетний мальчик Саша Блок станет великим поэтом и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда чередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в семидесятые годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену им пришли Сезанн, Гоген, Ван-Гог, Тулуз-Лотрек; в начале нашего века первые выставили свои работы Боннар, Матисс, Марке, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900 года, — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом; их называли «потерянным поколением», но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборником стихов Александра Блока прошло почти тридцать лет.

Я видел появление крупных писателей, художников и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства. Нет, тяжело было другое: я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека, в эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины и необычайно примитивных людей — с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века.

Я рассказал, какой была Москва моего детства — темной, с «Московским листком», со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами; на Западе о России тогда говорили редко: страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей и пушиной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас; на Москву смотрят все — одни с надеждой, другие с опаской; зеленый, сонный город моего детства стал подлинной столицей мира. Родился новый Китай. Добилась независимости Индия; поднялась буря: и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство «белых». Да, все переменялось. Мог ли я мальчиком себе представить, что буду перелетать за несколько часов океан, что появятся радио и телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семимильные шаги!

Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса: прогресс и варварство, просвещение и невежество. А XX век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Гегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге, увлекался перспективами современной физики, и вот он записал: «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей, они прятались под полом, и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс...» Недавно мы видели, как терзали Патриса Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки, и аппараты у них были превосходные.

Дикость, если она связана с невежеством, объяснима; труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эссосовцы учились в школах той Германии, которую я знал; с детских лет им говорили, что Кант написал «Критику чистого разума» и что Гёте, умирая, воскликнул: «Больше света!» Все это не помешало им десять лет спустя

швырять русских младенцев в колодцы. «Изуверские идеи маньяка», — скажут мне. Конечно. Но меня потрясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людоедов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали.

Но что говорить о фашистах. Я видел, как в передовом обществе некоторые люди, казалось бы приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, во имя личного благополучия предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа; расторопный сын чернил попавшего в беду отца.

Не знаю, оттого ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, оттого ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенное веками, но многие люди развивались односторонне. Автор книги «Современный нигилист», о которой я упомянул, ставил мне в вину «культ любви», называя его мещанством: «В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям половая любовь еще может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место...» Я помнил Петрарку, Лермонтова, Гейне, и мне казалось, что мой обвинитель — «слабый или малоразвитый человек» и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, «поставленной на свое место», — апология мещанства.

Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Я оглядываюсь на свое прошлое. Я хотел сам многое понять, проверить и не раз ошибался. Но я твердо знал, что, как бы меня ни огорчали, ни возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первый решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой усмешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закутке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков.

Сартр говорил мне как-то, что детерминизм — ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Это человек большого ума, обостренной совести и некоторой детской наивности. Думая теперь о его пути, я лишней раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой, которая неестественно повышает голос человека или, наоборот, глушит его, меняет все пропорции.

Бывают эпохи, когда, облюбовав место «над схваткой», можно сохранить любовь к людям, человечность; бывают и другие, когда духовно независимые киники становятся циниками, а бочка Диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает.

В чем же были правы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии; чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы; это явление довольно распространенное; в свое время был даже литературный термин — «романтическая ирония».

В моих ранних книгах преобладала сатира; на авансцену часто вырывались рвачи, злые мещане, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществуют в одном человеке. Я написал «День второй». Однако этикетка оставалась. А. Н. Афиногенов, с которым я познакомился в тридцатые годы, писал в своем дневнике: «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический...» Это написано дружеской рукой, но в замечании сказались инерция установившегося реноме. Да

зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель»; само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям; но критиков возмутило, что я показал директора завода, человека бесчувственного и нехорошего.

Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,— все это хорошо, умно, естественно и трогательно...» Толстой сделал из Николая Ростова обаятельного человека, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах отнюдь не ангелы.

Что нужнее людям — раскрытие пороков, душевных изъянов, язва общества или утверждение благородства, красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный: людям нужно все. В одно время жили Державин и Фонвизин; остались «Глагол времен! металла звон!», остался и «Недоросль». Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков; долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что с чьей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам.

Я люблю Белинского и за его гражданскую страсть и за страсть к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова: «...когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему требованию морали ввел в свой роман эти лица и, следовательно, опять погрешил против основных законов искусства».

Порой я грешил против законов искусства; порой попросту ошибался в оценках событий, людей. В одном я только неповинен: в равнодушии.

Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил об исповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова. Но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которая оплачивается и бессонными ночами и неудачными книгами. Без этой главы мне было бы трудно продолжать мое повествование.

## 7

Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы; к ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать.

Осенью 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических «пролетарских сотнях», о «черном рейхсвере» фашистов. Канцлер Штресеман взывал к патриотизму. Генерал Сект проверял, достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранцы корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась неминуемой. Прокатились слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произо-

шло. Рабочие были обескуражены, измучены. Все мешалось в голове мешанина; он никому больше не верил; ненавидел Стиннеса и француз; побаиваясь блюстителей порядка, он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовой организацией. Профсоюзы аккуратно собирали членские взносы. А решимости не хватило... Канцлер приказал распустить рабочие правительства Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию; люди читали и молча шли на работу.

Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиция трагедии вошла в историю под названием, скорее подходящим для фарса, — «пивной путч». Берлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена: еще один путч, капитан Рем, какой-то Гитлер... Приближалась пора «плана Дауэса», хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после десяти лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства или на похождения кинозвезд.

Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстендамма пили французское шампанское «за новую эру».

О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Не менее трудно обыкновенному человеку перейти от жизни, перенасыщенной историческими событиями, к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни.

Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные издательства. Русские писатели поразъехались кто куда: Горький — в Сорренто, Толстой и Андрей Белый — в Советскую Россию, Цветаева — в Прагу, Ремизов и Ходасевич — в Париж.

Уехали из Берлина и чужеземные спекулянты: марка становилась на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура; начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем; другие говорили, что надо готовиться к реваншу — оккупированные не расставались с мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка барометра шла вверх; люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах.

Я много писал, и, пожалуй, в те месяцы (как и потом не раз в жизни) меня выручало ремесло. Не знаю, «святое» ли оно или попросту очень трудное; не говорю сейчас о замыслах, о фантазии, только о поте. Вот я отмечал: написал столько-то книг (следовал перечень заглавий); а за этим скрывался прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные ночи — словом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства; но потом снова сидел над листом бумаги — втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет.

Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь Жанны Ней» — отдал дань романтике революционных лет, Диккенсу, увлечению фабульной стороной романов и своему (уже не литературному) желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви.

Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время: «Так умирать, чтоб бил озноб огни, чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский «ну ты, угомонись,

уймись, никшни» прошамкал мамкой брошенному сердцу, чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать ремень окна, чтоб не было «останься», чтоб, умирая, о тебе гадать по сыпи звезд, по лихорадке станций, так умирать, понять, что гам и чай, буфетчик, вечный розан на колете, что это — смерть, что на твое «прощай» уж мне никак не суждено ответить». Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки.

(Мориак в одном из старых романов говорит: «Даже страдания — это роскошь». Да, слишком часто выпадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества.)

Навстречу шли чинные бюргеры, франтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо позевывали.

Я расставался с Берлином без сожаления. А вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце «нигилиста», расстаться было куда труднее...

Мы высмеивали романтизм, а на самом деле мы были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее; но стоило истории затормозить ход, как мы помрачнели — не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы, слыл пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир, и вдруг он ожил, даже прибавил в весе, заулыбался.

Наступала эпоха, которую наши историки именуют «временной стабилизацией капитализма». Возможно, что, читая эту часть моей книги, читатели подумают: первые части были куда интереснее, чувствуется спад... Что ж, антракт не спектакль, и 1924 год не 1914-й и не 1919-й.

В годы передышки писатели поняли, что они могут писать; именно тогда были написаны прекрасные романы Хемингуэя, «Конармия» Бабеля, «Про это» Маяковского, «Семья Тибо» Мартен дю Гара, лучшие стихи Цветаевой, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Парижский крестьянин» Арагона, «Разгром» Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни концлагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобер мечтал написать роман без фабулы, но так его и не написал: очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить: передышка была недолгой.

## 8

Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Э. Ю. Триоле рыжий Ромка — лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. В стихотворении, ставшем хрестоматийным, Маяковский вспоминал, как дипкурьер Нетте, «глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча». Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил; много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал — и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь, отвечал: «Это было с моей стороны рабочей гипотезой».

Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу, соблаз-

нял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже моравскими колбасами (Роман любил поест и начинал полнеть, хотя был еще очень молод).

В конце года я приехал в Прагу. Молодые поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке, Татлине — я был первым советским писателем, которого они видели. (Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.)

Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей — в 1923 году или позднее, но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе «Народная каварня», облюбованное участниками «Деветсила» — так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витеслав Незвал, Ярослав Сейферт, прозаик Владислав Ванчура и теоретик «Деветсила» критик Карел Тейге. Были еще молодые художники, но не помню, кто именно. Незвал пил сливовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а мы начали переходить из одной «винарни» в другую и на рассвете оказались в пустой холодной закуской, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи.

В присутствии Незвала трудно было когс-либо заметить: он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он вдохновенно кричал, читал стихи, вскочив на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на ласты. Он вообще ходил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольф Гоффмейстер рисовал его портреты, как дети рисуют дерево или домик — несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но, порывшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гоффмейстера и снисходительно позвала полицейскому: «Незвал. Поэт».

Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят «наивен, как ребенок». Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитростным слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков, Новалиса, Бодлера, Рембо, Гийома Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм — от сонетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма — и, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир; он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетий цивилизации. Он был нов не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому: «Выставлены розовые холсты под открытым небом среди равнины. Крыши там из обожженной глины — это вид Милана с высоты. Зорька вдруг распалась — на мелкие кусочки. Солнышко, солнышко, лопай пирожочки!»

Поэзия была для него стихией, водой для рыбы; отлученный от нее хотя бы на день, он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ними родство, общность — от давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздних встреч с Назымом Хикметом; восторгался, открывая других поэтов.



Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова, восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний; он говорил мне, что писать ее нелегко: знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости; никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. (Я вспоминаю простые и мудрые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом.)

Незвал часто в стихах писал о стихах: «Будьте строги и прекрасны! В добрый час! Звездапады слез, и клятвы женских глаз, и любовь в горах, где сотни звезд прямо в руки падают из гнезд. До свиданья! До свиданья! Так и быть! Снова буду я будильник заводить. Сколько здесь людей живет вокруг, вот она, поэзия, мой друг».

Когда я познакомился с Незвалом, ему было двадцать три года. Годы шли. Критики, как им и подобает, корили Незвала: он отходит от ревлюции, становится формалистом, хуже того — он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Незвал оставался все тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся бы обстригиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов.

Юношей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота — сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Незвал стоял на своем. Может удивить его наивность: в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрреализм, которым он тогда увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Но и много позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от былых друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда Незвалу предложили порвать с коммунистической партией, он отказался. Двадцать лет спустя он не захотел отступить от того, что считал искусством.

Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывало с канонами прошлого. Я знал его друзей — и смелого театрального режиссера Эмиля Буриана, который вдохновлялся в те годы Мейерхольдом, и художников — Шиму, Филлу, молодого Славичека, Штирского, Тоайен. Когда в конце сороковых годов их причислили к «формалистам», Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне: «Почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова и сердце, но нет глаз — он не видит живописи, но обязательно судит художников...» Эпоха не раз ему говорила: «Выбирай — или-или...» Он не соглашался: был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как разлившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала.

В конце сороковых годов он работал в отделе кино; но и в службе он нашел поэзию: фильмы Трнки. Мы с ним смотрели вместе «Соловья» по сказке Андерсена. Механическая игрушка не могла заменить живой птицы. И Незвал радовался: «С живописью плохо... И вот Трнка... Гони искусство в дверь, все равно оно ворвется в окно...»

Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги, любил пейзажи импрессиониста Славичека, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа, душевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые суровые критики умилились. А ведь Незвал всегда писал о мире...

Очень давно, в двадцатых годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многое мне открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Градчанам или по Вацлавскому наместью, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним встречались и в Париже и в Москве, но, думая о нем, я его неизменно вижу на набережной Влтавы или на узкой, надышанной улочке возле Старого Места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов, одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя».

Он увидел женщину, утонувшую во Влтаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная с Сены». Его поразила посмертная улыбка утопленницы. «Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы. Разве смерть откроет нам звездные сады?..»

Через всю жизнь Незвала прошла зыбкая и вместе с тем плотная, реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком; нет, не подходит к нему слово «последний» — он всегда и во всем начинал.

Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома, там, наверно, музей с чучелами птиц; улицы пусты, на углу он видит женщину, она одета слишком тепло для летнего дня, шляпа закрывает половину лица, женщине кажется, что она знакома с Незвалом, и Незвалу кажется, что он ее знает, а город чужой, хотя и знакомый, город нелюбимый, и вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит: «Вас нет. Вы здесь. Всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет. Он снова идет по улицам, ищет. Кажется, она... «Я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти...»

Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала — они вошли в мои дни.

Недавно с Гоффмейстером мы вспомнили прошлое; очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатаев пражских кафе «Метро», «Славия» и других. Ванчуру, мягкого, но непримиримого, немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галас. Трагически оборвались жизни Библа и Тейге. Еще в тридцатые годы застрелился архитектор Фейерштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла.

О смерти Незвал думал давно. В стихотворении, написанном в 1935 году, он говорил, что у людей, которые пытаются отгородиться от смерти, «лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь». Смерть была ему противопоказана. «Лучше ссутулиться в жизни, чем распрямиться в смерть. Лучше вся тяжесть жизни, чем облегченная смерть». Всю свою жизнь составлял гороскопы — это было игрой. А о смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял: «Море, растет вода, море, не в счет года, что тебе горе? Растет трава, идет вода, человек хочет жить, человек умирает. Что тебе до него? Ты — море...»

Мне он казался морем: столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок — он откопал бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади были годы, каждый с десятилетие. Галас был печален. А Незвал радовался и бушевал: я невольно подумал — вот кому годы не в счет...

Как-то, приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала, он размахивал ластами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе: он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте созвездий.

В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета — летел в Дели. Вдруг я увидел Незвала — он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный: «Италия — дивно!» Потом обнял меня и тихо добавил: «А мне плохо», — показал рукой на сердце.

Он умер вскоре после этого.

В одном из его лучших произведений, в поэме «Эдисон», написанной в 1931 году, есть строки о страсти, о смерти, о бессмертии: «Только клад не пропал бы безвестно. Смерть сражается с нами нечестно, нас насильно уложат в кровать, чтоб лекарства моря выпивать. Ты, спешивший в грядущее время, будешь предан столетьями всеми... И могу ли я быть младшекровен, что ни шаг, то собранье диковин... Предо мною речной перевоз, плесень мельничных мокрых колес... Вы, потомки, простите меня. Нас крутила времен шестерня, лихорадка войны нас трепала, нам разлука платками махала... Может статься, на души в бреду надевал я искусства узду, может, сам, уходя от надлома, вас спасал я от желтого дома? Люди, люди, не может пропасть, что сказали страданье и страсть!»

Не думаю, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов; ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неумемного Незвала.

9

Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Пролеткультовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт М. Герасимов сказал мне: «Правильно, но тошно...»

Машинистка ТЕО, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно позабыла «Октябрь в театре» и клеток Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке, возле Пассажа, и торговала бюстгальтерами.

Старые рабочие, инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я и радовался, и огорчался. Газеты писали о «гримасах нэпа». С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной; теперь мы знаем: она дала именно то, что должна была дать. Но у сердца свои резоны: нэп мне часто казался одной зловещей гримасой.

Помню, как, приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись: «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнеют на глазах.

Пооткрывалось множество ресторанов: вот «Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново или они сохранились в сундуках с дореволюционных времен). На каждом углу шумели пивные — с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть, закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки.

Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в древние времена моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство, подвезу...»

Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было: были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров.

На Сухаревке я услышал различные песенки, они, может быть, лучше многих описаний расскажут читателю о «гримасах нэпа». Была песенка философическая: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленки тоже хотят жить... Я не советский, я не кадетский, я только птичий комиссар. Я не обмеривал, я не расстреливал, я только зернышки клевал...» Была песня торговли бубликами: «Отец мой пьяница, он к рюмке тянется, он врет и чванится, а брат мой вор, сестра гулящая, совсем пропавшая, а мать курящая — какой позор!» Была бандитская, кажется, завезенная из Одессы: «Товарищ, товарищ, болят мои раны... Товарищ, товарищ, за что мы боролись, за что проливали мы кровь — буржуи пируют, буржуи ликуют...»

Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Мейерхольду, требовала, чтобы он ей устроил паек. Всеволод Эмильевич ее направил в МУЗО. Улыбаясь, она рассказывала: «Четыре года кочевала. А теперь осела — пою в «Лиссабоне».

Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот — торжественно, как будто выполняли обряд. В полночь пришел молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять: в Москве не умеют отличить фокстрот от уанстепа — он ездил недавно в командировку и видел, как танцуют в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон — те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина: «Вы любите ль бананы», «Ищу мою Титину». Актриса мне рассказала, что юноша, ездивший в Лейпциг, учился с нею в театральной студии, а теперь работает во Внeshторге. «Его, наверно, скоро посадят, уж очень он хапает...»

Буржуа с детства знали достаток; трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру; многим за границей пришлось плохо; переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение нэпманов было весьма пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в Наркомюсте, вдруг начал торговать местами в спальнях вагонах. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в «Домино»; теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны, — он похитил вагон мануфактуры и попался случайно: напился в ресторане, разбил зеркало; на нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, кото-

рого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову нэпманам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный день: люди не верили ни в долголетие нэпа, ни в ассигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых деляг; это называлось «снять накипь нэпа». Повар знает, когда ему снять накипь с ухи, но вряд ли все нэпманы понимали, кто они — рыбешка или накипь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям новой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Есенин называл «кабацкой», буянила с надрывом; это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнии прошлого века и уцененной достоевщины.

Рядом была другая Москва. Бывший «Метрополь» оставался Вторым домом Советов; в нем жили ответственные работники; в столовой они ели скромные биточки. Они продолжали работать по четырнадцати часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в Политехническом по-прежнему было трудно пробиться; книги в магазинах не залеживались — штурм знаний продолжался.

В 1924 году я писал: «Не знаю, что выйдет из этой молодежи — строители коммунизма или американизированные специалисты; но я люблю это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскоружное, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготавливать мифы взаправду, серийно — на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет». (Конечно, в формулировках сказалось быстрое увлечение конструктивизмом; но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет.) Я добавлял: «Хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют «такальщиком» — от односложного «так, так»...»

Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на десять — двенадцать лет; но смена поколений была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Паустовский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы; мы многое помнили; иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидели революцию глазами подростков, они формировались в годы гражданской войны и нэпа. Это — поколение Фадеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Луговского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию; у них есть время, чтобы изучить тот предмет, который Гюго называл «искусство быть дедушкой»; и я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами.

Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, порой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что человека еще труднее перестроить, чем систему управления государством.

Комнаты у меня в Москве не было, меня приютили в Цекубу на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседовали или молча вздыхали — им трудно было понять, что к чему.

Вздыхали в те годы и многие поэты; и так как они это делали не в столовой Цекубу, а на страницах журналов, их за вздохи ругали: улыбка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал «На посту»; название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем боевым. Напостовцы ругали всех — А. Толстого и Маяковского, Всеволода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты, однако, продолжали вздыхать. Асеев написал печальную поэму о любви — «Лирическое отступление», и напостовцы, обрадованные, цитировали вырванные из нее строки: «Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?»

Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей; пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский, мрачный, здесь же дорисовывал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе; он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей; писал рекламы: «Все, что требует желудок, тело или ум, — все человеку предоставляет ГУМ» или «Разрешаются все мировые вопросы, — лучшее в жизни «Посольские» папиросы». Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы «Про это»; в стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью...

Наступило время для прозы: можно было продумать пережитое. Фадеев писал «Разгром», Бабель — «Конармию», Тынянов — «Кюхлю», Зошенко — «Рассказы Синябрюхова», Федин — «Города и годы», Леонов — «Барсуков».

Мне хотелось поехать по стране; денег у меня не было, и я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочесть лекции о жизни Западной Европы. Импрессарио хотел идти в ногу со временем, следовательно, хорошо зарабатывать; он был человеком немолодым и неизменно неудачником. Задумал он все безупречно: лекции устраивались Обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов: в различные города выехали разведчики; один был сыном импрессарио, Леней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами: «Расскажите, как вы впервые влюбились», «Кого вы ставите выше — Вольтера или Анатоля Франса», «Какой, по-вашему, Эрос — крылатый или бескрылый»; другой организатор был человеком вполне деловым, он ел со вкусом гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы, и говорил мне: «Я должен сегодня заработать двадцать червонцев, и вы увидите, что я их заработаю...»

Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец: «Поэзия — обрабатывающая промышленность», «Анализ бесконечно малых», «Дирижер трех Америк», «Белые сосиски Лизистраты», «А все-таки Эренбург вертится», «Курящийся Вересаев», «Бал в честь юной королевы», «Брюсов и бандаж». Импрессарио молил: «Что-нибудь непонятное...» Я выбрал первое, что мне пришло в голову, — «Пьяный оператор».

В Харькове импрессарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика редела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал

импрессарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья.. Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь...»

Я увидел впервые Одессу; я знал ее по забавным анекдотам, и «Одесса-мама» меня удивила: она оказалась печальной. В порту было пусто. Кое-где чернели развалины. Исчезло, видимо, бывшее легкомыслие; жизнь не налаживалась. На одной из площадей я увидел голову бородатого удельного князя, под ней значилось: «Карл Маркс». Молоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леню — неожиданно ему сказала: «Что вы мне все строите глазки?.. Это уже пройденный этап. Пригласите меня поужинать в «Лондонскую», и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хозрасчете...»

«Лондонская гостиница» была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники; жены готовили на примусах обед, нянчили детей; вечером шли разговоры о последней передовице «Правды», о повестке дня Тринадцатого съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, «красные купцы»; там пили, иногда дебоширили. На базаре я услышал песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона...» А у Шнеерсона было очень тихо; тихо было на улицах, носивших новые имена: Интернациональная, Пролетарская, Лассалья, Коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чаю, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклеры на час нервно позевывали — время от времени происходила облава и всех забирали.

В «Одесских новостях» секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита; он писал о море, о птицах, о клетках для птиц; стихи мне понравились, я спросил, как фамилия поэта; секретарь ответил: «Эдуард Багрицкий».

Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко; я молча ждал, а он говорил, не замолкая: «Сегодня в газете напустились на Керзона. Но я вам скажу, что Керзон их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь фининспектора, во-вторых, я боюсь ГПУ, в-третьих, я боюсь вас — откуда я знаю, что вы за человек и зачем вы хотите, чтобы я вам все выкладывал...»

Нищенки говорили: «Подайте, товарищ», «Ради господ бога, гражданин миленький», «Копеечку, барин»... Путались слова, путались и эпохи.

В Киеве я ехал по Крещатику, вдруг санки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем саней очутился в сугробе. Санки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные вещи: самовары, швейные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки.

Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заржал: «Куда прешь? Вылезай! Это тебе не семнадцатый!..»

В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение: «Кто не трудится, тот пусть и не ест». За столиками обедали пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками мяса в соусе: «Жри!» Подбежал официант (или, как тогда говорили, гражданин служающий) и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотья, заменявшие девочке платье. Я возмущился; никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику; директор, бывший рабочий, раненный в боях

против Деникина, больной, работал с утра до ночи: не было клея для намазки коробок; он повторял: «Стране нужны спички...» Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок...

Деловой помощник импрессарио был доволен: он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал, говорил всем: «А зачем о нем писать? Я его знаю как облупленного...» Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими: по пути из Одессы в Ленинград из-за заносов мы простояли на полустанке два дня, и мой импрессарио уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь — он был вечным неудачником. Что касается меня, то я был доволен: многое увидел.

После каждой лекции меня засыпáли вопросами, некоторые я записал: «Почему не вышла революция в Германии», «Какие теперь моды в Париже», «Что вы хотели сказать вашим «Хуренито» — да или нет», «Кто хуже — социал-предатели или фашисты», «Объясните коротко теорию относительности», «Почему школы снова платные», «Почему вы, писатели, настраиваете девчат на всяческие объяснения», «Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость», «Правда ли, что вы приятель Вандервельде», «О вас пишут, что вы продукт разложения, скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию», «Маяковский говорит, что поэзия — продукция, а у Пушкина не так; кто, по-вашему, прав», «Откроет ли коммунизм возможность победить смерть», «Вы за футбол или признаете также регби», «Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов», «Чем тустеп отличается от уанстепа и что больше танцуют в Берлине», «Почему у нас переводят «Тарзана», а роман Марселя Пруста не существует в переводе», «Повлияет ли, по-вашему, денежная реформа на сокращение ножниц», «Знакомы ли вы с Пикассо, что он теперь делает», «Половая любовь — это буржуазный пережиток, почему этого не говорят прямо», «Недавно у нас выступал лектор, он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет, я с этим не согласна, помогите разобраться».

Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, в котором их переписал; мне кажется, что они могут помочь понять те, уже далекие, годы.

Я часто беседовал с молодыми людьми; разные попадались: умные и глупые, честные и карьеристы. Нэп помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны: подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и вели себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственной их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову, — честолюбцев, фантазеров без азов морали, слабовольных, которые, очутившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизнью шел разгул. «Москва кабацкая», где агонизировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути.

Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хорошо учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно — ему поручили собирать деньги на воздушный флот; оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекули-



ровать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли.

Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах (так тогда называли тюрьмы). Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет.

Тогда входило в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского офицанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себялюбие, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова (так звали моего героя) был брат, Артем, честный, не очень разбирающийся в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был Растиньком; в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней, как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то напоминал Жюльена Сореля, родившегося сто лет спустя, в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством.

Я писал в одном из писем: «Я заканчиваю «Рвача». Я даже привязался к моему герою, хотя он каков-то, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик...» Мне и теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют «отрицательными», привязывается к ним: он ведь видит хорошие начала, которые были заложены в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом к книге я взял слова древней молитвы, осуждающей индивидуализм: «Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, когда весь мир нуждается в дожде».

Я знал, что меня снова будут упрекать: зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз, и только сумасшедшему может прийти в голову, что доктор, констатируя случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. В романе «Рвач» попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже напостовцы признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни они немедленно объявляли клеветой. («Нам нужны наши Щедрины и Гоголи» — это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой, а на практике — чуть ли не актом диверсии; и один поэт сочинил стишок: «Нам нужны подобнее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали...»)

Я писал в 1924 году: «Если в моих книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел, вместо обличений моих книг, прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, к которой чувствую прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата...»

Двадцать шестого января 1925 года я сообщал: «Попов отказался от «Рвача», следовательно он вряд ли выйдет...» (Не помню, о каком Попове шла речь.)

Один из наиболее видных напостовцев, называя меня «откровенным врагом революции», писал: «Пафос «Рвача» — любование нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские Шпенглеры...»

В минуту тоски Эдуард Багрицкий написал: «Чуть ветер, чуть север — и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Взойдут ли над нами созвездья чужие? Мы — ржавых дубов облетевший уют...»

На Кузнецком в витрине книжного магазина я увидел «Дерево советской литературы». Ветви были сопровождены пояснительными этикетками: «Пролетарские писатели», «Лэфовцы», «Крестьянские поэты», «Левые попутчики», «Попутчики-центр», «Правые попутчики», «Необуржуазная литература» и так далее. Под деревом валялись опавшие листья, и на одном из них значилось: «Эренбург».

Ветра потом было вдоволь, ветра и севера. Чудом я не облетел.

## 10

Недавно я разыскал в библиотеке полуистлевший номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедшей в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии, когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи — они могут объяснить последующие части моей книги.

Вспоминая Париж довоенных лет, я писал: «Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи.

...Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова: «Мы ошибались, мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы, и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где красной не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок: там не было жизни.

...За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала Октябрь...

...Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит: «Мы?.. Нет, мы никогда не ошибались!»

Он знал. Мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что «Даешь землю!» февраля станет в Октябре «Даешь Землю!». Он это знал. Знал, сидя в Женеве. Знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы.

И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Паули — в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой разговор. Спорили два родных брата, оба рабочие. Братья. Рабочие. Враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от «зеленых» отвезли домой. Подавлявший говорил: «Зачем было восставать? Ведь социалисты в сенате обещали выдать по полфунта маргарина... Ты слышишь? Мы получим маргарин!..» Тот, что участвовал в восстании, ответил: «А мы получим его». И, говоря это, он показал на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов всех стран.

...Мы часто недоумевали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не достроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились, — в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в стакане воды окончилась. Остались оды в честь академика Фоша за приличный обед из трех блюд. Отчаяние великой европейской ночи — он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом...»

Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина: я вспомнил кануны, «Ротонду», бунт писателей, художников и в сердцах, наверно несправедливо, обозвал это все «бурей в стакане воды». Самоуничтожение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью.

Мои давние слова о значении Октября, противопоставление трудного пути России духовному оскудению Запада мне кажутся правильными и теперь.

«Пусть дом не достроен...» Да, в 1924 году мы не знали, каким потом, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже высились при Ленине. Мы не знали, что в тридцатые, в сороковые годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках. А дом построен; и душевная сила нашего народа сказала в том, что он его строил несмотря ни на что.

В те январские дни стояли редкие и для московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей. Красноармейцы плакали. Ночью в Охотном ряду, на Дмитровке, на Петровке — повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков: крестьянская Россия в те времена еще носила бороду.

Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге. Был в Колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что согласно поговорке не верит слезам, плакала навзрыд. Я пошел к моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во Втором доме Советов. Обычно веселый, он молчал, и вдруг я увидел в его глазах слезы. Плакала старая дворничиха Цекубу. Горе народа было большим, неподдельным.

В те жестокие январские ночи я как бы издала — в перспективе веков — увидел, что осуществил наш народ; и какими бы ни были мои сомнения в последующие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, приподымал меня, удерживал от недоброго.

Я был молодым беспартийным писателем; для одних — «попутчиком», для других — «врагом», а в действительности — обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы нас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа — наш путь.

Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с В. И. Лениным; я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, всю силу творческого гения он вложил в одно — в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создание нового, социалистического общества.

Вот почему я писал в 1924 году: «Он думал об одном, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом».

Слово «счастливые» может резнуть ухо. Малыши, которых несли на плечах в Колонный зал,— это сироты тридцатых годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о Двенадцатом съезде... И все же слова о счастье — правда; когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки 1961 года о многом думают, многим увлекаются, многое знают.

Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное, простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня: «Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие...» И обратился к Надежде Константиновне: «Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает...» Н. И. Альтман в кабинете Владимира Ильича лепил его голову, и раз ему пришлось быстро уйти — к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину, не забыл. А. В. Луначарский мне рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предложить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы...»

У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в двадцатые годы, и, наверно, все в ней правильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым: дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила, решимость, не исключавшая ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству,— человечность, подлинная человечность.

## 11

В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов; среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись от землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны.

(Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых Помпеев смотрят на Везувий, как на отца-кормильца: они ведь живут любознательностью туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяно. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали.)

В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко; помню художницу А. А. Экстер, Б. Н. Терновца. Кафе Флориана было тогда сто шестьдесят три года; теперь ему стукнуло двести — можно устроить юбилей. Наверно, в нем сживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили; может быть, о последних постановках Мейерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции, а может быть, о комедии масок.

Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистильщики ботинок и продавцы кораллов извивались, как классические арлекины. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пакки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре.

Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами мяукающих кошек, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фиштакковым

небом, розоватой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади или ели мороженое.

Мы поехали в Мурано, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи: «Да здравствует Ленин!» Легионеры в черных шапочках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки — револьверы.

Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой, да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах называют «историческими событиями». Почему я не мог спокойно любоваться полотнами Тинторетто или водой каналов? Что-то меня тревожило, вероятно новизна: я ведь впервые видел настоящих, живых фашистов.

Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто и сказал Любе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Люба глядела на светлую живопись Беноццо Гоццолли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни; а я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений; мне стало обидно, что я когда-то не нагляделся на фрески досыта; а ничего тут не поделаешь: живешь не так, как хочется, — так, как живется.

Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, перекочевав из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит пятьдесят миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколениям. Но мне было обидно за Италию, обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, подымающие вверх руки? Наверно, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, честолюбцы, соблазненные звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту...

Почему-то мы попали в маленький город средней Италии — Бибиену; там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок! Вечером я зашел в полутемную trattoria, где стояли огромные круглые бутылки с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного денег, собирался жениться. А из Ареццо приехал в машине секретарь фашио. Они пили вино за двумя столиками, и вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул: «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил: «Пусть кричат ослы». Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история... Старик пил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался звездным небом — летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюбленные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал о судьбе неизвестного мне Джулио.

Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются; рассказал, что в Рим приехал поэт В. И. Иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или в Колизей. В кафе «Аранья» на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италии экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монтечitorio взволнованные толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях; я слышал крики: «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет — «Коррьере итальяно», «Пополо д'Италия», «Имперо». Не-

скольких минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Маттеотти.

Реакцию людей на события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы.

(В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти, хотя это и не имело прямого отношения к заводам Ситрсена или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать: то, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь.)

В Италии тогда еще существовал парламент; весной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство; оппозиционные партии, однако, набрали около сорока процентов голосов. 30 мая молодой депутат Маттеотти выступил в парламенте с мужественной речью, рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прерывали воем; один кричал: «Убирайся в Россию!» Когда Маттеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли; он с усмешкой ответил одному из них: «Теперь готовьте некролог...» Одинадцать дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты, и не вернулся.

Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался; он поручил своему другу Чезаре Росси устранить Маттеотти. Росси заведовал отделом печати министерства внутренних дел; это было вывеской — в действительности «отдел печати» занимался убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Коррьере итальяно» Филиппелли. Редактор в свою очередь вызвал некоего Думини.

На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Маттеотти, его окружили неизвестные люди, силой втолкнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Маттеотти. Думини знал свое дело (потом он признался, что убил двенадцать антифашистов). Маттеотти страдал туберкулезом; борьба была недолгой: когда Маттеотти попытался открыть дверцу машины, Думини пырнул его ножом.

В пустынном месте возле Квартарелла фашисты наспех зарыли тело Маттеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто; он не ждал огласки — пропал и пропал... Оказалось, женщины видели, как человека насильно втолкнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли, сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал в Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга.

Рим кипел, казалось — сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. И дуче струсил: он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут суровую кару; он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается...

Характер итальянцев не похож на характер немцев; но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи. Римляне сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолини быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер «Империо», в котором фашисты издевались над протестующими: «Пусть сумасшедшие хорохорятся. Смеется хорошо тот, кто смеется последним... Никто не помешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии». Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Маттеотти:

«Бесполезно и глупо разыскивать виновных. У нас свой язык — язык революции...»

Да, итальянцы не похожи на немцев, итальянцам присущи любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италией двадцать три года, партизаны его казнили всего за несколько дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждения одного французского автора; он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевывать Эфиопию, усмирять испанцев, повидать Дон... А разве народ, давший миру Дон Кихота, создан для фашизма, разве народ Кеведо и Гойи предназначен для тупого, глупого, захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером, и об итальянцах можно сказать только одно: они плохо исполняли роль «римских легионеров», это к их чести.

Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что дуче ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку: «Дуче не ошибается»; потом стали просто кричать: «Да здравствует дуче!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово — «дуче».

Профессор С. С. Чехотин был учеником И. П. Павлова; он попытался, основываясь на методе условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности воздействие пропаганды. И. П. Павлов произвел множество опытов с собаками. С. С. Чехотин изучал фашистскую литературу. Он мне говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие или, точнее, слабо реагирующие на действие раздражителей. Профессор Чехотин считает, что некоторое, весьма незначительное количество людей способно сопротивляться методам примитивной пропаганды (эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменная одежда и тому подобное). Я не физиолог и не берусь судить, насколько С. С. Чехотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства...

Я еще полюбовался пиниями Рима, мраморными нимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере, и мы поехали в Париж.

Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился — жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем, печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийство Маттеотти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить.

Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение: впервые я задумался над словами: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли...» Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля: я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно: я был застрахован и от слепой веры и от слепого отчаяния.

Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоя-

тельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов; они подымали, встречаясь друг с другом, руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги — тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тори десять лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Кроче, о произведениях Пиранделло, о Данте, о Макиавелли, о многом другом; писал письма своей русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, письма задушевные, страстные, умные и очень человеческие. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость — вот он, мыслящий тростник!..

Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки. Старик прогуливал собачку. Влюбленные о чем-то шептались. Я машинально поглядел на дощечку — «Улица Маттеотти...»

## 12

Весной 1924 года на французских выборах победил «левый блок». Новое правительство возглавил радикал Эдуард Эррио, человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкоский; он обожал лионскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев — был типичным представителем французской интеллигенции XIX века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эррио осуждал оккупацию Рура и тупость Пуанкаре; но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями — речь шла о безопасности Франции: «Дайте нам отвести кинжал, постоянно на нас направленный, пока вы толкуете о мире!..» Бог ты мой, как легко политики меняют не только слова, но и принципы! В 1924 году англичане отвечали: «Сначала разоружение, а уж потом гарантии безопасности».

Бриан считался первым политическим соловьем Европы; когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эррио попытался урезонить англичан и американцев: «Осторожно! Рейхсвер воскресает. У немецкой армии современное вооружение. Мы не можем забыть двух нашествий. Мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасностью Франции?..» Эррио сбросили, его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штреземан писал бывшему кронпринцу: «...Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех десяти — двенадцати миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача — исправление восточных границ, возвращение Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ в Верхней Силезии. В перспективе — присоединение немецкой Австрии...»

(Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей, мне милых, но и Штреземана. Ничего не поделаешь — мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в наши дни днем или ночью, как будто она полтавский городской.)



О фейерверке Локарно я вспомнил пятнадцать лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой фугаски. А Эррио немцы увезли в концлагерь...

Победа «левого блока» кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Риме я попросил Любу пойти во французское консульство: мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Расчеты оказались правильными: консул, не зная, что мы высланы из Франции, поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли: имелся приказ о высылке.

Друзья направили меня к секретарю масонской ложи «Великий восток». Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бостунича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи — пожилым радикалом, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонов во Франции было много, но вопреки представлениям Бостунича они не поклонялись ни дьяволу Бафамету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу; ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее: префект полиции — масон и его друг.

Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мною надменно. «Что вы собираетесь делать в Париже?» Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся: «Книги, сударь, бывают разные. Имейте в виду, что французская полиция не бездельничает». (Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским «делом», рассказывал: «Вы, наверное, написали двадцать книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше...»)

Я поселился в гостинице на авеню де Мэн, с темной винтовой лестницей, вонючими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая скамейка, на которой вечером целовались влюбленные.

Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после Февральской революции. Перед посольством толпились полицейские, шпики. Они явно волновались: шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские поднимают красный флаг и поют «Интернационал»! Л. Б. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский; он говорил, что ему надоел Париж, а американцы тянут с визой.

Маяковский каждый день приходил в «Ротонду». Он писал, что беседовал с теньями Верлена и Сезанна. «Ротонда» жила, как рантье, на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил беспокойные ночи: Аполлинер и Модильяни умерли, Пикассо переселился на правый берег Сены и охладил к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику. Немногочисленных старожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой.

Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас — в «Ротонду» или в «Дом»; видно, такова была сила привычки. Иногда я встречался со старыми друзьями: с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандрамом, Липшицем, Пер Крогом, Федером, Фотинским. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине; но все это никак не напоминало довоенную «Ротонду». Мы были далеко не стариками (самому старшему из нас — Леже — тогда исполнилось сорок четыре года), но прежний задор исчез.

Мы напоминали солдат, уволенных в запас и донашивающих вылинявшие гимнастерки.

Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Сижу в «Ротонде» и курю новую трубку кубистической формы... Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку... Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство, и жажду простых разговоров или жирных улиток, от которых у меня болит живот; то, уподобляясь тургеневским «отцам» и косясь с брезгливой жалостью на новое поколение, требую упраздненного вдохновения... «Жанну Ней» все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейне?.. Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья-писатели, зачем мы стараемся?..»

Кафе Монпарнаса были переполнены: огни довоенной «Ротонды» притягивали мечтателей, авантюристов, честолюбцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж — они хотели перевернуть мир; мир, однако, крепко стоял на месте.

Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов; молодые художники за гроши расписывали шали или изготавливали эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами, все они мечтали напасть на нового Модильяни. Они заключили договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, а платили мало — очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции; цены искусственно поднимали или сбивали.

Аргентинский художник, сербский поэт писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоеует мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотню-другую франков.

Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В «Сигаль», в «Жоке» танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрезные песенки.

Летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства. Итальянские фашисты показали свое чванство и тупость (они именовали это неоклассицизмом). Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала «Эспри нуво», построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К. С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и левовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали «левым» художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого.

В Париж понаехало много москвичей: Маяковский, Якулов, Мельников, Штернберг, Родченко, Рабинович, Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года.

Парижане считали советское искусство наиболее передовым; кроме выставки, они увидели «Броненосец «Потемкин», «Федру» Таирова, «Принцессу Турандот» Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был скорее эпилогом. В Москве открылась выставка АХРР; начиналось контрастное явление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, ко-

торая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни.

Я писал в 1925 году: «Простаки думают, что правдивое изображение больших дел это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские дни, остается все тем же фотографом... Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела, которая неизменно тянется к мягкому сиденью... Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие...»

Я уже успел распрощаться с конструктивизмом: «Торжество индустриальной красоты означает смерть «индустриального» искусства... Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора... «Левое» искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро развоплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи... Еще не успели замолкнуть боевые кличи «искусство в жизнь», как это самое искусство уже входит... в музеи».

Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил: «Нет. Но многое нужно пересмотреть. В частности, подход к технике...»

Мне хотелось понять, чем живут писатели, художники Франции. Я познакомился с Мак-Орланом, Дюамелем, Жюлем Роменом, с архитектором Корбюзье; бывал в редакции «Кларте» у Барбюса; увлекался кино, разговаривал с режиссерами Рене Клером, Гансом, Ренуаром, Фейдером, Эпштейном.

Грех назвать те годы бесплодными; поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидел «Золотую лихорадку» и «Пилигрима» Чаплина. Да и в шуме не было недостатка; то и дело рождались различные школы; громче всех кричали сюрреалисты. Но чего-то не хватало, может быть надежд, может быть тревоги. (Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Монпарнасе. Рене Кревель и Паскин кончили жизнь самоубийством, Федер гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, затравленный Деснос умер в «лагере смерти». Те годы тоже были канунами; но людям казалось, что на дворе серое будничное утро.)

Я больше не был ни затворником «Ротонды», ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, скототорговцы, приказчики, рабочие; разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было во сто раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улицы разногласица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняются. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя «короля автомобилей» Ситроена. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытаясь соблазнить даже луну аперитивом Дюбоннэ или кремом «Секрет вечной молодости».

Менялись окраины Парижа — исчезли крепостные валы, пустыри, лагуны. Строили первые дома в новом, индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озанфан; он жил в доме, построенном Кор-

бюзе: свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхутемасовцев. То, да не то... Мы открывали Америку, конечно воображаемую. А давно открытая и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу — не с романтическими декларациями лэфовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств.

Политика мало кого интересовала: парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны твердо верить в мир, и это всех устраивало: люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней: кто — биржевой бюллетень, кто — отчет о матче футбола, кто — сводку погоды. Конь блед и другие звери апокалипсиса уступили место «рено» и «ситроенам». В далекое прошлое отошли и окопы на Шмен-дю-Дам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз, и снобы восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обождают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств.

Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались «Атлантидой» Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов: «Закрывается ночью», «Открыта ночью», «Галантная Европа»; он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом, и вот любовники Поля Морана ее модернизировали, они и в кровати разговаривали, как безупречные бизнесмены: «Вы теперь похожи на чек без покрытия», «Не живите на капитал ваших нервов»...

Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах «Красного перца», толстого и беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны, или жуира, прогуливающегося по Бульварам. Его место занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушкам и фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизкой афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества — слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатоля Франса, анархические фразы; они занимались гимнастикой, уважали сильных и девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей.

Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из Нового Света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели «такси-герлс» — девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобы, еще недавно участвовавшие в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже «Салона независимых», теперь неистово вопили на матчах: «Браво, Джо!..» Писатели принялись сочинять спортивные романы: героями были боксеры, футболисты, велосипедисты.

Летом Париж наводняли иностранные туристы; в списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские Поля, Венера Милосская, Эйфелева башня, гробница Наполеона, Монмартр, «Ротонда» и публичный дом на улице Шабанэ, называвшийся «Обществом наций», — там имелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях; туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные детали.

До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу; теперь многие уезжали на каникулы в Швейцарию, Италию, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман Декобра, посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из слиппинга» (французское название «спальный вагон» звучало провинциально).

Исчезли последние приметы прошлого века: уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе; мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы.

Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю то время, Париж мне кажется идиллическим, захолустным, похожим на холсты Утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы.

Все поняли, что взял верх порядок, — одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним навывались крупные промышленники в надежде получить заказы. Седьмого ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марсея Кашена, но утешились, увидав на столах икру.

В некоторых светских салонах было модно восхищаться «славянской мистикой», «русским экспериментом». Снобов, восхвалявших все советское, окрестили «большевизанами». Один теннисист и балбес сказал мне: «Я слыхал, что у вас уничтожены деньги. Это замечательно! Я ненавижу считать расходы...» Другой спросил Любу: «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Мозжухин?» Он слыхал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин.

Изредка трагические события врываются в иллюзорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнене. В Париже был большой митинг; ораторы призывали к действиям; рабочие аплодировали, свистели. Потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии. Стреляли далеко, и Париж продолжал жить по-прежнему.

У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство; его романы походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о левовцах, но, рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул: «Насколько движения машины прекраснее человеческих!»

Иногда я встречался с Мак-Орланом. У него было лицо опечаленного бульдога, и он хорошо рассказывал про годы войны. Мне нравилась его книга «Госпиталь святой Магдалины» — фантастическая история о человеке, который начинает потеть кровью; медики потрясены; все газеты заняты небывалым казусом; больного решают показывать за деньги зевакам; количество крови все увеличивается — бочки, тонны; организуется трест для ее эксплуатации, вмешивается правительство; а полумертвый больной лежит и слушает, как звенит горячая струя. Принято считать, что «черная литература» родилась после второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых годов. Мак-Орлан жил в идиллическом домике недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и был горче полыни. Как-то он мне сказал: «Знаете что, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет,

кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в икры...»

Я понимал, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорил о моей преданности новой эпохе: «Мы ее любим не менее «странной любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требует и крови и замалчиваний...» О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий, они должны показать душевный мир современников.

В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека «Рур»; появилось новое слово — «робот». Мы часто тогда говорили о «мыслящих» машинах, и мне казалось, что паскалевскому «тростнику» страшнее всех бурь внутреннее перерождение. Я боялся не того, что «мыслящие» машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств.

«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная из всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа, попав в Париж, опустился, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирая окурки, потом нанялся на бойни — гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла. Интрига меня мало занимала, я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался, судьбу поколения, побывавшего у Вердена. «Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду; верили в прогресс, в искусство, в любимые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, поставляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом? Потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от «сыпняка» или от «испанки»... Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир — карболкой и тюрьмой...»

В те годы было написано немало печальных книг: очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене...

Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни», напечатанную в газете. Критик писал: «И. Эренбург рассказывает здесь о том, как, «не выдержав свободы и голода», он «прикрепился», поступил на службу: «В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного двора Виллет на соседние бойни...» Способ, избранный И. Эренбургом, временного обращения к подсобному заработку заслуживает, думается, серьезного внимания... Пример И. Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела: «Аккуратно считал я зады баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э! Э!», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей...» Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-либо

временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедии... Это правильный и здоровый путь!»

Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы, но и то похвалили незаслуженно: никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одурь передышки, нищету Бельвиля, итальянских чернорубашечников и многое другое.

## 13

Проходя мимо «Ротонды», я увидел на террасе знакомое лицо: это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить: красивое, вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Б. А. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть, просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстов или рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах; романтически вились его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее (он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком); да и юношеский облик, который он сохранил до смерти, был тоже романтическим.

За его столиком сидели еврейский писатель из Польши, Варшавский, и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки; он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая, говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже, — он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, в свободные часы писал пейзажи.

Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда (хасиды — мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга эта малоизвестна, и я перескажу историю.

В одном из местечек Вольны был знаменитый цадик — так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост, домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть; словом, несправедных было вдоволь. Настал Судный день, когда, по верованиям религиозных евреев, бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. В Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что бог рассержен злыми делами обитателей местечка; не показывалась звезда; все ждали сурового приговора. Цадик просил бога отпустить людям грехи, но бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему купил накануне отец. Все накинулись на портного: вот за такие выходы господь покарает местечко!.. Но цадик увидел, что суровый бог не выдержал и улыбнулся.

Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша, он воскликнул: «Да это об искусстве!..» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно (мы говорили о чем-то другом) сказал: «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского...»

Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпиче-

ских поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые, пронзительные звуки. Но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки.

Стихотворцы всегда существовали, особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам — я не знаю еврейского языка, — но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе: он воспринимал и громкие события и детали быта, как поэт. Это не только мое впечатление, об этом мне говорили люди, друг на друга не похожие, — А. Н. Толстой, Тувим, Жан-Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал.

Он не боялся избитых тем; часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью: «Там листья не шуршат в таинственной тревоге, а, скрючившись, легли и дремлют на ветру, но вот один со сна поплелся по дороге, как золотая мышь искать свою нору». Слеза любимой женщины: «Она не падает с твоих ресниц, но остается между век дрожащей. В ней мир выходит из своих границ, а в глубине растет зрачок блестящий...»

Он был мастером и неустанно трудился; о нем можно сказать то, что он сказал о старом портном: «Что он мог еще сюда темным привезти посылкам? Выстроженные года, выпяченную иголку».

Маркиш не отворачивался от жизни; он не только принимал эпоху, он ее страстно любил; писал эпические поэмы о строительстве, о войне. Будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил, от тени сомнений; советским был с головы до ног; и хотя мы люди одного поколения (он был на четыре года моложе меня), я восхищался его цельностью.

Он увидел погромы, жил в Польше во время разгула антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей потягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша.

Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуются печаль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм — «Куча» — посвящена погрому в Городище; недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб, — это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто.

Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху; нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами: маркизом Сантьяна и Раби Сем Тобом. Происходило это в первой половине XV века, когда Испанией правил король Педро Жестокий. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи — короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Раби Сем Тоб. Король Педро Жестокий, страдавший бессонницей, поручил Раби Сем Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начиналась следующим утешением: «Нет ничего на свете, что бы вечно росло. Когда луна становится полной, она начинает убывать». Придворный поэт, маркиз Сантьяна, ответил эпиграмой: «Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке, так истина порой исходит из уст еврея». Раби Сем Тоб не сдался: «Когда мир был создан, мир был поделен: одним досталось хорошее вино, другим жажда». (Я случайно напал на этот поэтический диспут, когда полвека назад изучал старую испанскую поэзию. Формула Раби Сем Тоба мне показалась, да и кажется до сих пор, удачной.) Маркиш принадлежал к поэтам не хорошего вина, а сухих губ; отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах, полных радости жизни.

Мы с ним виделись редко — жили в разных мирах; но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек,



поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду.

Помню большой митинг в Москве, в августе 1941 года; его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, С. М. Эйзенштейн, С. М. Михоэлс, П. Л. Капица, я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом (Америка тогда еще была нейтральной).

В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку; мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жребий.

Борис Лавренев писал: «Маркиш был в расцвете своего мощного таланта и, наверно, создал бы еще более прекрасные произведения, но жизнь его оборвалась на подъеме. Он пал жертвой врагов, оклеветанный невинно. Враги отечества физически уничтожили замечательного поэта, но не смогли убить песню». Маркиша арестовали 27 января 1949 года, день его смерти — 12 августа 1952 года.

Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суверенной. Вспоминаю его стихи: «Две мертвые птицы на землю легли. Удар был удачен... Что лучше земли? Здесь, в солнечной этой блаженной стране, упасть так упасть! Так мерещится мне... Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем! Упал так упал. Не жалею ни о чем. Лететь так лететь. Как слепителен свет! Широки просторы, и края им нет». Трудно привыкнуть к мысли, что от поэта остались только песни...

А в те давние дни, когда я встречал молодого, вдохновенного Маркиша на Монпарнасе, он говорил о дудочке ребенка и о громовом голосе Маяковского, примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию: «Я возложил тебя на рамена, о век! Я перепоясался тобою, как каменным широким кушаком. Огромной крутизной встает дорога, и должен я взобраться на нее. Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи я поднимаюсь. Многие погибнут среди сугробов...» Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком, дудочки касались сухие губы взрослого, мужественного человека.

## 14

Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге; за номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Вскоре меня приютили Катя и Тихон Иванович; жили они в Проточном переулке — между Смоленским рынком и Москвой-рекой, в старом, полуразвалившемся доме. (В начале войны в этот дом попала немецкая «зажигалка», и он сгорел.)

Не знаю почему, Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке «Ивановка» собиралось жулье. В домишках, розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной шла душная, звериная жизнь последних лет нэпа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлестали водку и, мертвецки пьяные, валились, как трупы, в подворотнях. Дворы были загажены. В подвалах ютились беспризорные. Милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской.

Я увидел один из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей; не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение «писать с натуры»; это

никак не связано с натурализмом: импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился Проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

В основу фабулы легло подлинное происшествие: владелец одного из домишек — абрикосового или шоколадного, — жадный и бездушный торговец, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов.

Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием, я замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий; там много общих описаний. В «Проточном переулке» очень мало иронии: я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание.

Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущий на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жадной большой любви, с книгами, с работой, и в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабозлоном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету, да и мелкоту своих мечтаний, и в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре «Электра», в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшем, которого полюбили беспризорные.

Горбун Юзик спрашивает старого нищего:

«— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух — или вы правы, или они.»

— Я был прав. Это прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас с погремушками, будут правы: футурум... С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам и огонь самозабвения в глазах!..»

Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман «В Проточном переулке». Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной; она озаглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в ленинградской «Красной газете»: «Увиденная и показанная сквозь жижицу Проточного переулка советская Россия — это не реальная наша страна, а заповедный идеал П. Н. Милюкова, это — советская Россия без коммунистов... Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка советской Москвы, без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни... Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который, ненароком забредя в розариум, увидел там не пышно растущие и благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб».

Стендаль писал в «Красном и черном»: «Роман — зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы.

И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию...»

В 1926 году, когда я писал о Проточном переулке, К. А. Федин работал над «Трансваалем», Л. М. Леонов над «Вором», В. П. Катаев над «Растратчиками», В. В. Иванов над «Тайным тайных». Старая Литературная Энциклопедия называет все эти книги «искажением советской действительности», «апологией мещанства», «клеветой».

Дело, видимо, не в политических мечтаниях П. Н. Милюкова... Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего; потом настало время более спокойное и, если угодно, более серое; писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда VII нищего мальчика секли за проказы принца; наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги...

Проточный переулочек никак не походил на розариум. А я, будучи шестинистым человеком, но, право же, не свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете; я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвы-реки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами,— лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить.

С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься — проверить, почему написанные страницы столько раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору.

Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы — между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе «Греко», где когда-то сиживал Николай Васильевич, сел за столик под его портретом и задумался: каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!

В повести о Проточном переулке горбун Юзик читает и перечитывает одну книжку; ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане: «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни и возвести ее в перл создания». Таня смеется: «Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...»

Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины и что мы слишком часто оказывались побежденными — не критиками, конечно, а временем, именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора «Мертвых душ», «Шинели» осветить будничное, малопримечательное, «презренное».

Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулочка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупое, редко озарил светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили, ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой, и порой

переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.

Все это я понял не в 1926 году, а много позднее: человек учится до самой смерти.

## 15

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел, как подмастерье на мастера, — с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще большим любопытством — вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви, — так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, вору-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль — вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивай, пожалуйста, оглобли», — она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и галоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь — боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки», «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый...»). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как

дешевое вино», — грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика — прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» — галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос — неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату, почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой, какие стихи писал убийца французского президента белогвардеец Горгулов, как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правды», что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком, продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз с Чиано, — словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья самых различных профессий — инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбаллисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи — рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.»

Действительно семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое; но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов — налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе; но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста, — говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, котарая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме, И. Л. Лифшицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захстел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негладким результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Тронцы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен — он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяжа, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день — главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса — Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование, — Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, яшень».

«Боратин — крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом, наверное б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворечки, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босьяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса». «На огненном англо-арабе подсакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь».

А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр[яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короткий: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимется, значит это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломаную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей — философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытопанные поля,

жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет,— вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властью затер Грицка...»)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких,— ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж — не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне, неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «живиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932 — в начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал — моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)



По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916 по 1923. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие (правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой — Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре — молчании.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня. Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола — писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, — на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Жена, они будут ночевать у нас»...

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на свое место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием — кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное — это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем бсевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов — «Карл-Янкель» — кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня. «Не может быть,— шептал я себе,— чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень смешная и очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года...

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием — был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для красоты, для любви, для искусства.

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники — Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы — веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

*(Продолжение следует)*



---

## К 100-летию со дня рождения

ВАЖА ПШАВЕЛА

★

### О СМЕРТИ СЛЫШАТЬ НЕ ХОЧУ

О смерти слышать не хочу!  
Мне мертвый лев да не приснится,  
Да не увижу я орла,  
Что ринуться в борьбу боится!  
Льву — повелителем зверей,  
Орлу — быть властелином птицы!  
Как утром солнца луч игрив  
На зеленеющем пригорке!  
Плодам священного труда  
Да не зачахнуть до уборки!  
Не сжег бы душу сироты  
Яд слез его горюче-горький!  
Чист и святее всех святых  
Плач бедной матери несчастной.  
Не влить божественную скорбь  
В созвучья песни сладкогласной.  
Ты словом не пронзишь сердца,  
Коль не дан слова дар прекрасный.  
О, молодости красота,  
Внезапной страсти трепет властный!

### МОЛОДОЙ ОЛЕНЬ

Горько плачет олень молодой,  
Не пошел он пастись на яйлаге —  
Одинок, от друзей хоронясь,  
Бродит в зарослях, в темном овраге:  
Дрался он и рога обломал!  
Как от горя не плакать бедняге?  
Стыдно сверстников, стыдно родни —  
Стал он самкой безрогоголовой!  
Покажись на яйлаг — засмеют:  
Кто же видел урода такого?!

Ах, юнцу-простачку невдомек,  
Что, рогами увенчанный снова,  
Он, с дружками резвясь на горе,  
Вновь напьется там ветра хмельного!

*Перевел с грузинского Лев Пеньковский.*

---

---

РАФАЭЛ АРАМЯН

★

## РАССКАЗЫ

### Арарат из Бюракана

*Посвящается Мартиросу Сарьяну.*

**В**олосы его — оттенка старого серебра. Глубокие морщины, пересекаясь, бороздят лицо. Взгляд задумчив, словно обращен в себя... Медленно шел он по улице. Шел, опираясь на палку, когда детский голос вскрикнул:

— Не наступите на рисунок!

Художник остановился. Внизу, у конца его палки, начинался новый мир, удивительный, самобытный мир.

Маленькая девочка рисовала мелом на тротуаре, а веснушчатый мальчуган охранял ее рисунки.

— Дедушка, пройдите той стороной, — попросил мальчуган.

Но художник не ушел.

Девочка рисовала на тротуаре другую девочку — с бесконечным множеством пальцев, большущими круглыми глазами, лучеобразными ресницами и бантом, завязанным бабочкой. Платье сверху донизу было утыкано пуговицами... Рядом с девочкой, нарисованной мелом, был нацарапан песик: мордочка вздернута кверху, кончик носа, словно белая пуговка, а на животе бесконечный пуговичный ряд.

Художник спросил:

— Для чего эти пуговицы?

Оторвавшись от своего занятия, девочка взглянула вверх. Художник стоял над ней, седобровый, седоволосый. Улыбнувшись, девочка сказала:

— Чтобы он застегивал шкурку.

— Ах вот как! — задумчиво произнес художник и тверже оперся о палку, чтобы удобнее было смотреть.

Люди шли, равнодушно обходя веснушчатого мальчугана, художника и девочку, рисующую на тротуаре. Шли, не видя нового мира, который рождался у их ног. А художник смотрел и думал восхищенно: «С какой любовью и ликованием, с детской ясностью, искренностью и непосредственностью смотрит эта девочка на мир!»

Лукавые, веселые глаза улыбались сквозь нарисованные мелом лучеобразные ресницы; рисунок словно подмигивал художнику, а песик с накрепко застегнутой шкуркой вилял хвостом. Казалось, еще мгновение — и жизнь, струящаяся по тротуару, увлечет эти рисунки за собой.

Склонившись к девочке, художник спросил:

— А песик кусается?

— Кусается, кусается! — воскликнула девочка с бурным желанием убедить и испугать. И вдруг, словно сама поверив этой выдумке, в ужасе отдернула руку. — Ой, укусил, укусил! Вот за этот пальчик!

Художник взял ее руку в ладонь, прищурившись, посмотрел на запачканный мелом оттопыренный пальчик и, покачивая головой, сказал:

— О, какой глубокий укус!

Девочка отдернула руку и звонко засмеялась.

— Обманула! Обманула! — И, наклонившись, продолжала рисовать.

Веснушчатый мальчуган был снова на посту. Он кружил вокруг девочки, зорко следя за тем, чтобы никто не наступил на рисунки.

«Какое у нее непосредственное видение», — мысленно повторил художник и почему-то вспомнил критика, который твердил: «Если я этого не вижу, значит этого нет!»

Воспоминание о критике отвлекло художника лишь на какую-то долю секунды и тут же забылось.

Теперь девочка рисовала на тротуаре какие-то кружочки.

— А это что? — спросил художник.

— Яблоки, — отвечала девочка, продолжая увеличивать число кружочков.

Двое прохожих с папками под мышкой шли прямо на них.

— Посторонитесь! — предупредил веснушчатый мальчик, но они не обратили на него внимания. Девочка испуганно шарахнулась в сторону, и прохожие сначала растоптали песика, потом наступили на завязанный бабочкой бант, на яблоки...

Художник гневно окликнул их:

— Рисунки, разве вы не видели рисунков?

— Ну и что же? — пожал плечами один из прохожих. И они прошли. Прошли спокойно, равнодушно, растоптав ногами целый мир.

Девочка, готовая было расплакаться, заметила волнение старого художника и, удивленно глядя на него, сказала:

— Ничего, дедушка, все можно снова нарисовать!

— Все можно снова нарисовать... — не столько ребенку, сколько сам себе задумчиво повторил художник и, твердо опираясь палкой о землю, пошел дальше, вперед.

Он вернулся домой раньше обычного, поднялся в мастерскую и остановился перед автопортретом, висящим на стене. С полотна, грозно взметнув кисть, смотрел на художника его двойник. Автопортрет словно был в движении. Казалось, еще мгновение — и рука, поднявшая кисть, опустит ее на полотно или же... Художнику вдруг показалось, что кисть нацелилась для удара в прохожих с папками.

С полотна смотрел на художника он сам, в те времена еще только начинавший сесть. «Вероятно, думаешь, что я постарел, — обратился художник к автопортрету и снисходительно усмехнулся. — Ошибаешься! Глаз мой видит острее, а рука...»

Он выбрал одну из кистей, лежавших на столе, — рука не дрожит!

С минуту художник и автопортрет, грозно взметнув кисти, смотрели друг на друга, потом, опустив кисть, художник оглядел мастерскую.

Нет, ничего не теряет художник. Он может все восстановить — достаточно расставить вдоль стен полотна; и девушка, любимая им когда-то и ставшая его женой, и парень — друг отроческих лет, которого уже нет, и уголок двора, давно уже разрушенный, и персиковое дерево, срубленное годы назад, и золото солнца, неповторимым блеском залившее Араратскую долину, и пейзаж родины, написанный щедрыми мазками, оранжевыми, синими ударами кисти, — все это вновь оживет, и вчерашнее станет сегодняшним.

Нет, ничего не теряет художник. Вот портреты его друзей. Многих из них нет в живых. Нет? Ложь! Разве не вчера, зажав в руках палки, шли они вдвоем по улице и старый поэт говорил: «Когда мне холодно, я прихожу к тебе, Мартирос. В мастерской твоей так много солнца...» Художник прищурил глаза. Пейзаж, висевший на стене, излучал потоки солнца. А рядом сочные синие тени и страны, которые он посетил много лет назад.

Одно из полотен, заключенных под стекло, блесло. Чтобы лучше видеть, художник подошел ближе. И, увеличиваясь, придвинулось его отражение. Художник улыбнулся. Отражение повторило улыбку.

«Постарел», — подумал художник, притрагиваясь к своим сединам, и вспомнил слова маленькой девочки: «Все можно нарисовать снова».

Разве не так же смотрел он на жизнь? Потери, потери и ценой этих потерь приобретенные сокровища истины, мудрость.

Корабль, который вез с Парижской выставки его картины, загорелся...

Художник вплотную подошел к картине, заключенной под стекло, склонился и, как в окно, стал смотреть на яркое пламя маков, которое он зажег своими красками на полотне.

Корабль сгорел...

Сгорели все полотна. Сгорели надежда, вера. И тогда высохли краски, положенные на палитру для нового полотна. Друзья высказывали соболезнование, утешали. Очистив палитру от высохших красок, он положил на нее новые, свежие краски, взял кисть и сказал слова, которые сегодня слышал от маленькой девочки: «Все можно нарисовать снова!»

И он писал почти каждый день. Ушел из мастерской, вынес мольберт на большие дороги и снова писал.

Он писал жизнь, текущую по этим дорогам. Окунул кисть в солнце и разбросал вокруг себя цветы и солнечные лучи. И каждый день ему виделось новое, не виденное раньше: синеватые буйволы, тяжело и царственно движущиеся по опаленным зноем полям; пламенные оранжевые горы, врезающиеся в лазурь неба; залитые светом поля; тени, таящие в себе игру всевозможных цветов и оттенков; крестьянские девушки в цветастых нарядах, с золотыми сережками в ушах. Виделись дышащие трепетной зеленью дали. Арарат и Арагац и люди, которые не хотели, чтоб он видел их такими.

Художник усмехнулся: «Злятся... но что я могу поделать, если они именно таковы. Приукрасить? Нет! Я пришел не приукрашивать, а видеть прекрасное. Я пришел бичевать зло, а не ухудшать. Подобно той маленькой девочке, я разостлал мои картины на дороге жизни. Остановитесь на миг, чтобы всмотреться в мир, который видите каждый день. Видите, но не замечаете. Остановитесь... Но горе вам, если растопчете его!..»

Он все еще улыбался. «Ничего, все можно нарисовать снова», — произнес он уже вслух и, очнувшись от собственного голоса, вышел из мастерской и позвал:

— Кто здесь есть?

— Я, — откликнулся из столовой сын.

— Помоги мне собраться. Еду в Бюракан. Хочу написать Арарат из Бюракана.

Вместе со старым художником поднялась в Бюракан группа молодежи. По дороге он сказал:

— Каждый человек красив и ценен в своей неповторимости. Пусть каждый из вас пишет свой Арарат.

— Но Арарат один,— несмело заметил юноша, шагавший рядом.

— А вас много,— ответил художник и, уединившись, приготовился писать.

Перед ним расстилалась озаренная солнцем Араратская долина, над нею возвышались большая и малая вершины Арарата.

Он выбрал на палитре первую краску, краску, которая должна была задать цветовой тон всей картине, и осторожно положил ее на полотно.

Чуть отступив, посмотрел на Арарат, взглянул на полотно и, беззвучно напевая, начал работать.

В синем небе отливала белизной вершина Арарата. Розовый свет озарял его подножие, зелень казалась прозрачной, звенящей, а солнце разбрызгало золото по садам.

Кровавый мак, поднявшийся у мольберта, закрывал горизонт. Художник сдвинул мольберт вперед.

На холсте оживала Араратская долина, вся в синих тенях и оранжевых лучах. Вдали, в теневой глубине, угадывалась дымчатая дорога.

Художник поднялся, посмотрел на Арарат, взглянул на полотно и почему-то снова вспомнил маленькую девочку, рисующую мелом на тротуаре. Потом прохожих, которые растоптали, убили начертанный мелом мир, и повторил про себя: «Ничего, все можно нарисовать снова! Напишу тебя, играющая на тротуаре девочка, потом буду писать тебя, Арарат. Буду писать из Бюракана, ибо на вершины надо смотреть с высоты».

Смеркалось. Художник сложил мольберт, взял в руки полотно и зашагал вниз. Седая голова его казалась нарисованной мелом на темнеющем небе. Тьма сгушалась. А он шел, повторяя слова маленькой девочки: «Ничего, все можно нарисовать снова!»

*Перевела с армянского Э. Кананова.*

### **Рассказ о маленьком мальчике и немолодом шофере**

У самого въезда в рабочий поселок, на крутом спуске, — гостиница. Постояльцев в ней всегда бывает очень мало, и потому каждого, кто хоть раз переночевал здесь, помнят долго, пока не приедет новый. Вот в этой-то гостинице жила дежурная — одинокая женщина с сыном. В этой гостинице я и устроился на ночлег.

Всю свою жизнь я мечтал о путешествиях, мечтал увидеть чужие страны, незнакомые города, но дальше своей маленькой Армении ни разу не выезжал. Люди думают, что шофером я стал просто потому, что не способен был ни на что лучшее. Странные бывают люди. Они готовы обвинить человека даже в незнании самого себя. А между тем я отлично изучил себя, настолько хорошо, что часто, стоя перед зеркалом, говорю: «Наверное, ты самый некрасивый человек на этом стареньком земном шаре, иначе почему никто до сих пор не обратил на тебя внимания?» И еще: «У тебя хорошее сердце».

Думаете, неправда это? Снова ошибаетесь. Это самая чистая правда, иначе я мог не заметить дежурную гостиницы и ее сына, чудесного малого.

В первый же день, когда, остановив машину перед гостиницей, я поднялся наверх, в вестибюле навстречу мне вышел мальчик и, улыбаясь, спросил:

— Ты издалека, дядя?

Я удивился.

— То есть как это издалека?

Мальчик достал из кармана смятую, истрепанную на сгибах карту, разостлал ее на столе и, водя пальцем по разным городам земли, спросил:

— Из Лондона, Парижа, Нью-Йорка или Москвы?

Я понял, я все сразу понял и сказал:

— Сейчас из Еревана.

Мальчик снова склонился над картой.

— Я не видел Еревана.

Как раз в это время в комнату вошла его мать.

— Как хорошо, наконец-то у нас гость,— сказала она. — Вот уже месяц никого не видно, и мой сынок путешествует в одиночку. Вы любите путешествовать?

— По карте? — спрашиваю я.

— Хотя бы и по карте, что тут такого?

«Действительно, что тут такого?» — думаю я и мысленно ругаю себя. Что в этом, спрашивается, такого, если кто-то путешествует по карте? И мне хочется сказать, что я не думал над ним смеяться, мне хочется сказать именно это, но я говорю:

— Люблю, хотя бы и по карте.

Женщина улыбается мне, и вдруг я замечаю, что она хороша, удивительно хороша собой, а я некрасив, и, наверное, именно потому она улыбается мне; ведь мне никогда и в голову не придет, что я понравился ей, нет, не придет, хотя я и не перестаю удивляться, почему это женщины придают такое большое значение мужской внешности.

— Дядя, а вы знаете, что я уже путешествовал по всему миру, побывав во всех городах и всюду у меня есть друзья?

— Знаю, — говорю я и вспоминаю детство. В школе я любил рассказывать о странах и городах, вычитанных из книг, а товарищи говорили мне: «Сочиняешь». Я возвращался домой и плакал от обиды, тут же решая ничего не рассказывать, но на следующий день все начиналось сначала. Случилось так, что один мой одноклассник стал капитаном дальнего плавания, другой — научным работником, третий — директором, а я — шофером. И теперь при встрече они как-то снисходительно улыбаются и говорят: «Ну, как живешь, фантазер? Недавно собрались старой компанией, вспоминали тебя». «Вспоминали, — повторяю я про себя, — конечно, пригласить не подумали, только вспоминали».

— Я был во всех этих городах, — снова говорит мальчик, водя пальцем по карте, — да, был, у меня там друзья, и они ждут меня к себе.

— Он прочел все книги о путешествиях, — говорит его мать, записывая в толстую гостиничную книгу мою фамилию и номер паспорта. — Вы еще не женаты? — удивляется женщина и поднимает глаза.

Наши взгляды встречаются. Я люблюсь ее миндалевидными серыми глазами и не отвечаю ни слова, словно онемел, а она, вместо того чтобы рассердиться, опускает ресницы под моим пристальным взглядом.

«Вот тебе на, оказывается, ты все-таки можешь кому-то нравиться», — думаю я. Я сказал — кому-то, но чувствую, что сказал неправду, потому что это первый случай, когда женщина, не сердясь, опускает глаза под моим взглядом. Да, первый случай.

— Наверное, вы много путешествовали и потому не успели жениться, — вдруг говорит мальчик. — Все путешественники поздно женятся, — добавляет он с видом знатока.

И я ничего не говорю о том, что никогда не выезжал за пределы своей маленькой Армении, не женился, потому что не нравился женщинам. Я молчу, ведь ребенок думает, что я бывалый путешественник, а мать его опустила глаза...



Вечером, нагрузив машину, я останавливаю ее во дворе гостиницы и поднимаюсь вверх. Я сейчас здесь единственный постоялец, и в моем распоряжении лучший номер, но я не вхожу в комнату, сажусь в вестибюле в кресло и принимаюсь ждать. Сам не знаю, кого я жду, сына или мать, которая с кем-то разговаривает во дворе. Входит мальчик. Впервые я внимательно смотрю на него и вдруг замечаю, что глаза у мальчика удивительно большие, и от этого кажется, что на лице, кроме глаз, ничего нет. Мальчик здоровается со мной, садится рядом и тут же спрашивает:

— А на острове Таити вы были?

Я на мгновение задумываюсь и в свою очередь спрашиваю:

— А что?

— Ничего, — говорит мальчик, — там растут замечательные бананы. Я никогда не ел бананов, но от удовольствия качаю головой и говорю:

— Очень сладкие бананы.

— А искателей жемчуга в Персидском заливе встречали?

Я снова задумываюсь: что же мне отвечать?

— Нет, не встречал. Был вечер, и искатели жемчуга уже разошлись по домам.

— Жалко, — говорит мальчик.

По его серым глазам я вижу, что он обдумывает новый вопрос. Спешу опередить его и начинаю рассказывать как очевидец о странах, которых не видел, об Африке, об охоте на львов и диких буйволов. Рассказываю о маленьких копьях пигмеев и леопардах, пронзенных ими насмерть, а он улыбается и говорит:

— Сейчас уже не охотятся с копьями, ведь есть винтовки.

Мальчик достает из кармана свою измятую карту, расстилает ее на столе и склоняется над желтой Африкой.

— В Африке сейчас невыносимая жара, — говорит он, — здесь, у подножия Килиманджаро, пасутся стада антилоп.

Мальчик, не мигая, смотрит на Африку. И мне чудится, что я вижу стада диких антилоп, зебр, страусов, мчащихся по равнинам Африки, слышу глухое рычание львов, жуткое завывание шакалов и гиен. Склонившись над картой, мы уже блуждаем по джунглям, идем слоновьей тропой, а впереди нас, размахивая маленькими копьями, бегут пигмеи.

— Выпьете с нами чаю? Столовая уже закрыта.

Я поднимаю голову от карты — дежурная гостиницы стоит рядом с нами. Ее миндалевидные серые глаза мягко улыбаются, и наши взгляды снова встречаются. Она опускает голову. «Какой я дурак — не всегда о людях судят по внешности», — заключаю я мысленно.

— С удовольствием, — сразу соглашаюсь я и прибавляю: — Если вы позволите, я возьму мальчика с собой в город и через несколько дней привезу обратно.

— Все так говорят, но никто не берет.

— Возьму, обязательно возьму, — уверяю я.

Мальчик от радости поспешно складывает карту, уместив весь мир в кармане, и выбегает из комнаты. Утром мы уезжаем: это его первое путешествие. Мы вместе ездим по городу, бродим по улицам, и я думаю: скоро мы вернемся назад, и, если мать его снова улыбнется мне и потупит свои миндалевидные серые глаза, тогда мы — я и этот маленький мальчик — поедем путешествовать, увидим незнакомые города, новых людей и вернемся домой, где нас будет ждать мать мальчика. Мальчик достанет из кармана карту, и мы расскажем ей об удивительных странах, об острове Таити, искателях жемчуга в Персидском заливе, антилопах и львах в джунглях Африки. Расскажем и примемся мечтать о новых путешествиях, а она приготовит нам чай, душистый, свежий чай.

## О чем рассказала крыша

Крыши тоже курят, только никто не разжигает им трубки, пока не придет зима. Срывая с деревьев пламенеющие листья, зима закидывает их на крыши домов. Огненные листья попадают в дымовые трубы, и крыши начинают куриться. Они дымят своими трубками и беседуют о жизни, небе, облаках и людях.

Старые крыши знают много интересных историй, а молодые молча слушают их, слушают, попыхивая трубками.

Я живу в мансарде под самой крышей и потому понимаю их язык. Знаю, о чем ведет свои нескончаемые беседы много повидавшая на своем веку старая крыша с поломанными, покосившимися черепицами. Она видела, как рождались и умирали люди, женились и расходились, радовались и страдали, она испытала и гордость и стыд, порой была надменна, порой унижалась. В трещинах между ее черепицами жили целые поколения воробьев, вили гнезда голуби и ласточки; отсюда юноши смотрели на небо и мечтали. А сейчас зима, ласточки улетели, воробьи перебрались на ветки деревьев, коты дремлют у печек, и ничто не нарушает их покоя...

Они беседуют, и я слышу, о чем рассказывает старая крыша, которая видна из моего окна. А я живу в мансарде, из моего окна можно увидеть только крыши, громоздящиеся, поднимающиеся одна над другой, дымящие своими трубками крыши домов.

И старая крыша рассказывает (это та крыша, у которой поломана черепица, а жель по краям заржавела от старости):

— Подо мной живет Аревик (крыши так говорят о своих жильцах).

— Я ее видела? — спрашивает молодая. Она еще не покрылась ржавчиной, юноши еще не смотрели отсюда на небо, в щелях между черепицами не успели обосноваться воробьи и не свили себе гнезд ласточки.

— Ты? Нет, ты не могла ее видеть. Летом, когда Аревик играла на балконе, тебя еще не было на свете.

— Тогда рассказывай так, чтобы я ее представила, — говорит молодая крыша.

— Так вот, слушай, — начинает старая, и дым от ее трубки смешивается с дымом молодой. — Подо мной живет Аревик: волосы у нее выются колечками, черными, как этот дым. — И крыша выпускает из трубы густые кольца дыма. — У Аревик черные глаза и маленький, совсем крошечный носик. Она носит на голове красную крышу; да, не удивляйся, ты еще молода и не знаешь, что у людей тоже бывает крыша, непонятно только, почему летом они ее снимают. Но трубки люди курят не так, как мы... как бы тебе объяснить... — И старая крыша не смогла объяснить, как курим мы, люди.

Тогда я вынул из кармана сигарету и закурил. Она заметила это и обратилась к молодой:

— Смотри, вот как они курят. Станный этот жилец мансарды. Когда я его вижу, мне почему-то делается смешно.

Старая крыша засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха дым из труб заколебался, принимая фантастические, причудливые очертания. Потом старая крыша немного помолчала и снова принялась рассказывать:

— Подо мной живет Аревик.

— Об этом ты уже сказала, — снисходительно заметила молодая.

— Она всегда рисует солнце.

— Все дети рисуют солнце, — возразила молодая. — Правда, я не знаю имен детей, которые живут подо мной, но уверена, что и они рисуют солнце.

— Это так, — согласилась старая крыша, — но ты не знаешь, как это выглядит, да и не можешь знать, потому что всего два месяца как появилась на свет. Ты не знаешь, что дети всегда рисуют солнце, они рисуют домик, потом трубу, дым и непременно в углу большое солнце, у которого лучи расходятся во все стороны. Они рисуют солнце даже тогда, когда изображают на рисунке зиму или дождливый день, а вот взрослые не рисуют солнца. Этот человек из мансарды никогда не рисует солнца, хотя он и художник, а если и рисует, то только закат. Каждый раз, когда я его вижу, мне становится смешно: неужели он не замечает солнечных крыш, ведь на них не бывает тени, крыши всегда под солнцем. Лучше быть опаленным солнцем, чем бесцветно прозябать в тени.

Старая крыша снова засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха клубы дыма всколыхнулись, заколебались, принимая фантастические, причудливые очертания.

И я невольно улыбнулся, потом задумался над тем, что сказала крыша: да, лучше быть опаленным солнцем, чем бесцветно прозябать в тени. А старая крыша продолжала свой рассказ:

— Взрослые не всегда рисуют солнце, дети рисуют только солнце. Недавно я через щель заглянула в квартиру Аревик. Со всех стен сияли солнца, нарисованные Аревик; здесь были солнца всех цветов — оранжевые, золотистые, серебристые, синие, зеленые, желтые, потом были солнца всех цветов радуги, а на одном листке бумаги было нарисовано несколько солнц и дети; вместо воздушного шарика каждый держал за лучик солнце. Так много солнца было в этой комнате, что даже мои привыкшие к свету глаза не выдержали такого ослепительного сияния, и я невольно зажмурилась.

— Синие солнца, солнца всех цветов радуги! — удивленно прошептала молодая крыша.

— Да, всех цветов. Ты еще молода и мало еще видела солнце, солнце еще не опалило тебя, ты не знаешь, что оно бывает всех цветов, ты не знаешь, что, если дети не будут рисовать солнце, весна не придет, не вернутся ласточки, не сошьют себе гнездо голуби... Посмотри, как самонадеян жилец из мансарды, наверное, ему кажется, что он принесет весну. Эх, дорогая, смешно, очень смешно. Если дети не будут рисовать солнце, весна не придет, слышишь ты, скучный человек из мансарды, весна не придет.

Старая крыша засмеялась, засмеялась и молодая, и от их смеха снова всколыхнулись, заколебались клубы дыма, смешались в фантастических, причудливых очертаниях. Это, наверное, весенний теплый ветер смешал клубы дыма, и крыши смеялись, роняя свои прозрачные сосульки.

## Сердце

Дети лепили снежную бабу, и, когда все было уже готово, мальчик с веснушками на лице сказал, шмыгнув носом:

— А сердце? Без сердца снежный человек не сможет жить.

Все с ним согласились, и оживленная работа приостановилась. Самые маленькие, которые подносили снег, беспомощно затоптались на месте.

— Нужно горячее сердце, а то ночью снежный человек замерзнет. И еще нужно, чтоб сердце было доброе, тогда он нас сразу полюбит и

будет рассказывать нам сказки,— сказал мальчик, у которого только что прорезались два передних зуба, и все с ним тут же согласились, потому что он учился во втором классе.

— Ну скорей, принесите сердце,— сказал он детям.

Ребята рассыпались кто куда. Первой вернулась маленькая, очень маленькая Нуник. Она шла осторожно, крепко зажав что-то в кулачке. Нуник не ходила домой, постояла немного на лестнице, в подъезде, и вернулась.

— Что у тебя в руке? — спросил второклассник.

— Сердце.

— А ну-ка покажи.

Нуник разжала кулачок. На ладони ничего не было, но мальчик понял, что в этом маленьком кулаке действительно бьется самое красивое сердце, самое хорошее, самое горячее. Он бережно взял у Нуник сердце и вложил в грудь снежного человека.

Нуник гордо встала рядом с второклассником, и они принялись вместе ждать.

Потом появилась Арпик с первого этажа.

— У тебя что? — спросил второклассник.

Арпик достала из кармана кусочек свинца и протянула мальчику.

— ? ? ?

— Во время войны это достали из папиного сердца.

— Хорошо,— понимающе кивнул мальчик, укладывая новое сердце рядом с Нуникиным.

Теперь они ждали втроем.

Из подъезда выскочил веснушчатый мальчик.

— Бери,— сказал он, запыхавшись, протягивая сердце — ватную подушечку для иголок. Пальцы у него были в крови.

— Почему на сердце кровь?

— Это иголки искололи сердце.

— Ничего,— успокоил его второклассник, и снежный человек получил еще одно сердце.

Последней пришла пятилетняя Арус. Ее пришлось дольше ждать, потому что она жила на четвертом этаже и спускалась по лестнице очень медленно.

Она принесла маленькую гуттаперчевую куклу.

— Это Анаит, она мне рассказывает сказки и очень любит всех детей,— сказала она, отдавая куклу.

— Я ее знаю,— сказал второклассник,— она к нам вчера приходила.

Арус удивленно посмотрела на куклу.

— Когда это ты успела, шалунья? — Она приложила ухо к лицу куклы, чтоб услышать, что она ответит, и повторила за нее:— Говорит, что я в это время была в школе.

— Ты ведь еще не ходишь в школу,— возразил веснушчатый мальчик.

Арус чуть не заплакала от обиды.

— Хожу, наша школа около письменного стола моего папы.

— Конечно, ходит,— подтвердил второклассник, и Арус засияла от удовольствия.

Куклу положили рядом с другими сердцами, потом из двух угольков сделали глаза, вместо носа воткнули морковку, но, когда снежный человек был уже совсем готов, мать увела домой Арус, а мальчишка с веснушками позвал вернувшийся с работы отец:

— Я купил тебе книжки, пошли домой.

Возле снежного человека остались маленькая, совсем маленькая Нуник, Арпик и второклассник.

Второклассник приложил ухо к груди снежного человека и стал слушать.

— Какое у него горячее сердце! Так сильно бьется, что в новогоднюю ночь он ни за что не замерзнет.

Нуник и Арпик тоже прислушались, как горячо бьется сердце снежного человека.

Вечером ребят уложили спать. Нуник закрыла глаза, и до нее отчетливо донесся стук сердца снежного человека, потом он начал рассказывать ей сказку, и она улыбнулась во сне.

— Почему она улыбается? — забеспокоилась мама и позвала отца. — Нуник поднялась температура, тревожно сказала она.

Отец приложил руку ко лбу девочки.

— Нет у нее температуры, просто Нуник снится какой-то сон.

А Нуник слушала, как бьется сердце снежного человека. Снежный человек рассказывал ей сказку.

Маленькая Арус тоже услышала стук сердца снежного человека. Стенные часы в спальне повторяли за ним: тик-так, тик-так. А гуттаперчевая кукла рассказывала сказки там, внутри снежного человека, потому он и не замерзал, потому у него было горячее сердце, а снежные рассказы совсем солнечные.

Все-все дети слышали, как бьется сердце снежного человека, не слышали только взрослые, они и не знали, что во дворе живет снежный человек, а в его груди лежит исколотая иголками сердцевидная подушечка, маленькая гуттаперчевая кукла, осколок свинца и самое красивое — сердце Нуник. Об этом знали только дети, и потому билось сердце снежного человека, а маленькие мальчики и девочки в своих кроватках слушали его удивительные снежные рассказы.

### Отметки на двери

Эта дверь многое видела, дорогая Ирина, она старше тебя, меня и твоего папы, она старше даже твоего дедушки. В эту дверь много лет назад ушел твой отец и спустя много лет вернулся вместе с тобой. Ты тогда только что родилась, вы приехали с Дальнего Севера.

Здесь, в дверях, часто сидела твоя бабушка, го есть мама твоего отца и моя мама, и ждала возвращения своих сыновей. Потом на ней появились отметки: мы становились у двери, и наш отец, то есть твой дедушка, отмечал, насколько мы выросли. Каждый новый год твой дедушка делал новую отметку, пока мы не подросли. Потом пришли маляры, покрасили двери, и все отметки исчезли. Теперь мы постарели и больше уже не растем. Теперь дедушка почти одного с тобой роста, а было время, когда дедушка был мужчиной среднего роста, хотя этого не помню даже я.

Значит, так: многое видела эта дверь, и теперь каждый новый год на ней отмечают твой рост. Ты растешь, теперь ты уже выше дверной ручки. Твои передние молочные зубы выпали, и бабушка хранит их в кармане футрука, зубки, которые вырвали тебе катушечной ниткой. Какое это счастье — с помощью катушечной нитки избавляться от всего того, что тебе мешает в жизни! А нам, взрослым, нелегко избавляться от больших зубов, от своих огорчений и горестей. Мы уже больше не растем, никто не измеряет наш рост, и это хорошо, что не измеряют..

Новый год. Ты снова стоишь, прислонившись к косяку двери, и ждешь, чтоб папа сделал на ней новую отметку. Ты уже выше дверной ручки.

Ты откинула голову и поднялась на цыпочки. На двери делают новую отметку, отметку твоего роста в новом году, и оказывается, что за прошлый год ты выросла на два пальца. Весь дом ликует, все радуются, ты гордо отходишь от двери, на которой в свое время отмечали, насколько выросли мы, и я невольно думаю, как хорошо, что на земле мир, как хорошо, что мы измеряем только твой рост. Пусть каждый новый год измеряют рост детей, потому что, если начнут мерить рост взрослых, это значит — надо надевать солдатскую шинель, это значит — деги больше не будут расти и мир больше не войдет вместе с новым годом в каждый дом.

Но ты прервала мои мысли. «Я буду еще много-много расти,— сказала ты,— я вырасту такой большой, что на дверях больше нельзя будет делать отметки, придется делать их на небе».

Пусть будет так, пусть каждый новый год несет с собой мир, ты будешь расти вместе с нашей страной, и отметку роста твоего поколения будут вычерчивать в небе, в космическом пространстве.

*Перевела с армянского Елена Алексанян.*



## Из ранних рассказов

Эти два ранних рассказа Эрнеста Хемингуэя были включены им в сборник «Пятая колонна и сорок девять первых рассказов», изданный в 1939 году.

В обоих возникает тема, которая привлекла писателя еще в годы его литературной юности и к которой он вновь обратился незадолго до смерти. Тему испанской корриды (боя быков) Хемингуэй умеет повернуть самыми разнообразными сторонами. По-разному звучит она и в двух рассказах, предлагаемых нашему читателю. В «Банальной истории» говорится о человеке, читающем проспект журнала, составленный из тривиальных фраз, какими обстреливала своих подписчиков американская пресса в двадцатые годы и к каким продолжает она прибегать и сегодня. Это монотонная реклама «американского образа жизни», псевдоромантика «просторов ранчо», псевдоспокойствие «уютного дома», имена, которые не сходят с газетных столбцов сегодня и будут забыты завтра, мнимая поэзия слащавых рождественских сказок. И в противовес этой рекламной романтике входит реальный образ прославленного матадора, уходящего из жизни не на арене, а в домашней постели — от «банального» воспаления легких. Его провозжают на кладбище соперники и зрители, и дождь, которым завершается этот короткий рассказ, как бы смывает из памяти его недавно сверкавший образ.

В рассказе «Могила матери» матадор показан читателю глазами его импресарио — не в блеске зрелища, не в мишуре театрального костюма: пустой мальчик, развращенный своей популярностью.

Оба рассказа переводятся на русский язык впервые.

### Банальная история

**И**так, он ел апельсин, неторопливо сплевывая косточки. За окном снег перешел в дождь. Электрическая печка в комнате как будто совсем не грела, и, встав из-за письменного стола, он уселся на эту печку. Как славно он почувствовал себя! Наконец можно жить.

Он взял еще апельсин. Далеко, в Париже, Маскар сшиб с катушек вазину Денни Фроша на втором раунде. Далеко-далеко, в Месопотамии, снежные заносы достигли высоты двадцати одного фута. На том краю света, в Австралии, английские крикетисты готовились к ожесточенной защите своих ворот. Вот она где, романтика!

Покровители искусства и науки полюбили «Форум», — прочитал он. — Это наставник, философ, друг мыслящего меньшинства. Блестящие новеллы — быть может, их авторы завтра создадут знаменитые бестселлеры.

С наслаждением прочтете вы эти задушевные, простые американские рассказы — о просторах ранчо, о тесных трущобах или уютных домах, кусочки живой жизни, всегда пронизанные здоровым юмором.

Надо было почитать их, подумал он.

Он стал читать дальше. Дети наших детей — что будет с ними? Что они собой представляют? Надо решить задачу, как нам завоевать для них место под солнцем. Придется ли для этого воевать или удастся достичь этого мирным путем?

А может быть, всем нам придется двинуться в Канаду?

У нас есть глубокая вера — неужели наука ее разрушит? У нас есть цивилизация — неужели она хуже старинного уклада?

А между тем в далеких сырых чащах Юкатана звенели топоры дровосеков, рубивших вековые деревья.

Нужны ли нам сильные люди — или люди высокой культуры? Возьмем Джойса. Возьмем президента Кулиджа. Кто из знаменитостей должен стать путеводной звездой для наших студентов? У нас есть Джек Бриттон. У нас есть доктор Генри Ван-Дайк. Можно ли объединить их черты? Вспомним дела молодого Стриблинга.

А что будет с нашими дочерьми, которым приходится самим прокладывать курс корабля? Нэнси Готорн вынуждена сама прокладывать курс своего корабля в пучине жизни. Смело и мудро она разрешает проблемы, которые встают перед каждой девушкой в восемнадцать лет.

Здорово сделан этот рекламный листок.

Может быть, и вы восемнадцатилетняя девушка? Вспомним о жизни Жанны д'Арк. Вспомним о жизни Бернарда Шоу. Вспомним о жизни Бетси Росс.

В наступающем 1925 году подумайте о прошлом — была ли в истории пуритан легкомысленная страничка? Есть ли у ацтекской богини Покахойтес другая сторона? Есть ли у нее четвертое измерение?

А современная живопись — и поэзия — искусство ли это? И да, и нет! Возьмем Пикассо.

Есть ли свои нормы поведения у бродяг? Уйдите от будней в мир приключений.

Романтика таится везде. Авторы «Форума» расскажут вам обо всем интересно, весело, остроумно. Но они не забираются в дебри науки и не страдают многословием.

Живите полной умственной жизнью, вдыхайте воздух новых идей, опьяняйтесь романтикой Необычайного.

Он положил проспект на стол.

А между тем, вытянувшись на кровати в затемненной комнате своего дома в Триэне, Мануэль Гарсия Маэра лежал с трубками в обоих легких, задыхаясь от пневмонии. В день его смерти — ее ожидали вот уже несколько дней — все андалузские газеты выпустили специальные приложения. Взрослые и мальчишки покупали на память его цветные портреты во весь рост, чтобы запомнить его, но, глядя на литографии, они теряли тот образ, который хранила их память. Матадоры облегченно вздохнули, когда он умер, потому что на арене он всегда мог делать то, что им удавалось делать лишь изредка. Все они шагали под дождем за его гробом, сто сорок семь чемпионов корриды проводили его на кладбище и похоронили рядом с могилой Хоселито. После похорон все укрылись от дождя в разных кафе, там было распродано множество цветных портретов Маэры, их сворачивали в трубку и прятали поглубже в карманы.

## Могила матери

Когда умер его отец, он был еще совсем мальчишкой. Его импрессарио похоронил отца навсегда. То есть он купил участок на кладбище навечно. Но когда умерла его мать, импрессарио подумал, что, может быть, их дружба когда-нибудь кончится. Они жили душа в душу. Ну да, он ведь из этих, из порченных, неужто вы не знали? Конечно, он такой. Импрессарио похоронил его мать всего на пять лет.

А когда он вернулся из Мексики в Испанию, он получил первое уведомление. Его предупреждали, что пятилетний срок скоро кончается, и



спрашивали, собирается ли он платить дальше за могилу матери. Постоянное место стоило всего двадцать долларов. Касса была у меня, и я ему говорю:

— Слушай, Пако, давай я все сделаю.

А он говорит:

— Нет, я сам займусь. Займусь,— говорит,— сразу, сейчас же.

Это, мол, его мать и он все сделает сам.

Через неделю пришло второе уведомление. Я прочитал ему и говорю:

— А я-то думал, ты уже все сделал.

— Нет,— говорит,— еще нет.

— Давай я все проверну,— говорю,— деньги, вот они, в кассе.

— Нет,— говорит,— не надо...— И нечего его учить. Он сам все делает, когда руки дойдут.— Какой смысл тратить деньги раньше времени,— говорит.

— Ладно,— говорю,— только смотри не забудь.

В то время у него был контракт на пять боёв, по четыре тысячи песо за бой, не считая бенефиса. В одной столице он заработал больше пятнадцати тысяч, на доллары. Просто он был скуп, вот и все.

Третье предупреждение пришло через неделю, я и это ему прочел. Там было сказано, что, если плата не будет внесена к субботе, могила его матери будет вскрыта и ее останки выброшены в общую яму. Он сказал, что все уладит сегодня же к вечеру, когда пойдет в город.

— Почему ты мне не поручишь заняться этим? — спрашиваю.

— Не вмешивайся в мои дела,— говорит.— Мое дело, сам все улажу.

— Ладно, как хочешь,— говорю,— делай свои дела сам.

Он взял деньги из кассы, хотя у него всегда была при себе сотня песо, а то и больше, и повторил, что сегодня все уладит. Он ушел с деньгами, и я, конечно, решил, что он все уладит.

А через неделю пришло уведомление, что, так как ответ на последнее предупреждение не получен, останки его матери выкинуты в общую яму.

— Убей меня бог! — говорю.— Ты же сказал, что сам заплатишь, даже деньги взял из кассы, а теперь видишь, что случилось с твоей матерью? Господи, подумать страшно. Родная твоя мать в общей яме. Почему ты не дал мне все уладить? Я бы сразу послал деньги, после первого уведомления.

— Не твое дело. Она моя мать.

— Да, дело не моё, это твое дело. Что же это за кровь у человека в жилах, если он допускает, чтоб с его матерью такое сотворили? Недостойн ты иметь мать.

— Это моя мать,— сказал он.— И теперь она мне еще дороже. Теперь я уже не думаю, что она лежит там, в могиле, не печалюсь. Теперь она везде — в воздухе, как птицы или цветы. Теперь она всегда со мной.

— Господи Иисусе! — говорю.— Какая ж это кровь в тебе течет? Не хочу с тобой даже разговаривать.

— Теперь она везде,— говорит.— Теперь мне печалиться нечего.

В ту пору он швырял деньги на женщин, старался казаться настоящим мужчиной, хотел обмануть людей. Но никого он не обманул, все про него знали. Мне он задолжал шестьсот с лишним песо и не отдавал.

— Зачем они тебе? — говорит.— Разве ты мне не доверишь? Ведь мы с тобой друзья.

— При чем тут дружба, при чем тут доверие? Просто я заплатил до всем счетам из своих денег, когда ты уезжал, а теперь мне они нужны, так что ты мне их верни.

— Нет у меня денег.

— Нет, есть. Деньги лежат в кассе, можешь со мной расплатиться.

— Мне эти деньги на другое нужны,— говорит.— Ты не знаешь, сколько мне денег нужно.

— Я был здесь все время, пока ты ездил в Испанию, и ты мне поручил платить за все, что тебе доставляли, за всю обстановку для дома, а денег ты мне не посылал, я заплатил шестьсот с лишним песо из своего кармана, а теперь они мне нужны, ты обязан мне вернуть долг.

— Скоро верну,— говорит.— А теперь мне деньги самому до зарезу нужны.

— На что?

— Мое дело.

— Может быть, дашь хоть немного в счет долга?

— Не могу,— говорит,— мне деньги до зарезу нужны. Но я с тобой расплачусь.

В Испании он бился только дважды, его там терпеть не могли, сразу поняли, что он за штука, а он заказал себе семь костюмов для арены, но характер у него был вот какой: он так небрежно уложил эти костюмы, что четыре из них подмокли на пароходе и так испортились, что он их и надеть не мог.

— Боже мой,— говорю.— Вот ты поехал в Испанию. Дрался ты там всего два раза, а пробыл весь сезон. Все деньги истратил на костюмы, а потом по твоей вине их так разъело соленой водой, что и носить нельзя. Вот как ты провел сезон, а потом говоришь, что я должен вести твои дела. Лучше бы ты расплатился со мной и отпустил меня.

— А ты мне нужен,— говорит,— я тебе заплачу. Но сейчас мне деньги нужны.

— Может, они тебе так нужны, чтобы заплатить за могилу родной матери, похоронить ее хочешь?

— Я рад, что с матерью так вышло,— говорит.— Ты этого не понимаешь.

— И славу богу,— говорю.— Отдай мне долг, не то я возьму деньги из кассы.

— А кассу я буду держать у себя,— говорит.

— Нет, не будешь,— говорю.

И в тот же день он пришел ко мне с каким-то проходимцем, своим зсмяком, совсем нищим, и говорит:

— Вот мой зсмяк, ему нужны деньги — доехать до дому, у него мать тяжело заболела.

Это был просто проходимец, понимаете, он его раньше и в глаза не видал, но они были из одного города, и ему хотелось разыграть перед ним благородного матадора.

— Дай ему пятьдесят песо,— говорит.

— Ты же только что сам сказал, что тебе нечем расплатиться со мной,— говорю,— а теперь хочешь отдать пятьдесят песо этому проходимцу.

— Это парень из моего города,— говорит,— и у него беда.

— Сука ты,— говорю. И отдал ему ключ от кассы.— Сам бери. Я еду в город.

— Не злись,— говорит,— долг я тебе отдам.

Я выкатил машину и поехал в город. Машина была его, но он знал, что я вожу ее лучше, чем он. Все, что он делал, я умел делать лучше. Он это знал. Он даже читать и писать не умел. Я хотел кое с кем повидаться и узнать, как мне заставить его платить. Но тут он вышел и сказал:

— Я тоже с тобой еду, и долг я тебе отдам. Мы же с тобой друзья. Зачем нам ссориться?

Мы поехали в город, и я вел машину. А перед самым городом он вынул двадцать песо.

— Вот тебе деньги.

— Сука ты безродная,— говорю, и сказал, куда он может сунуть эти деньги.— Даешь пятьдесят песо какому-то проходимцу, а потом тычешь мне двадцать, когда должен мне все шестьсот. Я от тебя и гроша не возьму. Можешь их девать знаешь куда?..

Я вышел из машины без единого песо в кармане, не зная, где буду ночевать. Потом я поехал к нему с товарищем и забрал свои вещи. До нынешнего года я с ним ни разу и не разговаривал. А тут вдруг встретил его в Мадриде, на Гран-Виа, он шел с тремя приятелями в кино «Каллао». Сам протянул мне руку.

— Здорово, Роджер, старый друг,— говорит.— Как живешь? Говорят, ты обо мне неважно отзываешься. Говорят, возводишь на меня на-праслину.

— Нет, я только говорю, что у тебя никогда матери не было,— сказал я. По-испански нет худшего оскорбления для человека.

— Правильно,— говорит.— Моя бедная мать умерла, когда я был совсем маленьким, так что выходит, будто у меня матери и не было. Да, грустно, грустно.

Вот какие они, эти типы. Их никак не задеть. Ничем, ну ничем их не заденешь. Транжируют деньги на свою особу из тщеславия, а долгов не отдают. Попробуй заставь такого отдать долг. Я ему тут же, на Гран-Виа, при трех его приятелях все выложил, что я о нем думаю, и все-таки, когда мы встречаемся, он со мной заговаривает, будто мы друзья. Что же это за кровь течет у них в жилах, у таких людей?

*Перевела с английского Р. Райт.*

## АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

★

### *Он был с нами в Испании*

*Странички воспоминаний.*

Недавно, уже после трагической смерти Хемингуэя, Фолкнер сказал, что он был почти так же хорош, как его книги. Трудно выразиться лучше...

Мне посчастливилось познакомиться с Хемингуэем довольно близко. С начала января и до середины мая 1937 года, когда наша XII интербригада, только что успевшая разрастись под командованием генерала Лукача в 45-ю интердивизию, была перебросена под Уэску, Хемингуэй постоянно приезжал к нам в штаб. Чаше, чем нас, он навещал разве что американских добровольцев из батальона Линкольна, входившего в XV интербригаду.

Впервые увидев этого большого, с виду несколько неуклюжего, небрежно одетого человека, в старомодных очках на круглом лице, с жесткой щеточкой коротких усов и с наморщенным лбом под измятым беретом, я испытал наивное разочарование, до такой степени Хемингуэй был не похож на самого себя, если считать, что автор хоть немного, но должен походить на своих любимых героев,— а я незадолго перед тем прочитал «Фиесту». В свои тогдашние сорок лет Хемингуэй скорее всего напоминал потерявшего форму спортсмена или тренера из скаковой конюшни средней руки, при том условии, конечно, что у отставного кавалериста мог быть такой серьезный взгляд.

Но еще больше, чем внешностью, я был поражен поведением Хемингуэя. Оно никак не соответствовало его положению уже в те времена всемирно известного писателя. Ни в скупых его жестах, ни в сдержанном голосе, ни в выражении лица не проявлялось ничего особенного, оригинального, никаких признаков избранности, ни тени значительности. Хемингуэй был обескураживающе обыкновенен, обидно просто — был как все. Больше того, я не помню случая, когда, находясь среди нас, он сделался бы центром внимания, громко заговорил о происходящем, вступил в литературный спор, безапелляционно высказал свое мнение о театре, живописи или музыке. Не затрагивал он подобных тем, по крайней мере первый, и в тех случаях, когда через мое посредство объяснялся с Лукачем. Если же кто-нибудь из наших боевых товарищей заводил речь о том, что он тоже с интересом прочитал «Прощай, оружие!» и что это, мол, неплохой антивоенный роман, Хемингуэй смущался, даже краснел сквозь загар и старался переменить разговор. При этом у него был такой вид, словно ему стыдно, что при его физической силе приходится вот заниматься каким-то несолидным, немужским делом — писать книжки, вместо того чтобы корчевать пни или объезжать диких коней.

Но в обыденной наружности Хемингуэя была одна необыденная черта: его улыбка. Улыбался он сравнительно редко, зато, когда улыбался, — казалось, распахивался изнутри, и тогда выяснялось, что он весь преисполнен веселья. Так, как улыбался Хемингуэй, улыбаются только здоровые и счастливые дети. Однажды всегда мрачный, вечно всем недовольный боец охраны штаба Гурский, польский шахтер из-под Лилля, рослый, под стать Хемингуэю, увидев его, спросил, «кто тен товажиш есть». Я ответил. Гурский медленно перевел на меня тяжелый взгляд и сказал, что про такого писателя он никогда не слыхивал и не знает, хороший ли то писатель, а вот что это хороший человек — знает: плохой человек так не улыбается.

Дорогу к нам в штаб, помещавшийся тогда в особняке мадридского предместья Фуэнкарраль, открыл Хемингуэю наш самый частый гость — Михаил Кольцов. Произошло это вскоре после окончания удачной новогодней операции, проведенной нами в горах, очень далеко отсюда. Явился Кольцов, как всегда, неожиданно, но совершенно кстатик: к утреннему кофе. Мы услышали остановившуюся возле штаба автомашину, в ту же секунду отворилась входная дверь и быстрой подпрыгивающей походкой вошел Кольцов. За ним, согнувшись, чтобы не стукнуться о притолоку, шагнул незнакомец в защитного цвета шерстяных брюках и блузе; разница в росте была такова, что становилось страшно, как бы он не наступил на Кольцова.

— Вот вам еще один писатель в Испании, — проговорил Кольцов. — Знакомьтесь: Хемингуэй. Хороши, нечего сказать, конквистадоры, — продолжал он без паузы. — В то время, пока вы там завоевывали какие-то аулы, фашисты, не будь дураки, прорвались здесь, поближе к делу...

Замечание выглядело, в общем, справедливым, но никто из нас не принял его близко к сердцу, поскольку, невзирая на обращение, оно явно было направлено в адрес командования фронтом.

Лукач, не только давно хорошо знавший и любивший Кольцова, но и всегда подчеркнуто выражавший свое к нему уважение, очень обрадовался и Хемингуэю, как, впрочем, всегда радовался знакомству с любым писателем, независимо от степени его талантности или известности.

Начав печататься с восемнадцати лет, Лукач тем не менее был начисто лишен писательской зависти или ревности. Наоборот, он представлял собой идеальный тип читателя: с равным удовольствием он читал всех, всеми восхищался, будто и мысли не допускал, что существуют плохие писатели, резкий отзыв о ком-нибудь причинял ему боль, он с заранее готовой нежностью относился ко всякому человеку, посвятившему себя литературе. Но я сразу заметил в его отношении к Хемингуэю повышенную даже для Лукача приветливость. Лишь через несколько лет, прочитав «Добердо», я понял, как Хемингуэй должен был импонировать автору этого романа. Несмотря на то, что они не могли побеседовать по душам (Лукач, за исключением венгерского, знал немецкий и русский языки, а Хемингуэй, кроме английского, — итальянский, испанский и французский), между ними сразу возник некий душевный контакт, что-то в них обоих

было слеплено из одного теста. Что касается Лукача, то из всех романов о мировой войне он выделял «Прощай, оружие!», противопоставляя его роману Ремарка.

— У того не сострадание, а страх,— говаривал он.— Страх хотя и вполне естественное человеческое чувство, но не самое красивое... А вам, Хемингуэй нравится? — в который раз спрашивал он меня.— И мне тоже. Очень. Скромный какой, краснеет, как девушка. Ведь огромный же талант, а, смотрите, бросил все и сидит здесь, вместе с нами, жизнью рискует. Боюсь я, знаете, за него... Вот кто об Испании напишет! Все ахнут, увидите!..

Приятно было наблюдать их вдвоем. Лукач обращался с Хемингуэем с какой-то осторожной ласковостью, словно с выздоравливающим после ранения (Хемингуэя, собственно, и можно было считать таковым: еще в юности на итальянском фронте он в один присест получил 217 осколков австрийской мины) или будто Хемингуэй — огромная фарфоровая ваза, которую при неловком движении легко разбить. Лукач брал его за локоть, усаживал на стул, собственноручно накладывал ему на тарелку того, что находил повкуснее, сам наливал стакан — одним словом, всячески нянчился с ним. Хемингуэй в свою очередь смотрел на Лукача с откровенным удовольствием и еще с каким-то настойчивым любопытством — должно быть, Лукач удивлял его своей законченностью, своей цельностью. О том, как Хемингуэй к нему относился, свидетельствует написанный в 1938 году сценарий фильма «Испанская земля», вернее, его лирическое послесловие, то место, где Хемингуэй говорит, что теперь не придает смерти никакого значения, только ненавидит ее за людей, которых она уносит, и прибавляет типично по-хемингуэевски: «И думается: плохо организована смерть на войне,— вот и все. Но хотелось бы поделиться этой мыслью с Хейльбрунном, он, наверно, посмеялся бы, или с Лукачем — он-то понял бы отлично...»

Очень хорошо запомнился мне и устроенный нашим главным врачом первомайский вечер в Моралехе, о котором так тепло рассказывает Хемингуэй. Я помню, что Лукач как старший гость сидел за огромным столом на председательском месте, а Хейльбрунн в качестве хозяина — на противоположном конце. Хемингуэя поместили по правую руку Лукача. Я устроился между ними и, словно это было вчера, вижу, с какой восхищенной завистью Хемингуэй смотрел на Лукача, выбивавшего пальцами на карандаше, приставленном к зубам, «Яблочко» и «Буденновский марш», звук, в самом деле, «ясный и нежный, походил на звук флейты». Давно уже нет в живых убитых под Уэской и Лукача и Хейльбрунна, а теперь не стало и Хемингуэя.

Если мне не изменяет память, Хемингуэй в последний раз видел Лукача именно в Моралехе, не потому ли он и описал этот вечер? Мне сейчас гораздо подробнее представляется другой вечер, тот, на котором Хемингуэй, да и все мы впервые услышали, как Лукач играет на карандаше.

Хотя Кольцов и обозвал нас «конквистадорами», мы вечером того же дня, когда он привез к нам Хемингуэя, собирались торжественно отпраздновать свою победу, а заодно, с недельным опозданием, встретить новый, 1937 год, и ничьи, даже кольцовские, насмешки не могли нас в этом намерении поколебать. Правда, пока три наших батальона наступали к северу от Гвадалахары, враг, еще в ноябре занявший западные окраины Мадрида, обрадовавшись такому использованию нашим командованием единственных своих резервов, несколько суток ожесточенно и безуспешно атаковал столицу с северо-запада. Несмотря на это и даже несмотря на понесенные нами горькие потери, мы все же продолжали чувствовать себя именинниками: вражеское наступление быстро захлебнулось, а наша победа как-никак была первой победой молодой республиканской армии, и победой настоящей, с отбитыми у фашистов тремя укрепленными населенными пунктами, с трофеями и пленными. Особенно прославился Паччарди, командир итальянского батальона Гарibaldi. Гарibaldiйцы не только взяли больше всех пленных и оружия, но еще и штабные документы.

Не удивительно, что на наше празднество съехалось множество людей. Приехал и Хемингуэй вместе с такой же высокой, как он, стройной, красивой и надменной американской журналисткой (ее недоброжелательный портрет можно узнать в героине «Пятой колонны»). На этом вечере Хемингуэй и познакомился с героем дня — нашим Ран-

дольфо Паччарди. А недавно, читая «За рекой, в тени деревьев», я рассмеялся — с таким упорством главный герой романа Хемингуэя расправляется с «досточтимым Паччарди». Да, это тот самый республиканец-антифашист Паччарди, бывший наш товарищ по испанской войне. Хемингуэй издевается над ним с таким упорством потому, что не может понять, каким образом человек, которого он знал в Испании командиром батальона Гарнвальди, согласился занять пост военного министра, стать лакеем тех самых генералов-бизнесменов, к которым и герой Хемингуэя и он сам относятся с отвращением.

Раз навсегда произнеся свое «Прощай, оружие!», Хемингуэй как писатель, для которого слово было делом, как настоящий мужчина, отвечающий за свои слова, и в Испании оставался безоружным. Впрочем, очень может быть, что, кроме верности слову, в этом был и расчет: нацелив на пояс хотя бы дамский пистолет, он терял право претендовать на беспристрастие, а он приехал в Испанию, как сам говорил, в качестве беспристрастного военного корреспондента. Известно, однако, что этот беспристрастный корреспондент перед отъездом из Америки набрал всюду, где только мог, авансов под свои будущие статьи и рассказы и, собрав сорок тысяч долларов, приобрел на них в дар республиканской Испании санитарные машины и медикаменты. Роль Хемингуэя как корреспондента заключалась не столько в том, вернее, не только в том, что он был первым американским журналистом, телеграфировавшим правду об Испании, но и в том, что правда, которую он сообщал, мешала остальным американским журналистам передавать неправду.

Несмотря на то, что Хемингуэй был безоружен, все мы не раз видели его и под пулями, и под артиллерийским огнем, и под бомбежкой. Все мы при этом были свидетелями хладнокровия, с каким он выполнял то, что считал своим долгом. В Мадриде он немедленно присоединился к голландскому кинорежиссеру-коммунисту Йорису Ивенсу, начавшему снимать документальный фильм об испанской войне, и не следует думать, что участие Хемингуэя в этом фильме ограничилось писанием сценария «Испанская земля». Нет, вместе с Йорисом Ивенсом и оператором Джоном Ферно он делал все. Вместе с ними он производил съемки под обстрелом, вместе с ними ползал на животе, подтаскивая запасной материал, и когда в «Послесловии» к сценарию он пишет: «Оттого, что в молодости пришлось повидать войну, ты знал, что Ивенс и Ферно будут убиты, если они и дальше будут так рисковать», то это в равной степени относилось и к нему самому. Свою «Пятую колонну» он писал в мадридском отеле «Флорида», в который за это время попало до тридцати снарядов фашистской дальнобойной артиллерии. Друзья неоднократно уговаривали Хемингуэя перебраться в другое, менее шумное место, но он упрямо отказывался, ссылаясь на то, что раньше, приезжая в Мадрид, всегда останавливался только во «Флориде», и, если теперь из нее переедет, получится, будто Франко выбил его с этой позиции и тем самым как бы немножко взял Мадрид.

В последний раз я встретился с Хемингуэем в Валенсии, на улице, совершенно случайно. Стояла невыносимая июньская жара. Прошла всего неделя, как похоронили Лукача, и мы с Хемингуэем, обменявшись долгим рукопожатием, некоторое время простояли на солнцепеке молча. Потом Хемингуэй сказал, что сегодня уезжает из Испании и не знает, когда вернется и вернется ли вообще. Мне стало грустно, и мы опять помолчали. Ковырнув носком солдатского ботинка гротуар, Хемингуэй пригласил меня, когда война кончится, приехать к нему в Америку погостить; насколько помню, он жил тогда во Флориде (может быть, он и за мадридскую «Флориду» держался так оттого, что она напоминала ему о родине?). Я ответил, что вряд ли мне это удастся, но на всякий случай спросил адрес. Хемингуэй вытащил из нагрудного кармана спортивной куртки чековую книжку, вырвал чек, заполнил его на предъявителя, оставив мне возможность прославить любую сумму, расчеркнулся, на оборотной стороне записал адрес и сунул чек в карман моего френча. Мы обнялись. Больше я никогда его не видал.

Два года назад, впервые после Испании встретившись с Ивенсом, я почти сразу спросил его, как поживает Хемингуэй. Это происходило еще до поездки А. И. Микояна на Кубу, и о Хемингуэе у нас тогда толком почти ничего не было известно. Ивенс от-

вечал, что не виделся с Хемингуэем с 1952 года, но что тот в порядке, сильно, правда, постарел, но душой остался таким же, каким был прежде.

— Я считаю, знаешь ли, очень важным и радуюсь, что он никогда не выступал против нас,— сказал Ивенс.

— В то время как удобная возможность представлялась неоднократно,— вмешался присутствовавший при этом разговоре незнакомый мне французский корреспондент...

В последний свой приезд в Москву, вскоре после смерти Хемингуэя, Ивенс поделился с группой московских журналистов неизвестными подробностями своей совместной с Хемингуэем работы над фильмом «Испанская земля».

Хотя «Испанская земля», напечатанная во втором томе «Избранных произведений», называется сценарием, это вовсе не сценарий, а текст, написанный к уже смонтированному фильму. Но когда Хемингуэй представил свой текст, Ивенс пришел в ужас: слов было слишком много. Ивенс с юмором рассказал, как ему пришлось взяться за красный карандаш и начать с содроганием «резать» Хемингуэя. Он сократил его текст ровно наполовину. Хемингуэй сначала рассвирепел. «Что ты наделал, проклятый голландец!» — завопил он. Но потом, увидев, что так в самом деле лучше, согласился.

Для чтения хемингуэевского текста Ивенс пригласил знаменитого тогда голливудского актера Но его голос и бродвейские интонации «не звучали» в этом фильме. Тогда Хемингуэй, чтобы объяснить, как следует произносить текст, прочитал его сам. И тут все услышали, что мужественный голос Хемингуэя нераздельно сливается с боевым содержанием картины. И его голос был записан на ленту.

Сейчас, когда я читаю, как хемингуэевский полковник Кантуэлл повосит генерала Франко, я вижу, что и в своем отношении к фашизму, и в своем отношении к войне, и в своем отношении к людям Хемингуэй до последних дней своих не изменился. И, вспомнив, что сказал над его гробом Фолкнер, я как один из тех, кому привелось встречаться с Хемингуэем во время испанской гражданской войны, хотел бы подтвердить: да, Хемингуэй был действительно на редкость хорош, настолько хорош, что его человеческие достоинства были заметны и под осажденным Мадридом, а там, под Мадридом, чего-чего, но хороших людей хватало.

---

Р. ОРЛОВА

★

## *После смерти Хемингуэя*

*По страницам зарубежной прессы*

«Задача писателя неизменна, она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта». Так считал Хемингуэй И его творчество стало частью опыта современного человека.

Иногда только после смерти художника начинают понимать его истинное значение. Но к Хемингуэю всемирная слава пришла еще при жизни, она сказалась в большом и в малом, в легендах и моде, в сенсационных репортажах и в серьезных критических исследованиях, в славословии и поношениях, в стае подражателей и в созданной им литературной школе.

И после смерти, когда во всех странах мира появились некрологи, воспоминания, отклики писателей и общественных деятелей, с самых разных сторон освещающих облик писателя и человека, спор о Хемингуэе продолжается.

Этот спор начался очень давно, после первых же литературных опытов молодого журналиста. Уже тогда одни объявляли его гением, другие честили графоманом. Едва ли не каждую новую книгу писателя встречали и восторженные похвалы и сетования на то, что писатель деградирует. А в нередкие у Хемингуэя периоды молчания его пытались и преждевременно хоронить.

И даже теперь скорбные мелодии не могут заглушить разногласий.

Все признают, что Хемингуэй влиял на современную литературу, но оценивают это влияние по-разному.

Американский поэт и драматург Мак-лиш пишет: «Он выработал свой собственный английский стиль, который смогли оценить и современники. Как и всякий подлинный стиль, он проявляется не только в языке, но и в самом духе произведений... Хемингуэй ощущал пульс времени и умел передать его в слове».

Французский писатель Жан Дютур считает, что «Хемингуэй вновь после многих веков открыл ту силу и энергию, которую Запад забыл со времени эпохи Возрождения».

Еженедельник «Фигаро литерер» обратился к молодым французским писателям с вопросом: «Оказал ли Хемингуэй на вас какое-либо влияние?» Жорж Коншон, подержанный почти всеми друзьями, ответил: «После Хемингуэя нельзя писать так, как будто бы его не было».

Однако это всеобщее признание сопровождается порой решительным отрицанием его новаторства; в английском журнале «Нью стейтсмен» Хемингуэй именуется «хорошим старомодным писателем». И Жак Кабо пишет в «Экспресс»: «После войны мы вошли в Хемингуэя, как в музей».

Итак, для современных «авангардистов» Хемингуэй старомоден. Но эта «сверхновая» мысль была высказана еще в двадцатых годах, когда он только входил в литературу. Гертруда Стайн, американская писательница, лидер тогдашних модернистов, сказала, что от него «пахнет музеем». В литературном салоне Стайн в Париже бывали тогда Дос Пассос и Фитцджералд, Эзра Паунд и Джеймс Джойс; по сравнению с эстетическими принципами этого салонного мирка творчество Хемингуэя могло показаться старомодным. Однако прошло сорок лет, и творчество самой Стайн погребено в запасниках литературных музеев.

То, что тогда и теперь называли «музеем», «старомодностью», «классичностью» Хемингуэя, это в действительности органическая связь его творчества с традициями национальной и мировой литературы.

В противоположность декадентскому восприятию одинокого человека, случайно брошенного в огромный, хаотический мир и безнадежно в нем затерявшегося, Хемингуэй чувствует и передает живые связи предков и потомков, неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Это для него всегда было неизмеримо важнее любых скоропреходящих формалистических модных «открытий». Но тем не менее и сейчас находятся критики, желающие видеть в нем только изоциренного мастера слова. В цитированной уже выше статье в «Экспресс» говорится: «Хемингуэй — это прежде всего большой мастер литературы, эстет, напоминающий Флобера». Это узкое и упрощенное понимание Флобера оставим на совести французского критика. Об «американском Флобере» пишет и один из участников анкеты в «Фигаро литерер». Хемингуэй действительно очень высоко ценил мастерство Флобера, даже стремился подражать ему в творческой самодисциплине. Но у Хемингуэя, как, впрочем, и у Флобера, отношение к слову — лишь одна грань облика писателя.

Кубинская «Революсьон» писала 4 июля: «Великий романист не только жил в нашей стране, избрав именно ее из всех краев земных, не только чувствовал себя кубинцем и не только стал одним из нас, но он написал одну из самых знаменитых своих книг о нашей кубинской действительности. И, наконец, везде и всегда он публично называл себя другом Кубы тогда, когда началось преобразование на Кубе и многие хотели бы использовать престиж великого романиста в ущерб нашей революции».

«Он стал одним из нас» — парижские коммунары не могли бы сказать так об авторе «Госпожи Бовари».

Пока Хемингуэй был жив, его считали своим и ветераны-антифашисты разных стран, и рыбаки, и охотники, и путешественники, и матадоры, и писатели и, конечно же, читатели в самых отдаленных уголках земли. Но после смерти у писателя появляются неведомые ранее «почитатели». Государственные деятели редко выступают в роли литературных критиков. Однако на смерть Хемингуэя отозвался и президент США: «Когда



Хемингуэй начал писать, американский художник должен был искать источник вдохновения на левом берегу Сены. Сегодня Соединенные Штаты стали заповедником искусства для всего мира».

Сам Хемингуэй несколько иначе писал о том, как изменилась его родина: «Это была хорошая страна, но мы ее сильно изгадили».

Именно поэтому он — самый крупный из всех современных писателей Америки — большую часть своей жизни прожил вдали от родины. Не случайно первое известие о создании дома-музея Хемингуэя пришло не из Соединенных Штатов, а из Гаваны. Не знаю, используют ли предприимчивые бизнесмены для коммерческой рекламы катафалки. Но для рекламы политической, видимо, нет никаких преград. Даже смерть писателя — страстного противника расистских предрассудков и национального чванства — пытаются использовать как средство рекламы пресловутого «американизма».

Слышатся и откровенно неприязненные голоса.

Западногерманская газета «Зюд дейче цейтунг» не нашла для Хемингуэя лучших слов, чем «симпатичный сноб, шеголяющий своей преувеличенной стилизованной мужественностью».

В некрологе «Трибюн де Женев» говорится, что писатель заранее снабдил готовыми клише всех, кто будет писать о его смерти: «По нем прозвонил колокол», «Он пересек реку и ушел в тень деревьев»...

Парижский «Экспресс» называет его: «Художник одиночества, насилия, небытия, «пада»<sup>1</sup>. «Газетт де Лозанн» утверждает, что Хемингуэю было свойственно «недоверие к человеку». Трудно придумать что-либо более несправедливое.

Хемингуэй действительно много думал и писал о смерти. Но, конечно же, прав автор некролога во французском еженедельнике «Ар»: «Мир потерял писателя счастья. В то время как Сартр и Камю предавались мировой скорби, Фолкнер — безумию и ярости, Хемингуэй оставался единственным пламенным приверженцем жизни. Отказываясь поверить в разложение современного мира, которое положило конец стольким надеждам, убило столько характеров, он старался сохранить то душевное здоровье, ту свежесть сердца, которые стали источниками и силы и ограниченности его таланта».

Стойкая приверженность к жизни и то счастье, которое иногда все же выпадает на долю героев Хемингуэя, менее всего идиличны, пасторальны. Это — недолгое и горькое счастье в тени больших страданий. Безоблачного счастья не дано ни одному из его героев, наделенных невысоким «болевым порогом».

Герои Хемингуэя носят горечь мира в своих сердцах, но остаются мужественными и упрямо жизнелюбивыми и в поражениях и в самой трудной борьбе. Так же, как и сам писатель, который всегда был сначала героем, а потом уже автором своих книг, охотился и рыбачил, любил и сражался, а потом уже писал об охоте и рыбной ловле, сражениях и любви. Во многих откликах на смерть говорится, что так мог погибнуть один из его героев. Но об этом он уже не напишет...

Герои его очень одиноки, это настоящие американские индивидуалисты двадцатого века. Но сам Хемингуэй всю жизнь трудно преодолевал одиночество, он стремился к людям, к человеческому сообществу, стремился от острова к континенту. Он был участником освободительной борьбы испанского народа, которая в то время стала общим делом всех благородных людей на земле.

Вот как писал Хемингуэй об ощущениях одинокого человека, нашедшего себя в борьбе народа.

«...Это было чувство посвящения себя долгу — долгу служить всем угнетенным мира, чувство, о котором так же трудно и неловко говорить, как о своих религиозных ощущениях, но в то же время это чувство сродни тому, что испытываешь, когда слушаешь Баха илиходишь в старинный готический собор и видишь свет, проникающий сквозь высокие витражи, или когда смотришь на пологна Мантеньи, Греко и Брейгеля в Прадо. Это чувство причастности к чему-то великому, во что поверил целиком и полностью, и ощущаешь подлинное братство со всеми, кто связан с ним так же, как ты.

<sup>1</sup> Nada — ничто (исп.).

Никогда прежде ты не испытывал ничего подобного, и теперь так понял и ощутил величие этого, что твоя собственная смерть представлялась уже чем-то совершенно незначительным, и ее надо было избегать только для того, чтобы она, смерть, не помешала бы тебе исполнить твой долг. И самым лучшим было то, что ты мог отдалиться этому чувству и вызывающей его великой необходимости. Ты мог бороться». Так говорит герой романа «По ком звонит колокол» Роберт Джордан — американец, сражавшийся в рядах испанских республиканцев. «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал контракт на весь срок», — вторит ему Филипп Ролингс, герой пьесы «Пятая колонна», тоже американец, тоже солдат Испанской республики.

И так думал, чувствовал, действовал писатель Эрнест Хемингуэй. Первая и вторая мировые войны, кризис в Америке, борьба против фашизма, гражданская война в Испании, кубинская революция — все большие и малые потрясения двадцатого столетия были вместе с тем и вехами на его жизненном пути.

Как и многие крупные художники Запада, он пытался отворачиваться от политики, но она настигала его всюду — в любимой им Испании и на маленькой Кубе, казавшейся убежищем, в фешенебельной Флориде и в безвестных городках одноэтажной Америки.

Литературные снобы утверждают, что интерес к политическим проблемам и тем более непосредственное участие в общественной борьбе мешали творчеству Хемингуэя. «Он хотел как можно более полно изображать свою эпоху, поэтому он не смог избежать ограниченности», — пишет Сирил Конноли в «Санди таймс». «Идеология и романтика — плохое бракосочетание», — снисходительно упрекает писателя базельская «Националь цейтунг».

Не обошлось и без прямой клеветы. В статье «Франс обсерватер» бегло перечисляются общественные движения, в которых Хемингуэй принимал участие, и затем говорится: «...однако все эти движения — сколь бы благородны они ни были сами по себе и за которые он действительно готов был отдать свою жизнь — оставались для него экзотикой. Он никогда не боролся против несправедливостей у себя на родине, а когда в стране, которая стала его второй родиной, разразилась революция, он застрелился».

Здесь в целом абзаце — ни одного слова правды! Только тот, кто никогда не читал «Американцам, павшим за Испанию», скорбную и просветленную поэму в прозе, испанские рассказы, сценарий «Испанская земля», рассказ о кубинском революционере — «Никто никогда не умирает», только тот мог написать недостойные слова, будто освободительная война в Испании была для писателя экзотикой. Только тот, кто никогда не читал гневную статью «Кто убил ветеранов во Флориде» или роман «Иметь и не иметь», может поверить нелепому утверждению, будто Хемингуэй не выступал против несправедливостей у себя в стране.

Труден и порою непоследователен был жизненный путь Хемингуэя, но в решающие, поворотные моменты он всегда оказывался на стороне простых людей, тех, кто «не имеет», тех, кого обманывают и убивают. В предисловии к очередному изданию своего романа «Прощай, оружие!» (1948) он написал слова, которые могут повторить сегодня сторонники мира во всех уголках земного шара: «...писатель не может оставаться равнодушным к тому непрекращающемуся наглому, смертоубийственному, грязному преступлению, которое представляет собой война. Я принимал участие во многих войнах, поэтому я, конечно, пристрастен... Но автор этой книги пришел к сознательному убеждению, что те, кто сражается на войне, — самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных людей там встречаешь; зато те, кто разжигает, затевает и ведет войну, — свиньи, думающие только о неприкрытой экономической конкуренции и о том, что на этом можно нажиться. Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых те посылают сражаться. Автор этой книги с радостью взял бы на себя миссию расстрелять их, если бы те, кто пойдет воевать, должным образом уполномочили бы его».

Хемингуэй во многом расходился с коммунистами. Но его друг и соратник по Испании американский коммунист Джозеф Норт, вспоминая об их разногласиях и спорах,

пишет в газете «Нотиснас де Ой», центральном органе кубинских коммунистов, что Хемингуэй никогда не делал никаких уступок антикоммунизму. Имя Хемингуэя не стояло ни под одним антикоммунистическим или антисоветским документом, хотя в этом были крайне заинтересованы все реакционеры.

Книги Хемингуэя всегда участвовали, участвуют и будут участвовать в борьбе человечества за свободу и счастье. Творчество Хемингуэя «расширило познание человека, обогатило мир красотой и средствами для взаимопонимания людей» («Революсьон»).

Хемингуэй был художником, очень прочно связанным с природой, непосредственно чувствующим стихийные силы моря, рек, певцом охоты и рыбной ловли. Вместе с тем он много думал о смысле и задачах своего творчества. Он говорил, что для настоящего писателя необходим талант, самодисциплина, ум, бескорыстие, долготелние. «Потом надо иметь ясное представление о том, что из всего этого получится, и надо иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того чтобы уберечься от подделки...»

Иным критикам эти слова казались странными и даже «противохемингуэевскими». Ведь он сам часто утверждал, что ничему не учит, ничего не проповедует, а между тем, конечно же, и учит и проповедовал. Как всякий истинный большой художник, он смертельно боится фальши и учит прежде всего мужественной правде. Учит неподдельности чувств, верности себе, честности с самим собой, учит следовать тому суровому нравственному кодексу, без которого нет и его великолепного мастерства.

Хемингуэю многие подражали и писали на него пародии. «Он сказал», «она сказала», рубленные фразы, оголенный диалог, сложные ассоциации, запутанность, смятенность чувств. Так и до сих пор понимают его новаторство некоторые читатели и критики. Однако все эти внешние особенности его мастерства — следствие, а не причина, оболочка, но еще не сама сущность. Он сказал однажды: «Проза — это архитектура, а не искусство декоратора, и эпоха барокко кончилась»; и в другом месте: «Если писатель хорошо знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Величавость движения айсберга в том, что он голько на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».

Это точная характеристика его собственной прозы, где все — только суть, основа, и нет лепных украшений, хотя огромную роль играет и то, что выражено не в строках, а между ними, не в тексте, а в подтексте.

Хемингуэевский айсберг — это прежде всего огромный писательский труд, «тысячи тонн словесной руды», всестороннее знание того, о чем пишешь. Он девять лет изучал жизнь целой деревни, генеалогию десятков рабочих семейств, а написал повесть об одном старике Сантьяго. Но хемингуэевский айсберг — это еще и нравственная основа его творчества, его совесть, чуткая и взыскагельная, неизменная, как «метр-эталон».

«Огромную утрату понесла не голько литература. Смерть Хемингуэя оставляет зияющую пустоту в мире тех основных нравственных ценностей, которые он всегда мужественно защищал», — сказал итальянский литератор Мондадори. Эту простую истину пытались скрыть многие несомненные враги и сомнительные друзья писателя. Они создавали занимательный, но пошловатый миф о Хемингуэе. В бесчисленных перевранных интервью, фотоочерках, снятых через замочную скважину, возникал образ циничного искателя приключений, боксера и матадора, любителя выпить, поборника грубой силы. Об этом вымышленном герое скандальной хроники и сейчас много пишут на Западе — одни с горечью, другие с восхищением.

Мы знаем и любим другого, настоящего Хемингуэя. Его творчество известно советским читателям уже более четверти века. Их чувства передал Хемингуэю товарищ Микоян, посетивший писателя во время своего пребывания на Кубе с официальным государственным визитом.

Джозеф Норт вспоминает: «Хемингуэй говорил мне, что советские критики и Илья Эренбург, а также критик Кашкин более, чем кто-либо другой, поняли то, что я сделал».

И это произошло не потому, что, как полагает американский литературовед Максвелл Гейсмар, «проблемы Хемингуэя скорее русские, чем американские». Нет, Хемингуэй — глубоко национальный художник, всеми корнями уходящий в почву своей родины. «Он был в своем роде типичным американцем, в нем было нечто вечно юношеское, связанное с некоторой незрелостью американской культуры. Он был Марком Твенем двадцатого века и Байроном двадцатого века, но он был безусловно великим писателем, великим мастером прозы, открывшим стиль, который больше воздействовал на литературу нашего времени, чем стиль любого другого писателя», — так справедливо написал другой американский литературовед, Ван Вик Брукс.

Нам, так же как простым людям всех стран, Хемингуэй близок и дорог именно тем, чем он близок и дорог своим землякам во всех уголках Америки. И недаром газета «Нью-Йорк таймс» непосредственно за официальными сообщениями о его смерти как первый иностранный отклик приводит выступление московского радио. Мы можем присоединиться к Джозефу Норту, который так заканчивает свои воспоминания: «Куба потеряла друга, мировая литература — великого писателя, а Человечество — Человека».

Над могилой писателя на маленьком сельском кладбище в Кетчеме священник прочитал те слова Екклесиаста, которые Хемингуэй поставил эпитафией к своему первому роману: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки».

Человечество стало беднее со смертью Эрнеста Хемингуэя, но лучшие книги его останутся жить вместе с землей.



---

---

# НА ПУТЯХ СЕМИЛЕТКИ

Е. ОСЛИКОВСКАЯ

★

## НОВОЕ ЗВЕНО

*«Научные учреждения и опытные станции должны стать важными звеньями в руководстве сельским хозяйством, а ученые и специалисты — непосредственными организаторами сельскохозяйственного производства».*

Из проекта Программы  
Коммунистической партии Советского Союза.

1

— Сложное у вас задание, — сочувственно говорили мне в Министерстве сельского хозяйства, как только я сообщила цель своего приезда на Украину. — Трудно писать о положительном опыте нового звена, пока оно в стадии, так сказать, эмбриона.

Речь шла об организации опытно-показательных хозяйств, которым, как указывают наша партия и правительство, предстоит стать проводниками агрономической науки во все уголки колхозного и совхозного производства.

Может, и вправду еще рановато судить-рядить о том, что только нарождается? Правильно ли будет уже сейчас роль этих опорных пунктов, этих коллективных маяков оценивать в полном масштабе возлагаемых на них надежд?

И все же именно теперь, в начале организации, при первых шагах деятельности опытно-показательных хозяйств, как раз впору отметить ценную инициативу, разумную практику, поговорить и о вполне естественных попервоначалу ошибках и просчетах.

Мне назвали несколько областей, где можно найти много интересного. Я выбрала Черниговщину. Там я бывала не раз, знакома со многими людьми, в свое время при существовании при рождении областной опытной станции. Чего же лучше, там и посмотреть, как начинает действовать еще одно звено в цепи, связывающей науку с производством.

Но не только это определило мой выбор. На Черниговщине сельское хозяйство представлено по преимуществу колхозами, а указания партии и правительства о коренном улучшении руководства сельским хозяйством особенно глубоко затрагивают интересы колхозов.

Если в Черниговской области двенадцать совхозов и более пятисот колхозов, если совхозы хозяйствуют на двадцати тысячах, а колхозы — на двух — третью миллионах гектаров земли, то ясно, кто — совхозы или колхозы — делает там погоду в производстве сельскохозяйственных продуктов. Вот что определило мой маршрут, вот где, представлялось мне, полезно понаблюдать, как по-новому перестраивается руководство колхозами.

Однако нашлись и скептики.

— Что же тут нового? — сказал мне один министерский работник. — Заниматься колхозами поручали райземотделам, потом МТС, ну а теперь этот груз взвалили на опытно-показательные хозяйства. А ведь по существу это тот же колхоз, со всеми

своими артельными делами и заботами... И так и этак тянем науку к колхозам, колхозы к науке, тянем, тянем, а воз и ныне там.

— А там ли воз? — спросила я, и на этом наш разговор оборвался.

Не долгов путь от столицы Украины до Чернигова. Прямое, как стрела, шоссе, древние вербы по обочинам, спокойно-величавый ландшафт левобережного Полесья. Мелькают в автомобильном окне заново отстроенные колхозные селения, усадьбы совхозов. Бросается в глаза не только размах, широта содеянного — повсюду видна культура производства, благоустройство быта. Нового, созданного только за последние пять лет, что я не была здесь, так много, что не успеваешь все разглядеть, и в памяти остается наиболее меня поразившее — широкая сплошная полоса молодых фруктовых садов, на сотню с лишним километров протянувшаяся по обеим сторонам всей автостреды Киев — Чернигов. Их заложили, их растят те колхозы и совхозы, чьи земли прилегают к дорожной магистрали. Без науки и тут дело не обошлось. Аскептик утверждал: «Ничего нового, воз и ныне там». Нет, «воз» с научной кладью отнюдь не на прежнем месте!

Разумеется, в движение приведены еще далеко не все возможности нашего сельского хозяйства. И тем более настоятельно и пристально нужно искать пути к тому, чтобы скорее оно двигалось вперед, причем не разбросанно — то там, то здесь, — а сразу повсюду, одним фронтом.

Подтянуть все колхозы до уровня передовых! Как часто мы повторяем эти слова, не всегда задумываясь над их весомостью. А ведь если на каждом колхозном гектаре зерновых посевов собрать лишь стóпусовый урожай, то это уже семь с третью миллиардов пудов хлеба. Но передовые колхозы по многу лет собирают на круг по сто пятьдесят, по двести и даже больше, как, например, колхоз «Россия» Ставропольского края.

Каждая мера, каждое средство, помогающее подтянуть все колхозы страны до уровня нынешних передовых артелей, нынешних маяков, сейчас приобретает особое значение. Вот почему так перспективна идея создания образцового хозяйства в каждом районе нашей обширной страны.

Образцовое хозяйство в каждом районе! Другими словами, пример, достойный подражания, здесь, рядом. Все это можно не только обозреть, но, что называется, «пощупать», вникнуть в детали, изучить. Подумать только, какое наглядное пособие в пропаганде научных основ организации крупного производства представит собой районное опытно-показательное хозяйство! Это очень хорошо понимают умудренные жизнью и трудовой практикой агрономы.

— К своей досаде, — говорил мне один из них, — я неизменно убеждался, как трудно показать опыт колхоза в целом даже в таких, казалось бы, идеальных условиях, как на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. Если теперь в каждом районе появится образцовое хозяйство, это быстро двинет вперед наши колхозы.

К словам агронома хочется добавить: это двинет вперед и науку об организации социалистических сельскохозяйственных предприятий. Три-четыре тысячи крупных хозяйств, построенных по всем требованиям современной агрономической науки и технического прогресса, размещенных в различных природных зонах, — это ведь неоценимый вклад в науку, драгоценный материал для исследований и научных обобщений. Значит, выдвинутая партией идея создания опытно-показательных хозяйств имеет прямое отношение не только к движению вперед колхозно-совхозного производства, но и поможет дальнейшему развитию агрономической науки.

За такими раздумьями застали меня последние километры, красавица Десна, высокие мосты над ее водами и пологими берегами.

А вот и сам Чернигов.

## 2

Нетрудно было предположить, что здесь с первых же встреч и разговоров передо мной встал тот же общий вопрос: с чего надо начинать, как действовать, к какой конечной цели устремить усилия и заботы при создании опытно-показательного хозяйства?

В большом деле нынешней перестройки руководства колхозами мне отчетливо представляются две его составные и неразрывные части: создание образца — опытно-показа-

тельного хозяйства — и умелая передача его достижений окружающим колхозам и совхозам.

Раньше всего нужен образец. Его предстоит выбрать из хозяйств своего района. По каким признакам? Ответ один: по принципам превращения в кратчайший срок и с наименьшими затратами в некий «эталон» для своего района. Важно, чтобы хозяйство было типичным во всех отношениях и сегодня, и завтра, и через десяток лет.

В Черниговской области в прилегающем к областному центру районе выбор пал на колхоз «Всесветный Жовтень», который за последние годы сделал решительные шаги по пути превращения в интенсивное пригородное хозяйство, специализируется на производстве свежего молока и мясным откорме свиней. Отдано предпочтение ему, а не второму, столь же передовому колхозу района — «Новый шлях». Сделано это потому, что «Новый шлях» упорно занимается выращиванием и переработкой льна, а в перспективе такое направление мало соответствует интересам пригородной зоны индустриализирующегося Чернигова.

Заботил и такой, по-моему, очень серьезный вопрос: кому отдать предпочтение при выборе опытно-показательных хозяйств — колхозу или совхозу? Министерство сельского хозяйства Украины рекомендует: совхозу. А всегда ли так лучше?

Опытно-показательное хозяйство призвано учить на собственном примере и в первую очередь рациональной организации производства в целом, а не только отдельным агрономическим приемам, отдельным достижениям сельскохозяйственной науки. В этом, думается, гвоздь вопроса. Но, как известно, при передаче опыта передового хозяйства отстающему решающую роль играет хозяйственная выгода.

Так ли уж легко экономически сопоставить показатели колхоза и совхоза? Между ними имеются весьма существенные различия в организации и оплате труда, в порядке использования денежных средств, реализации продукции, снабжения, кредитования, в постановке учета и отчетности. Сравнение хозяйственной деятельности совхозов и колхозов осложняется и тем, что во многих колхозах распределение доходов ведется еще по трудодням со значительной долей натуральной оплаты. Следовательно, если в районе, где преобладают колхозы, в качестве опытно-показательного хозяйства будет избран совхоз, то ему передавать колхозам свой собственный опыт подчас просто бессмысленно.

В Черниговщине, области многоколхозной, опытно-показательными хозяйствами в подавляющем большинстве правильно определены передовые колхозы. Однако в некоторых районах эта роль все же препоручена совхозам. Вот и получилось так, что двум десяткам колхозов приходится равняться по единственному в районе совхозу. К тому же кое-где остановили свой выбор на сугубо специализированных совхозах, таких, например, как свекловичный семеноводческий совхоз или племенной по крупному рогатому скоту завод. Надо ли доказывать, что в вопросах организации и экономики сельскохозяйственного производства, подчиненного в этих хозяйствах специальной цели, какой-либо рядовой, а тем более отстающий колхоз позаимствовать сможет совсем немного.

Примечательно и то, какими способами и методами осуществляется влияние на остальные хозяйства района.

Вот как это выглядит при сравнении положения дела в двух районах Черниговской области.

Бахмачское опытно-показательное хозяйство — свекловичный совхоз — форму помощи колхозам своего района ограничило семинарами. Весной колхозников познакомили с приемами букетировки сахарной свеклы при наименьших затратах ручного труда, им показали, как одновременно сеять квадратно-гнездовым способом и вносить минеральные удобрения. Пришло лето, и темы семинарских занятий соответственно изменились. В центре внимания стало механическое доение коров в летнем лагере, применение гербицидов для прополки зерновых культур и кукурузы, бонитировка овец, хранение и транспортировка шерсти. А к осени на семинарах пойдут разговоры о том, как пасти свиней на плантации сахарной свеклы, и так далее.

Все это — нужное дело. Изучение прогрессивных приемов, несомненно, поможет колхозам лучше вести отдельные отрасли своего хозяйства. Однако не слишком ли

узко определило свою роль это хозяйство? Она сведена лишь к одному — пропаганде разумной технологии сельскохозяйственного производства.

По-иному понимает свои задачи колхоз «Прогресс» — опытно-показательное хозяйство Понорницкого района. Оно идет значительно дальше в оказании помощи колхозам. Кстати сказать, это хозяйство хорошо обеспечено специалистами. Председатель колхоза — агроном с высшим образованием, большим опытом работы в сельскохозяйственных учреждениях и непосредственно на производстве. В текущем году это опытно-показательное хозяйство намеревается разработать для себя и передать всем колхозам района технически обоснованные нормы выработки, систему материального поощрения труда колхозников. Внедрить внутрихозяйственный расчет в своих бригадах, на фермах и обучить ему остальные колхозы. Организовать образцовый первичный бухгалтерский учет, плановое использование средств. Наконец, на полях «Прогресса» с весны произведены в хозяйственных условиях посевы, демонстрирующие в натуре лучшие приемы возделывания основных культур.

Из сравнения намерений и планов этих двух хозяйств заключение напрашивается само собой: в районе, где преобладают колхозы, роль опытно-показательного хозяйства безусловно следует поручать передовому колхозу, в районе с преобладанием совхозов — совхозу. Только при таком условии можно добиться действенной помощи отстающему хозяйству в главном — в рациональной, на науке основанной организации его производства.

### 3

Если внимательнее присмотреться к тем хозяйствам, что признаны сейчас лучшими из лучших, — всё ли там на уровне современной агрономической науки, все ли приемы хозяйствования можно безоговорочно рекомендовать другим колхозам, — придется сознать: не всё.

Чем больше вдумывалась я в планы опытно-показательных хозяйств, чем больше вслушивалась в разговоры их руководителей, специалистов, рядовых колхозников, тем рельефнее вырисовывались собственные прорехи этих хозяйств, большие и малые недостатки в их деятельности.

Хозяйствам этим далеко до совершенства даже с позиций сегодняшнего дня. Нужна крепкая техническая база, нужна большая агрономически грамотная помощь. Совершенно ясно: превращение в образец, достойный подражания, самотеком не произойдет.

Для каждого опытно-показательного хозяйства предстоит разработать перспективный план развития. Сюда войдет планировка центральной усадьбы, хозяйственного, культурного, бытового строительства, максимально выгодное использование всех земельных угодий, правильное определение системы механизации различных отраслей производства, рациональная расстановка рабочей силы. То есть для опытно-показательного хозяйства надо тщательно продумать все условия наибольшего подъема производительности труда, роста благосостояния колхозников.

Что и говорить, впереди уйма безотлагательных дел, легких и трудных, ясных и тех, над которыми еще не раз придется поломать голову. Поэтому-то, мне кажется, опытно-показательные хозяйства уже сейчас надо всячески ограждать от навязывания несвойственных им функций. А тенденции такого рода имеются.

О них зашел разговор в областном управлении сельского хозяйства с Р. Ф. Теличко, весьма образованным и сведущим в организационных вопросах агрономом.

— Как вы смотрите, — спрашивала я у него, — на то, что в планы многих опытно-показательных хозяйств включена закладка полевых опытов на мелких делянках, по сложным схемам, с многократной повторностью?

Роман Федотович помолчал и неторопливо, с расстановкой ответил:

— Не знаю, то ли от чрезмерного глубокомыслия, а скорее всего по несерьезности, некоторым товарищам очень хочется превратить опытно-показательные хозяйства в подобие опытной станции. Можно заранее сказать: жалкое это будет подобие!.. Вот заинтересуйтесь уж заодно, какие темы выдвигаются для закладки опытов. — Он вынул из ящика стола тетрадку. — К примеру, такая тема: «Оптимальные сроки сева гречихи». Можно подумать, что гречиха для нас новая культура и что мы впервые ее будем



осваивать. Или вот еще: «Преимущества посева гороха с поддерживающей культурой, то есть в смеси с овсом или без него». Но ведь мы же здесь, слава богу, не первый год знаем, как горохом заниматься.

— Ну, это вы такие темы для смеха выбрали.

— И рад бы посмеяться, когда бы таких тем одна-две, а то уж больно много. В общем, у нас так решили: областная государственная опытная станция рекомендует проверенные наукой или передовой практикой приемы организации, техники и технологии производства, а районные опытно-показательные хозяйства широко применяют их в производстве, а вовсе не в деляночном или лабораторном порядке. Забота этого хозяйства — каждый прием проверить не сам по себе, не как самоцель, а как средство для повышения рентабельности. Вот если здесь со всех сторон дело получается удачно, тогда свои достижения можно и другим колхозам показывать, помогать их внедрению.

Роман Федотович полистал и спрятал обратно в стол свою тетрадку. Потом добавил:

— А если что нужно научно обосновать или опытным путем проверить, то это прямая обязанность областной станции. Такой порядок надо заводить сразу и повсюду.

И впрямь так: не подменять друг друга, а взаимно дополнять, действовать в стройной системе призваны эти звенья, выполняя большое народнохозяйственное дело — приложенье современной агрономической науки к крупному производству.

Сейчас уже пора начать тщательно собирать, критически осмысливать, пропагандировать опыт нового звена в системе руководства колхозами, предотвращать ошибки, быстро исправлять недостатки. Словом, хорошо руководить этим делом.

Однако проблема руководства тоже ждет своего решения.

Кто же должен руководить районными опытно-показательными хозяйствами: областная опытная станция или областное управление сельского хозяйства? Иначе: научное учреждение или административный орган?

На этот вопрос мне ответили так:

— Кто угодно, только не оба вместе. Потому что и у двух нянек дитя может окаяться без глаза.

Опасения, на мой взгляд, весьма основательны. Пока — очевидно, по признаку новизны — опытно-показательными хозяйствами занимаются все.

#### 4

Создание районных опытно-показательных хозяйств — дело не на один год. И, как мне кажется, здесь особенно уместно припомнить полезную поговорку: «Семь раз примерь, один раз отрежь». Самое нехорошее будет, если на местах начнут впопыхах лепить «эталоны», лишь бы поскорее кому-то отпартовать, где-то отчитаться. Дело это, повторяю, нешуточное, ведь речь идет о создании в каждом районе прообраза совершенного хозяйства.

— Беда наша в том, — говорил мне один агроном, — что в руководстве колхозами мы не имеем какого-то постоянного курса. Загоримся то одним, то другим, но все ненадолго, как спичка. Помните, как с мальцевскими станциями было? Вдруг стали их организовывать все и повсюду, через год-два о них забыли, через пять лет вспомнили, чтобы снова и еще прочнее забыть. Даже никаких обобщающих выводов из всей этой работы не сделали. И сколько таких полезных дел до конца не довели! На полдороге заставляла нас очередная реорганизация, и все летело прахом. Сколько агрономических знаний и сил потрачено зря — страшно вспомнить! У любого из нас есть охота руки приложить к созданию образцового хозяйства, да только делать это надо с умом, фундаментально, после тщательной подготовки. И люди для этого должны подбираться толковые и надежные, а не с бору да с сосенки.

И действительно это так. Чтобы в каждом районе организовать образцовое сельскохозяйственное предприятие, просто грамотных специалистов недостаточно, нужны агрономически образованные люди, с большим опытом производственной работы, широким кругозором, с горячим сердцем энтузиаста.

И куда это годится, что, например, в Черниговской области из девятнадцати опытно-показательных хозяйств — колхозов только в трех председатели — агрономы с высшим

образованием. Одно это обстоятельство давало право ожидать, что при ликвидации районных инспекций по сельскому хозяйству, где сосредоточивались наиболее квалифицированные силы, будет пополнен состав специалистов в новом звене. На деле получилось не так. При «рассредоточении» системы Министерства сельского хозяйства и распределении ее работников наибольшую оперативность проявили заготовительные организации. На места были быстро даны штатные расписания, сообщены условия оплаты труда, срочно пошло формирование районных звеньев заготовительной системы. Таковую же похвальную оперативность проявила система объединения «Сельхозтехника». За счет кадров ликвидируемых сельскохозяйственных инспекций укомплектовались хорошими специалистами районные плановые комиссии. А Министерство сельского хозяйства, функции и организационная структура местных органов которого претерпевали коренные изменения, медлило, долго не давало никаких указаний. Чувствуя, что дело затягивается, наиболее квалифицированные специалисты из районных инспекций решили сами определить свою участь. Они в ряде случаев перекочевали в заготовительные организации. Инженеров прибрали в свои руки областные и районные объединения «Сельхозтехника». Из главных специалистов инспекций по сельскому хозяйству в опытно-показательных хозяйствах оказались буквально единицы.

Все это очень ясно понимают лучшие агрономы области и говорят о том с большой горечью.

Откровенная беседа в кругу агрономов в тот вечер касалась самых наболевших вопросов.

— Я не очень силен в теоретической полигэкономии,— говорил пожилой, много выдавший на своем веку человек.— Не совсем хорошо, может быть, пользуюсь терминологией. Но, по-моему, происходит у нас что-то неладное: многие из агрономов и других специалистов прилагают свои силы и знания не в «сфере производства», а в «сфере обращения».

— Но почему же,— допытываюсь я,— случилось так, что в «сферу обращения» ушли агрономы преимущественно из тех, кто много лет проработал в сельском хозяйстве?

— Полагаю,— ответил один из присутствующих,— что лучше всего обратиться к конкретным примерам. Скажу о себе. Дело было так: началась перестройка, я терпеливо жду неделю, другую, месяц — ничего на нашем горизонте не проявляется. Что же делать? Поверьте, не о куске хлеба я волновался. Пропущу время, думаю, а там изволь вновь «переселяться». Для агронома что-либо худшее трудно придумать. Передвиньте меня, работника со стажем, скажем, даже в пределах одной природно-экономической зоны — и половина моих знаний потеряна. Не захвачу же с собой ни почв, ни хозяйств, ни людей! А без знания всего этого какой я специалист! Слишком прочно мы, агрономы, к своему месту прирастаем... Ну вот, подумал, подумал я, да и остался на старых, изученных местах, хотя и в новом качестве.

Жаль, очень жаль, что все эти горестные думы и рассуждения столь нужных сейчас работников не доходят до тех, от кого зависит расстановка агрономических сил.

Вопрос о кадрах опытно-показательных хозяйств — вопрос судьбы этого разумного, очень перспективного начинания. Только агрономически образованным, культурным людям по плечу задача быстрой перестройки производственной и культурно-бытовой жизни колхозной деревни на пороге коммунизма.

Надо любой ценой найти таких людей, создать им наилучшие условия для инициативной творческой работы. Это на сегодня. А на завтра Министерству сельского хозяйства СССР необходимо наконец практически решить то, о чем уже столько раз говорилось в печати, высказывалось в суждениях ученых и практиков. Я имею в виду коренной пересмотр методов подготовки агрономов высшей квалификации. Наше мощное механизированное сельскохозяйственное производство представлено примерно пятью-десятью тысячами крупных совхозов и колхозов. Каждый из них нуждается в очень квалифицированных руководителях — управляющих сельскохозяйственным предприятием. Таких специалистов у нас по существу не готовят. А надо бы в вузах, наиболее богатых профессорско-преподавательским составом, начиная с «Тимирязевки», организовать подготовку агрономов именно этого профиля. А так как ждать шесть-семь лет,

пока вырастут новые агрономы, нельзя, то следовало бы в тех же самых лучших вузах организовать переподготовку агрономов в порядке краткосрочных курсов, командировав на них самых способных специалистов. Мера эта не нова, но она не раз выручала. Медлить с ней нельзя. Выкроить время для обновления знаний, для творческой зарядки большого отряда агрономов надо уже предстоящей зимой.

## 5

Мы говорили пока об очень важном звене в новой системе руководства сельским хозяйством — опытно-показательных хозяйствах, — о том, как поскорее и попрочнее приступить в действие этот рычаг, проложить с его помощью кратчайший путь науке в производство. Но создание опытно-показательных хозяйств не самоцель. Ориентируясь на них по разумной организации производства, применению прогрессивных приемов техники и технологии, предстоит поднять все отстающие колхозы, раз и навсегда внести ясность в целый ряд текущих организационных и хозяйственных дел.

Это тоже нельзя откладывать в долгий ящик. Если кто-либо думает, что здесь можно действовать постепенно — сначала наладить показательные, а потом все остальные хозяйства, — тот допускает пагубную ошибку. Свидетелем вот какого факта пришлось быть в Черниговском областном управлении сельского хозяйства.

В комнату вошел председатель колхоза и попросил совета у сидящих здесь двух агрономов. Он сделал это только потому, что знал их лично, привык всегда советоваться с этими, как он убедился, многоопытными специалистами, ему и невдомек, что нынешние их служебные обязанности стали уже иными.

Посетитель положил на стол газету «Колхозное село» — орган Министерства сельского хозяйства Украинской ССР — от 23 мая 1961 года, в которой напечатана консультация на тему: «Новые льготы колхозам». Льготы вполне подходили, но куда обращаться за их реализацией, председатель не знал. Газета адресовала к районным инспекциям по сельскому хозяйству, а таких, как справедливо заметил председатель колхоза, «уже нет в живых».

С этого и пошел разговор Колхоз, видимо, не из передовых, председатель, что называется, среднего уровня.

— И как будем жить? — недоумевал он. — Планы утверждать — в райплане. — Председатель загнул мизинец на левой руке. — Отчетность устанавливать и итоги работы подводить — в статистике. — Следующий палец тоже прильнул к ладони. — Определять товарность и сбывать продукцию — в заготовках... За машинами ходить в «Сельхозтехнику»... За кредитами — в Госбанк...

Председатель пригнул последний — большой — палец и рассмеялся. Рассмеялся от впервые осознанного положения вещей.

— Пять! Пять учреждений — каждое по своей части. А к кому за льготами или вообще по колхозным делам?

И действительно, сейчас такой «инстанции» в районе нет, теперешней структурой сельскохозяйственных органов она не предусмотрена.

К кому же при таком множестве «нянюшек» может обратиться колхоз за советом по вопросам, касающимся экономики хозяйства, организации труда и его оплаты, культурно-бытового обслуживания, и по многим другим вопросам повседневной жизни колхозного крестьянства? Кому положено организовать межколхозные связи, руководить этой принципиально важной стороной деятельности колхоза? Такой организующей и направляющей руки в районах нет. Не надо думать, что эта «пустота» образовалась вместе с ликвидацией районных инспекций по сельскому хозяйству, — они тоже не охватывали этих функций. Но не стоит и обольщать себя надеждами, что образовавшаяся «пустота» заполнится вместе с созданием опытно-показательных хозяйств.

История нашего сельского хозяйства знает такой период, когда руководство колхозами осуществлялось не административными органами, а предприятиями — машинно-тракторными станциями. Но в руках МТС — государственных предприятий — сосредоточивались все нити воздействия, главное — машинная техника. Опытные-показательные хозяйства ничем подобным не обладали.

На первых порах практической работы некоторые председатели колхозов испытывают трудности, избавиться от которых им самим подчас не по силам.

— Что мне, своих хлопот не хватает?! — в порыве откровенности говорил мне один из председателей. — Легко сказать, кроме своего, еще двадцать два колхоза постоянно в поле зрения держать, всем двадцати двум советы давать, по всем двадцати двум на своем транспорте специалистов развозить, всем двадцати двум...

И много еще председатель насчитал таких новых обязанностей, которые по сравнению с прежними возросли в двадцать два раза. И не только в том беда. Затрагиваются материальные и финансовые интересы показательного колхоза, его средства отвлекаются на сторону. А ведь это уже не мирится с колхозным уставом. Значит, и эта проблема — внесение ясности в материальные взаимоотношения между показательным и остальными колхозами — должна быть скорее решена.

Словом, куда ни глянь — масса сложных, практически безотлагательных дел, множество нерешенных вопросов. Они, по моему глубокому убеждению, служат помехой прогрессивным явлениям, зреющим и проявляющимся в нашем социалистическом сельском хозяйстве.

Дело в том, что вместе с концентрацией сельскохозяйственного производства в нашей стране совершается и другой процесс — укрепление и совершенствование самих сельскохозяйственных предприятий. При умелом управлении они все меньше и меньше нуждаются в мелочной повседневной опеке. Но зато время выдвигает перед ними ряд крупных хозяйственных проблем, которые организационно зачастую требуют объединенных действий, кооперации сил и средств нескольких колхозов.


В проекте Программы КПСС подчеркивается, что с ростом производительных сил разовьются межколхозные производственные связи, процесс обобществления хозяйства выйдет за рамки отдельных колхозов.

Практика показывает, что пределы укрупнения колхозов по земельной территории почти исчерпаны. Следовательно, предстоит искать иные пути дальнейшей концентрации производства. Ближайший из них лежит в укреплении межколхозных хозяйственных связей. Необходимость их диктуется такими задачами, как постройка межколхозных электростанций, организация теплового хозяйства для производственных целей и отопления жилья сельского населения, крупное хозяйственное культурное и бытовое строительство, производство строительных материалов, организация переработки сырья продукции и многое-многое другое.

Не следует, конечно, проблему кооперации колхозов решать шаблонно, всюду по одному образцу. Если в некоторых районах Краснодарского края имеется по три-пять крупных колхозов, то нет надобности там создавать какие-либо районные объединения колхозов; правильнее кооперировать их в масштабе края, создав, скажем, краевой (областной) союз колхозов, подобно тому как для координации действий совхозов существуют краевые, областные тресты совхозов. Но зато условия многоколхозных областей вроде Черниговщины настоятельно требуют создания районных и областных колхозных союзов.

Такие мысли напрашиваются, когда поближе рассмотришь, как осуществляются на местах указания партии и правительства о создании опытно-показательных хозяйств в нашей стране.

Думается, что это — начало весьма важного дела, которое действительно приведет к подтягиванию отстающих хозяйств до уровня передовых, к тому, что рост продукции сельского хозяйства сможет опережать растущий спрос на нее, как это предусмотрено в проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза, опубликованном накануне XXII съезда КПСС.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕРМАН СОКОЛОВ

★

## ВОДА В СТЕПИ

*«...Выполнить обширную программу ирригационного строительства для орошения и обводнения миллионов гектаров новых земель в засушливых районах и подъема существующего поливного земледелия...».*

Из проекта Программы  
Коммунистической партии Советского Союза.

I

**В**се знают Крым южный, курортный. Но есть и другой Крым, мало кому известный, по которому едешь-едешь и — ни человека, ни села, ни деревца... Правда, за последние годы пейзаж и тут оживился: новые поселки, сады, виноградники, недавно посаженные роши. И все же расстояния между ними, особенно на западе и востоке Крыма, до сих пор еще такие, что, как сказал один степняк, «дрофу или цаплю здесь скорее встретишь, чем человека».

Административный центр Приморского района — город Керчь, а земли его — просторы Керченского полуострова.

Ехал я по этим просторам с секретарем Приморского райкома партии Василием Потаповичем Климятовым.

— Воды у нас ни-ни, — сказал он, сделав в воздухе движение рукой, словно перечеркнул что-то. — Бурили на тысячу метров, на полторы тысячи — горько-соленая идет, а до пресной так и не добрались.

— Что же люди пьют?

— А вот! — Климятов кивнул на тошенький прудок, мимо которого мы проезжали. — Зачерпывают воду из пруда, пропускают через марлю, потом отстаивают в ведре.

Вездесущая крымская соль. Ею насыщены воды во многих местах степной Тавриды. В колхозе «Герои Сиваша» рассказывают:

— Восемнадцать артезианских скважин у нас. Но, если лето засушливое, они высыхают. Пить нечего. А в некоторых скважинах вода такая, что галушки и присаливать не надо. На бригаде «Пятилетка» полили огород, так он аж побелел от соли.

— Да-а, — протянул один из моих собеседников, — пресная вода для нас что сладкий чай.

— Животноводство, — сказал мне председатель колхоза Виктор Александрович Макеев, — сильно растет, ему нужно все больше корма, а во всех наших скважинах воды хватает только для полива садов, виноградников и всего лишь ста гектаров кукурузы. Дать бы воду на всю площадь, разве такой урожай кукурузы получали бы, как теперь? Или люцерна. Всего один раз за лето косим. А хорошенько ее полей, она чегыре, а то и пять укосов даст. Тогда и землю мучить не придется. Она одним урожаем, таким, как три нынешних, расплатится.

Впервые в истории Крыма его виноградники и сады спускаются с гор и предгорий в жаркие степи. И хотя вместе с ними появились в степи согни артезианских скважин, воды все еще слишком мало для требовательных корней.

Случилось мне беседовать об этом с директором Крымской плодово-опытной станции Григорием Васильевичем Березовским.

Березовский много лет работал в тех местах нашей страны, где без искусственного орошения растёт только верблюжья колючка. Он хорошо знает южное плодоводство и утверждает, что ни один район Советского Союза не может давать таких зимних яблок, как Крым. «Ренет шампанский», «кальвиль снежный» растут на всем советском юге. Но только в Крыму они показывают себя во всем блеске.

Березовский говорит:

— Хорошо, что теперь сады не только в горах, но и в степях Крыма расселяются, ведь именно степи — основная его территория. Но без полива лучшие сорта яблонь и груш расти здесь не могут. Вот и сажают черешню, вишню, абрикос: косточковые менее требовательны к влаге, чем семечковые.

Давно ожидается переселения в Крым совсем новая для него культура — рис. Солнца для него здесь достаточно, а воды нет. Любопытно, что, как только в феврале этого года радио объявилось, что в Крыму будут сеять рис, появились и рисоводы.

Одиннадцать пожилых корейцев сидят на деревянных кроватях в бывшей мечети, превращенной во временное общежитие. Они знают все повадки риса, умеют наилучшим образом распоряжаться водой, подаваемой на рисовые поля. Это очень важно, потому что рис надо орошать так, чтобы не засолить окрестные земли.

— Я долго был председателем рисоводческого колхоза под Ташкентом, — рассказывает коренастый, с прямыми черно-лаковыми волосами Николай Александрович Кан, — но болезнь заставила меня покинуть Среднюю Азию. Приехал с группой земляков. В этом году засею рисом первые тридцать гектаров. Орошать будем из реки Салгира. А когда большая вода придет...

И уже ясно представляешь себе, что скоро появятся здесь зеркала затопленных рисовых полей, покрытых светло-зелеными стрелками всходов.

В Крыму нужна вода не только степям, но и районам Судака, Планерского, всему Южному берегу.

## 2

Утолить крымскую жажду должен Северо-Крымский канал.

Эта многоводная искусственная река разольется у Джанкоя самым крупным из девяти запроектированных водохранилищ канала. Город в самом сердце засушливых степей, на окраине которого протекает сейчас лишь жалкий пересыхающий ручей, станет «морским» портом. Джанкойское «море» раскинется на десять километров в длину, на два с половиной в ширину. От него ответвляются каналы на Керчь, то есть на восток; на Красногвардейский район — на юг; на районы Октябрьский, Сакский, Евпаторийский и Черноморский — на запад. А еще одна ветвь Северо-Крымского канала отойдет от него выше Джанкоя на северо-запад. Только основная магистраль канала, Каховка — Керчь, протянется на четыреста с лишним километров.

Первая очередь канала должна была оросить восемьдесят две тысячи гектаров. Теперь уточнено: сто сорок пять тысяч. Это к 1968 году. Постепенно площадь орошения достигнет шестисот тысяч, а обводнения — одного миллиона гектаров.

В решениях январского Пленума ЦК КПСС записано: «Надежным средством получения гарантированных урожаев является ирригация — орошение и обводнение миллионов гектаров земель. Благодаря освоению целины страна за последние годы ввела в действие десятки миллионов гектаров новых земель в восточных районах. Благодаря ирригации будут введены в действие миллионы гектаров земель в Средней Азии, на юге Российской Федерации, в Поволжье, на юге Украины, в республиках Закавказья. Ирригация даст нам возможность получать всегда нужное количество таких ценных сельскохозяйственных продуктов, как хлопок, рис, кукуруза, позволит значительно увеличить производство продуктов животноводства — мяса, молока, масла, шерсти».

Северо-Крымский канал будет гораздо более мощной водной артерией, чем первоначально предполагалось.

Сейчас строятся заводы железобетонных изделий, ремонтно-механические мастерские, гаражи и склады; началось сооружение самого канала.

Еще несколько лет, и Таврида сможет пить наконец вдоволь. Близится конец вечной крымской жажды.

Вот уже третий год, как действует Краснознаменный канал — начало будущей главной водной артерии Крыма. Пока он обводняет и орошает только земли Херсонской области.

Я стою на высоком железном мостике. Впереди — искусственное Каховское море с маяком на берегу, строящимся портом, баржами на воде; высоко поднимается здание гидроэлектростанции. Поближе — Новая Каховка, подальше — Старая. А прямо под ногами — массивный металлический шит. В башне у мостика большая лебедка.

Михаил Деметьевич Турганов (он подполковник; лемобилизовавшись, пошел на выучку к ирригаторам) нажатием кнопки регулирует пропуск воды. С шумом, вся в белой пене, вливается она в широкий прямой канал.

Один из боковых каналов приводит ее в совхоз «Таврия».

Земли совхоза вплотную подходят к живописным, заросшим ветлой днепровским берегам.

— Вы тут, как в раю, живете, — сказал я главному агроному совхоза Михаилу Еремеевичу Артюшенко.

— В раю, только на краю! — Он выразительно взглянул на меня ярко-голубыми глазами, светящимися на загорелом лице, и добавил: — Край этот кучегурами называется. Знакома вам эта штука?

Да, «эта штука» — голые сыпучие холмы из тонкого, как пудра, песка — мне знакома. Я видел похожие холмы в пустынях Средней Азии, в полупустынях Заволжья и там, где сложена песня «Ах вы, злые астраханские пески».

Они беспредельны, как море. И, как по морю, по ним нужно передвигаться или с компасом, или с хорошим проводником. Лишь кое-где попадаются в этом царстве безжизненных песков островки песчаного овса и другой зелени. Огромные же пространства ничем не прикрыты, и стоит подуть ветру, как барханы словно поднимаются в воздух. Все вокруг мутнеет, желтеет, окутывается непроницаемой завесой. Летучий песок несется далеко на запад.

Но какие же барханы в Херсонской области? Самые настоящие, только здесь у них имена другие: «кучегуры», «Алешковские пески», «Каховские пески».

— У нас четырнадцать тысяч гектаров земли, — знакомит меня со своим хозяйством Артюшенко, — и все это супесь. Но супесь еще не беда. А вот шесть тысяч гектаров кучегуров — это проблема... Однако решаем мы ее, кажется, неплохо: разводим на кучегурах виноград.

Артюшенко рисует ближайшее завтра «Таврии»: вместо нынешних тысячи семисот гектаров винограда будет три тысячи, сады увеличатся почти в семь раз. Эти смелые планы развития садоводства, виноградарства, а также полеводства и животноводства опираются на то новое, что несет совхозу Краснознаменный канал. Пока его не было, совхоз орошал всего сто двадцать, а теперь орошает свыше тысячи трехсот гектаров.

### 3

Как правило, оросительная система повышает на орошаемых землях уровень грунтовых вод. Вместе с ними поднимается и соль. И если влага из оросительного канала, не дай боже, соединится с почвенной влагой, соль эту может вынести испарением на поверхность. А соль, как известно, губит корни почти всех культурных растений.

Голодную степь, этот большой кусок Средней Азии, природа богато наделила хорошей землей, теплом, но обделила всдой. Еще в дореволюционное время ирригаторы привели в некоторые районы Голодной степи воду, но сделали это очень неудачно. Часть степи стала голодной вдвойне — настолько просолилась, что орошение уже ничем не могло помочь. Напротив, оно вредило.

Прошло больше полувека, прежде чем советским специалистам удалось разорвать

искони сложившийся заколдованный круг: они «рассолили» пострадавшие участки Голодной степи, унылое и страшное название которой пора уже менять на более оптимистичное.

Жизнь не раз показывала, что искусственное орошение всегда стоит на грани великого добра, какое оно несет людям, когда осуществляется правильно, и большого зла, какое причиняет оно в неумелых руках.

Об этом и напомнил мне в разговоре главный агроном «Таврии».

— Как вы, наверное, знаете, — сказал Михаил Еремеевич, — нельзя допускать, чтобы вода в полевых каналах долго застаивалась: ведь этим-то и вызывается вынос солей. А между тем некоторые наши орошаемые участки, например в зоне канала Р-1, представляют собой как бы большие ямы. Начинаем мы их орошать, но получается не орошение, а затопление. В то же время на другие участки воду поднять очень трудно. И сколько она течет вхлостую, сколько ее расходуется зря!.. Словом, — подытожил Артюшенко, — в прошлом году мы использовали никак не больше половины той воды, какую дает нам Краснознаменский канал. Да и то далеко не всегда она приносила пользу.

Еще до приезда в «Таврию» я слышал, что это очень прибыльное хозяйство. Теперь мне захотелось выяснить, какую же часть этой прибыли дало искусственное орошение.

— Ну хорошо, — сказал я, — из-за новизны дела вы еще не сумели извлечь всей пользы от воды...

— Да нет, — прервал меня Артюшенко, догадавшись, о чем я хотел его спросить, — не ищите то, чего нет. Мы уже третий год получаем воду из Краснознаменки, однако, возможно, лишь в этом году начнем получать от этого прибыль.

Как же это так? Государство идет на очень большие затраты, чтобы дать воду засушливым местам, но и спустя два года пользования этой водой здесь, в совхозе, орошение все еще убыточно? Конечно, многое зависит от самого хозяйства — оно, видимо, плохо подготовилось к встрече большой воды, недостаточно быстро приспосабливается к новым условиям. Но есть тут, несомненно, и нечто более общее и более серьезное: не до конца продуманный порядок подачи воды из магистральных каналов на поля, огороды, в сады, виноградники.

На это жалуются и хозяйственники и строители ирригационных систем.

Артюшенко говорит:

— Проектировщики и строители каналов больше всего об одном заботятся: такой рельеф выбрать, чтобы легче было проложить трассу канала. Берут карту, смотрят, где подходящий уклон, туда и гонят трассу.

— Что же в этом плохого?

— А то, — отвечает Артюшенко, — что надо не только с рельефом считаться, но и с расположением окрестных хозяйств, с тем, где именно вода всего нужнее, как целесообразнее всего туда воду подвести. В общем, больше советоваться надо с потребителями воды.

Но послушаем и другую сторону. Один из строителей Краснознаменской системы, Георгий Алексеевич Пархоменко, считает неправильным нынешний порядок, при котором строители водных магистралей обязаны прокладывать одновременно постоянные хозяйственные каналы и временные оросители. Особенно бессмысленно, по его мнению, второе. И в защиту своего взгляда он приводит весьма убедительный пример.

— В марте нынешнего года, — рассказывает он, — мы должны были сделать временные оросители в колхозе имени Карла Маркса Скадовского района Херсонской области. Надо вам знать, что областные строительные управления не принимают от своих строительных участков оросительную систему до тех пор, пока она не сдана полностью; то есть вместе с хозяйственными и временными оросителями. У нас свой календарный план, мы по этому календарю и отчитываемся. Вот по графику пришло время сделать временные оросители в колхозе имени Карла Маркса. Смотрим на чертеж, находим нужное место и добираемся туда со всей своей техникой. А там озимая пшеница зеленеет. Прибегает колхозный агроном: «Вы что тут творите — пшеница же!» Конечно, нам пшеницы жаль, но не можем мы ждать, пока она созреет и ее уберут. Наша работа кочевая. Мы должны со своей техникой вперед и вперед идти. Закончили участок — и



дальше. А закончить — это значит, как я уже говорил, не только магистраль, но и все отводы сделать. Больно было, а пришлось зеленое озное поле через каждые сто метров прорезать. Зато план ввода оросительной системы в эксплуатацию мы выполнили...

От Пархоменко узнал я и о продолжении этой истории. Колхозники потом засыпали злосчастные оросители: пшеницу надо было убирать, не могли же комбайны прыгать через каналы.

— Вся наша работа пошла насмарку. Но при перешедшем порядке такие дела неизбежны, — с горечью сказал Пархоменко. — Надо поручить нарезку временных оросителей и планировку мелких участков самим колхозам и совхозам. Ведь все равно мы делаем, а они переделывают. И это понятно: им ведь виднее, как сегодня водой распорядиться. А может быть, этим следует заниматься каким-нибудь межхозяйственным организациям. Если же все по-прежнему останется, то, хотя споры между строителями и хозяйственниками до чуба доходят, большие государственные деньги будут, как и сейчас, лететь на ветер.

## 4

Во всем этом особенно примечательно, что, в сущности, взгляды «антагонистов» — хозяйственника Артюшенко и строителя Пархоменко — сходятся. Но и тот и другой, не желая показать себя в невыгодном свете, умалчивают еще об одной стороне вопроса.

Несколько лет строился Краснознаменский канал. Строители и работники совхоза знали, что этот канал будет поить земли «Таврии». Было предостаточно времени, чтобы продумать, как и куда направить воду. Однако она словно зраспloh всех застала, третий год не могут определить, где же наконец ее место. Более того, и прочодить-то ее на законное жительство по-настоящему некому: для этого не хватает ни рабочих, ни машин.

Мы подошли к самой, пожалуй, решающей причине. из-за которой искусственное орошение нередко оказывается на грани добра и зла. Для того чтобы оно сразу же приносило больше добра, нужно иметь значительно больше рабочих, чем раньше. И не просто рабочих, а обученных, «понимающих» воду, знающих, как перепускать ее из канала в канал, сколько времени держать на разных угодьях. Кроме большого числа искусных поливальщиков, требуются рабочие для очистки каналов.

Потребность в людях уменьшается, если есть достаточно машин. Но...

— Шлем заявки, — жалуется Аргюшенко, — а получаем шпик. Нужны планировочные машины, скреперы, бульдозеры для выравнивания площадей под орошение, канавокопатели, дождевальные машины. Три такие машины, правда, мы получили, но без тракторов.

Рядом с «Таврией» колхоз имени Ленина. Колхозники стараются перейти на работу в совхоз: там выгоднее. Но ведь и колхоз уже третий год орошает свои земли водами Краснознаменского канала — пятьсот гектаров люцерны, огородов, кукурузы, свеклы. А доходность очень низка. «Почему, в чем дело?» — спрашиваю председательницу колхоза Моину Яковлевну Костину.

В ответ слышу перечисление знакомых мне бед: поливные участки не спланированы; вода на них застаивается; в колхозе нет гидротехника, и негде его взять; поливальщиков стали готовить, когда уже вода пришла; мало рабочих рук, мало машин.

Правда, орошаемая люцерна дала вдвое больше сена, чем неорошаемая. Люцерновым сеном всю зиму кормили телят и поросят. Правда и то, что в нынешнем году в поливном хозяйстве больше порядка, земли лучше спланированы, засеяны в шахматном порядке. Значит, их можно культивировать почти исключительно машинами.

Но плохо, что нераспорядительность помешала получить от искусственного орошения в первый же год всю ту пользу, какую оно могло дать и какую, вероятно, даст нынешней осенью в Скадовском и Голопристанском районах. Там как следует готовились к встрече воды и посеву риса.

Отряд машин разравнивает поверхность почвы, нарезает оросительные каналы, прокладывает дорогу сбросной воде. Это я видел в апреле, а сейчас, наверное, блестят под солнцем серебряные поля-озера и среди зарослей риса бродят цапли из ближнего Черноморского заповедника, хотя бы на лягушек.

Спустя некоторое время озера будут осушены, и первый херсонский рис займет свое скромное место в ряду с узбекским, азербайджанским, китайским, индонезийским, вьетнамским, индийским.

Следует, правда, отметить, что создание обводненных площадей для посевов риса куда проще, чем подготовка орошения на огородах и полях, которые будут засеяны кукурузой, люцерной и иными подобными культурами.

И все же, глядя на спорую работу скреперов, бульдозеров, грейдеров, ползающих по просторам Причерноморья, я думал: «Вот если бы везде так готовились к первому же поливу, если бы всюду большая вода встречала приветливых, давно ожидающих ее, а не растерявшихся хозяев!»

## 5

Настанет время, когда Херсонская область, первой получившая воду от Северо-Крымского канала, станет лишь его преддверием. Здесь канал будет давать воду всего только сорока тысячам гектаров, а в Крыму — более чем полумиллиону.

Но сейчас Тавриде надо внимательно приглядываться к делам своей соседки, Херсонщины, полностью извлечь уроки из ее опыта, не допустить повторения ее ошибок.

Самое опасное для Крыма — застой воды. Вода призвана осчастливить степные колхозы и совхозы, однако она же может сильно им насолить в самом прямом смысле этого слова.

Почвы здесь во многих местах солонцеватые. Или хотя и черноземные, каштановые, но со сравнительно неглубокими засоленными грунтовыми водами. Поэтому здесь особенно необходима высокая культура орошения. Особенно важно точно установить для каждого поля, сада, огорода допустимый предел полива. Есть полная возможность делать это не на глазок, а со всей научной точностью.

Это лишь маленькая, хотя и важная, частности. Речь же должна идти о полной механизации полива и обработки поливных земель. Нет, нужно сказать еще точнее, еще резче: необходимо уже сейчас, безотложно эту механизацию обеспечить.

Механизация означает прежде всего переход с полива на дождевание. У нас есть прекрасные дождевальные машины. Такая машина проливает искусственный дождь сразу над большим участком поля, огорода или сада. Она экономит человеческий труд, в то же время строго соблюдая поливные нормы. Это очень важно, потому что, как мы уже знаем, не только недостаток, но и избыток влаги вреден для растений.

Беда, однако, в том, что дождевальных машин выпускается очень мало. А бывает и так, что дождевальный аппарат пришлют, но без специального к нему трактора. И тогда громадная механическая поливалка бездействует.

Трудности использования Северо-Крымского канала наслаиваются на далеко еще не изжитые трудности с освоением другого степного новшества — огромных виноградников и садов.

Уже несколько лет идет переселение в Крым из густонаселенных районов Западной Украины и различных областей Российской Федерации. Но это переселение никак не может насытить степные районы достаточным количеством рабочих рук.

В правлении колхоза «Герои Сиваша» — наряд на завтрашний день. В большой комнате много народу. Люди в основном тридцати — сорока лет. Коричневые, бронзовые, темно-бурые от загара лица.

Молодой бригадир в клетчатой безрукавке признается, что виноградник у него «сильно запущенный».

— Я засыпаюсь, — с отчаянием говорит он, — и подвязку, и обрезку лозы проводить надо, и проволоку натягивать, и школку сажать. Кому же это делать? У меня семьдесят пять гектаров винограда, а виноградарей — пятнадцать. А их по крайней мере семьдесят пять нужно — по человеку на гектар!

— Тоже нашел причину, — пренебрежительно скосившись, замечает другой бригадир, — у меня на пятнадцать виноградарей триста пятьдесят гектаров винограда.

Колхозу уже теперь не хватает двух с половиной тысяч трудоспособных. Из-за этой нехватки виноград плохо обрабатывается, засыхает. Сто тридцать пять гектаров предполагается из-за изреженности кустов совсем выкорчевать, выпахать.

Это не случайность. В Крыму «списано», то есть перепахано, двадцать две тысячи гектаров винограда. Говорят, при больших посадках неизбежны большие потери. Это верно. Но так же верно, что потери были бы меньшими, если бы переселенцев не тянуло к новому переселению — обратно из Крыма. А почему же их тянет обратно?

Председатель колхоза «Герон Сиваша» Виктор Александрович Макеев говорит мечтательно:

— Эх, если бы нам трубы водопроводные... Асбоцементные хотя бы трубы!

Присутствующая при разговоре Александра Федоровна Акимова, плановик колхоза, подхватывает:

— Вот мы с вами разговариваем, а мои мысли знаете где? Возле колодца.

— Что ж они, мысли ваши, там делают? — интересуюсь я.

— Ругаются, — невозмутимо отвечает Акимова. — У меня сегодня стирка. Десять ведер воды надо. Муж — главный агроном колхоза, когда ему за водой ходить? А ходит все-таки. И я хожу. Но ведь вы подумайте — за километр, а то и за два от дома воду носить приходится.

— Да-а, — вздыхает Макеев, — только из-за этого многие переселенцы уезжают.

Слушаю этих людей и диву даюсь: вот уж поистине «на всякую старуху бывает проруха». Какие серьезные дела делают, а с пустяковой проблемой справиться не могут. Впрочем, с этим можно встретиться во многих местах Крыма.

Руководители колхозов, совхозов требуют: «Дайте водопроводные трубы!» Кто же их даст, если стране нужно столько труб, что удовлетворить все нужды невозможно. Но разве нельзя временно заменить водопровод обыкновенной водовозкой? Сколько лет пользовалась провинциальная Россия таким способом доставки воды. Или по «принципиальным» соображениям мы не можем взять такую старину на вооружение нашей эпохи? Чепуха, а ведь из-за нее какое дело страдает!

Но, конечно, не только это мешает большому переселению. Полезно было бы сперва провести малое «переселение»: пусть бы строители пожили хотя бы малое время в домах для переселенцев. Конечно, далеко не все дома плохи — большинство выстроено хорошо. Но вспоминается и нечто такое, от чего даже теперь зябко становится.

Года два назад, в марте, я приехал в колхоз «Путь Ленина» Черноморского района. Дул резкий, холодный ветер. Я заглянул в один, другой дом полтавчан, переехавших недавно в Крым. Дома эти были совершенно новые и совершенно негодные. Между оконными, дверными рамами и стенами зияли большие щели. Ветер выл в них, как голодный волк. Крыши будто ненадолго присели на стены.

— Не привяжи кровлю, того и гляди улетит, — мрачно острили жильцы этих домов-решет, натопить которые не было никакой возможности. Каждая семья скучивалась в самой маленькой комнатухе, двадцать раз на дню проклиная тех, кто советовал переехать в солнечный Крым.

Ясно, что при первой возможности люди, поселившиеся в этих домах, убираются восвояси. О благоустройстве пора думать серьезно. И не только думать, но и действовать. Вот о чем невольно вспоминаешь, когда узнаешь, что орошение из Северо-Крымского канала повысит производительность труда каждого растениевода в четыре, а каждого животновода — в два с половиной раза. Но для своевременного выполнения всех сельскохозяйственных работ при самом высоком уровне механизации в зоне Северо-Крымского канала потребуется дополнительно около двухсот тысяч работников.

Двести тысяч работников! Ну а если они не пожелают ехать в Крым? Кто же будет провозить воду на поля, следить, чтобы она их не заболачивала, не засаливала?

Тут рецепта не пропишешь. Но представляется, что поговорка «Хорошая слава лежит, а дурная бежит», — неправильная поговорка. У хорошей славы тоже быстрые ноги. Надо, чтобы крымские строители заслужили ее, а уж она найдет дорогу в густонаселенные места и вызовет у многих тамошних жителей желание переехать в Крым!

В колхозах «Украина», «Дружба народов» мне случалось видеть переселенцев, которых никто не соблазнял крымскими радостями. Эти переселенцы в отличие от «плановых» не получили государственных льгот и готовых домов; они приехали по собственному почину, сами себе выстроили дома. Привело их сюда одно: хорошая слава этих колхозов.

Почему же не поддержать такую инициативу? Почему не дать какие-то преимущества и неплановым переселенцам, скажем, таким, как те корейцы, о которых я рассказывал, как вологжане, куряне, горьковчане, приезжающие в Крым по собственному почину?

Проблема переселения — не только крымская. Всюду, где создаются новые поливные системы, ощущается резкий недостаток рабочих рук. Но ведь орошаемые площади будут все время расти и нужда в людях увеличиваться. Одной механизацией тут не спасешься. На помощь должно прийти массовое переселение. А важнейшее условие его — это создание хорошо благоустроенных сел, и прежде всего обеспечение их водой. Есть магистральный канал — должна быть вода и в близлежащем селе!

## 6

Херсонский урок показывает, что искусственное орошение требует заблаговременной, до его начала, перестройки хозяйства. Занимаются ли ею в Крыму? Что-то не видно.

«Герои Сиваша» — одно из первых хозяйств, которое Северо-Крымский канал встретит, вступив в пределы Крыма. Тут необходима особая бдительность, осторожность в пользовании водой — кругом соленые озера, солонцы. И уже были случаи, когда неправильный полив вызывал «вторичное засоление», то есть не повышал плодородия почвы, а делал ее бесплодной. Как говорят сами руководители колхоза, канал перережет его земли пополам. Уже одно это потребует новой планировки всех угодий, севооборотов. Нужно теперь же определить, какие угодья и по каким нормам будут поливаться, куда «сбрасывать» воду, когда, какими машинами будут выравниваться поливные участки.

Нужно... Но ничего не делается. Да и никто не напоминает колхозу, что это надо делать. Уже после того как стало известно, что будет строиться Северо-Крымский канал, сельскохозяйственная инспекция Красноперекопского района, где находится колхоз, предложила ему составить перспективный план развития хозяйства до 1965 года. И... не принимать во внимание, что земли колхоза будут орошаться водами Днепра.

Можно было бы и не упоминать об этом примере, если бы он не был характерен.

Те сотни артезианских скважин, которые, как уже говорилось, выстроены за последние годы в Крыму, не могут удовлетворить всех потребностей орошения и обводнения. Тем более недопустимо, что не используется как следует оросительная система, которая построена еще лет пять тому назад, — Салгирская система. Она предназначена для орошения десяти тысяч гектаров, а орошает меньше половины — подготовка к поливу остальной площади все еще не закончена. Но ведь Северо-Крымский канал должен будет орошать не десять, а шесть-семь тысяч гектаров!

Надо полагать, что крымчане сделают выводы из херсонского и своего же, салгирского, опыта.

Но надо и то сказать: как бы ни старались крымчане, одних лишь их усилий мало для подобающей встречи Днепра. Потребуется большая помощь. Какая именно, увидим, говоря о сходных задачах в других орошаемых районах. Здесь были затронуты только специфические особенности Крыма.

Из Тавриды я направился в Ставропольский край, где есть и сравнительно многолетний опыт большого орошения и где также строится новая большая обводнительно-оросительная система, одна из крупнейших на юге, — Кубань-Калаусская.

## 7

Человек с белыми висками, видневшимися из-под черной кепки, размахнулся и бросил вперед леску. Грузило, похожее на короткую сосульку, свистнуло в воздухе, булькнув, пошло ко дну, а рыболов уселся на каменном откосе искусственного озера и вытянул руку с длинным бамбуковым удилищем.

— Раньше тут только суслики бегали, — сказал он мне, — а теперь... — Человек досадливо замотал головой — мол, не мешайте — и осторожно подвел к берегу клюнувшую дсбычу.

Тонкая струна леси натянулась. Из воды показалась большая светло-серебряная голова рыбы, плавники загребали воздух.

— ...А теперь,— закончил рыбак торжественно,— вот какие звери водятся.

Он быстро вытянул на камни толстого, длиной с полруки судака и, боясь, как бы тот не сорвался с крючка, почти придавил его своим телом. Потом осторожно высвободил крючок и посадил судака на кукан — ремешок с деревянным стерженьком, пропускаемым под рыбы жабры. На кукане стало уже два судака.

На берегу Ново-Троицкого водохранилища, где я наблюдал эту сцену, и вдоль вытекающего из него Право-Егорлыкского канала виднелось много других удильщиков.

До начала пятидесятих годов здешние степи изобиловали местами, за которые природе следовало бы краснеть. Что может быть парадоксальнее сухой реки? И можно ли придумать более ироническое словосочетание, чем «безводная речка»! Между тем это не художественный образ, а точное научное определение. Общее для многих степных рек Ставрополя, оно подчеркивалось названиями: Сухой Карамык, Сухая Сабля, Сухая Буйвола.

Но и реки с вполне «мокрыми» названиями, такие, например, как Мокрый Карамык, Мокрая Сабля, Мокрая Буйвола, летом тоже нередко становились безводными. Да и сам Большой Егорлык. Ведь он что собой летом представлял? Где заросшее кугой, тростником, камышом озерко, где сухое речное русло, где болотистый ручеек и лишь изредка нечто похожее на реку.

Так нужно ли удивляться, что в знойный день в этих местах хозяину легче было потопчевать гостя кувшином холодного молока, чем дать ему кружку воды?

Обследование двадцати районов Ставрополя показало, как пишет Ф. И. Зитта в своей брошюре «Обводнение и орошение Ставрополя», что в 1937 году «каждый из этих районов ежегодно подвозил огромное количество воды для питья и для водопоя скота, в среднем около семи миллионов ведер, а некоторые районы гораздо больше, например, Апанасенковский — восемнадцать миллионов в год, Ипатовский — тринадцать с половиной миллионов, Арзгирский — тридцать миллионов и т. д.» Подвоз воды обходился тогда каждому району в среднем в миллион рублей.

Ну, а частые гости Ставрополя — засухи, суховеи, черные бури,— сколько они причинили убытков!

Свирепствует стихия и теперь, но, разъезжая по ставропольским степям, часто вспоминаю слова рыбака на Ново-Троицком водохранилище: «Раньше тут лишь суслики бегали, а теперь вот какие звери водятся».

С какой неопишуемой радостью, я бы даже сказал жадностью, должны были встретить здесь люди долгожданную воду!

## 8

Удивительно непостоянны степные краски весной на Ставрополе. Вот нахмурилось легкое бирюзовое небо, загустела, потемнела зелень озимей и лесополос, серой, пепельной краской покрыл кто-то ближние и дальние просторы. Потом тень стала истончаться, светлеть. Наконец, солнце совсем размыло ее своими лучами и опять воцарилось на небе, и опять засверкали изумрудами весенние поля и роши.

То перемены извечные. Никогда не наскучит приглядываться к ним. Но еще больше привлекают внимание новые степные приметы, рожденные не природой, а человеком.

Недалеко от дороги, по обеим сторонам ее, белеют каменные будки, компрессорные станции. На протяжении многих сотен километров тянется газопровод. Под землей газ идет в Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Ростов, Москву.

Широко расставив стальные ноги, вздымаются над степью мачты высоковольтной передачи.

С поднятым маркером, словно с поднятой вверх рукой, ходят по полям машины-чертежницы, вычерчивая одинаковые квадраты кукурузных посевов.

И еще одна ласкающая глаз примета обновленной степи: перегородил ее, упираясь в самый горизонт, высокий земляной вал. Взойдешь на него — и как не ахнуть от удивления! По валу, в глубокой выемке, течет река. Торопливо, весело несет она свои голубоватые воды, в которых отражаются белые облака и зеленые берега.

Это и есть Право-Егорлыкский канал. А западнее его течет река Большой Егорлык. Может быть, впервые за многие века она стала такой энергичной, больше не разбивается на озерки и оправдывает свое название реки. Большой Егорлык дал жизнь Право-Егорлыкскому каналу, но в свою очередь пополняется его «сбросными» водами.

На протяжении четырехсот километров несет свои воды этот канал, огибая возвышенности, преодолевая всякие другие препятствия. Тут он проходит в трубе над рекой. А там ливнеотводящий железобетонный туннель, по которому, не сгибаясь, можно пройти из конца в конец, ушел под дно канала, пересекая его.

Почти на высоте сорока метров канал по земляным дамбам перебирается через реки Терновку и Терновочку, а когда дорогу перегородила река Соленая, канал переходит эту реку по акведуку.

Право-Егорлыкский канал, катаясь вперед, по пути дарит свою воду окрестным селениям.

Вот вода подведена к железобетонной колонке. Она соединена с длинными корытами. В жаркий полдень приходят сюда стада коров, отары овец. Повернет пастух штурвал колонки, и чистая пресная вода наполняет корыта.

Теперь вода подходит близко к пастбищу. Раньше приходилось гнать к нему скот пять — десять километров. А доберешься — какая же это вода! — горечь, соль...

В других местах водяные побегги, ответвившись от главного ствола, подают влагу в сады, на огороды. Вот кукурузное поле совхоза «Изобильненский». Кудрявый шестнадцатилетний парень, в резиновых сапогах, Алексей Овчаренко, ловко орудуя лопатой, провозжает воду в поливные борозды. Воды все прибавляется, она стоит в бороздах целый день. Потом Алексей направляет ее на следующий гектар.

Второй год уже работает Алексей поливальщиком. Нелегко ему управлять водой, некогда голову поднять, бегая с лопатой по размокшей земле.

За лето Алексей три раза оросит кукурузное поле.

Может ли природа Ставрополя тягаться в щедрости с Алексеем Овчаренко? Куда там! Она за целый год выливает дождей и высыпает снега всего четыре тысячи кубометров (четыреста миллиметров осадков). Но разве всегда в нужное время выпадают дожди? Поливальщики раз десять за лето поливают каждый огород. Сады и виноградники совхоза тоже обильно орошаются. Так что дожди и талая вода — это теперь только добавка к основному источнику влаги, искусственному.

Он, собственно, и родил здесь посадки картофеля, капусты, помидоров, огурцов, баклажанов, лука, чеснока, моркови, петрушки. Когда не было канала, все это «импортировалось» в совхоз из предгорных и горных районов Ставрополя, за полтораста — триста километров.

Раньше во всем Изобильненском районе овощеводством занимались только два села: Московское и Подлужное. Вблизи тех сел есть родники. Стоял там когда-то Московский полк; солдаты и положили начало степному огородничеству. Но дальше этих сел оно не пошло — воды не было.

Вот почему такой диковинкой кажутся старожилам местные овощи — изобильненские и других степных районов, по которым прошел Право-Егорлыкский канал.

Как мы уже знаем, четыреста километров — протяженность главной магистрали канала; некоторые его ответвления уходят в глубь степей на сто километров. Но сеть этих ответвлений могла бы чаще сворачивать к овцеводческим, молочным, свиноводческим фермам совхозов и колхозов, к их пастбищам, полям и огородам, вернее, к тем землям, которые могли бы стать огородами.

Вот карта земель, орошаемых Право-Егорлыкским каналом. Длинная синяя лента, а к ней кое-где пририсованы маленькие зеленые квадратики. Только совхоз «Изобильненский» орошает мало-мальски солидную площадь — четыре тысячи шестьсот гектаров. Но всей-то земли у него шестнадцать тысяч гектаров. Второе хозяйство, расходующее сравнительно много воды, — совхоз «Донской». Остальные же потребители влаги на протяжении всех четырехсот километров канала орошают кто полтысячи гектаров, кто немногим более.

Правда, главное назначение Право-Егорлыкской системы — нести в степи воду не для орошения, а для питья и водопоя. Но и это назначение выполняется плохо.

По плану эта система должна давать воду примерно ста прудам, а их выстроено... четырнадцать. У совхозов и колхозов не хватает ни средств, ни машин для сооружения прудов.

А что касается орошения, то не так уж много здесь желающих широко применять его.

Непосвященный читатель, прочитав эту фразу, удивится. Что за парадокс такой? С одной стороны, вода в ставропольских степях — вернейшее оружие против суховея, засухи; с другой — выясняется, что те, кто наиболее заинтересован в овладении этим оружием, подчас отворачиваются от него.

Да, к сожалению, это так. Конечно, есть неповоротливые люди, которым просто не хочется взваливать на себя новые заботы — налаживать искусственное орошение. Но суть все-таки не в этом, а в том, что вода есть, а «взять» ее бывает трудно. Получается по поговорке: «Близко локоть, да не укусишь». Вода есть, а водного хозяйства нет.

## 9

Приглядимся внимательнее к тому же «Изобильненскому».

Неловко становится за гидротехника совхоза Виктора Андреевича Вишника и заведующего поливным отделением Константина Макаровича Ушанова, когда видишь, как Алексей Овчаренко одной лопатой закрывает выпускную трубу, как носится с другой лопатой, стараясь закрыть еще один водовыпуск. А вода не слушается, заливая уже политое поле. Копеечное дело — небольшие железные или деревянные щиты-заслонки, но они есть далеко не во всех оросителях.

Можно встретить в «Изобильненском» и другие проявления бесхозяйственности. Но только ли хозяйственники повинны в таких, например, вещах. В одном из каналов, обрамляющих поля и огороды совхоза, вода спущена. В канале грузно осела железная громадина — канавокопатель. Можно представить себе, как трудно тащить эту машину, если в нее впряжено четыре трактора-богатыря «С-100». Их оторвали — шутка ли! — от вспашки паров. И вдруг один «С-100» сломался, остальным придется дня два ждать, пока починят их «товарища». Если же послать эти машины на другие работы, а потом вернуть, больше времени уйдет на перегоны. Выходит, что в самый разгар полевых работ четыре мощные машины простаивают. Лишь после того как починят испорченный трактор, все четыре возобновят очистку канала.

Как же они проводят эту очистку? Дойдя до ближайшего шлюза, канавокопатель разрушает канал, обходит шлюз, разрушает канал по другую сторону шлюза и только после этого продолжает очистку. А дойдя до следующего шлюза, опять принимается за свою не только очистительную, но и разрушительную работу. Конечно, можно делать все это лучше. Перед шлюзом должен бы стоять кран, который, подняв канавокопатель, перенесет его на другую сторону. Но кранов нет, и приходится действовать таким варварским способом.

Протяженность каналов совхоза — сто двадцать километров. Надо ежегодно подравнивать откосы, очищать дно от ила, уничтожать травы. Но водостоки зарастают уже не только травой, но и камышом, тростником, заиливаются, вода по ним еле струится.

Глядя на эту печальную картину, вспоминаю, как ухаживают за оросительными системами в старых районах орошаемого земледелия, например в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии. Исстари каждую весну тысячи людей выходят там очищать арыки. И делают это только с помощью кетменя — некоего подобия не то мотыги, не то лопаты.

Но в «Изобильненском» нет ни этих вековых традиций, ни необходимых навыков у местных жителей, ни машин, которые могли бы заменить сотни рабочих. Поэтому-то и получается, что вода есть, а водного хозяйства нет.

Для очистки каналов и других работ на оросительной системе нужна особая бригада с набором специальных машин.

— Кое-что мы получили, — сказал мне директор совхоза Леонид Васильевич Анисимов. — Но это капля в море, выкручиваемся, как умеем.

Такое «выкручивание» иногда дискредитирует самую идею орошения. Полив запаздывает, и бывает, что на богаре собирают лучшие урожаи, чем на поливных землях.

Огромны степи Ставрополья. И все больше создается в них крупных обводнительных и оросительных систем.

Еще в 1948 году достроен Невинномысский канал, перебрасывающий воду из Кубани в Право-Егорлыкскую систему. Завершено строительство Терско-Кумского канала. Давно существует Терская оросительно-обводнительная система. И вот уже несколько лет строится Кубань-Калаусский канал, один из самых крупных на юге страны.

В двадцати пяти километрах от Черкесска, центра Карачаево-Черкесской автономной области, за станицей Усть-Джегутинской, в верхнем течении Кубани, издалека виднеется головное сооружение этого канала.

Чтобы лучше разобраться в том, что здесь происходит, поднимаемся на гору Учкурку. На западе, между известняковыми обрывами, мчит свои воды Кубань, а прямо под ними лежит как бы чертеж начала Кубань-Калаусской системы. Отводимый от Кубани глубокий канал шириной в двадцать пять метров и длиной, если считать только до раздвоения, без малого сто шестьдесят километров походит на сухое русло большой реки. Зияет дно водохранилища, над ним поднимаются ворота шлюзов, а от шлюзов спускается широкая и длинная лента водосброса.

Ежегодно на Кубани бывает несколько паводков. Они заливают прибрежные земли, уносят в море плодородную почву, после паводка река сильно мелеет. Сперва паводковые воды будут собираться в этом первом водохранилище, отсюда они направляются к Соленому озеру, опресняя его и давая энергию крупнейшей на канале электрической станции. Затем канал подойдет к верховьям притока Восточного Маныча — Калауса. Пополняя его, вода потечет на запад, даст влагу для орошения двухсот тысяч гектаров и обводнения трех миллионов гектаров земли в засушливых районах Ставропольского края.

Все больше наращивается широкая стена плотины. Бетонируются откосы берегов будущего водохранилища. В сплошном каменистом грунте, в скалах, в плотных глинах пробиваются аммоналом, прорезываются стальными зубьями машин новые и новые участки канала.

— Через два года,— говорит начальник «Ставропольстроя» Олег Борисович Канатов,— начнется орошение из Кубань-Калаусского канала, а в тысяча девятьсот шестьдесят пятом будут орошаться уже десятки тысяч гектаров.

## 10

Расстояние между прошлым и настоящим можно мерить по-разному. Интересно вспомнить иногда не только, как голодал русский крестьянин, но и какую воду он пил. И. А. Бунин писал в своей «Деревне»:

«На полпути было большое село Ровное. Суховой проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарю... За церковь блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотинкой — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, минутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик...

— Разнуздай-ка лошадь-то,— сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнувший стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик. — Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...»

Вспоминая эти строки, написанные в начале нашего века, и глядя на широкие реки каналов в засушливых степях, на искусственные озера и моря, на водопроводные колонки в деревнях, на «дождь», обильно орошающий огороды и поля из поливальных



машин, на то, как создаются новые водохранилища, каналы и гидростанции, я думал: «Вот еще одно мерило того расстояния, какое прошла наша страна после Октября».

Но как много еще нужно сделать, чтобы во всех уголках Советской страны было вдоволь воды и для людей, и для орошения земли, и для сельскохозяйственных животных!

И как обидно, что новые каналы нередко проходят мимо полей и пастбищ, а вода туда не попадает или если и попадает, то не дает всей пользы, какую могла бы дать!

Салгирская оросительная система в Крыму, как уже говорилось, не орошает и половины намеченной площади.

Невинномысский канал построен еще в 1948 году, но только теперь идет подготовка к орошению водами этого канала сравнительно большой территории.

Терско-Кумский канал проходит сто двадцать километров по Ставрополю, но не орошает там ни одного гектара земли, а для водопоя скота во всем Ставрополье оборудована... одна площадка.

Сложнейшие технические задачи решены строителями этих каналов. Для того чтобы проложить Невинномысский канал, пришлось, кроме всего прочего, на протяжении почти шести километров просверлить гору Недреманную и направить воды по туннелю.

Строителям Терско-Кумского канала удалось колоссальным направленным взрывом обрушить огромную гору в Терек и тем самым повернуть его в нужную сторону. Пересекая Моздокские, Ногайские степи Ставропольского края, он гонит теперь свою воду в лучший в Союзе район тонкорунного овцеводства — на Черные земли.

Но из-за недостатка металлических и асбоцементных труб невозможно подвести воду куда нужно.

Но не налажен массовый выпуск поливальных машин, машин для планировки огромных участков, нарезки оросителей.

В орошаемых районах мало людей, умеющих обращаться с водой. Необходимо их готовить, лучше организовать переселение в новые орошаемые районы.

Подобно тому, как это делают в районном центре Изобильном Ставропольского края, где строятся сахарный и консервный заводы, необходимо во всех поливных районах создавать побольше предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

Нужны новые дороги и лучшая организация заготовок, чтобы не пропадал богатый урожай овощей, фруктов, продуктов животноводства.

За использование оросительно-обводнительных систем никто до последнего времени не отвечал. Центрально-статистическое управление даже не учитывает урожайности поливных земель.

Есть, конечно, немало «больных вопросов» в проектировании и строительстве ирригационных систем. Но несомненно, что проблема проблем всей ирригации — это полное использование оросительной и обводнительной сети.

Никита Сергеевич Хрущев сказал на январском Пленуме ЦК партии: «...Самым надежным средством получения гарантированных урожаев, пока мы еще не научились управлять погодой, является ирригация — орошение и обводнение миллионов гектаров земель».

Решения январского Пленума — залог серьезных перемен в борьбе за большую воду.

Степная целина приковала внимание всей страны. Того же заслуживает и «водная целина».



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

РУД. БЕРШАДСКИЙ

★

## В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЭКВАТОРА

**И**и с чем не сравнимое наслаждение дарят нам путешествия — сколько всего видишь впервые! И вдруг бесконечно многое начинаешь узнавать, вдруг понимаешь, что знал это уже давным-давно, еще с детства, но просто никогда в глубине души не надеялся увидеть воочию.

Я сошел с крыльца дома, в котором ночевал. Зевая, закинул голову... И так и застыл: пальма-то у крыльца была кокосовая! А гирлянда грушевидных зеленых плодов, каждый с детскую голову, венчавшая ее ствол, как капителю,— самые настоящие кокосовые орехи!

И вот целую неделю на меня обрушивался ливень экзотики. Это был настоящий тропический ливень, каким ему и полагалось быть во Вьетнаме: недаром мы находились южнее тропика Рака. Он сопровождал нас с первой минуты, едва мы пересекли китайскую границу и прибыли на станцию Дон-Дан («Дон-Дан» похоже на звон колокольчика — все во вьетнамском языке звенит и поет), и не оставлял до последней секунды, когда мы расстались с Дон-Даном и отправились в обратный путь, к себе, в Москву, за двенадцать с лишним тысяч километров.

Почти треть окружности земного шара отделяла нас от дома. Даже при нынешних средствах передвижения это все же изрядное расстояние. И именно потому мы с волнением отмечали здесь все, что продолжало оставаться таким, как у нас. Встреча с каким-нибудь «ЗИЛом» или с прилетевшей сюда зимовать ласточкой — обыкновенной ласточкой, на которую в Москве и внимания не обратишь,— здесь превращалась для нас в событие и запоминалась больше, чем перепархивание попугаев в лесу, по которому довелось побродить. Больше, чем хлебное дерево, растущее не напоказ, не в ботаническом саду, не украшенное табличкой, на которой выведено его ученое латинское название, а растущее просто так, при дороге. Больше, чем бананы возле крестьянских хижин или странные для нашего глаза деньги — монеты с круглой дыркой посредине: след тех далеких времен, когда функцию денег выполнял тут не брусок благородного металла, рубленный на рубли, и не скот, меряемый по гривам, гривнам, гривенникам, а драгоценные раковины, нанизывавшиеся на нитку,— мы все-таки находились на другом краю земли! Больше, чем заросли бамбука и сахарного тростника. Чем сено, навиваемое на гладкие стволы пальм, используемых вместо кола. Чем переносный ресторан на бамбуковом коромысле, в одной корзине которого дымится жаровня, а в другой лежат в ряд на плетеном блюде вроде бы наши голубцы, но голубцы, завернутые в листья лотоса. Листья же лотоса, распластанные на прудах, неожиданно оказываются похожими на самые прозаические лопухи — во всяком случае, по плотности, грубости и по размеру...

Экзотика отступала нас со всех сторон. Разбегались глаза: чего еще не упустить бы, что еще «щелкнуть» фотоаппаратом?

Верным другом нашим и самым верным советником был Ленья: «А вот этот нежно-зеленый куст — маниока; видите, как рогатка; он растет у нас всюду, негребователен, а по вкусу как картошка; очень полезный! А вот то — папайя, дынное дерево; его плоды совершенно как дыня, голько еще нежней и ароматней». Впрочем, никакой

он был не Леня. Но мы столько бились над тем, чтобы правильно произнести его шелкающее, как взводимый курок, вьетнамское имя, что в конце концов он сжалился над нами и предложил: «Друзья, называйте меня просто Леня. В вузе меня тоже так называли».

Леня говорит по-русски непринужденно, как на родном языке, даже с одесским акцентом, но, несмотря на это, он вьетнамец с ног до головы, тоненький, точеный, как статуэтка, с мягким овалом смуглого лица, с блестящей, словно литой, угольно-черной прической, с задумчивыми кофейными глазами и грациозными движениями. Он ехал с нами от Москвы, но путь его на родину начался еще раньше: от Одессы, где он окончил судостроительный факультет и откуда с дипломом инженера возвращался во Вьетнам. А если быть уж совсем точным, то сегодняшний путь его на родину начался даже не от Одессы, да и не в этом году, а из джунглей Вьет-Бака, почти на границе с Лаосом, и еще шесть лет назад — в 1954 году.

Он не знал тогда по-русски ни слова. И о том, чтобы стать инженером, тоже не помышлял. Он был просто партизаном, одним из самых отважных и ловких разведчиков Народной армии Вьетнама.

Не успели мы переехать советско-китайскую границу, как Леня в вагоне-ресторане (это был уже китайский вагон-ресторан) с наслаждением взял в руки палочки. Мы уставились на них не без испуга: как заставить рис с помощью такого ненадежного инструмента переправляться из пиал в наши рты? Рисинки, едва мы пробовали поддеть их, густо падали обратно в пиалу, потом на скатерть; последние же сыпались, когда мы, судорожно раскрыв рот навстречу палочкам, считали, что все трудности позади и что хоть что-нибудь, а в рот все-таки попадет.

Леня смеялся над нашими муками до слез: у него рис просто перелетал из пиалы в рот, и ему явно доставляло удовольствие то, что он нисколько не забыл за шесть лет, как управляться с палочками.

Когда мы переехали вторую — китайско-вьетнамскую — границу, он немедленно перебрался из нашего вагона в другой, общий.

Обливаясь потом, Леня сидит в окружении соотечественников, облаченный в темно-синий костюм из трико «метро», при галстукке и в рубашке с запонками, на которых выгравирована Спасская башня Кремля. Соотечественники уважительно, с одобрением шупают добротную ткань пиджака и брюк, и Леня бесконечно счастлив. Не забудьте, что хотя он и ветеран войны с французскими колонизаторами, но все же, когда его отправляли на учебу, ему было только шестнадцать лет, а сейчас — двадцать два.

Незадолго до поездки во Вьетнам мне пришлось прочесть одну, в общем вполне серьезную книгу, в которой, тем не менее, о жизни Китая времен древнейшей — Иньской — династии было сказано примерно следующее: что общественным строем тогдашнего Китая являлся рабовладельческий строй, упряжь лошадей украшали бляшками, а гадания совершали на костях различных животных и панцирях черепах.

Трудно было удержаться от улыбки, так трогательно все было свалено в кучу: и общественный строй и бляшки на упряжи. Однако не вина авторов, что сведения об иньском Китае пока скудны и разрозненны.

Но не будет ли невольной и мой рассказ о стране, в которой я пробыл такой короткий срок, напоминать подобное описание? Ведь чтобы познакомиться со страной, нужны годы.

И все-таки я не могу не написать о Вьетнаме и его народе. Может, хоть что-нибудь из того, что я увидел там, пригодится тем, кто не видел Вьетнама совсем. А пока так мало наших людей побывало там! Например, туристская группа, с которой отправился я, была лишь второй группой советских туристов за все годы существования Демократической Республики Вьетнам. Где бы мы ни появлялись, нас мгновенно окружали десятки ребятишек и с восторгом скандировали: «Льен-со, льен-со!» — «Советские!» Они определяли это моментально.

Первым ребенком, встреченным мной на земле Вьетнама, была совсем маленькая девочка. Со свежесломанной бамбуковой палкой в руке она грозно гналась за буй-

волом, улепетывавшим от нее с рисового поля,— он, бездельник, хотел не то разлечься там, не то даже полакомиться рассадой. Но сейчас он был уже далек от этих поползновений: он трусливо бежал от нее, как побитая собака.

Видение промелькнуло в окне вагона, обрамленное четкими черными бровками незасеянной земли, разделявшими рисовые поля. Каждое из полей располагалось выше другого — уступами. У бровок стояли странные сооружения: тренога из бамбуковых палок; к вершине ее прикреплена веревка, к концу веревки привязан большой, тоже бамбуковый, совок. Мелькнуло перед глазами одно такое сооружение, другое. Вот их выстроилась целая шеренга...

Потом мы увидели этот «агрегат» в действии. На затопленном нижнем поле у треног стояло пять-шесть человек — мужчин и женщин. Высоко засучив штаны (женщины во Вьетнаме, как и мужчины, одеты в штаны), они зачерпывали совком воду с поля и резким взмахом дружно посылали совок вверх. Зачерпнутая вода послушно перелетала через бровку на верхнее поле, а люди снова сгибались в поясище, снова зачерпывали воду совком и снова посылали его вверх...

Поля располагаются террасами по склонам гор. Вода, пришедшая по каналам из рек самотеком, поступает только на нижние. Верхние же орошают вот так. На некоторых склонах я насчитал до семи террас. И у каждой бровки стояла такая же тренога, а то и целая батарея треног...

Я знал выкладки агрономов: чтобы перебросить подобным способом на верхнее поле один кубометр воды, надо непрерывно махать черпаком час. И не менее чем двадцать два раза в минуту. В среднем гектару посева риса во Вьетнаме требуется от двенадцати до пятнадцати тысяч кубометров воды. Одному человеку пришлось бы перебрасывать совком нужное количество воды на гектар посева более тысячи дней. То есть три года!

Правда, такой расчет, конечно, неточен: я исключил из него влагу, которую поле получает без помощи человека — с неба,— а дожди в Северном Вьетнаме льют без малого круглый год. Но даже и с ними любая рисинка полита больше потом, чем дождем.

И еще одно я исключил из подсчета. Когда черпаки стоят в ряд — не один, а десятки,— работа идет веселей. И не только веселей — быстрее. А стоят они в ряд уже часто и означают чрезвычайно существенную перемену в жизни вьетнамской деревни: вступление единоличника в кооператив. В 1958 году кооперативы объединяли 5 процентов крестьянских хозяйств, в 1959-м — 45,4 процента, а в 1960-м — 85 процентов. Черпаки, даже в ряд,— это, конечно, только черпаки. То ли будет, когда на эти благодатные поля, способные приносить три урожая в год, придут машины, а течение рек перегордят плотинами электростанций! Но и теперь, даже с черпаками, урожай в кооперативах растет стремительно. В 1959 году собранного в Северном Вьетнаме риса пришлось на душу уже по триста двадцать семь килограммов. Между тем в Южном Вьетнаме, где урожай риса всегда были выше, чем на Севере, и который прежде был житницей всей страны, в том же 1959 году собрали только двести тридцать четыре килограмма на душу.

Но я отвлекся от детей.

Наверное, нигде я не встречал более «детских» детей, чем во Вьетнаме: непосредственных, любопытных, шустрых, как чертенята. Так и светятся передо мной их сверкающие карие глаза.

Я заблудился в первый же день приезда в Ханой. В этом не было ничего удивительного: город большой, раскинувшийся широко,— там, где строили для себя французы, целыми кварталами тянутся парки за решетками, из зелени кокетливо выглядывают изящные белые виллы. Не теснились.

Потом я оказался в старой части Ханоя — в районе центрального крытого рынка Донг-Суана. Я узнал его сразу — по картинкам в книгах. Из книг же я знал и то, что именно вокруг Донг-Суана много веков назад сложился Ханой. Я помнил из прочитанного, что улицы носят здесь старинные, еще средневековые названия: улица Серебра и Золота, улица Дорожных Корзин, улица Бумажных Изделий, Конопляная и Гребешко-

вая, улица Жареной Рыбы, улица Вееров. Хотя для этого и книг не надо было читать: когда проходишь улочкой, где в двадцати пяти лавчонках из тридцати торгуют плетеными дорожными корзинами и баулами, ясно, что ты на улице Дорожных Корзин. Еще издали оповещала о себе запахами — и, надо сказать, искустельными! — улица Жареной Рыбы. Торговый ряд, где у каждой лавочки хозяин картинно обмахивается веером, едва завидя возможного покупателя, а в глубине помещения его жена и двое или трое детей плетут эти самые веера из рисовой соломки и тут же раскрашивают их, — ясно, что этот ряд не может называться иначе, чем улица Вееров.

Лавчонка, совмещенная с мастерской, а также большей частью и с жильем, — это была наиболее частая картина. Тут семья и спала, и работала, и торговала своими изделиями.

Правда, нередко попадались и другие лавочки, в которых трудилась уже не семья, а — это было понятно и без расспросов — артель. Сапожные, кузнечные, швейные и всякие другие. Работа здесь шла заметно быстрее.

На окраине мое внимание привлекла лавочка, изготовлявшая — я даже не понял на первый взгляд что. В ее витрине с потолка на веревочках свисали... змеи! Всякие: чучелами, с бусинками вставленных стеклянных глаз, и змеиные выделанные кожи — желтые и серые, пятнистые и гладкие...

И еще свисали на веревочках высушенные ящерицы и черепахи — их, по-моему, здесь употребляют для каких-то лекарств.

Я подошел к этой лавочке как раз в тот момент, когда хозяин принимал свежий товар. Поставщик его, босоногий парнишка лет шестнадцати, сидел на корточках у принесенной им корзинки и доставал оттуда змею за змеей. Некоторые экземпляры — видимо, наиболее нравившиеся ему — он, перед тем как бросить к ногам хозяина, еще высоко поднимал в воздух, и они переливались на солнце. В глазах его сияло восхищение художника. Так охотник на Севере горделиво встряхивает самую красивую шкурку соболя или горноста, прежде чем небрежным жестом швырнуть ее затем на прилавок в фактории.

Как мне хотелось узнать, откуда этот паренек, где он ловит змей, чем занимается, кроме охоты! Но я был нем — нем горестно и безнадежно. И ничего не понимал. Вьетнамская речь — дело мудрое. В ней шесть тонов. Это значит, что одно и то же слово, но произнесенное другим тоном, означает нечто совершенно иное.

Когда я слышал ее, меня не оставляло ощущение, что вьетнамцы постоянно поют, точнее — мелодекламируют. А они просто говорили. И, возможно, даже не очень выразительно по-своему.

На бумаге эти шесть тонов отражались тем, что любую гласную почти всегда сопровождали значки: то ударение, поставленное сверху (хотя я, конечно, не знаю, было ли оно ударением), то точка внизу, то целый заборчик над буквой, вроде поваленного набок писаного латинского «N», а иногда русского «и». А то вдруг на букву вскарабкался вопросительный знак.

Сначала я еще пробовал разобраться, на какой все-таки лад надо произносить «о» или «е» с каждым из этих значков, но потом сдался. Мудрая восточная пословица гласит, что тот, кто начинает учиться игре на саазе в сорок лет, заиграет уже на том свете. Игра же на саазе, я уверен, — детские игрушки по сравнению с вьетнамским языком.

Вот почему я оставил попытки овладеть вьетнамской речью и думаю, что поступил правильно. Но когда я заблудился, я все же пожалел, что она так трудна. Ни одного слова в запасе. Ни единого!

Впрочем, тут произошло чудо.

Чудо выглядело так. Двое босоногих мальчишек в трусах и белых рубашках, с пионерскими галстуками, оба с бутылочками чернил, которые они за веревочку привязали себе к указательным пальцам (было ясно, они возвращались из школы), подошли ко мне почти вплотную, о чем-то быстро спелись между собой и, вежливо поклонившись, в лад произнесли, как «здравствуйте»:

— Хо-ро-шо!

И сразу же рассмеялись, довольные, как это у них здорово получилось.

Невольно рассмеялся и я.

— Здравствуйте, ребята, здравствуйте, дорогие!

Но эти русские слова были им уже неведомы. Они пытливо смотрели на меня — я повторял еще и еще, отдельно уже, по слогам: «Здрав-ствуй-те!», — а затем виновато развели руками: нет, этого они не понимали.

Тогда я потыкал себя в грудь пальцем и сказал:

— Льен-со! — И потыкал в грудь пальцем попеременно каждого из них: — Вьет-нам!

Тут они снова радостно засмеялись. О да, это было понятно. Конечно же, они «Вьетнам», а я «Льен-со»!

Тогда я, соорудив из пальцев «козу» и изобразив, как человек торопится, произнес по слогам, снова тыча себя в грудь:

— О-тель. Ме-тро-поль.— Это было название моей гостиницы.

И мальчуганы опять поняли меня! Деликатненько взяли за руки с обеих сторон (точнее, каждый за мизинец) и повели, неизмеримо гордые своей миссией.

К нам немедленно стали подходить другие мальчики. Мои охотно мелодекламировали им что-то (я разбирал одно — то, что в их речи звучало чаще всего: «Льен-со!»), и новые тотчас присоединялись к кортежу.

Ребята повели меня к гостинице через весь Ханой: мимо скромных древних пагод, окруженных задумчивыми зелеными прудами и зарослями мангровых деревьев; мимо пышных зданий, возведенных французами для Индокитайского банка и представительств разных акционерных обществ, с жалюзи на громадных окнах (правления обществ находились в Париже); улицей Раненого Сердца и берегом озера Возвращенного Меча. Прошли мы и мимо школы, где учились мои провожатые. Они остановили меня около нее и так настойчиво пытались объяснить мне, почему остановились именно тут, что я в конце концов догадался, в чем дело.

Это была обычная школа: видно, бывшее торговое помещение с выставленной на день, как во всех лавках, передней стеной. По улице, чуть не задевая корзинами с покупками тех школьников, что сидели на последней скамье, двигался народ, звонили на мостовой велорикши, расчищая себе путь, но и школьники и молоденькая их учительница, должно быть, так привыкли к уличному шуму, что не обращали на него никакого внимания. Помещение было тесно уставлено длинными столами и скамьями без спинок. Не знаю, видел ли когда-нибудь в жизни хоть один из школьников настоящую парту. Но и то сказать: где он мог ее видеть в стране, только шесть лет назад кончившей воевать, только шесть лет назад избавившейся от колонизаторов, которые открыли больше сотни тысяч винных лавок, тысячи курилен опиума, но разрешили при этом существование всего лишь нескольких десятков начальных школ! Я не большой любитель цифр, однако некоторые запечатлелись в моей памяти так, что их не вытравить ничем. Отправляясь во Вьетнам, я прочел в одном справочном издании такие цифры: при генерал-губернаторе Альбере Сарро, в 1917—1919 годах (французы аттестовали его «просветителем» Индокитая и даже воздвигли ему роскошный памятник перед зданием Индокитайского банка в Ханое; фигуру Сарро теперь сбросили, а постамент остался — постамент неплох), так вот, в Индокитае при Сарро одна начальная школа приходилась на сто деревень! Зато на каждую школу в тех же ста деревнях приходилось сто пятьдесят винных лавок и десятки курилен опиума! А после Сарро продажа алкоголя и опиума возросла еще раза в три! Не помещалась ли эта школа в бывшей винной лавке или опиекурильне? Очень может быть: помещений для школ Вьетнаму надо много — весь народ учится! И их не хватает.

Мне показалось, что классная доска в школе была некрашеной. Приглядевшись, я убедился, что не ошибся: она действительно была сколочена из некрашенных досок. Но доски эти были... черного дерева! В школе шли занятия второй смены, мои-то провожатые уже отзанимались.

Ребята наконец довели меня до гостиницы, и я, встретив у подъезда нашего переводчика Биня, перестал быть безъязыким.

Значки, которые я им вынес — с Лениным, со спутником, с голубем мира, — они расхватали мгновенно. Они сердечно поблагодарили нас, а со мной попрощались опять тем же магическим словом:

— Хо-ро-шо!

\* \* \*

Ханой просыпается рано, весело и шумно. Еще только светает, как вдруг, одновременно во всех кварталах, домах, квартирах, раздаётся:

— Мот — хаи — ба — бон! Раз — два — три — четыре!

Это значит — полпятого.

Подымаются все: школьник, и рабочий, и солдаты в казармах, и торговец, и велосикшда, и Хо Ши Мин в президентском дворце. Поскорее стряхнуть с себя ночную истому — ведь воздух и ночью влажен и горяч! Темп команды становится все живей, ночная хрипотца, звучавшая еще в первых «мот — хаи — ба — бон!», исчезает — это ж не диктор по радио командует профессионально поставленным голосом, а самостоятельные физкультурные инструкторы, чаще всего пионеры. И не нужно уже так длинно считать на четыре. Достаточно счета на два: хаи — бон, хаи — бон! Бегом! Бегом, папа! Бегом, мама! Руки шире! Вдох! Выдох! Глубже вдох! Глубже, глубже! Дядя Хо сказал: «Соотечественники, мы должны быть крепкими и здоровыми!»

А потом, сразу вслед за командами физзарядки, улицы Ханоя заливают другой шум и не смолкают уже до ночи: звонки велосипедов.

Я видел однажды на Енисее, как прорвало запань. Желоб реки, стиснутой с обеих сторон гористыми берегами, вдруг оказался — весь! — заполнен неудержимо несшимися вперед бревнами, и каждое было живое и само по себе. Страшно было даже подумать: а что, когда б я оказался в этом потоке? Я вспомнил эту прорванную запань в Ханое. Где уж тут пытаться перейти улицу! Слонами в потоке велосипедистов плывут редкие автомобили. Их на сотню и одного не приходится, они важные, солидные, но и они, мне кажется, дрожат: а что, если велосипедисты вдруг поглотят их? Как муравьи!

Велосипедов в Ханое миллион! Ну пусть не миллион — двести тысяч. Это тоже немало на шестьсот пятьдесят тысяч жителей. Стада машин стоят в стойлицах перед каждым магазином, дожидаясь хозяев, ушедших за покупками. Стада — перед фабриками, учреждениями, мастерскими.

Едет на велосипеде молодой папаша, приладивший на раму крохотное бамбуковое креслице, в которое заботливо усажен годовалый бутуз. Едет студентка в университет: за спиной у нее чертежная доска. Едут муж с женой: муж — на работу, жена — на рынок. Она сидит на багажнике боком, ни за что не держась, и еще корзина у нее в руках, но она себя чувствует спокойно, как в кресле. Она как ни в чем не бывало разговаривает с мужем, который то и дело оборачивается к ней, и с попутчицами, едущими, как и она, на багажниках велосипедов своих мужей. А на некоторых велосипедах один человек на седле, другой — маленький человечек — в креслице, прилаженном на раму, третий (жена) — на багажнике, а на руках у нее четвертый!

А на дорогах Вьетнама, в особенности на сельских, ведущих к рынкам, сплошь и рядом встречаешь велосипед, на который ездоку вообще уже некуда сесть. Это велосипед-битюг, велосипед-верблюд. Седло с него снято, цепь передачи — тоже. По обе стороны рамы симметрично пристроены мешки-пятерики, и еще полные бидоны, и еще связки бамбука, и, кроме того, корзины с гроздьями бананов, а затем нередко и пара спеленутых темно-серых поросят — ну прямо тебе продолговатые авиабомбы, только визжащие.

Управлять подобным сооружением — искусство: ведь и до руля не дотянешься. Поэтому погонщик (я не нахожу другого определения; по-моему, это точнее всего) приторачивает к левой рогулке руля длинную палку, на место седла наискосок вгоняет в раму другую палку, а сам шествует сбоку, левой рукой управляя этим гибридом велосипеда и буйвола, а правой придерживая заднюю палку для сохранения равновесия. Трудно представить себе, что такое велосипед для вьетнама, но увидев этого собственного глазами. Во время войны, например, на велосипедах «уносили» целые дороги. Партизаны за ночь перекапывали километры дорог, по которым двигались

французы и японцы,— или в шахматном порядке ямами, или зигзагами, или поперечными траншеями через каждые несколько метров,— и всю вынутую землю в ту же ночь уносили в корзины на коромыслах или увозили на велосипедах.

Знаете, сколько грузят на слона? (Во Вьетнаме слон — обычное вьючное животное.) Тонну! А на велосипед во время войны патриоты-перевозчики вьючили по триста кило. Три велосипеда — слон, пять — полуторка!

Как же выглядят эти богатыри, эти «треть слона»?

Возраст вьетнамца, особенно мужчины, определить трудно. Тонкие черты лица, смуглый цвет кожи, маскирующий морщины, поджарая фигура невероятно молодят вьетнамца, и мы всякий раз принимали сорока- и даже пятидесятилетних мужчин за юношей. Но кто уже и в тридцать выглядит стариком, так это велорикши.

Вот они, со впалой грудью, со вздутыми венами на ногах, натужно вертят педали своего педикеба — велосипеда, к которому впереди приложена или коляска (пассажирское такси), или чаще полók (грузовое такси). Седло педикебщика так обмотано для мягкости всяким тряпьем, что и не разглядишь, какое оно. А педали у рикши — гладкие деревянные ступеньки: ему на них целый день стоять, и босиком.

И он, конечно, не едет на педикебе — не то это слово. На его полók нагружено столько всего, что он, даже стоя и вытянув шею, едва видит впереди дорогу. Он медленно переваливается с одной педали на другую и то и дело маленьким мохнатым полотенцем, обмотанным вокруг шеи (утром прохладно — всего двадцать пять градусов тепла), отирает пот, заливающий глаза...

Как-то под вечер мы отправились на выставку «15 лет Демократической Республики Вьетнам». Но не успели дойти, как уже наступила ночь. Ночи в тропиках приходят на смену дню мгновенно. На небо высыпали незнакомые нам созвездия; мы еле отыскивали Большую Медведицу — она сползла совсем вниз, почти к самому горизонту.

По стенам домов привидениями скользили гекконы — лихо цокающие языками стремительные ящерицы. Они метали язык, как дротик, и непременно настигали какое-нибудь зловредное насекомое. За это их любят во Вьетнаме и даже находят симпатичными. Я тоже готов был полюбить их за это, но признать симпатичными все же не мог.

Рабочий день только кончался. Здесь очень большой перерыв днем — с полдвенадцатого до двух, — жара в это время не дает трудиться совершенно, даже буйволы бастуют. Но поэтому же рабочий день и начинается раньше, и кончается позже.

Во многих мастерских, мы видели, люди, закончив работу, не расходились. Кое-где шли собрания. Кое-где вслух читали газеты и книги. Другие мастерские на глазах превращались в школы: к неприметной днем классной доске у задней стены выходил преподаватель и начинал урок.

Ярко освещены были подъезды кино. Возле них — молодежь. Картины шли советские, китайские, германские, чешские, венгерские: вьетнамская кинематография только зачинается. Впрочем, не сразу можно догадаться, видя афишу «Nep-ski», что это реклама эйзенштейновской ленты «Александр Невский».

Около выставки теснились педикебы — правда, почему-то без единого рикши. Но мы только позже поняли почему.

Я увидел педикебы и почему-то вспомнил Москву начала двадцатых годов. Так же мало в ней было автомашин, и тоже все были иностранных марок. Так же стучали по тротуарам деревянные подошвы сандалий; так же тяжело, как здесь велорикши, надрывались у нас тележечники, вручную, на двухколесных тележках, перевоза гардеробы и пятерки картошки, рояли и дрова.

Ленин мечтал о сотне тысяч тракторов, о гидростанциях, о культурной революции.

Он уже знал, что жить ему осталось считанное время. В последний раз вырвался из Горок в Москву. На обратном пути из Кремля, у Калужской площади, потребовал: сворачивайте на выставку! (Она находилась рядом.) Это была первая сельскохозяйственная выставка Советской России. Ее украшали схемы плана ГОЭЛРО — с пульсирующим кружком действующей гидроэлектростанции на Волхове и с превеликим множеством других кружков. Правда, эти тогда были только намечены, пульсировали единственная...



Громкие фотографии тракторов висели на стенах, воочию русский крестьянин их еще не видел, разве что один из десятков тысяч. Он ходил по выставке, этот русский крестьянин в армячишке из реденького домотканого сукнеца, в лаптях и онучах, примеривался и к трактору, и к искусственному дождеванию посевов, и к новым сортам пшеницы и ржи. Подолгу беседовал с садоводом, расхаживавшим по своему участку на выставке, где экспонировал невиданные яблоки, и сливы, и вишни. Уважительно слушал, потом присил:

— Запиши, пожалуйста, почтенный, куда тебе отписать. Потому что мы еще, извиняйте, малограмотные. Но интересуемся.

Садовод, присланный на выставку самим Мичуриным, вырывал листок из блокнота и крупными буквами писал: «Город Козлов, Тамбовской губернии».

Владимир Ильич долго, стараясь вобрать в себя все-все, что видел тут, медленно ходил по выставке.

Это было 19 октября 1923 года — последний приезд Ленина в Москву и последнее, что он в Москве в своей жизни видел.

От выставки машина шла, не останавливаясь до самых Горок.

На Ханойской выставке много экспонатов, в том числе фотографий передовиков труда. Одна большая фотография висит в центре стенда, увенчанного странным лозунгом: «Освободим наши плечи!» С нее прямо на посетителей смотрит полнолицый мужчина, с иссиня-черной шевелюрой, с пытливыми веселыми глазами, молодой, но почему-то с складистой, как будто приклеенной, седой бородой. Под фото подпись: «Старик Бюк, член кооператива Мин-Тан, волости Мин-Тяу». Значит, борода настоящая. Чем же прославился старик Бюк?

Гиды на выставке — почти у каждого стенда. Вначале это показалось нам излишним. Но когда ходили по выставке, поняли, что здесь иначе нельзя. Потому что сюда приходят не развлекаться, а учиться, и чем больше преподавателей, тем лучше. Это высокое слово в применении к выставке — «учиться»; но здесь я вновь ощутил, какое оно точное, если применено справедливо. Сюда приходят семьями, артелями, школьными классами, останавливаются у заинтересовавшего экспоната и стоят, не жалея времени: шупают вещь руками, и измеряют ее, и засыпают гида вопросами о таких подробностях, что с него семь потов сходит. А потом, поразмыслив над ответами, высыпают куль новых вопросов. Тут обычный гид, гид-граммофон, обанкротился бы сразу же! Но как увлеченно и вместе с тем терпеливо отвечают на вопросы здешние гиды — гиды-агитаторы и пропагандисты, юноши и девушки со значками вьетнамского комсомола, большей частью студенты и студентки ханойских вузов!

Заметили они и наше недоумение. «Освободить плечи!» — что значит эта надпись? И тут же завязали беседу и с нами.

Мы советские, не так ли? А видали ли мы уже, как носят во Вьетнаме грузы на коромыслах?

Да, это мы увидели в первый же день. Идет вьетnamка пританцовывающей походкой. Гнется на каждом шагу гибкое бамбуковое коромысло, чуть раскачиваются корзины... Чувствуется, походка выработана веками. Женщина плывет павой...

Гиды грустно усмеваются. Плывет павой? А пробовали ли вы подставить свое плечо под такое коромысло? Чтобы отнести, скажем, ил на поле; ил — прекрасное удобрение. И не пару корзин, а наносить его столько, чтобы на все поле хватило? Или отправиться за пять-шесть километров на рынок продать бананы?.. «Пританцовывает»... Да это колени у нее на каждом шагу подламываются!..

Мы молчали.

— А старик Бюк, — продолжали гиды, — решил: довольно! Человек не буйвол — таскать грузы на себе. Мы заработали право выпрямиться! И изготовил для своего кооператива восемь телег. Вот они, на нижних фото. Может быть, и неказистые, зато из материала, которого вдоволь всюду, — бамбука и дерева. И пусть конструкция не столь уж совершенна — колеса сплошные, — но у людей плечи-то освободились! А вы понимаете, как это важно именно теперь, когда строится весь Вьетнам! Новые ирригационные сооружения возводить нужно? Нужно. А реконструировать старые? А строить

заводы? А порты, дороги, больницы, школы? А просто жилье? Между тем машин не хватает, это тоже факт. Значит, тем более нужно высвобождать каждого человека от скотского труда!

Мы интересуемся у гидов:

— А что именно натолкнуло Ыюка на мысль заняться изготовлением телег?

— Что именно? — Они рады вопросу. — А то, что в кооперативе Мин-Тан было уже трудно без телег свозить урожай с поля — это занимало чересчур много времени!

На другом стенде выставки, напротив портрета Ыюка, висел старый, потрясший меня давно кинокадр оператора Мухина: крупно, со всеми горькими морщинами, лицо плачущего от счастья седого крестьянина, который нежно обнял за шею буйвола и целует его прямо во влажную морду. Этого буйвола народная власть отняла у помещика и отдала бедняку. И землю отдала. И соху.

Нет, до аграрной реформы старику Ыюку не приходилось бы ломать голову над тем, как вывезти урожай с поля! До восьмидесяти процентов урожая отдавал, бывало, вьетнамский крестьянин помещику как арендную плату за землю! Отдавал за аренду четыре корзины риса из пяти собранных. А если помещик брал из пяти корзин три, он уже считал себя благодетелем! А если две, то его считали ангелом и сами крестьяне!

У шестидесяти процентов вьетнамских крестьян земли не было вовсе. Две трети всей земли принадлежало помещикам, ростовщикам и кулакам, и на пропитание каждого едока после уплаты аренды, налогов и всех прочих поборов, а также засыпки семян оставалось не более пятидесяти кило рису в год, то есть на день на человека максимум сто сорок граммов! Если приходил неурожайный год, то во Вьетнаме, насчитывавшем двадцать с лишком миллионов населения, умирали миллионы. В 1945 году, когда прорвало дамбы на Красной реке и затопило посевы в дельте ее, с голоду умерло около трех миллионов вьетнамцев!

Вы хотите знать, как и почему обобранный до нитки, неграмотный, разутый и валяющийся с ног от постоянного недоедания вьетнамский крестьянин голыми руками победил вооруженных до зубов французских колонизаторов, вышвырнул японских захватчиков, одолел собственных помещиков, ростовщиков и кулаков?

Да потому, что на знамени, под которое он встал, — на знамени его Коммунистической партии — еще с момента ее основания, с 1930 года, было начертано: «Землю — тем, кто ее обрабатывает!»

...Плачет первыми счастливыми слезами бедняк, целующий буйвола в морду.

Весело улыбается молодой старик Ыюк из кооператива Мин-Тан.

Оживленно осматривает выставку — я сообразил теперь, кто это! — группа велорикш, чьи пустые педикеты мы заметили у входа.

Уточняя у гида: я не ошибаюсь?

Нет, так и есть. Артель велорикш устроила сегодня, прямо после работы, культ-поход на выставку. А что, разве это меня удивляет?

Нет, нет, дорогой гид, нет, что вы. Что тут может удивить?!

Особенно людно у таких экспонатов, которые способны на глазах оживать: у макета завода, где вдруг приходят в движение транспортеры, поднимаются стрелы башенных кранов с грузами на ниточках, по рельсам заводской железной дороги деловито начинает бегать трудяга паровозик с составом. Он вывозит готовую продукцию с завода — крупные панели для строительства зданий и новых заводов. Так же людно макетика плотины. Сколько гектаров земли напоит это стеклянное озеро, так расиво подсвеченное снизу, сколько электроэнергии даст, когда по воле человека ринутся вниз, на лопатки турбин, потоки воды, накопленные в нем, и это будет уже не макет, а на самом деле! Но и сейчас завораживает эта голубая вода всех, кто тесным кольцом обступил ее и не может от нее глаз оторвать...

Не пробиться и к макету будущего Ханоя. Ханой увеличится в несколько раз. Он громадный, этот макет. Новые набережные, широкие тенистые улицы, парки, стадионы театры, кристально чистая вода озер...

Велорикши обступили макет. Тут же стоят и школьники. Школьников не устраивает то, что план предусматривает лишь один большой стадион — центральный. Они

находят, что не сможет обойтись без такого стадиона, как центральный, каждый район будущего Ханоя.

Велорикши осаживают мальчуганов. Правда, мягко (как вообще спорят вьетнамцы), но, тем не менее, непреклонно. Они возражают ребятам так, как будто, если они не одержат верх, им придется сию же минуту вынимать из кармана на гребуемое школьниками строительство миллионы донгов, а они не могут позволить себе без толку швыряться подобными суммами. Кто-кто, а они знают цену грудовым деньгам!

Но и школьники не отстают: они тоже знают, что им нужно. Это же для здоровья!

...Если бы мог это увидеть Ленин!

\* \* \*

Когда мы приехали в Хайфон, то едва ли не первым, кого я встретил в тамошнем порту, был... Леня!

Оказывается, его задержали в Ханое всего на день. Надо расширить Хайфонский порт, расширять судостроительный завод — каждый работник на вес золота! Его направили сюда.

— Отлично! Значит, ты уже приступил к работе?

— Не совсем. Хотя да... В общем, мне дали четыре дня — сегодня как раз последний, — чтобы присмотреться к порту, и сказали, что это и есть моя главная работа сейчас. Хотите, мы можем провести день вместе?

Еще бы! Конечно, хочу! По-моему, мне просто везет.

Начали осмотр с причалов. В ряд стояли суда под флагами разных государств.

Хайфонский порт — крупнейший в Северном Вьетнаме. В Хайфон приходят суда со всего мира. Наши — с химическими удобрениями, различными станками, с радиоаппаратурой. Китайские — точно так же и Китай шлет Вьетнаму машины, например для дорожного строительства; шлет хлопок для Намдиньского текстильного комбината; шлет еще многие другие товары. Гедезровские суда — с великолепным оборудованием для больниц и лабораторий Ханойского университета, с кинопроекторными установками, с полиграфической машинерией. И египетские суда приходят — они тоже выгружают хлопок для Намдиньского комбината. Своего хлопка Вьетнаму для обеспечения комбината пока недостает. Французы выстроили в Тонкине, как они именовали дельту Красной реки — самую населенную и самую нищую часть Вьетнама, — громадную фабрику, рассчитанную на ежегодную переработку тринадцати тысяч тонн хлопка: прельщала дешевизна рабочей силы. Недаром одним из самых прибыльных товаров, вывозимых ими из Тонкина, были... рабы!

Да, рабы, хотя они назывались иначе, не столь откровенно: кули. Их вербовали для работы на каучуковых плантациях Южного Вьетнама. Десятки тысяч их ежегодно проходили через Хайфонский порт. Это были самые настоящие рабы. Даже хуже. «Рабовладелец был по крайней мере заинтересован в том, чтобы кормить своего раба, который представлял для него известную ценность. Наоборот, для того, кто покупает тонкинца на пять лет (срок контракта.— *Р. Б.*), его ценность ежегодно снижается на одну пятаю. Таким образом, он заинтересован в том, чтобы за пять лет выжать из своей покупки все, что только можно... и какое ему дело до того, что человек к моменту своего освобождения станет уже ни на что не годным!.. То, что совершается в Индо-Китае, еще хуже прежнего рабства».

Это свидетельство относится к 1927 году и принадлежит перу не коммуниста, а южновьетнамского каучукового плантатора (правда, не из крупных), некоего Монпеза. Каучуковые монополии грозили таким плантаторам разорением, вот они и завопили.

Монпеза, державшиеся за свои небольшие плантации и управлявшие ими лично, знали кули в лицо, и они еще в 1927 году поняли, глядя на эти лица, что народ толкают, просто-таки силой толкают на вооруженное сопротивление.

В отличие от Монпеза директора Индокитайского банка подсчитывали дивиденды, сидя в Париже. Дивиденды были огромными. В 1931 году акции Индокитайского банка давали шестьдесят шесть процентов годового дохода! Директора банка не придавали значения воплям Монпеза: они были уверены, что достаточно подбросить еще сотню-

другую пушек в Индокитае и любой мятеж будет подавлен. Они продолжали быть уверенными в этом даже тогда, когда эти сотни пушек были переброшены, а Народная армия Вьетнама, возникшая в 1946 году, тем не менее одерживала победу за победой, вплоть до Дьен Бьен Фу — вьетнамского Сталинграда. Под Дьен Бьен Фу в 1954 году французский Экспедиционный корпус, как известно, был окружен, разгромлен, а затем пленен.

Впрочем, и Дьен Бьен Фу ничему их не научил: они теперь пытаются подавить Алжир...

Суда почти всех стран мира приходят в Хайфонский порт. Одни — доставить товары или безвозмездно, или в счет долгосрочных льготных кредитов: Вьетнам до сих пор остается самым слабым экономически государством социалистического лагеря, и все остальные социалистические страны оказывают ему братскую помощь. Другие суда приходят в Хайфон из капиталистических стран. Что ж, и таких Хайфон встречает дружелюбно. Австралиец привез шерсть. Милости просим, говорит Вьетнам, и покупает шерсть. И всюду — на улице, дома в свободную минуту, на рынке между двумя покупками, даже в кино и в театре — как пятнадцатилетняя вьетнамка, так и шестидесятилетняя не расстаются с мотками австралийской шерсти и вяжут, вяжут, вяжут.

Я, правда, нигде во Вьетнаме не видал в продаже изделий из этой шерсти: они идут на экспорт. Шерстяные изделия отнюдь не предмет первой необходимости во вьетнамском климате. Обеспечить всем работу — нелегкая задача в стране, где промышленности мало, а рабочих рук много. Австралийская шерсть позволяет занять производительным трудом женщин, не прибегая ни к каким капиталовложениям, и в то же время дать дополнительный доход семье.

ДРВ торгует охотно и с кем угодно. И продает и, как я вижу, покупает. Нет здесь только южновьетнамских судов. И может быть, нигде в Северном Вьетнаме не видна так наглядно, как тут, трагедия этой единой страны, буквально как секирой разрубленной на две части.

Хайфон наиболее тесно связывал север Вьетнама с югом. Единственная железная дорога, шедшая в том же направлении, никогда не играла столь большой роли, как море, для экономической связи этих двух основных частей страны. Сюда на север везли морем рис. С севера на юг везли уголь. Теперь — ничего. Экономические связи разорваны до последней ниточки. Да что экономические! Даже нормальная переписка воспрещена. Лишь открытку может послать сын из Ханоя матери в Сайгон, причем со считанным количеством строк, чтобы нго-динь-дьемовской цензуре легче было проверять. Как в тюрьму заключенным! Иногда открытки доходят, чаще — нет...

Мы останавливаемся возле советского теплохода «Урюпинск», пришедшего прямым рейсом из Одессы. И Леня и я одинаково рады встрече.

«Урюпинск» доставил в Хайфон бульдозеры и апатитовый концентрат. За некоторое время до этого другие советские теплоходы доставили в тот же Хайфон полное комплектное оборудование для апатитового рудника. Апатиты есть и в самом Вьетнаме, надо только суметь их добыть в нужном количестве.

С точки зрения капиталистической торговли, поставка Вьетнаму оборудования для апатитового рудника — абсурд. Страна так нуждается в удобрениях, а ей помогают избавиться от этой зависимости!

Но если для нас, людей социализма, подобное решение только естественно — и даже вроде бы неловко останавливаться на нем, — то вьетнамцы ощущают эту разницу еще необычайно остро.

Концентрат с «Урюпинска» разгружает крановщик-вьетнамец. Ворочая рычагами управления, он непринужденно сдвинул на затылок свой тропический шлем. Я знаю — как только изгнали колонизаторов из Индии, Индонезии, Бирмы, так сразу же изгнали и этот принесенный ими шлем, и кто осмелится надеть его там сегодня не гарантирован от неприятностей. У вьетнамцев же он не вызывает ни малейшей ненависти. Больше того, редкий мужчина в городе носит другой головной убор. Шлем удобен, чего ради от него отказываться?

Этот народ, столько натерпевшийся от колонизаторов, ни в малой мере, однако, не заразился от них язвой шовинизма. Наряду с вывесками на вьетнамском языке спо-

койно продолжают висеть вывески на французском. Если вы обратитесь к вьетнамцу по-французски, от вас никто не отвернется, и если вас поймут, никто не сделает вида, будто бы вас не поняли. В витринах книжных магазинов сплошь и рядом выставлены книги французских писателей, причем не только на их родном языке, но и в переводах на вьетнамский. Среди улиц Ханоя есть улица Эрсана. Кто такой Эрсан? Хороший французский врач.

Или еще штрих. На многострадальной земле Вьетнама, в любом углу республики, растянулись на десятки гектаров кладбища французских солдат и офицеров. Они добились от вьетнамцев покорности, пытая электрическим током, закапывая живьем в землю, — что там устаревшее «огнем и мечом»! Это было совсем недавно. Только шесть лет назад отступил последний французский солдат из Хайфона, и не мчись время так быстро, мы бы до сих пор помнили мельчайшие подробности священной войны вьетнамского народа против тех, от кого сегодня остались лишь одинаковые белые кресты, на которых рядом с французскими именами такие имена и фамилии, как «Зигфрид Штайнах из Мюнхена», «Вольфганг Иммерманн из Касселя». Французское командование тщательно подбирало ядро Экспедиционного корпуса во Вьетнаме из самых испытанных палачей — из эсэсовцев, из итальянских фашистов. Однако ни один крест на этих кладбищах не сбит, не порушен. Кладбища и сейчас в полном порядке.

Крановщик в тропическом шлеме уверенно управляет краном, который за один прием переносит из трюма судна такое количество концентрата на причал, что его хватает на несколько электрокаров. Рядом с крановщиком, правда, сидит еще и наш товарищ с «Урюпинска» — он наблюдает, но кроме этого делать ему нечего: крановщик работает четко, спокойно. Пройдет неделя-другая, он обойдется уже без всяких инструкторов.

Минут через десять он спускается на причал — наступил обеденный перерыв, — и Леня знакомит меня с ним. Его настоящей фамилии я сообщать не стану, назовем его Нгуэном — это по-вьетнамски вроде как «Иванов» у нас.

Давно ли Нгуэн работает здесь?

Я задаю вопрос Лене, Леня — ему. Смысл того, что говорю я и что отвечает мне Нгуэн, Леня передает точно, я не сомневаюсь. Но интонация... Интонация, к сожалению, пропадает.

Да, Нгуэн работает тут давно: двадцать лет. Если не считать, конечно, перерыва на войну — с сорок шестого по пятьдесят четвертый. Эти годы он провел в партизанском отряде, а затем в армии.

А какую работу он выполнял тут до того, как началась война?

— А какую работу мог тут прежде выполнять вьетнамец? — отвечает мне Леня вопросом на вопрос. — Он был кули в порту до войны.

Порт сильно изменился с того времени?

И да, и нет. Тем, кто видит его впервые, может показаться, что, наверно, не очень: и настилы причалов прежние, деревянные, и здания складов старые и сравнительно небольшие. Но порт изменился сильно. Например, прежде в него могли входить суда водоизмещением не больше семи тысяч тонн, а теперь, когда СССР и Китай прислали свои землечерпалки, — фарватер углубили, и Хайфон стал доступен судам уже десяти-тысячетонным. И разгружают их кранами, грузовиками и электрокарами — это не кули!

Я внимательно всматриваюсь в Нгуэна: какой из него грузчик! Маленький, хрупкий, как все вьетнамцы, он, наверно, и трехпудовый-то мешок поднимал через силу.

Но — поднимал и нес по хлипким, развезжающимся сходам, скользким от нескончаемого дождя, и даже бежал под окриками «кая» — подрядчика, артельного старосты, который забирал заработок всей артели себе, а уж потом решал, сколько каждый заработал. Что Нгуэн мог тогда сделать против этого? Не нести, не бежать? А на что жить?

— Леня, спроси, пожалуйста: что ввозили тогда через Хайфон?

Леня переводит. Пауза. Нгуэн молчит, но на его скулах под тонкой кожей начинают ходить желваки. Потом отвечает зло, отрывисто:

— Что ввозили, вы спрашиваете? Я вам отвечу. Все, что ввозили, я на собственных плечах перетаскал. Бильярдные столы. Ванны. Вентиляторы. Пушки. Трюмо. Рояли.

Я ничего не забыл! Школьные парты для гимназии. Ковры. И еще пушки. И железные узорчатые ворота и решетки для вилл.

Нгуэн говорит что-то еще, но Леня перестает его переводить.

— Зачем вам получать перечень от Нгуэна, он мог позабыть многое,— обращается он ко мне.— Если вас это интересует, мы в управлении порта сумеем получить самые подробные данные. Суммарные же цифры и я вам могу назвать. Просто по памяти. Нгуэн, в общем, прав. Половину всего ввоза во Вьетнам (точнее, сорок девять процентов) составляли товары, предназначенные исключительно для европейцев, для их личного обихода: то, что он перечислял, плюс парфюмерия, автомобили и тому подобное. Ну и, конечно, вина. Но это было не только для европейцев. Хотя мы, вьетнамцы, алкоголь не употребляем совершенно, они нас заставляли пить вино. Была даже норма: семь литров в год на каждого, включая новорожденных. Если семья желала отметить какой-нибудь день — свадьбу, день рождения, даже похороны,— представляй властям справку о покупке вина, иначе нет разрешения ни на что. А нарушишь — штраф и тюрьма!

Леня коротко переводит Нгуэну, что он сказал мне. Нгуэн, кивая головой, подтверждает: правильно. И внимательно смотрит на меня: понимает ли советский человек, как они жили тут?

Леня, кончив переводить, молчит. Нгуэн тоже молчит. И я долго не могу слова вымолвить. Потом спрашиваю Нгуэна, как он живет сейчас, что делает его семья. Нгуэн отвечает короткими фразами, угрюмо глядя себе под ноги. Еще более сжато переводит Леня.

— Его семья на Юге. Сам он живет хорошо. Видите, специальность приобрел. Он мог бы свободно содержать и жену и обоих сыновей. Третий там умер. С голоду...

— А разве нельзя отправлять хоть деньги? Только деньги, без всяких писем? Или продуктовые посылки?

Леня даже не переводит моего вопроса Нгуэну.

— Деньги? Посылки?! Да если бы нгодиндьемовцы разрешили получать посылки тем, у кого на Севере остались родные (а знаете, сколько там таких? Весь Юг!), то в Южном Вьетнаме вообще перестали бы голодать. Посылка с продуктами! Это же агитационная бомба! Когда это было слыхано на Юге, чтобы Север мог не только себя кормить, но еще и Юг поддерживать? Мы рис всегда оттуда ввозили!

Нгуэн, видя, что я вынул блокнот и делаю кое-какие записи, легонько трогает Леню за рукав. Леня прерывает разговор со мной. Выслушав Нгуэна, добавляет еще одно:

— Нгуэн просит: если будете писать о нем, не указывайте его настоящей фамилии. Достаточно нгодиндьемовцам узнать, что он был партизаном, затем сражался в армии и, кроме того, коммунист,— они уничтожат его семью...

Мы прощаемся с Нгуэном.

На реке желтеют паруса джонок. Если смотреть на дальние джонки, в особенности на те, на которых подняты оба паруса,— бабочки, и только! Так же бесшумно, как бабочки, они скользят. Так же чутки к малейшему дуновению ветерка. И когда они вдали (а река тут широченная), то не видно и заплат на полотнищах их чиненых и перечиненных парусов...

Хайфонский порт — порт на реке. До моря отсюда еще сорок километров. Русло реки постоянно заносит илом. Река не зря носит название Красной. На закате она совершенно кровавая. Но и днем, под тропическим небом — небом таким синим, какой бывает только густая синька,— река все равно темно-шоколадного цвета. Это драгоценный краснозем, который она несет со своих верховьев.

Сколько здесь всюду богатства! И до какой нищеты довели людей колонизаторы!

Французский писатель Пьер Гаскар по поручению Всемирной организации здравоохранения при Организации Объединенных Наций не так давно объездил ряд стран Азии и Африки и выпустил интересную, как мне кажется, книгу «Путешествие к живым». Он хорошо определяет в ней разницу между недоеданием и плохим питанием. «Более дешевые продукты,— пишет он,— ...менее питательны, но их можно больше

съесть — в результате создается иллюзия сытости. Тем самым люди обрекают себя на истощение из-за недоедания или, вернее, из-за плохого питания.

Известно, что первое выражение обозначает питание, недостаточное в количественном отношении, второе — в качественном. Чаше всего голод — это плохое питание... Человеку почти всегда удается набить желудок корнями, листьями, вареными зёрнами, разогреть его пряными приправами, которые, к счастью, богаты витаминами (Гаскар имеет в виду условия тропиков.— Р. Б.). Тем не менее нехватка белков в пище вызывает медленное истощение; о нем не всякий догадывается. Недоедание же скорее удел очень маленьких детей. Они не принимают или не в состоянии переварить неполноценную пищу, позволяющую взрослым обманывать свой желудок. Если, несмотря на крайнее похудание и истощение, они все же выживут, им тоже придется впоследствии питаться корнями, листьями, зёрнами — иллюзией. В этом переходе от недоедания к плохому питанию, в перманентном голодании — вся жизнь. Я сказал — жизнь. Сегодня на нашей земле это не одна жизнь, а сотни миллионов жизней».

Гаскар прав: да, сотни миллионов жизней — не только все страны, находящиеся еще поныне под гнетом колонизаторов, но также и не изжившие последствий этого гнета. Он приводит чудовищную цифру, каков средний вес индонезийца и индонезийки, — меньше пятидесяти и сорока килограммов. Это взрослые-то люди!

Или другая цифра. Конго до превращения его в бельгийскую колонию насчитывало тридцать миллионов населения. Теперь — тринадцать. А не прошло и шестидесяти лет!

Могут ли цифры кровоточить? Могут.

Во Вьетнаме, в такой же благословенной стране, как Конго, как Индонезия, где все кругом плодоносит, где палку в землю воткни — и та зацветет, конечно, не так уж сложно было набить желудок чем попало — не одним, так другим. Но голод не переставал от этого быть голодом. И географ Робекэн, занимавшийся Вьетнамом долго и серьезно, честно свидетельствовал, что лучше других во Вьетнаме выглядели лишь те местные жители (не считая, понятно, феодалов и помещиков), которые служили у французов лакеями: им перепало со стола хозяев.

Народ Вьетнама нашел другой выход: он не пожелал идти в лакеи, чтобы выжить, он прогнал так называемых хозяев. Но мало прогнать колонизаторов, чтобы избавиться от всего зла, которое они принесли народам.

...Листаю свои записи. Вот еще одна хайфонская: «Голые пупсы. 17 р. пр. Ничего! Ведь это — пока!»

Без расшифровки запись не понять. Но расшифровывается она просто. Когда я заходил в хайфонские магазины — а я побывал во многих, — я обратил внимание: почти везде в продаже много игрушек. Пластмассовые козы, зайчики, собаки, голенькие пупсы. И по очень дешевым ценам.

На другой день у нас состоялась экскурсия на фабрику пластмассовых изделий, где все это изготавливают. Фабрика — новая, ее помогла создать Китайская Народная Республика. Высокие цехи, полно света и воздуха. Кроме игрушек, фабрика выпускает мыльницы, расчески, пуговицы, электроарматуру: розетки, штепселя, патроны.

— Куда идет продукция? — спрашиваем. — Больше на экспорт?

— Нет, — разъясняют нам, — на внутренний рынок. Колонизаторы намеренно делали нас экономически беспомощными, заставляя производить только одно — рис, а любой другой потребительский товар ввозить из Франции или отказываясь от его потребления вообще. То самое, что американцы творят сейчас в Южном Вьетнаме. А нам надо наконец производить на месте все, что непосредственно необходимо людям для жизни.

— И продукция вашей фабрики, — продолжаем мы расспросы, — полностью расходуется внутри страны?

— Да.

— И игрушки?

— И игрушки.

Я вижу, как вспыхнули глаза директора, когда он отвечал мне на этот вопрос. Он понял, что я хотел спросить. Вьетнамские дети уже спасены от участи, описанной

Гаскаром. И даже получили игрушки — настоящие, красивые, которые прежде во Вьетнаме были доступны только французам. И у каждого родителя находятся деньги, чтобы купить их ребенку, и план фабрики по выпуску игрушки растет.

Директор, перечисляя достижения фабрики, упоминает:

— Заметьте: свыше двадцати тысяч донгов экономии нам дали рационализаторские предложения рабочих.

— А сколько всего было предложений за год?

— К сегодняшнему дню, за десять месяцев тысяча девятьсот шестидесятого года, семнадцать.

Я записываю в свой блокнот вместе с другими сведениями, характеризующими фабрику, и эту цифру. Я не беспокоюсь, что рационализаторских предложений еще мало: на триста с лишним рабочих всего семнадцать за год. Да и экономия от них, скажем прямо, не так уж велика. Но что тут удивительного? Коллектив фабрики так же молод, как весь вьетнамский рабочий класс, и естественно, что у него пока еще нет достаточной решительности в обращении с техникой. Однако это придет, придет обязательно. Не может не прийти, если учащихся на этой фабрике столько же, сколько рабочих!

Наше пребывание в Хайфоне кончалось. Осмотреть напоследок гостиничный номер — не забыто ли что — и прощай, очередной временный приют путешественника! Однако на этот раз я оставляю гостиницу со странным чувством. Дело в том, что мы были первыми ее постояльцами: ее только что достроили и даже не успели дать название. Это право — и эту честь! — предоставили нам.

Как мы бились над названием! «Люкс», «Гранд-отель», «Прима» были отвергнуты без обсуждения.

Следующие названия — «Хайфон», «Народная», «Салют» — также не вызвали одобрения. Их участь разделили и «Лотос», «Золотая рыбка», «Красный мак». Наконец кто-то несмело предложил:

— Дружба!

И этому названию, впервые не дожидаясь нашего мнения, прежде чем высказать свое, зааплодировали хозяева. Естественно, мы присоединились к ним.

Теперь в Хайфоне, на улице Хон-бан, есть гостиница «Дружба», и я испытываю к ней такое нежное чувство, будто и я был чем-то причастен к ее созданию...

И снова замелькали перед нами хайфонские улицы — оживленные, полные деловитого народа, зеленые, чистые.

Хайфон — город преимущественно двухэтажный. Второй этаж — жилой, первый — торговые помещения и мастерские. Кстати, когда бродишь по Хайфону — или едешь по нему, все равно, — невольно бросается в глаза, что многие помещения первого этажа используются сейчас не под магазины, а под жилье. Значит, не хватает товаров и сократилась торговля? — мы это себе объяснили так. И допустили ошибку. Объяснение оказалось другим. Люди превратили в жилье те помещения в первых этажах, где торговали «живым товаром», где были курильни опиума, винные лавки, игорные притоны, где по вечерам не следовало рисковать высовываться без ножа на улицу, где на каждом шагу ночью нога наступала на спящего прямо на тротуаре безработного. А насчитывалось их в развеселом порту Хайфоне сорок тысяч — каждый третий...

Автобус мчит нас мимо нового здания театра, где перед началом спектакля вас, как в Москве у Вахтанговского, непременно останавливают вопросом: «Лишнего билета не найдется?»; мимо судостроительного завода; мимо уютной четырехэтажной больницы «Чехословакия», названной так в честь чехословацких врачей, приехавших в Хайфон в 1956 году и заново перестроивших вместе с хайфонцами старую, тесную больничку; мимо пластмассовой фабрики; мимо строгого памятника бойцам, павшим за свободу, широко раскинувшегося и высоко поднявшегося на новом сквере, в аллеях которого играют ребяташки из детского сада.

Прощай, Хайфон! Наш путь лежит к морю, к заливу Ха-Лонг.



Разложили на коленях карту. Реки, реки, реки... Ехать нам меньше ста километров, а нас ждут три переправы на паромах, мостов же и мостиков столько, что вообще не сосчитать.

Впрочем, река одна — Красная, мы лишь будем пересекать ее бесчисленные рукава. Мы в воспетом всеми вьетнамскими поэтами Донг-Банге — Ровном Поле.

Ровное поле... Так зовет вьетнамский народ свою кормилицу, дельту Красной реки, где куда ни глянь — ни горшки, ни холмика. Как тосковали по Донг-Бангу солдаты Народной армии, восемь лет сражаясь вдали от этих мест — в джунглях, в горах... Ровным-ровное поле, с неспешно шагающими задумчивыми аистами, приносящими, по поверью, счастье в дом, на котором совыют гнездо, с мирно жующими буйволами, рисовыми полями до горизонта... И, как островки, выделяющиеся на этом сплошном нежно-зеленом фоне своим более темным зеленым цветом, — деревни. Это такого цвета листья бананов, окружающих крестьянские хижинки, папайи, распластавшие над ними свои ветви, крыши из потемневшей рисовой соломы.

Днем деревня почти безлюдна. Только на маленькой площади собака яростно чешет бок о толстый бамбуковый столб, на котором укреплен самодельный гонг — корпус сброшенной когда-то на деревню и не разорвавшейся авиабомбы; ей нашли правильное применение! Сонно роются куры. Да в тени хижин, спасаясь от жары, спят самые старые и самые малые. А весь рабочий люд — в поле. Рис не дает крестьянину ни дня передышки. Он не только самая трудоемкая, но и одна из самых привередливых сельскохозяйственных культур. Он капризен и чуток, как барометр. Свыше восьмисот сортов и разновидностей риса возделывают в Северном Вьетнаме.

Самое сложное, конечно, — напоить поле водой, дать ему, капля в каплю, именно столько, сколько ему нужно. Перед посевом — одну норму, в период созревания — другую, при уборке урожая — третью.

Засуха — катастрофа. Пойдут стеной ливни — тоже катастрофа. Задул с моря тайфун и нагнал соленую воду на поля — тут уж прощай урожай вовсе не на один год!

Что толку, что воды в Ровном Поле много; избыток ее, может, страшнее засухи. А ведь Ровное Поле — это не обычный, рядовой район Вьетнама, хотя по площади он равен всего одной одиннадцатой части ДРВ. В нем сосредоточено больше народа, чем во всех остальных районах, вместе взятых. Плотность населения на квадратный километр местами достигает девятисот человек — это одна из самых высоких цифр плотности в мире, — в то время как в других районах Вьетнама она колеблется от пяти до четырнадцати человек на квадратный километр. Поэтому проблема регулирования воды на полях Донг-Банга, проблема строительства новых и поддержания в порядке старых ирригационных сооружений — это вопрос жизни и смерти для Вьетнама.

Более тысячи лет вьетнамцы воздвигали плотины и защитные дамбы, прорывали каналы и очищали русла рек. Пришли французы. Они знали более высокую культуру строительства. Один из считанных заводов, который они возвели здесь, был цементный. Но сколько мы ни едем, а бетонные сооружения, возведенные французами, нам попадаются только одни: доты. Зато они всюду. У каждого моста и мостика — и на одном берегу и на противоположном. И у каждой паромной переправы. И у развилки дорог. И у въездов в города. И врытые в тело земляных плотин...

Ожидая очередной переправы (сколько еще работы во Вьетнаме мостостроителям!), осматриваю один из дотов у реки. Неподалеку от него взорванные казармы. Здесь был опорный пункт французов, форт. Он господствовал над всей округой и был выстроен на расстоянии зрительной связи с другим таким же. Из форта была видна каждая хижина в округе, каждый буйвол на поле, каждый земледелец.

Кроме тех орудий, что были внутри дота, уходившего в землю на три этажа, пушки устанавливали также на плацу форта на мощных бетонных круглых площадках. Эти площадки сохранились. Каждая была ограждена невысоким бортиком, и на внутренней стороне бортика донны видны деления, возле каждого из которых выбито название какой-нибудь окрестной деревни. Вся округа нанесена на этот страшный циферблат! Чтобы не возиться каждый раз с вычислениями углов, артиллеристы форта нанесли названия деревень на бетонную шкалу навсегда. Наводи себе орудие на деление — и снаряды сразу же обрушатся на заданную деревню!

А снаряды могли быть выпущены в любой момент и за что угодно... Допустим, за то, что крестьянин посмел вывести на поле буйвола: вокруг форта простиралась зона радиусом в пятьсот метров, на которой не только не разрешалось сеять рис, но не разрешалось даже показываться! А командующий войсками в районе Донг-Банга генерал де Линарэ разъяснял в приказе по Экспедиционному корпусу еще и то, что уничтожение одного буйвола, без которого почву на рисовых полях придется обрабатывать вручную, в стратегическом отношении равноценно убийству двух человек.

Понятно, что никакого цемента не хватало, чтобы укрыть колонизаторов от ненависти тех, кого они поработали, но чьего даже шороха рядом с собой страшались, на чьих даже буйволов смотрели как на стратегического врага и обрушивали на них огонь артиллерии! И не только артиллерии: широко распространена была практика уничтожения буйволов с самолетов. С самолетов же бомбили дамбы, чтобы затопить рисовые поля: если не могли сломить сопротивления оружием, пытались сломить его голодом. Тот же генерал де Линарэ 14 марта 1951 года издал циркуляр, в котором поучал, как уничтожать рис. Это поучения варвара, но внешне они выглядят так, словно это научная инструкция.

«Оперативный отдел 699-20-Т-3.

...Практически имеется два способа уничтожения риса.

а) Намочить рис, поливая его водой или оставляя под открытым небом во время дождливого сезона. Но для того, чтобы испортить рис, его необходимо оставить мокрым в течение сорока восьми часов. Чтобы обеспечить успех этой операции, необходимо предпринять все меры к тому, чтобы население в этот промежуток времени не явилось спасать рис и не успело спрятать неспорченную его часть в укрытии.

б) Обливать бензином или газOLIном обнаруженные значительные склады риса».

Дот у переправы не разрушен, с него лишь сорван броневой колпак и настлана взамен крыша из пальмовых листьев. Его сейчас использовали под школу, и у нее есть неоспоримое преимущество перед другими школами: в ней всегда прохладнее.

А учительница в этой школе, возможно, диктует ученикам такую задачу: «Поголовье крупного рогатого скота в Северном Вьетнаме в 1939 году составляло 1 351 тысячу голов, в последнем году войны — 1954-м — 1 024 тысячи голов, а к 1959 году увеличилось до 2 441 тысячи голов. На сколько процентов выросло к 1959 году поголовье крупного рогатого скота в сравнении с 1939 и 1954 годами?»

Постепенно дорога поднимается в гору. И сразу — лес, лес. Если бы я был ботаником! Я бы отличал тогда красное дерево от розового, черное — от железного, палисандр — от коричневого. Все есть во Вьетнаме! И все это так буйно прет из земли, не оставляя ни клочка ее свободным, так густо смазано солнцем — именно смазано: как медом, — что даже глаза устают.

Нагоняем двухколесную тележку. В нее впряглись двое, третий человек толкает ее сзади, упираясь в лежащий на ней громадный ствол дерева. Больше одного такого ствола тележке не выдержать.

Спрашиваю у переводчика:

— Что за дерево?

Переводчик на секунду скашивает глаза.

— Железное.

Дерево привычно для него. Так не задумались бы и мы, определяя древесину сосны. Один конец ствола грубо затесан на конус, и в нем, как в иглке, продолблено ушко.

— А зачем в стволе ушко?

— Чтобы можно было продеть веревку. Ствол из лесу приходится вытаскивать на дорогу волоком, чаще всего вручную. Так это для удобства...

М-да!..

Вспоминаю: в Ханое, в гостинице, где мы останавливались, полы в номерах и коридорах, так же как лестница, хотя и дощатые, но из красного дерева. А на лестнице, где доски положены ступеньками, видно, какой они толщины: сантиметров примерно десять, и не пиленые доски, а тесаные.

Даже лесопилки французы не построили здесь. Зачем им были лесопилки, если экспорт древесины их не интересовал — чересчур много возни было с вывозкой из лесу и доставкой в порт, — а свои местные нужды спокойно можно было удовлетворить и тесаными десятисантиметровыми досками Жалко, что ли!

Теперь древесина идет на экспорт и составляет существенную статью дохода Демократической Республики Вьетнам. Идет за границу красное дерево — на облицовку дорогой мебели; железное — на ткацкие челноки; палисандровое — для музыкальных инструментов. И так далее, и так далее. В Хайфонском порту я видел целые штабеля этой древесины. Но каждый ствол еще с ушком. Еще недостает средств для желаемой механизации лесоразработок.

Дорога узка. Нам не сразу удалось обогнать тележку. Водитель старательно давил на клаксон, но тележка невозмутимо продолжала путь по самой середине проезжей части шоссе. Вообще пешеходы и возницы считают себя и свой гужевой транспорт, а не автомобили хозяевами вьетнамских дорог. Автомобилей еще мало, гудки не вырабатывали пока никаких условных рефлексов.

В сплошную зелень, окружающую нас с обеих сторон, ворвалось огненно-рыжее пятно вскрытой земли. Это карьер. Он спускается гигантскими ступенями. На каждой из них масса народу: мужчин в шлемах, женщин во «вьетнамках». Все с лопатами. Они добывают железную руду, вышедшую тут прямо на поверхность. А через каких-нибудь пятнадцать-двадцать километров мы приедем в Хонгай, центр угольного бассейна Куанг-Ен, где также наружу вышел уголь, причем у самого моря. Ненасчерпаемая кладовая богатств! Ведь вся-то страна маленькая (по нашим, правда, масштабам), а в ней, кроме таких сочетаний, как уголь и железо рядом, кроме ценнейшего леса, кроме Донг-Банга, способного накормить рисом весь Вьетнам, есть еще медь и олово, вольфрам и свинец, бокситы и золото, серебро и сурьма, апатиты и хром, молибден и марганец, известняк и платина, и все эти месторождения — промышленного значения. Нет, недолго вьетнамскому крестьянину уютиться в бамбуковой хижине, крытой пальмовыми листьями, в которой и ларя порой не встретишь, потому что нечего в нем хранить, где вся обстановка — бамбуковые лежаки, покрытые циновками, пара низеньких скамеек да самодельный стол. Иногда, впрочем, даже его нет — стол заменяет тот же лежак: днем-то циновки с него убраны...

Мы ехали гористой местностью: то низом ущелий, то верхом. Когда ехали верхом, то внизу виднелись прелестные лощины, и чуть где гладкое блюдце — непременно всходы риса на нем, а на пологих склонах — подровненные, как солдаты в строю, посадки неприхотливой маниоки.

Но вот еще один поворот вверх, еще один, еще.. И вдруг нашим взорам открылась такая картина, которую, наверно, не увидишь больше нигде в мире. Я не знаю, как передать ее обаяние. И мне не стыдно в этом признаться, погому что потом, когда я — уже нарочно — внимательно рассматривал все попадавшиеся мне картины с изображениями Ха-Лонга (а Ха-Лонг — любимый сюжет вьетнамских живописцев, и я видел таких картин много), то ни на одной из них я все же не увидел его таким невысказанно красивым, каков он на самом деле.

В первую минуту мы даже не поняли, что перед нами, настолько это было ни с чем не сравнимо. Море? Горы? Выдумка?

До самого горизонта, куда ни посмотришь — налево, направо, вперед ли, — всюду, как на необъятном зеленом лугу пасуется стадо, рассыпаны скалы-островки, отвесно встающие прямо из моря. А моря — привычного моря, в котором водная гладь простирается до какой-то бесконечной дали и сливается там с небом, — такого моря не было. Все скалы примерно одного размера и не такие уж высокие, но самой причудливой формы. Одна — как сахарная голова, другая — как раскрытый веер, третья — вся в зубах на вершине (словно эта скала, забыв, что она одна, пытается изобразить собой целый горный кряж), четвертая — как отвратительная раздувшаяся жаба, пятая — как собирающаяся вспорхнуть бабочка. Впрочем, нет возможности перечислить все разно-

образе форм этих скал, как нет возможности, пожалуй, и узнать их количество. Нам называли цифры — две тысячи, три тысячи, семь тысяч. Если бы сказали — миллион, мы бы тоже поверили.

Те из них, что на первом плане, такие темно-зеленые, что издали на солнце кажутся даже черными и только этим выделяются на фоне морской воды, у которой тоже темно-зеленый и тоже непередаваемого оттенка, но все же свой цвет: чуть-чуть по-светлее.

Когда завиднелся Ха-Лонг, кто-то в автобусе, к месту, прочел отрывок о нем из географического описания: «Архипелаг Фай Тси Лонг представляет денудированную складчатую область, залитую впоследствии морем. Сложены острова преимущественно сланцами и известняками...»

Нам почему-то не захотелось выяснять, что такое «денудированная». Нам почему-то показалось, что мы и так правильно поняли, что значит это слово и что автор никогда Ха-Лонга в натуре не видел. И только после этого описания, кстати, мы разглядели Хонгай, цель нашего путешествия — узкую цепочку зданий и причалов, вытянувшуюся по берегу залива. Мы стремительно спускались к ней — благо, дорога была свободна.

Впрочем, спустившись к морю, мы обнаружили, что до Хонгая надо еще переплыть пролив. Здесь же, куда нас доставил автобус, находился только крошечный курортный поселок. Чтобы попасть отсюда в Хонгай, надо воспользоваться паромом или нанять джонку. Я предпочел джонку.

Когда смотришь на эти суденышки издали, они совершенно не внушают к себе доверия. Корпус джонки выглядит ничтожным по сравнению с огромными парусами. Они натянута на бамбуковый остов, и чуть подует ветер, бамбук выпирает под парусиной, как ребра замороженной клячи.

В джонке нет ни одного гвоздя, ни одной скобы, ни одного болта — ничего мегаллического! Все сплошь из дерева или циновки. Или сбито в лапу, или сплетено, или связано веревками. Хотя нет, я углядел и металл: железный лист, на котором разводят огонь для готовки. Ведь джонка не только средство передвижения, но и дом рыбака и его семьи. Поколения рождались здесь, и подрастали, и старились вот в такой — не знаю даже, как назвать ее — каюте? конуре? Вровень с бортами джонки наслан дощатый помост, и от одного борта до другого он полукругом перекрыт плетеной бамбуковой циновкой. Получается нечто вроде туннеля, длиной метра в три и шириной приблизительно в два или в два с половиной. Под этой крышей хранят свернутые на день циновки, корзину с пожитками, котелок, соль, рис. А ночью спят. Впалку.

На джонке, которую я нанял, чтобы лодочник показал мне лабиринт Ха-Лонгских островов вблизи, а затем доставил меня в Хонгай, обитало четверо: сам лодочник (точнее, рыбак), его жена и двое сыновей — ребята, как я потом узнал, девяти и семи лет. Лодочнику было лет тридцать с небольшим, жене, вероятно, поменьше. Одеты они оба были по-деревенски: в широкие черные штаны, не доходящие до щиколоток, и в коричневые куртки. У женщины куртка была с более узкими полами и прудь прикрыта белой вставкой. Прическа женщины была тоже деревенской: коса завернута в кусок коричневой ткани и уложена на голове жгутом. Но вот «вьетнамку» в отличие от мужа она не надела: должно быть, посчитала, что сейчас не так уж жарко, чтобы покрывать голову. Действительно, было не больше двадцати пяти градусов.

У нее не было ни минуты свободной. Она почти одновременно чистила рыбу для ухи и разводила огонь, да еще успевала перехватить у мужа кормовое весло, когда ему зачем-то понадобилось пройти на нос, и, кроме того, заглянуть под крышу каюты: что-то больно притих там старший сын (младший остался на берегу). Но она могла быть спокойна за старшего — он был занят делом. Я с переводчиком заглянул к нему, он радушно пригласил нас внутрь, в «дом».

Чего хотите, я ждал от такого «дома», но только не того, что увидел. Во-первых, на самом виду стоял очень хороший новенький радиоприемник, а во-вторых, к округлой циновочной «стенке» была прикреплена... книжная полка!

Паренек, растянувшись на полу, что-то переписывал чернилами из книги в тетрадь. Легкая качка лодки не мешала ему нисколько.

Мы разговорились. Мальчика звали Дьемом. Я спросил у него, чьи это книги на полке.

Он ответил:

— Общие.

— Твои и брата?

— Не только. Еще и папины и мамины.

— Разве они тоже грамотные?

— Конечно. Мы все учимся.

— Где же? Вот сейчас день, ребята в школе, а ты — тут.

Пришла его очередь удивляться, как это я не знаю таких простых вещей. Еще взрослый называется!

— Рыбаки не днем учатся: днем надо рыбу ловить! — Себя он тоже причислил к этому славному племени, в этом не было сомнений. — А вот вечером, когда мы возвращаемся в Хонгай, к нам приходит учитель.

— К кому — к вам? Специально на вашу джонку?

— Нет, мы сдвигаем несколько джонок вместе, полукругом, а учитель располагается на той, которая окажется в середине. Мы уже и грамоте научились и первые два действия прошли; скоро умножение начнем, учитель сказал. Он больше всех папу в нашей группе хвалит!

— А не тебя?

— Не-ет... Папу!

— А кто ваш учитель?

— Мальчик один, из седьмого класса. О-очень грамотный! Наверно, и я когда-нибудь таким буду!

— И ты тоже начнешь ходить на джонки, чтобы учить других?

— Что вы! Тогда уже никто не будет жить на джонках. Мы ведь тоже скоро переберемся на берег.

— Почему ты так думаешь?

— А наш кооператив — у нас все рыбаки в кооперативе! — уже половине семей дома выстроил, теперь и наша очередь скоро. Папе даже раньше предлагали переезжать, еще когда приемником премировали, но он сказал: нет, у нас, слава богу, все здоровые, а надо сперва тех переселять, у кого больные в семьях или старики.

Чувствовалось: Дьем слово в слово передавал то, что где-то сказал отец.

Джонка плавно скользила по заливу, хотя, на мой взгляд, она не должна была бы и с места сдвинуться. Отец Дьема, стоя на корме, греб опущенным в воду, как руль, единственным веслом таким образом, что непрерывно колыхал его из стороны в сторону, несколько вращая при этом. Это отчасти напоминало движения змеиного хвоста.

Мы вплыли в лабиринт Ха-Лонгских островов. Берег исчез, острова окружили нас со всех сторон, и на минуту мне почудилось: в них ничего не стоило заплутаться совсем! И не выбраться.

Но джонка, послушная веслу хозяина, уверенно обходила остров за островом, мы выходили все на новые и новые водные поляны (я рад, что нашел наконец это слово! Оно самое точное для определения того, каким мне казалось море в этом архипелаге). Хозяйка по-прежнему сосредоточенно занималась своими домашними делами, а наш юный приятель Дьем, который знал, по-моему, каждую скалу в отдельности, то и дело советовал получше рассмотреть то грот в одной, то вход в пещеру в другой — действительно, совершенно незаметный, пока мы не подходили к острову вплотную, — то причудливую форму третьей. А то порывисто хватал нас за руки:

— Смотрите, смотрите: акула!

Или:

— Обезьяны! Да не там! Вот же они!

К сожалению, мне только единственный разочек удалось разглядеть, как обезьяны показались на вершине скалы и тут же скрылись. А есть ли акулы в заливе Ха-Лонг — не знаю.

Густо заросшие лесом острова вблизи были еще красивее, чем издали. Пока они совершенно необитаемы. Только коммунисты использовали их во время последней войны с французскими колонизаторами. В пещерах на островах даже проводили конференции. Французы боялись и нос сюда сунуть. Вьетнамские рыбаки, по праву считающиеся едва ли не лучшими моряками южных морей и соревнующиеся с тайфуном на своих джонках, были недосыгаемы в этом лабиринте для французских судов. Они появлялись у нужного острова неслышно, как привидения, и так же исчезали. И бесперебойно снабжали подпольщиков пищей, пресной водой, табаком, новостями.

— Мой папа тоже связным был,— с гордостью говорит Дьем.— Он самому Хо Ши Мину один раз письмо привез. Во-от на этот остров.— И вздыхает.— Но я тогда таким маленьким был еще, что и не запомнил дядю Хо...

У меня мало времени. Завтра утром надо выехать обратно в Ханой, потому что послезавтра в восемь мне предстоит свидание с Хо Ши Мином. Он сообщил нашему послу, что сможет уделить мне час, и я уже чувствую себя на иглоках.

Хонгай удастся осмотреть лишь самым беглым образом.

Вот он, «будущий мировой центр туризма», как совершенно справедливо, по-моему, аттестует его австралийский журналист Лен Фокс, когда, рассмотрев этот город с самых разных точек зрения, воздает ему наконец должное просто как райскому уголку.

Но вьетнамцы этот рай звали адом. Весь Хонгай и его окрестности принадлежали «Сосьете франсез де Шарбоннаж дю Тонкин» — Французской компании тонкинского угля. Ей принадлежали и те несколько больших нарядных зданий, что видны издалека с моря и так радуют глаз (теперь в них санатории и местный Народный совет, а прежде размещалась администрация компании, ее управляющие и гостиница). Ей принадлежали и причалы, у которых пароходы грузят жирный и блестящий хонгайский антрацит. И земля близ рынка, на которой уступами, как у нас на Кавказе сакли горцев, поднимаясь друг над другом, возведены глинобитные домишки.

Городок лепится на склоне горы; но, наверно, только историки помнят, что прежде она носила название горы Поэзини.

«Сосьете де Шарбоннаж» интересовалась поэзией в одном плане — поскольку гора Поэзини давала возможность взвинтить цены на земельные участки, расположенные на ее склонах. В результате и появились «сакли».

Однако в них жили только самые привилегированные из вьетнамцев — служащих компании. Простые шахтеры, которых в найме у «Сосьете де Шарбоннаж» было до двадцати пяти тысяч, ютились большей частью просто под навесами. Из деревни их гнал сюда голод. Но и здесь, несмотря на каторжный труд, они никогда не могли заработать столько, чтобы поесть досыта. И потому убегали обратно, предпочитая, если уж все равно помирать, то хоть у родных могил.

Состав шахтеров в копиях угольной компании полностью обновлялся дважды за год: больше полугода угольной каторги не выдерживал никто! Но одних сменяли другие — все новые и новые пополнения крестьян Донг-Банга. Они тоже не становились пролетариями, тоже не оставались на шахтах. Зато проходили здесь полный курс обучения классовой ненависти. Это была лютая школа, где француз-надсмотрщик мог забить вьетnamца до смерти лишь за то, что тот улыбнулся, увидев, как надсмотрщик упал, и остаться безнаказанным, — об этом рассказывает француз Рубо в своей книге «Вьетнам»; где беременных женщин-шахтерок заставляли работать под землей до самой последней минуты, и они рожали прямо в забое, — об этом можете прочесть у Фокса, беседовавшего с этими женщинами; где девяти-, восьми- и семилетних детей заставляли работать под землей по шестнадцать часов в сутки, а платили им по десять—пятнадцать центов в день (я пишу: «центы», потому что это — свидетельство журналиста-американца Френка, цитируемого французом Шено в его «Очерке истории вьетнамского народа»). Через эту лютую школу прошли сотни тысяч вьетнамских крестьян, и в конце концов, когда они поднялись на колонизаторов, они уже не выпустили оружия из рук до той поры, пока не завоевали победу.

Не выпускают они его из рук и теперь.

После того как мы с моим переводчиком покинули джонку и очутились на хонгайской набережной, нас потянуло присесть на минутку в тенистом сквере. Рядом плещется море. Тихо, ласково. В воздухе разлит покой. Даже вздремнуть захотелось.

Вдруг сквозь слипающиеся веки я увидел, как из кустов напротив высунулся ствол винтовки, слева от нее — второй, справа — третий. Я легонько ткнул Биня в бок. Бинь встрепенулся:

— А? Что?

— Бинь, послушай-ка, мы не мешаем учению солдат?

Все еще сонно взглянув в ту сторону, куда я показал, Бинь решительно замотал головой.

— Это не солдаты. Мы никому не мешаем. Это молодежь обучается. Знаете, как у вас поют: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Это у нас всюду так.

Вслед за винтовками показались из-за кустов и сами бойцы: двое юношей и девушка. Они подозрительно оглядели нас, в особенности меня, и я вспомнил коротенький рассказ электрика с «Урюпинска» о том, как они в начале года пришли на Кубу за сахаром и как их там приняли за американцев. Им с трудом удалось объяснить, что они не янки, а советские. А то уж вовсе почувствовали себя скучно... Правда, после этого их немедленно забросали цветами и несли на руках до самого судна.

Мы направились на рынок.

Рынок в Хонгае — это мечта, это оближи пальчики для каждого, кто всем блюдам на свете предпочитает рыбу. Здесь ведь мяса почти не едят. Основной скот, буйволы, — скот тягловый. Мясо вьетнамцам заменяет рыба. И сколько ее тут! И морская, и речная, и та, которую либо удочками, либо громадными четырехугольными сетями, прикрепленными лианами к бамбуковым шестам на гребнях, ловят на затопленных рисовых полях. Да и не только рыба, но и раки, крабы, омары, креветки, лангусты, разнообразнейшие моллюски, черепахи. И все это навалом — и в корзинах, и в садках, и в сетях, и в горшках, а то и привязанное на бечевку, вроде глазастого и страшного, как черт, осьминога, который все шевелится, все норовит ползти и хватать что ни попадет своими мерзкими шупальцами...

А лангусты! Если бы у нас по-прежнему были в моде над дверьми булочных рекламные бублики величиной с колесо телеги, то я для рекламы раков к пиву предложил бы выставлять в окнах пивных лангустов. Представьте себе рака, хоть и довольно изящного, но рака-гиганта, рака-голиафа. Вот это и будет лангуст.

А беспомощные, опрокинутые на спину морские черепахи, на которых, как в креслах, сидят изловившие их мальчишки!

А креветки — изогнутые маленькие рачки, у которых — слово даю! — один лишь профиль, настолько они плоские!

А плавники акулы, такое лакомство из лакомств, что его только на вес продают, — то, чего не знает щедрый хонгайский рынок, где мера — корзина, сеть, ведро!

Я уж не говорю о карпах, щуках, окунях, камбале, тунцах. О кораллах, которых на грош можно закупить пуды: наклонись во время отлива и наломай сколько хочешь. У мальчуганов, предлагающих их, один расчет — на каких-нибудь заезжих иностранцев с пароходов.

Я изнемогаю от впечатлений.

А рынок так и переливается ослепительными тропическими красками: золотом апельсина, изумрудной зеленью сахарного гростника, бронзой ананасов, белизной рассыпчатой рисовой муки, перламутром раковин и рыбьей чешуи, десятками оттенков разных сортов бананов — от салатно-зеленого, будто плоды совсем не спелые, до лимонно-желтого, — карминно-красными вареными креветками в переносных ресторанных коромыслах.

И черные лакированные зубы женщин; хоть это и пережиток, а встречаются они часто! И пунцовый лак на фарфоровых искусственных зубах мужчин, лишь по краю, как рамкой, оправленных золотом, — и это видишь на каждом шагу. И расцветенные

всеми цветами радуги блестящие пластмассовые хайфонские игрушки в руках у ребятшек!

Кольшется море лакированных блестящих «вьетнамок», подвязанных под подбородком нарядно расправленными ленточками у девушек, просто какой-нибудь материей у женщин, шнурком у мужчин.

С моря подул ветерок и поднял над Хонгаем тонкую угольную пыль. Хонгай готовился к зиме: перед всеми домами катали из угольной пыли катышки размером приблизительно с яблоко. Особенно бурную деятельность в изготовлении этих брикетов развили, конечно, дети. Они были до такой степени перепачканы углем, что казались негрятятами. Но чем чернее выглядели, тем заливистой хохотали. Огольцы — что с ними поделаешь!

И снова дорога, снова переправы. Хайфон проезжаем без остановки. Спешим вернуться в Ханой.

Во время одной из вынужденных стоянок — в ожидании парома — я вдруг заметил, что хотя идет дождь, но его не ощущаешь. Дождь шел, правда, маленький — словно пар сгустился еще не настолько, чтобы откровенно заявить о себе: да, я дождь! Но вообще определить, в чем отличие воздуха от дождя в Донг-Банге, я бы не взялся. Скорее всего надо сказать так: то, чем ты дышишь тут, — это влага, которую для приличия разбавили какой-то дозой воздуха. Географы, конечно, объясняют все это проще. Они скажут, как отрубят: «Средняя влажность воздуха в Ханое, судя по наблюдениям, проведенным с 1927 по 1950 год, превышает 85 процентов, но не достигает 90 процентов», — и все. А поди разберись в цифре — цифра суха. (Впрочем, это единственное, что способно остаться сухим во Вьетнаме!)

А переправы задерживают изрядно! Жди, пока пароходшко отбуксирует паром в одну сторону, потом возвратится... И добро еще, если буксир моторный. А то он вовсе дедовский: все мужчины становятся к борту и вручную подтягивают канат.

Впервые увидев на дороге нескольких крестьян, у которых на голове вместо обычных «вьетнамок» были какие-то длиннющие бамбуковые шляпы, я их чуть было не принял за лодки. Но лодка на голове? Вместо шляпы? Это же чушь! Однако Бинь спокойно подтвердил, что это действительно лодки. И даже рассказал, как один прославленный вьетнамский полководец несколько веков назад приказал всем своим солдатам сделать такие же, и они победили, сумев быстро перебраться через все водные преграды и затопленные рисовые поля и неожиданно появившись перед врагом, не успевшим подготовиться к бою.

Что ж, полководец был прав. Но сегодня все-таки это проблемы не решает. И демократический Вьетнам строит и строит новые мосты. Мы и сами переезжали через многие из них, но не обращали внимания. Потому что проехать по мосту — естественно, а вот задерживаться у переправы — нет.

Пользуясь свободным временем в пути, просматриваю свои последние ханойские записи. То, что, может быть, записал неточно, надо проверить у Биня. Он юноша культурный и очень неплохо знает свою родину. Почти всюду бывал уже неоднократно. Русский изучил в Пекине — кончил там Институт иностранных языков — и, понятно, мечтает о поездке в СССР.

— Меня у вас не засмеют с моим произношением?

— Что ты, Бинь!

Бинь — и это очень нравится мне — несколько не стесняется признаться, если не знает какого-нибудь русского слова. Тут же вынимает из кармана словарь, с которым неразлучен, и аккуратно записывает.

Но мои ханойские записи не нуждаются в том, чтобы я проверял их у Биня: они относились к выставке изобразительного искусства, а там я был без него.

Выставка вообще была уже закрыта, но сотрудник нашего посольства, милейший Николай Сергеевич Толкалин, похлопотал, и мне ее все же показали. Он же и отвез меня к Чан Ван Кану, художнику, директору Института изящных искусств, председа-



тело Ассоциации художников Вьетнама. Это приветливый худощавый человек средних лет, очень простой в обращении и внимательный. Во время войны он сражался сначала в строю, потом командование поручило ему создать изостудию в джунглях. И изостудия заработала: в ней рисовали плакаты и листовки (в джунглях была и своя типография), оформляли книги, в том числе буквари; за время войны миллионы людей в освобожденных районах обучились грамоте. Студия вырастила много талантливых художников из бойцов; работы некоторых из них представлены на этой юбилейной выставке, посвященной пятнадцатилетию республики. Девять лет из этих пятнадцати падает на годы войны...

Мы застали Чан Ван Кана за тем, что он вместе с рабочими выставки, никак не выделяясь среди них ни костюмом, ни чем бы то ни было иным в своей внешности, уже снимал с подставок скульптуры, а со стен — картины и то и дело молодого лазил по стремянкам. Выставка была закрыта не только официально, но и по-настоящему. Чтобы познакомиться с каким-нибудь полотном, приходилось отставлять от стены десятки картин, уже стоявших там.

— Ну что бы вам приехать на недельку раньше! Такая досада! — посетовал Чан Ван Кан.

И переставлял картины вновь и вновь, чтобы найти ту, которую, по его мнению, обязательно стоило увидеть. Только своих он «не сумел» отыскать, как мы ни просили. «Не попадаются», — отвечал всё и разводил руками.

Картины были очень непохожи одна на другую, и это радовало. Непохожи, однако, не по темам — по исполнению. Темы как раз повторялись сплошь и рядом. Было видно, что художников волнует одно и то же — то, что волнует весь народ.

Мы увидели множество боевых стычек, строительство плотин и дамб, традиционных буйволов на полях и джонки на реках, увидели множество Ха-Лонгов, восходов, закатов, пагод на озере Возвращенного Меча в Ханое. Было много портретов, и живописных и скульптурных: Ленин, Хо Ши Мин, передовики труда, детские лица, Во Тхи Шау — вьетнамская Зоя, крестьяне и крестьянки. Были масло и акварель, мозаика из разноцветных рисовых зерен и гуашь, гравюры и лак.

Большое впечатление произвела на меня скромная небольшая скульптура — крашенный под бронзу гипс Нгуэна Фу Хьёу: сидящая крестьянка в платке. Она кормит грудью ребенка, нежно и надежно поддерживая его рукой. В другой руке у нее раскрытая книга. Грудь полна молока, ребенок сосет с аппетитом, губы матери шепчут то, что она читает: она, видно, совсем недавно научилась грамоте, и каждое слово книги для нее откровение. Лицо ее спокойно, сосредоточено и полно глубокой материнской радости. А младенец задрал ножки и довольно сучит ими.

Чан Ван Кан заметил, что я надолго задержался у этой скульптуры.

— Нравится?

— Очень! — ответил я от души.

— Это приятно. Много наших людей подолгу простаивало возле нее.

А другое произведение поразило меня больше даже, чем мастерством, своими красками (хотя не скажу, что оно не понравилось мне). Картина изображала Ха-Лонг вечером. Небо на ней было совершенно золотым — такого естественного золотого цвета, что картина ударила в глаза с другого конца зала. И потянула к себе.

Я подошел и — растерялся. По моему, небо было просто из золота: не красками нарисовано, а выложено настоящим золотом.

Чан Ван Кан чуть приметно улыбнулся.

— Скажите, пожалуйста... — начал я и замялся. Я не знал толком, как спросить о том, что меня интересовало.

— Да, золото, — отвечает мне Чан Ван Кан. — Червонное. Это традиционная вьетнамская техника — вкрапление в картину золота. Его дает художникам Ассоциация. Конечно, не каждому, а лишь в тех случаях, когда товарищ предварительно расскажет, что он собирается рисовать, и мы, так сказать, благословим его замысел. Но вообще мы приветствуем товарищей, которые приумножают лучшие традиции отечественной техники живописи.

Нет, одну вещь в связи с этими записями мне все-таки придется у Биня выяснять!  
— Бинь, скажи, пожалуйста: чтó, во Вьетнаме вообще так принято, что в доме одна лежанка и на ней спит вся семья?

Бинь обиделся.

— Почему вы так решили? Это совсем не у всех. Ну, в деревне, может быть. Может быть, кое-где в городе. Но пришли бы ко мне домой — увидели бы, что у нас три кровати! На одной — папа с мамой. Потом — отдельная для тети, которая у нас живет. А на третьей — дети. Но в следующем пятилетнем плане, я уверен, обязательно будет поставлен вопрос, чтобы широчайшим образом увеличить выпуск кроватей. Хотите, я могу даже спросить у папы, запланировано это или нет.

— А кто твой отец, Бинь? Чем он занимается? Он старый?

— Да, ему за пятьдесят, он в партии уже тридцать лет, с основания. А работает начальником управления ирригации. Только жалко, ему некогда было выучиться на инженера, техник всего...

Впереди завиднелся Ханой, и скоро наш автобус въехал на самый большой мост во Вьетнаме — больше полутора километров длиной. Плетемся по нему минут тридцать: он узок, езда в один ряд, а перед нами тянутся велорикши. Скоро, безусловно, придется строить новый.

Хо Ши Мина описывали сотни раз. Это и понятно. Не так уж много на свете людей, чьи имена — еще прижизненно! — становятся достоянием человечества, чья жизнь — еще на их веку! — превращается в символ чистоты и героизма дел и помыслов.

Я не встречал ни одного дома во Вьетнаме, где бы на самом почетном месте не красовался — когда отпечатанный типографским способом, а когда вышитый или самодельно нарисованный — характерный портрет Хо Ши Мина, дяди Хо: мудрые глаза в лучиках добрых морщин, светлый высокий лоб, борода в три волоска.

Чем-то Хо Ши Мин неуловимо напоминает мне Дзержинского. Или я переносу — даже на внешность его — самые характерные черты внутреннего облика нашего рыцаря революции?

Не знаю. Может быть.

Леонид Иванович Соколов, бывший послом СССР в ДРВ во время нашего пребывания во Вьетнаме, когда я изложил ему дело, в связи с которым просил посодействовать в устройстве личного приема Хо Ши Мином, усмехнулся:

— Положим, дело совсем не требует личного приема, вы это понимаете. Скажите просто: встретиться с Хо Ши Мином мечтаете?

— Да, — признался я.

Мне было очень легко разговаривать с послом. Старый комсомолец (мы, конечно, установили это чуть ли не со второй фразы, которой обменялись), он понимал и, что еще важнее, чувствовал меня с полуслова. Дело мое действительно несколько не требовало личной встречи с президентом.

За несколько дней до того, как я выехал во Вьетнам, в Москве в русских переводах П. Г. Антокольского вышла книжка Хо Ши Мина «Тюремный дневник»: сборник стихов, написанных им во время последнего заключения в тюрьму, у гоминдановцев, в 1942—1943 годах. И вот Павел Григорьевич попросил меня передать свои переводы автору. Их можно было с таким же успехом отправить по почте — посол был прав.

Но он сказал:

— Хорошо, передам вашу просьбу Хо Ши Мину. Жалко, правда, его сейчас нет в Ханое.

— Надолго нет?

— Он улетел на вертолете в провинции. Обратного ждуг дня через три. К сожалению, в это время вы уже уедете из Ханоя.

— Леонид Иванович, — попробовал я найти выход, — а вам было бы неудобно позвонить туда, где он находится сейчас?

В глазах Соколова забегали веселые искорки.

— Вы думаете, это так просто определить, где вдруг может оказаться президент? И думаете, он непременно поблизости от телефона? Да он свободно может, прилетев куда-нибудь, взять и отправиться километров за десять в знакомую деревню пешочком (а ему все деревни во Вьетнаме знакомы). А там и заночевать у каких-нибудь друзей (а друзей у него тоже хватает). На циновке!

— Это в семьдесят-то лет?!

— Семьдесят ему по паспорту. А увидите его, так и думать забудете о его возрасте!

Надо бы давно спать: приехали мы в Ханой поздно, а завтра с утра — в посольство, чтобы оттуда — к Хо Ши Мину. Он ответил согласием Леониду Ивановичу на просьбу принять меня, а также двух других писателей из нашей группы, присоединившихся ко мне, — О. Мальцева и И. Кобзева; и я попросил Л. И. Соколова, если он может, поехать с нами. Согласился и он. Все великолепно!

...Коридорный стучит мне в дверь в шесть утра: я просил его об этом — боялся проспать. Мчусь в посольство, и вот наконец машина с флажком СССР несется по улицам вьетнамской столицы в президентский дворец. Нет прохожего, который не обернулся бы и не проводил глазами машину с нашим флажком. Некоторые даже машут нам вслед рукой. Какое это счастье — видеть, что так восторженно встречают флаг твоей родины! Но и как же это трудно — чувствовать себя ее представителем!

Вьется красный флажок над крылом машины. Посол, везущий нас в своей машине, делится вслух своими мыслями:

— Интересно, где президент будет нас принимать?

— Как где? Разве мы едем не во дворец?

— Во дворец-то во дворец. Да ведь сам-то он живет не в нем, а в домике садьяника. Две комнатки, койка, письменный стол, книжные полки по стенам. И маленький обеденный столик. А летом и вовсе — выстроит себе бамбуковую хижину в саду и перебирается туда.

— С семьей?

— Нет у него семьи. Однажды наша московская работница, приветствуя его, пожелала здоровья ему и его супруге. Он смутился и сказал: «У меня нет жены. Знаете, все как-то времени не было».

Вот и дворец. Над светло-желтым, парадного вида зданием с большими зеркальными окнами развевается алый флаг Демократической Республики Вьетнам с большой золотой звездой посередине.

По аллее парка, ведущей к массивным решетчатым железным воротам дворца (это бывшая резиденция генерал-губернатора Индокитая), спешит на гудок нашей машины молоденький лейтенант. На нем обычная форма вьетнамского армейца (у солдат и офицеров одна и та же): тропический шлем, песочного цвета хлопчатобумажные брюки и, тоже хлопчатобумажная, заправленная в брюки рубашка. На ногах — сандалии из автомобильной покрышки.

Лейтенант предупрежден о нашем приезде и гостеприимно распахивает створки ворот.

Миновав тенистую аллею, подъезжаем к роскошному парадному входу дворца: к широкой — почти во всю ширину дворца — открытой мраморной лестнице. Лестница приводит прямо в аванзал. Мягкий ковер во весь зал, стоящие «покоем» низкие диваны великолепной желтой кожи, тишина, прохлада. На торцовой стене зала — рельефный герб ДРВ. Под ним только один диванчик: место президента. Но Хо Ши Мин появляется совершенно неожиданно, откуда-то из боковой двери, и даже не думает усаживаться на свое место под гербом. Спешит к нам навстречу, радушно протягивая руки и как бы обнимая.

— Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи! — Это по-русски. — Простите, я заставил вас ждать.

Дело в том, что, когда мы приехали, нам прежде всего просили передать извине-

ние президента, что он задержится минуты на две: он сейчас прощается с одним личным знакомым, пришедшим его навестить.

— Я очень плохо, товарищи. говорю по-русски — скорее только понимаю,— душевно пожимая нам руки, говорит извиняющимся тоном Хо Ши Мин.— Но я думаю, мы все же пойдем друг друга.— И смеется.— Пойдем ведь, а? Найдем общий язык?

Кончив здороваться, на секунду останавливается внимательным, приветливым взглядом на каждом из нас и тут же приглашает:

— Пойдемте-ка вот сюда. Прошу!

Мы проходим коротеньким коридорчиком в небольшую белую приемную. Здесь только один диван да три-четыре кресла. Хо Ши Мин предлагает нам расположиться и сам разливает кофе в чашечки из стоящего на столике перед диваном кофейника.

Он совершенно такой, каким я представлял себе его. Только, может быть, еще подвижнее, еще легче, еще моложе: Леонид Иванович прав. Одет в хлопчатобумажный, как у солдат и офицеров, костюм; единственное различие: носит не гимнастерку, а френч. Обут в сандалии на босу ногу.

Седой. Но, странно, седина совершенно не старит его. Вероятно, это потому, что когда смотришь на Хо Ши Мина, то видишь только одно на его лице — глаза, а они такие искрящиеся, такие лучистые. И отданы только вам. Лишь тот, кто любит людей больше всего на свете, умеет вот так слушать.

Кофе источает сверхъестественный аромат. Хо Ши Мин очень доволен.

— Вы меня извините: я не спросил разрешения угостить вас кофе.— Он говорит, мешая русскую речь с французской; когда начинает говорить быстрее, то как-то само собой переходит на французский. Впрочем, если бы мы знали китайский, английский и еще несколько других языков, он мог бы разговаривать с нами и на них.— Но я уверен: вы не откажетесь от такого кофе, это вьетнамский, а лучше его на свете нет. Я вам говорю это не потому, что я патриот. (И, можете мне поверить, не гурман!) Но я немало в своей жизни поработал коком и свидетельствую профессионально: вьетнамский кофе — лучший в мире. Только надо уметь его заваривать, конечно: процедить через марлечку... Вот так...— Он с удовольствием показывает как.— И положить в меру сахару... Разрешите? — Накладывает сахар в чашечку и принимается размешивать.

— Ну что вы, товарищ Хо Ши Мин,— пробую я протестовать.— С этим я и сам справлюсь.

— Нет, нет. Я уж сделаю все до конца... А вот теперь пробуйте. Ну как? А? Пили когда-нибудь такую прелесть?

Кофе божественный. Верно: никогда не пил такого!

Но Хо Ши Мин неожиданно переходит на другое.

— А кто знает, что он такой? Еще очень мало кто. Очень мало!

Посол подает реплику:

— Нас, однако, исключите из этого числа. Мы уже не только знаем — уже и покупаем его у вас.

Хо Ши Мин живо оборачивается к Леониду Ивановичу.

— Но ведь мы можем производить его больше! И это в наших силах — вот я о чем говорю... Или бананы... Ешьте, товарищи, ешьте, пожалуйста!.. На чем их транспортировать, чтобы они доходили вот такими свежими,— он сдирает кожу с одного,— и до Москвы, и до Праги, и до Варшавы — всюду? Самолетом? Дорого. Морем? Долго. Поездом? И долго и дорого... А ведь мы можем предложить столько бананов, что всех накормим. Впрочем, что это я вас сразу на экономические темы толкаю! Вы же поэты, писатели...

— Товарищ Хо Ши Мин,— вставляю я,— а себя вы, значит, исключаете из сословия поэтов? Между тем я как раз привез вам в подарок не что иное, как ваш собственный поэтический сборник, вышедший на русском языке.

Хо Ши Мин с благодарностью принимает подарок Антокольского, говорит спасибо и мне за то, что я, как он выражается, взял на себя труд доставить ему книгу, но с моими словами о нем как поэте категорически не соглашается.

— Какой я поэт, что вы! — совершенно искренне убеждает он меня. — Это товарищи произвели меня в поэты — целый сборник где-то насобирали. Я памфлетист, публицист. Назовите агитатором — тоже спорить не стану; профессиональным революционером — пожалуйста! Но поэт? — И он недоуменно откладывает «Тюремный дневник» назад, на валик дивана.

Я невольно улыбаюсь неожиданной горячности, с которой Хо Ши Мин стремится убедить меня, что он не поэт, словно я не читал его стихов или не помню их.

— Что вы усмехаетесь? — спрашивает меня товарищ Хо Ши Мин.

— Да вот, разные стихи вспомнил. Одного товарища, отказывающегося от того, что он поэт: «Шутка», «Жаль потерянного времени», «Сердце не спит»... Хорошие стихи!<sup>1</sup>

Хо Ши Мин хотя тоже улыбается — мне в ответ, — но не сдается.

— И все-таки вы не правы. И вот почему. Посудите сами: из-за чего я их писал? Только по той причине, что ничего другого делать в тюрьме не мог. Меня же всего тем лишили... И тоска... Это — раз. Согласны со мной?

Я молчу.

— Ну хорошо. Если я вас не убедил как литератора, то постараюсь убедить как коммунист коммуниста. Насколько я понимаю, мы, коммунисты, отличаемся тем, что когда мы за что-то беремся, то всегда прикидываем заранее: а для чего я это делаю? Все равно: пишу ли стихи, организовывал ли забастовку, организую ли сейчас социалистическое соревнование... Что угодно! Между тем, когда я писал в тюрьме стихи, для чего я это делал? Лишь для того, чтобы быстрее прошло время, чтобы тоску заглушить. И тем более, — Хо Ши Мин весело смотрит на всех нас своими ясными, искрящимися глазами, — я, конечно, никак не предполагал, что на основании этих стихов меня когда-нибудь произведут в поэты! Нет, если бы я действительно был поэтом, я бы жить не мог без того, чтобы не писать: вы, литераторы-профессионалы, лучше всех это знаете. А я, как видите, превосходно обхожусь без того, чтобы слагать стихи. И до тюрьмы без этого существовал и после!

Беседовать с Хо Ши Мином легко, словно знаешь его всю жизнь.

<sup>1</sup> Вот эти стихи товарища Хо Ши Мина.

### *Шутка*

Питаюсь и живу за счет казны.  
Солдаты охранять меня должны.  
Бреду вдоль рек, брожу по горным кручам:  
Не многие, как я, вознесены!

### *Жаль потерянного времени*

Мешает жизнь вернуться в строй борцов.  
Я потерял в цепях две трети года.  
Жаль времени! Когда ж в конце концов  
Я в строй вернусь? Когда придет свобода?

### *Сердце не спит*

Теплый ветер стебли гладит,  
Листья нежные тревожит,  
Все кругом давно заснуло —  
Только сердце спать не может.  
Сердце бодрствует упрямо,  
Сердце бьется для Вьетнама.

Еще одно стихотворение, написанное уже не в тюрьме, а когда Хо Ши Мин вырвался из нее и стал во главе сражающегося народа:

Заглянул в окошко месяц, к стихотворству так и тянет,  
Погоди до завтра, месяц, — нынче я войною занят!  
Голос меди колокольной прозвучал над головой...  
Это весть к нам долетела о победе фронтовой!

Первые два стихотворения даны в переводе П. Антокольского, последние два — в переводе А. Глобы.

(Кстати, после, когда наша беседа закончилась и мы простились с Хо Ши Мином, жалея только об одном: что она прошла так быстро, хотя длилась больше часа,— у меня от души вырвалось:

— А знаете, Леонид Иванович, второй раз в жизни беседую с президентом, и мне начинает казаться, что это вообще самые легкие собеседники — президенты.

— А кто был первым, с кем вы беседовали?

— С Михаилом Ивановичем. Калининым.

— А... Что ж, тогда все понятно!..)

С поэзии разговор перешел на темы литературы вообще.

Впрочем, Хо Ши Мин первым делом с каждого из нас берет слово, что мы непременно напишем о Вьетнаме.

— Ведь вы сегодня последний день у нас, верно? Значит, страну нашу уже видели. И народ видели. Вот и напишите. Не обходя никаких острых углов, ни о чем не умалчивая. Мы ведь живем еще очень бедно, это не могло не броситься вам в глаза. Пишите и об этом, не стесняйтесь. Лучшая помощь друзей — правда. Наша литература, наше искусство тоже все время ищут путей к тому, чтобы как можно честнее и искреннее рассказывать народу обо всех его заботах и думах,— конечно, есть у нас еще и такие люди в литературе и искусстве, до сердца которых это не дошло, что подделаешь,— но я имею в виду подавляющее — и решающее! — большинство наших литераторов и работников искусства. А это безусловно люди передовые, люди, связанные с народом неразрывно. Вы встречались с нашими писателями?

— Да. Со Нгуэном Динь Тхи, с Ты Хоаем, с поэтессой Ханг Фыонг. К сожалению, многих других сейчас нет в Ханое.

Хо Ши Мин часто останавливает переводчика рукой: и так, мол, все понял. Вот и сейчас он, мягко остановив переводчика, обращается ко мне по-русски:

— Почему — к сожалению? Наоборот, очень хорошо, что они ездят по стране. — И тут выясняется, что он знает чуть ли не во всех подробностях, чем занят каждый литератор. — Вот я знаю,— говорит он,— что тот же Ты Хоай, с которым вы уже встречались, ежегодно ездит в районы нацменьшинств в горах, где он воевал и организовывал партизанские отряды, и это очень хорошо! Ханг Фыонг — вы с нею тоже познакомились — отправилась во время аграрной реформы в деревню и трудилась там вместе с крестьянами. От этого ее стихи, как вы понимаете, стали только лучше. И Нгуэн Динь Тхи всегда с народом. И отличный наш поэт То Хью. И это правильно, так и должно быть. Только народ питает творчество писателя живыми соками. А забудет об этом писатель — и народ его тоже забудет. Когда мы говорим об этом работникам искусства и литературы, мы этим самым призываем их обогащать, а не обеднять искусство и литературу. Это прежде французские колонизаторы пытались развратить грамотных вьетнамцев — как ни мало их было! — тем, что народу, мол, нужна только культура второго сорта. И поэтому слали сюда книги не Гюго и Франса, а Клода Фаррера и этого... как его, ну, министром он сейчас... — Хо Ши Мин иронически шурится. — Культуры... У де Голля... А-а, Мальро... Очень они его пропагандировали... И преподавателей сюда слали соответственных. И такие же фильмы. Правда, им приходилось соревноваться с воздействием на Вьетнам культуры китайской, влияние которой, естественно, было значительно большим. А теперь наша творческая интеллигенция идет по единственно правильному пути: создания литературы и искусства, социалистических по содержанию и национальных по форме.

Хо Ши Мин на минутку умолкает, задумывается. Затем продолжает:

— Вы только не поймите моих слов таким образом, будто я нахожу, что нам надо отворачиваться от чьей-то культуры, хотя бы французской, например. Наоборот! Я имею в виду другое. То, что нужно как можно больше расширять свое знание мировой культуры, а в особенности сейчас советской — нам этого не хватает, — но одновременно избежать опасности становиться копинстами. Нельзя брать от искусства другого народа только одну какую-нибудь сторону — допустим, от китайцев известную условность их искусства,— ничего хорошего из этого не получится. Культуру других народов надо изучать всесторонне, только в этом случае можно приобрести больше и для своей собственной.

Хо Ши Мин увлекся, он беспрерывно курит одну сигарету за другой, но вдруг на полуслове обрывает себя, оглядывает всех и спрашивает:

— Возможно, я в чем-то и неточен, но я так думаю.

Это вообще, насколько я мог заметить, характерная манера Хо Ши Мина: ничего не навязывать собеседнику, а убеждать его. Хо Ши Мин как бы все время советуется с вами. А если, тем более, вы захотите что-нибудь возразить ему, тут уж он весь внимание. Немедленно умолкнет, чтобы выслушать возражающего, и не только не вступает с ним в спор, пока тот не кончит, но даже сам поможет найти оппоненту нужное слово, если оппонент запнется и не в состоянии его отыскать. Но в данном случае ни у кого из нас и мысли нет возражать ему. Мы полностью с ним согласны.

Хо Ши Мин предлагает нам попробовать «королевские» бананы.

— Лучший сорт. И наименее транспортабельны... Ешьте, прошу. И рассказывайте, что вы видели. А то нехорошо получается. Вы у меня в гостях, а говорю все я. Рассказывайте, товарищи.

Несмотря на непринужденность беседы, созданную Хо Ши Мином, это все же не так просто. То, что мы видели, еще не улеглось в мозг, а впечатлений масса.

Я вспоминаю мальчика Дьема с джонки в Хонгае.

— Кстати, товарищ Хо Ши Мин, вам долго пришлось скрываться на островах Ха-Лонгской бухты?

Хо Ши Мин удивленно поднимает брови.

— Мне там вообще не приходилось скрываться. Никогда. А почему вы решили, будто я там скрывался?

— Да так, знаете ли... Мальчик один рассказывал...

— Ах, мальчик? Ну, это фантазеры известные, несмотря на их безусловную положительность в вопросах серьезных. К сожалению, мы пока не в состоянии дать нашим детям все, что они заслужили.— Хо Ши Мин задумывается.— Еще когда я попал к вам впервые — а это было очень давно, уже без малого сорок лет — и у вас было чрезвычайно трудное положение, все-таки вы и тогда были в состоянии дать вашим детям больше, чем мы сейчас. Я помню — я специально интересовался у вас этим, — вы уже тогда наладили бесплатную выдачу молока детям на протяжении десяти месяцев со дня рождения, и каждый ребенок находился под регулярным наблюдением врачей в детской консультации, и уже начали повсеместно организовывать ясли и детские сады. А мы даже сиротам из Южного Вьетнама, интернаты для которых обеспечиваем в нашей лучшей очереди и всем наилучшим — кто же еще о них позаботится! — и то не можем дать то, что хотим...

В комнате устанавливается молчание. Нет для него ничего более этой темы: Южный Вьетнам... дети-сироты...

А я ловлю себя на мысли, что вспомнил вдруг собственное детство и как еще при жизни Владимира Ильича моя соученица Лена, дочь первого нашего наркома здравоохранения Семашко, рассказала мне один эпизод, тоже легший в память навсегда. В 1919 году Владимир Ильич, узнав, что у Семашко тяжело заболела дочь Галя, прислал ей апельсин. Это был в то время, наверно, единственный апельсин во всей Советской России! Через сколько кордонов и фронтов пронес его, должно быть, пробиравшийся в Москву иностранный коммунист, прежде чем вынул в Кремле из кармана и протянул Владимиру Ильичу.

И еще я подумал, как пробирался в Москву немного спустя сам Хо Ши Мин. Может, и он через все границы и рогатки вез Владимиру Ильичу в подарок какой-нибудь заморский плод со своей далекой родины? Но он не застал уже Ленина в живых.

В одном из зарубежных портов, миновав все полицейские посты, не сводившие глаз с «красного» судна, стоявшего у причала, он пробрался на этот пароход и «зайцем» доехал до Петрограда. Только тут признался, кто он, и сказал, зачем едет в СССР: к Ленину.

Ему дали матросскую шинель, шапку-ушанку и валенки — стояли жесточайшие морозы. — выправили билет в Москву и сообщили, что позавчера в шесть часов пятьдесят минут товарищ Ленин умер.

Так Хо Ши Мин в первый раз увидел Советский Союз.

— Впрочем,— продолжает Хо Ши Мин,— нам все-таки неизмеримо легче, чем было вам тогда, хотя более нищими из войны вышли мы. Так, как грабили нас колонизаторы восемьдесят лет подряд, вас, может, только Гитлер грабил. Но у нас ведь есть то, чего не было у вас: социалистический лагерь за спиной! Мы благодаря этому в куда более короткие сроки, чем это удалось вам, обеспечим народ всем необходимым. Вот вы рассказываете, вам всюду кричали: «Льен-со!» А у вас таких богатых друзей не было! И, знаете, ребята кричат «Льен-со!» не только вам, но и всем европейцам,— вот что характерно. Потому что все европейцы, которых они видят здесь сейчас — чехословаки, поляки, венгры, немцы,— друзья для них. Ну, а раз друзья, значит, «Льен-со!» А сколько у нас теперь советских послов! — Он тепло, дружески посмотрел на Леонида Ивановича.— Один товарищ Соколов — аккредитованный официально. Но, кроме него, еще каждый советский человек! Если бы вы понимали по-вьетнамски, вы бы обязательно услышали, что многих советских людей называют не «товарищ Иванов» или «товарищ Петров», а просто «советский товарищ». То есть рассматривают его как посла всей вашей великой родины, только неофициального. Даже больше скажу: у нас рассматривают всех советских людей еще и как коммунистов. Всех! Вот какую высокую ответственность возлагают на каждого и каким высоким званием награждают! Так что не стесняйтесь, что на каждого из вас смотрят как на посла. Выходит, заслужили!

Однако наш — аккредитованный — посол уже второй раз посматривает на часы. Я понимаю, что срок, отпущенный Хо Ши Мином для приема, истек, но как уйти? Немыслимо! Тем более, что сам Хо Ши Мин, словно позабыв о времени, продолжает расспрашивать нас обо всем, что мы видели и что на нас произвело наибольшее впечатление. Он очень радуется, узнав, что мы побывали в Фу-То — на первой опытной сельскохозяйственной станции Вьетнама.

— И посадки кофе там видели?

— Видели.

— И лаковые деревья? Они ведь растут только у нас, в Китае и в Японии!

— И лаковые видели.

— Я очень, очень рад,— повторяет он.— Эта станция должна помочь нам решить серьезнейшую задачу: разработать лучшую агротехнику таких культур, как чай, кофе, лаковые и тунговые деревья и так далее, для районов нашего предгорья. Мы ведь еще очень бедны. И в то же время так богаты!

Хо Ши Мин возвращается к мыслям о том, как беспощадно был ограблен и угнетен вьетнамский народ, и о том, какими способами можно преодолеть это сейчас, с чего бы разговор ни начался. Как стрелка компаса, которая знает одно-единственное направление!

Он еще раз берет с нас на прощание слово, что мы обязательно напишем о Вьетнаме.

— Обо всем, что видели! Хотите об экзотике, которую увидели, пишете и о ней: это тоже наша родина!

— Нет, товарищ Хо Ши Мин,— говорю я,— экзотика меня не слишком привлекает. В цветном кино, мне кажется, ее научились показывать куда наряднее, чем она выглядит в натуре или чем ее сумею показать я. Временами она даже отвлекала меня от того, что я хотел видеть больше всего: ваш народ. И что мне по сравнению с ним косовые пальмы!

Хо Ши Мин добрым взглядом смотрит на меня. Кладет свою руку на мою, говорит:

— Я рад, что вы так думаете...— И задумчиво добавляет: — Тем более, что косовые пальмы тут небольшие, на севере. Они во весь свой настоящий рост поднимаются на юге нашей страны. Мы зовем его Нам-Бо... Север, центр, юг — Бак-Бо, Трун-Бо, Нам-Бо... Три части нашей единой родины...— На лицо Хо Ши Мина ложится грусть. Он медленно поднимается со своего места.

Встаем и мы. Прощаемся. Хо Ши Мин крепко жмет мне руку своей горячей рукой.



Дорогой читатель! Я не рассказал еще очень многого о Вьетнаме, даже того, что опрометчиво пообещал рассказать раньше. Я так и не рассказал о происхождении названия улицы Раненого Сердца, хотя разве оно не стоит расшифровки? Ее назвали так после того, как французы выпустили первый снаряд по мирному Ханюю, еще 4 апреля 1872 года, и снаряд разорвался на этой улице, полной народу... Прежде она называлась иначе.

Я не рассказал об одиноком писце, который сидит в Ханое со своей старенькой портативной пишущей машинкой на самом краю торговой части города, поближе к зданию городского Народного Совета. Время от времени он выкрикивает: «Пишу письма, прошения, жалобы! Кому написать письмо, прошение, жалобу?» Прежде их сидел целый ряд, таких писцов. А теперь он остался один. Не писать же ему жалобу на то, что ржавеют без дела литеры его машинки. что слово «прошение» уже ушло из обихода, а письма вьетнамцы начали писать сами. Да и без писаного заявления в Народном Совете выслушают каждого...

И еще не рассказал я об одном названии травы, которую нам показали на опытной сельскохозяйственной станции в Фу-То. Эту траву завезли во время войны из Лаоса, она оказалась на редкость полезной — замечательным удобрением для рисовых полей. И распространилась с быстротой молнии: скосят ее в одном месте, а семена уже разлетелись по всей округе и дали всходы. Скосят здесь, а она снова дальше ушла! И назвал ее за это народ «травой коммунистов»...

(Когда я сказал Хо Ши'Мину, что мне в Фу-То показывали эту траву и сообщили, откуда произошло ее название, он обрадовался.

— Хорошо ее назвали, точно! Она ведь действительно нестремима, у нее семена летучие. Чуть дунет ветерок, они уже...— Он сложил ладони раскрытым цветком и дунул на них.— Они уже во-он там...— И показал рукой вдаль, за окно.— Я очень рад, что вы ее видели!)

И еще я не рассказал... Впрочем, если я начну перечислять сейчас, о чем я не успел рассказать, то, наверно, получится новый очерк, и не меньшей величины, нежели тот, что вы уже прочли. А пора и честь знать. Лучше поеду во Вьетнам еще раз и тогда напишу новый очерк!



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ВИНОГРАДОВ

★

## О СОВРЕМЕННОМ ГЕРОЕ

1

**Д**олжен признаться, что нахожусь в некотором затруднении, начиная эту статью. Речь в ней пойдет на тему, о которой в нашей критике написано, пожалуй, больше, чем о любой другой. Есть у этой темы, или, если угодно, — проблемы, даже и специальное название; привычное, как вывеска над входом в какое-нибудь общественное присутствие: «Проблема положительного героя». И, предполагаю, одно лишь приглашение еще раз войти в дверь под этой табличкой может вызвать у искусственного читателя по крайней мере некоторое недоверие.

С другой стороны, как мне оправдаться перед теми, кто уже писал по этому поводу? Ведь они не найдут в этой статье никакого, так сказать, исторического обзора «предшествующей разработки проблемы положительного героя». Как тут избежать упреков в недобросовестности или, хуже того, в нескромности?

Однако и это затруднение, если выразиться на манер известной присказки, еще не затруднение, главные затруднения впереди. И это затруднение еще можно, наверное, просто обойти, попросив поверить на слово, что не из дурных намерений и не из невежливости опускаю я все эти объяснения с моими предшественниками. В конце концов, главное — существо дела, а что до остального, так читатель, думаю, выслушав все, что я имею ему сказать, сам поймет, что к чему и с кем из моих предшественников мы родственники или близкие друзья, а с кем не кланяемся.

Главные же затруднения — в самом предмете разговора, в самом, выражаясь при-

вычной формулой, положительном герое, о котором я хочу говорить.

В самом деле, речь пойдет о героях того типа, которых в старину называли: «властитель дум», «герой нашего времени». Это те, кто, на мой взгляд, в своем нравственном облике, в своем мировоззрении, в своем отношении к жизни, общественных позициях, в направленности своих деятельных устремлений выражает передовые тенденции нашего современного общественного развития. Это те, кого в первую очередь (не исключительно, а в первую очередь!) можно было бы назвать истинными героями нашего времени, те, в ком получило полное, богатое и здоровое развитие то содержание, которое дает человеку право называться настоящим коммунистом. Словом, это те, кто может служить людям своего времени — я не боюсь этого слова — общественным примером, воплощением ума, чести и совести эпохи.

«А! — скажет тут читатель. — Идеальный герой?! Как же, слышали, читали. Нет, уж избавьте нас от абстракций, хватит навязывать литературе схематические рецепты!» И вот тут я действительно оказываюсь в довольно сложном положении. Как мне убедить тебя, дорогой мой читатель, что идеальный герой — это, как говорится, совсем из другой оперы? Что речь идет не о литературных схемах и не о рецептах, а о вполне реальных, земных людях, наших современниках. «О реальных? — скажешь ты. — Тогда давай-ка поконкретнее. Пока что я слышал лишь общие слова. Любой радатель об идеальном герое с удовольствием подпишется под ними. Я понимаю, конечно, что они могут обозначать и нечто иное, реальное. Но если ты хочешь, чтобы я лучше представил

себе, о чем идет речь, назови-ка мне для наглядности какого-нибудь героя из нашей современной литературы, в личности которого выразилось все то, о чем ты говоришь. Тогда по крайней мере я буду иметь перед собой нечто конкретное, да и предмет нашего разговора представлю себе яснее».

Ну что я могу ответить тебе на это естественное твое требование? Увы, только руками развести. Или обозлиться и сказать: слушай, не надо притворяться, ты не хуже моего знаешь, что такого образа нашего современника у нас пока еще нет. Всем это известно, давно об этом говорят, критики наши и так и эдак прикидывали — да почему бы это, да как же это,—рецепты даже писателям составляли. Но что же поделаешь, если пока все остается по-прежнему? Положительные-то герои у нас есть, в каждом почти литературном произведении нашего времени есть, и очень это хорошо и понятно, но все-таки, по общему признанию, все они явно «не дотягивают», так сказать, до того «уровня», при котором литературный персонаж становится художественным типом эпохи, заставляет нас ощутить всю полноту, богатство, сложность, истину схваченной реальности. Есть у нас удивительный Павка Корчагин, до сих пор остающийся высоким нравственным примером для нашей молодежи, да и не только для молодежи. Но ведь и время сейчас другое, и реальные задачи — жизнь ушла вперед, и Павка, при всем его обаянии, при всей его жизненности, протягивает нам руку все-таки из прошлого. Мы с гордостью несем его знамя строительства нового мира, мы дорожим им, оно свято для нас, как святы знамена революции, подполья, революционной каторги, иных, более далеких, прошумевших над страной освободительными грозами времен. Но каждое время, осененное знаменами традиций, которым оно наследует и с которыми ощущает свою неразрывную связь, несет впереди свое, сегодняшнее знамя — на нем начертаны слова сегодняшней борьбы. Где же он, кто же он, тот герой, который несет знамя нашего времени? Ах, как хотелось бы встретиться с ним лицо к лицу, сердце к сердцу, как хотелось бы этого чуда, которое способно дать только искусство!.. Взглянуть на мир его глазами, охватить жизнь во всей ее сложности его острой, точной, идущей до конца мыслью, подслушать его тоску, разделить его радость, отмерить вместе с ним полную дозу

любви и ненависти ко всему, что заслуживает любви и ненависти, распознать вместе с ним врагов и отличить верных друзей, почитать вместе книги, послушать музыку, помолчать под ночным небом — да просто поговорить с ним о себе, о нашем времени, о наших болях и мечтах, и протянуть руку, и встать рядом, и знать, что появился у тебя друг, настоящий, большой человек, с которым легче идти и знаешь, куда идти...

Ты понимаешь теперь, дорогой мой читатель, что совсем не об идеальном герое идет речь? Понимаешь, что не меньше тебя я хотел бы вот такой встречи — встречи не с абстракцией, а с живой, реальной человеческой душой? Но что же делать, если мы с тобой лишены пока этой возможности? Ведь не ругать же снова писателей — вот, мол, задолжали, не оправдали, отстали... Их ведь тоже можно понять: трудное это дело, сложное — создать такой образ. Тут не только талант нужен...

Впрочем, речь сейчас не о том, что тут нужно, речь сейчас о другом, и лучше подумать, как нам выйти из создавшегося затруднения. Ведь есть ли в литературе такой герой, нет ли его — в жизни-то он есть. Ведь живут они среди нас, эти реальные, живые... — так и хочется назвать здесь имя такого же масштаба и такой же нарицательной значимости, какими были некогда имена знаменитых литературных героев для живых Базаровых и Рахметовых, Волгиных и Инсаровых... Пусть не имеют они, герои нашего времени, таких полнокровных, живых литературных своих портретов, но сами-то они есть, и жизнь не ждет, не меняет своих требований оттого, что нет таких портретов; и насущная необходимость иметь представление о подобном человеческом типе нашего времени все равно остается насущной необходимостью для нас, людей этого времени, — времени, когда каждый день требует раздумий и ответственности, когда страна наша живет под знаком тех перспектив своего развития, своего будущего, которые столь четко обрисованы в проекте новой Программы КПСС; когда весь мир с напряженным вниманием следит за событиями, которые происходят в нашей стране, за космическими полетами, за речами Н. С. Хрущева, за каждодневной жизнью народа, и на планете нашей все еще так беспокойно, и нужно быть готовым к грозе... Значит, не может быть бесполезным стремление взглянуть в черты того героя,

о котором идет речь, если даже литература и не способна пока полностью удовлетворить нас в этом отношении. Значит, нужно воспользоваться уже тем, что она дает, осмыслить ее попытки на пути к созданию такого образа, попробовать уловить те живые черты, которые проступают в ее героях, даже и не обладающих той масштабностью, той обобщающей художественной значимостью, как хотелось бы. А для этого у нас есть, в общем, вполне достаточные возможности. Ведь если я говорил о том, что нет пока у нас в литературе героя, которого все мы так хотим встретить, то речь шла, повторяю (и думаю, что читатель понял это верно), именно о художественном образе большой впечатляющей силы — о таком герое, который мог бы по своей художественной значимости соперничать с героями лучших произведений классики. Да и то сказать: относится все это в первую очередь, конечно, к нашей прозе, к героям наших романов, повестей, рассказов; в лирике дело обстоит здесь, думается, много лучше, и лирические герои некоторых наших поэтических книг позволяют нам в известной степени утолить эту нашу жажду. Однако и в прозе мы имеем интересные попытки художественного проникновения в жизнь нашего современника, видим героев, в которых так или иначе, с большей или меньшей художественной полнотой и выразительностью, но получили известное отражение различные черты духовного облика лучших людей нашего времени. И обращение к образам такого типа может, понятно, многое нам дать. С другой стороны, и неудачи в этом отношении поучительны — поучительны уже тем, что там, где ясно распознаешь фальшь, яснее — по контрасту — ощущаешь и ее противоположность. И здесь, наверное, единственный выход из того главного затруднения, о котором я говорил. Во всяком случае, именно по этой причине решаюсь я поделиться некоторыми своими впечатлениями, имеющими отношение к затронутой теме.

Впечатления эти разные — и положительные и негативные, и возникли они при чтении тех или иных произведений современной нашей литературы. Разумеется, они не могут обеспечить нашему разговору нужную полноту и всесторонность, да я и не претендую на такую полноту и всесторонность. Ее не может быть, очевидно, уже потому,

что сам имеющийся «в наличии» литературный материал не дает пока для этого достаточной почвы. К тому же я не ставил перед собой задачи даже и этот материал охватить более или менее полно. А все же — пусть даже речь пойдет только о некоторых, очевидных нам уже сейчас чертах облика подлинного героя нашего времени, пусть не можем мы пока рассчитывать здесь на необходимую полноту, ясность, договоренность, — все же, я думаю, и такой разговор имеет смысл. Ведь предмет-то его и в самом деле очень важен. К тому же яснее, может быть, станут и те трудности, которые стоят на пути к тому, чтобы подлинный герой нашего времени смог войти из жизни в литературу...

## 2

Есть у современного нашего молодого поколения — во всяком случае у значительной его части — одна характерная психологическая черта, которая представляется мне и сама по себе очень знаменательной и важной, но особенно в связи с темой нашего разговора. Черта эта все чаще привлекает в последнее время внимание нашей думающей литературы, и в ней нетрудно уловить живое веяние времени. Из многих книг, на которые я мог бы здесь сослаться, укажу хотя бы на повесть В. Аксенова «Коллеги». Повесть эта, напечатанная в прошлом году в «Юности» (№№ 6 и 7), достаточно широко известна и в этом смысле удобна для нас в качестве своего рода «отправной точки».

Я не буду говорить здесь о литературных достоинствах и недостатках этой повести — скажу только, что хотя талантливость молодого автора представляется мне несомненной, хотя талант этот радует часто точностью наблюдений, верностью деталей, зарисовок, своей общей направленностью к серьезному, вдумчивому художественному исследованию жизни, — в целом повесть, как мне кажется, все же, скорее, хорошая «заявка», и талант В. Аксенова пока еще больше обещает, чем дает. Повесть заслуживает того, чтобы судить о ней, что называется, по высокому счету, и с этой точки зрения можно было бы указать в ней немало слабостей, проявлений не очень зрелой писательской культуры, просто вкуса, наконец.

Сейчас, однако, я буду говорить прежде всего о том, что удалось автору, и хотел бы

обратить внимание на ту реальную жизненную основу, которая отчетливо проступает в характерах героев, на ту показательную для нынешнего поколения психологическую особенность, которая роднит этих героев.

На первый взгляд, это утверждение о «родственности» героев может показаться натяжкой. В самом деле, что общего между Сашей Зелениным, например, и Алексеем Максимовым или Алексеем и Владькой Карповым? Только то, что они вместе учились в мединституте, закончили его и теперь делают первые сходные шаги, вступая в жизнь, в свою нелегкую профессию? Что же до характеров, то ведь одно дело — Саша Зеленин, молодой «идеалист» и «романтик», как называют его друзья, любитель пофилософствовать, порассуждать на высокие темы, поговорить об «ответственности поколений», о смысле жизни; прямодушный и чистый «рыцарь идей», забравшийся в глухое сельское местечко, чтобы принести людям как можно больше добра, сильнее ощутить свою нужность, необходимость им. Другое дело — Алексей Максимов. И он тоже не так уж прост, этот мрачноватый, не слишком-то разговорчивый парень; и он тоже немало думает о вещах больших и сложных, хотя и не любит обсуждать их вслух. Но раздумья его противоречивее, той завидной ясности «общей идеи», которую обрел уже Саша Зеленин, у него нет и в помине, и отношение его к жизни окрашено в иные тона, чем у его несколько восторженного друга. В самом складе его ума гораздо больше ироничности, и взгляд его на мир сдобрен известной дозой этакого молодого насмешливого скепсиса. А Владька Карпов? Этот «свой в доску» весельчак и балагур, гитарист, заводила, любимец девочек — чем похож он на Сашу Зеленина или Лешку Максимова? У каждого свое, и каждый привлечен кателен по-своему.

И все-таки общее в них есть, оно отчетливо проступает в их характерах, несмотря на все несовершенства художественного выражения, а порой и просто непоследовательное, неглубокое авторское осмысление. Более того, именно это общее главным образом и сообщает героям ту жизненность, ту психологическую достоверность, благодаря которой только и может возникнуть атмосфера читательского доверия, и читатель, уловив общую правду характера, почувствовав, так сказать, главный его психологический «нерв», не упускает его уже потом

из виду и силой своего собственного воображения как бы заполняет те пробелы, которые допустил автор, не «спотыкаясь» уже особенно сильно там, где автору изменило чутье, где мысль его покинуло вдруг мужество последовательности и вольно или невольно он допустил искажение. Я сказал бы даже и еще больше. Мне кажется, что именно этот главный, решающий для художественного характера психологический «нерв», который В. Аксенов сумел уловить в своих героях как нечто роднящее их, именно эта общая психологическая правда, на которой «замешены» характеры трех друзей, сообщает каждому из них и главную долю их нравственной привлекательности. Я имею в виду здесь то, о чем сам Саша Зеленин, склонный к обобщающим четким формулам, говорит так: «Мы поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед, и назад, и себе под ноги... Мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято». Резковатый Лешка Максимов выражается на этот счет несколько иначе: «Мое кредо — быть честным, но не давать себя облапошить, не попадаться на удочку идеализма». Он тоже стремится смотреть на мир открытыми глазами и чувствовать себя в ответе прежде всего «перед своей совестью», а не перед абстрактными догмами, которые «только мешают видеть реальную жизнь».

Вот эта-то неспособность к бездумному усвоению впечатлений жизни, ставшая уже чертой характера, серьезное, ответственное отношение к своим убеждениям, взглядам, поступкам и составляет самую главную, на мой взгляд, и самую привлекательную психологическую черту молодых героев В. Аксенова. Да, это самостоятельные ребята; если они высказывают какое-то убеждение, то можно верить, что они действительно убеждены в этом, действительно думали об этом и это действительно их личное, собственное убеждение; если они поступают так, а не иначе, — это потому, что они считают нужным и правильным поступить именно так, а не иначе; если они верят — на их веру можно положиться; если они не спешат высказать свое мнение — значит они не разобрались еще в этом, значит у них нет еще здесь своего, своим умом выработанного мнения. Они действительно хотят смотреть на мир «открытыми глазами», и потребность во всем «дойти до кор-

ня», проверить собственной мыслью, собственным опытом, иметь право сказать: «Я так считаю и готов отвечать за свои слова и поступки», — потребность эта вошла в их плоть и кровь, стала определяющей чертой их духовного облика. Потому-то и веришь, что из них, как говорится, может получиться толк. Во всяком случае, экзамен на верность тому, в чем они убеждены, они выдержат, думается, сумеют. Все дело лишь в том — а это, конечно, главное, — насколько верными и плодотворными будут итоги их духовного развития, какую общественную ценность будут представлять собой эти итоги. Только этим и может определиться ответ на тот вопрос, который задает себе однажды Саша Зеленин: на что же способны «мы, городские парни, настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души?»

Конечно, уже и сейчас герои повести В. Аксенова обещают многое. Но все-таки не следует забывать, что перед нами лишь первые итоги молодой мысли, только начинающей еще вглядываться в сложную картину жизни. В этом смысле нелепо было бы относиться к героям повести хоть сколько-нибудь апологетически и считать, что они уже вышли на самые верные позиции в жизни. Этого нельзя сказать даже о Саше Зеленине, не говоря уж об Алексее, который весь еще в сомнениях, в поисках, хотя, может быть, и более перспективных, чем у его друзей. Да и вообще с этой точки зрения повесть вряд ли отражает даже и те высшие принципы общественного сознания, до которых поднимается хотя бы только и молодое поколение наших дней — в лучшей его части, конечно, — не говоря уж о людях более зрелых. Но вот самое стремление к самостоятельной, личной выработке своего отношения к жизни, саму эту характерную психологическую черту нынешней молодежи В. Аксенов уловил, в общем, верно. Это и в самом деле достаточно яркая отличительная черта наших молодых людей последнего времени. И недаром, повторяю, эта черта все чаще и чаще обращает на себя внимание нашей литературы. Разве нет ее, например, в молодых героях лучших пьес В. Розова? Разве не она со-

ставляет одну из самых привлекательных черт главного героя романа В. Тендрякова «За бегущим днем» — героя отнюдь не во всем и не всегда привлекательного? Мне приходилось уже говорить достаточно подробно по поводу этого образа, и хотя я хотел бы тешить себя мечтой, что читатель наш с большой охотой читает критические статьи и внимательно следит за ними, я позволю себе все же напомнить, что тот духовный перелом, который происходит с Андреем Бирюковым и пробуждает его к общественной активности, связан именно с выходом на путь самостоятельной работы мысли, напряженных и глубоких раздумий о том, что происходит с ним и вокруг него. Я позволю себе напомнить о том, что и в учениках своих Андрей стремится воспитать привычку думать самостоятельно, собственными усилиями искать разгадку нового, неясного, непонятого; стремится отучить их от бездумного, механического «усвоения знаний». И справедливо считает это одной из самых главных своих задач, потому что хочет, чтобы ученики его стали настоящими людьми и всегда помнили, что «любая человеческая жизнь сложна, тем более жизнь тех, кто впереди других нашупывает дорогу. А все мы идем не по проторенному пути». Потому-то и борется он с теми, кто кричит о бездумной ясности, усыпляет разум людей, бодренько уверяет: «Все трин-трава, о чем задумываться, жизнь проста, жить ясно». Он слишком хорошо понимает, что «мысль и творчество, замкнутые в теплое и жирное болото монополярной истины, теряют всякую связь с жизнью» и дают лишь «ядовитые поросли».

Вот эта-то психологическая особенность, роднящая героя В. Тендрякова с героями В. Аксенова, В. Розова, с героями целого ряда других книг последнего времени, — эта-то черта и представляется мне в высшей степени важной, когда мы говорим о духовном облике передового человека нашего времени. Черта эта отнюдь, конечно, не представляет собой какого-то новейшего нравственного завоевания — она искони была необходимой, так сказать, принадлежностью духовно зрелой человеческой личности и отличала лучших людей любых эпох, любого времени. Но в наше время, в условиях нашей жизни черта эта, думается, приобретает особенное значение, и тот факт, что она получает все более широкое распространение, становится чертой по-

колений, есть закономерное проявление властной и неотвратимой исторической необходимости.

Почему это так? А вот почему.

В дневнике Мартынова, героя книги В. Овечкина «Трудная весна», есть такая запись: «Хорошо сказал этот комсомолец агроном Шорин, что заходил ко мне с Нечипуренко: «Своей ответственностью за судьбу родины, революции, социализма я равен любому, самому высокопоставленному нынешнему авторитету — разница в возрасте и масштабах работы особого значения здесь не имеет». Надо познакомиться с этим парнем поближе».

И еще одна дневниковая запись — на этот раз из «Деревенского дневника» Е. Дороша. Автор дневника рассказывает о своем разговоре с молоденькой студенткой техникума, будущим агрономом, уроженкой тех мест, где происходят события «Деревенского дневника». «Мне приходилось,— пишет Е. Дорош,— слышать тогда от разных людей, будто бы руководители той области, объявив о баснословных успехах в производстве мяса, обманули партию и правительство». Об этом-то и хотелось поговорить автору со Светой и с сестрой ее Людой, которая работала уже здесь агрономом. «Не то чтобы я рассчитывал проверить правильность всех этих слухов у двух молодых девушек, из которых одна работала агрономом года полтора с небольшим, а другая и вовсе была практиканткой,— объясняет автор это свое желание.— Да и без какой-либо проверки многое было уже тогда очевидным,— к слову сказать, у въезда в областной город можно было видеть обширные поля, где школьники сажали напоказ выращенную в торфяных горшочках, следовательно очень дорогую, кукурузу.

Сестры жили в деревне, среди людей, изо дня в день делающих крестьянскую работу, они и сами участвовали в этой работе, которая предельно конкретна, материальна и основывается на том, что от худого семени здесь не ждут доброго племени, и мне хотелось услышать именно их суждения о той шумихе, какая свирепствовала вокруг простого дела — пахать пашню, ходить за скотиной, причем меня интересовала, разумеется, не экономическая оценка всей этой спекуляции, но нравственная».

И вот, продолжает Е. Дорош, «мы принимаемся рассуждать со Светой на тему об очковтирательстве, без которого и у нас, в

здешних краях, если судить по некоторым глухим слухам, кажется, тоже не обошлось. Свету, да и меня, пожалуй, занимает, так сказать, механизм этого дела, то есть то, как же это можно несуществующее мясо, или молоко, или зерно выдать за якобы существующее.

...Девушка... взволнована всеми этими разговорами об обмане государства, она силится понять, какие причины побудили людей, которых она уважала, потому что с детства привыкла уважать их должности, стать обманщиками. Света и в мыслях не держит обвинить их в каком-либо корыстном расчете. Поэтому, должно быть, уставив на меня несколько растерянный и вопрошающий взгляд, она нетвердо говорит: «Может... так надо?» И тут же, оживившись, словно радуясь своей догадке, она уже уверенно пускается в рассуждения о том, что все это делается, конечно, с расчетом, чтобы в других областях, прослышав про замечательные успехи прославленной области, стали работать лучше, и таким образом весь этот как бы обман, глядишь, обернется на общую пользу.

Свете еще нет и девятнадцати лет. Ей чуть обидно отказаться от столь хитро и самостоятельно возведенного построения. Однако для меня не составляет труда убедить ее в том, что только правдой можно добиться успеха и что неправда, скажем в хозяйственной деятельности, разрушает не одну лишь экономику, но и человеческие души, а это всего опаснее.

Девушка даже рада, я думаю, что освободилась от обременительной необходимости сознавать, будто некоторым избранным людям позволено творить ложь и выдавать ее за правду. Но тогда она должна примириться с мыслью, что «такие люди», как она выговаривает не то чтобы в осуждение им, скорее сокрушаясь о них,— что «такие люди» могут быть бесчестными.

Уходит Света в некотором смятении. Это объясняется еще и тем, что разговор об очковтирателях для нее не такая уж отвлеченность. На днях она уедет работать в деревню, и кто знает, какой попадется ей председатель колхоза, не станет ли он понуждать ее, чтобы она писала в сводке, будто не убраный еще хлеб уже убран, и составляла акты о том, что ненадоенное молоко выпито приехавшими убрать этот хлеб рабочими».

Какую связь имеют эти две приведенные

мною выписки из двух «дневников»? Мне кажется, самую прямую.

В самом деле, будет ли иметь какую-нибудь реальную, действительную цену ощущение комсомольцем агрономом Шорным своей личной ответственности «за судьбу родины, революции, социализма», если его понимание жизни, умение разбираться в ней, вообще характер «освоения», так сказать, жизненных впечатлений будет находиться на том примерном уровне, что у честной, чистой, но, конечно, несколько пре-краснодушной Светы? С другой стороны, способна ли будет Света не только противостоять давлению того вполне вероятно председателя-очковтирателя, с которым может столкнуть ее жизнь, но и понять хотя бы отчасти, в чем состоит настоящая ответственность человека нашего времени за дело социализма, если мысль ее по-прежнему будет так же несамостоятельна, неразвита, немужественна в обращении с различного рода фактами жизни, не только, конечно, подобными тому, о котором рассказывает Е. Дорош? И не связана ли «судьба родины, революции и социализма» с тем, сумеют или нет Света и другие такие же вот Светы, Маши, Пети, Володи преодолеть свою робость в отношении больших, общих вопросов жизни — не нашего, мол, это ума дело, — сумеют или нет научиться самостоятельно размышлять, анализировать, делать выводы и по мере сил и возможностей претворять свои выношенные, кровные убеждения в жизнь? Двух ответов на эти вопросы быть не может. Преданность делу коммунизма, умение с точки зрения идеала смотреть на реальную жизнь и видеть ее реальное содержание, реальную ценность, определять, исходя из этого, свои сегодняшние, конкретные позиции в сегодняшней, конкретной реальности — все это невозможно в наши дни совместить с доктринерством, начетничеством, с окостенелостью мысли, со слепой верой в истинность того, что не осознано самостоятельно, с психологией бездумного исполнителя. Вот почему уже хотя бы и в интеллектуальном только отношении была бы так захватывающе, невероятно интересна встреча в искусстве с тем героем нашей современности, с которым всем нам так хотелось бы познакомиться поближе. И не здесь ли лежит одна из самых больших трудностей на пути к созданию такого образа? Ведь для того, чтобы на страницы

романа пришел такой человек — со всей той широтой, масштабностью кругозора, мужественной силой ясного, убежденного, глубокого взгляда на жизнь, что можем мы в нем предположить, — для всего этого нужно действительно очень многое, не говоря уже о том, что и сам автор должен по крайней мере стоять вровень со своим героем...

Следовательно, те психологические черты, которые обнаруживает сейчас наша литература, в частности в молодом нашем поколении, и в самом деле имеют непосредственное отношение к теме нашего разговора. И гут важно подчеркнуть еще раз: в том, что черты эти получают все более широкое распространение, сказывается, несомненно, объективная историческая закономерность, имеющая корни в сегодняшней нашей жизни, порожденная теми особенностями сегодняшнего ее состояния, которые и выводят на путь самостоятельного духовного развития все больше и больше молодых — и не только молодых — людей, убежденных в необходимости смотреть на мир «открытыми глазами». Эта тенденция нашего общественного развития не может не радовать, в ней ясно чувствуется всегда побеждающий оптимизм истории. И уж во всяком случае, закономерная тенденция эта убеждает нас в том, что отмеченные выше черты духовного развития человеческой личности являются действительно необходимым условием формирования характера передового человека нашего времени, выработки его взгляда на жизнь, его общественных позиций в борьбе за коммунизм. Тенденция эта помогает тем самым осознать и то, в каком направлении могли бы быть плодотворными поиски нашей литературой ее главного героя.

### 3

Самостоятельность духовного развития, возникновение потребности самому думать над окружающим, сознательно и ответственно относиться к выработке своего взгляда на мир, своих убеждений — все это, однако, действительно только еще условие, вернее, одно из необходимых предварительных условий формирования передовой человеческой личности нашего времени. «Мы поколение людей, идущих с открытыми глазами. Мы смотрим вперед, и назад, и себе под ноги», — говорит Саша



Зеленин. Но правильно, что не забывает тут же добавить: «Остальное зависит от силы зрения. Одни отчетливо видят цель, а другим нужно подбирать оптические стекла».

В самом деле, ведь сама по себе привычка самостоятельно думать о жизни — еще далеко не все, и тут возможны различные результаты. Поэтому очень существенно то, в каком направлении развивается самостоятельная мысль человека, к каким итогам она ведет, какую общественную ценность будут представлять собой эти итоги. Это — главное. И тут, конечно, имеет очень большое, можно сказать, первостепенное значение, чтобы человек, стремящийся смотреть на все «открытыми глазами», имел перед собой верный. «ориентир», позволяющий видеть жизнь в правильной перспективе и не впадать ни в юношескую близорукость, ни в старческую дальнозоркость. Ведь действительно очень важно, чтобы он «не давал себя облапошить» тем, кто внутренне равнодушен к судьбе дорогих нам идей, кто «спекулирует тем, что для нас свято», кто прячет за высокими словами корысть и цинизм. Нужно, чтобы он умел их ненавидеть всей мерой человеческой ненависти, чтобы он был готов к самой непримиримой борьбе с ними. Но именно поэтому важно и то, чтобы самостоятельная его мысль, «открытые глаза» его ясно видели то «святое», преданность которому одна может дать человеку нашего времени силу, мужество, подлинную осмысленность существования. Важно поэтому, чтобы, стоя на таких позициях, человек действительно был самостоятелен и в отношении глубоко чуждых нам влияний буржуазной реакции, чтобы не давал он себя «облапошить» тем, кто стремится подорвать самые основы коммунистического мировоззрения, опорочить наш коммунистический идеал и выдать именно мир, построенный на принципе частной собственности, за самый лучший, идеальный человеческий мир. Здесь нужна подлинная самостоятельность, здесь нужны верные ориентиры и беспощадная ненависть, готовность жизнь свою отдать за то, ради чего уже отдали свои жизни наши отцы в суровые годы революции.

Значит, действительно, сама по себе привычка думать самостоятельно — еще далеко не все. Значит, действительно первостепенное значение имеет здесь именно направление, в котором работает мысль, именно та

«острота зрения», о которой говорит Саша Зеленин. И дело не только в том, чтобы у человека была ясная цель и он был предан этой цели. Когда мы говорим о формировании передового человека нашего времени, подлинного борца за дело коммунизма, это само собой разумеется. Но ведь может быть и действительно бывает нередко так, что преданность идеалу и даже привычка к самостоятельным раздумьям как будто бы и налицо, а вот реальные, конкретные жизненные позиции человека, понимание им жизни, которая его окружает, ее реального содержания и тех конкретных задач, которые она выдвигает именно с точки зрения необходимости осуществления идеала — это все, как говорится, оставляет желать лучшего и может даже объективно противоречить исходным устремлениям. Корень вопроса здесь именно в верности, правильности практического применения идеала к живой жизни, в определении конкретных жизненных позиций, действительно отвечающих требованиям этого идеала, — то есть, тем самым, и в реальном содержании самого этого идеала. Значит, для того чтобы самостоятельность духовного развития, которая является неперенным условием формирования передового человека нашего времени, стала условием формирования действительно такой именно человеческой личности, необходимы, в свою очередь, еще какие-то важные условия, которые обеспечили бы верное направление этого развития, правильность «совмещения» идеала с действительностью.

От чего же зависит эта «острота зрения», в чем состоят те необходимые условия, которые дают человеку возможность не впадать в хроническую близорукость и не страдать абстрактной дальнозоркостью, при которой очертания реальной, рядом с тобой протекающей жизни становятся расплывчатыми и неопределенными? Опыт обращения нашей литературы к образу современника позволяет, как мне кажется, уловить и здесь некоторую общую закономерность, помогающую ответить на эти вопросы и имеющую, тем самым, непосредственное отношение к вопросу об облике истинного героя нашего времени.

Я позволю себе прибегнуть здесь к «обратному», так сказать, ходу мысли — начать с некоторых негативных впечатлений. И прежде всего с примера той мнимой, ложной, бессодержательной «самостоятель-

ности» мысли, образцы которой не так уж редко, к сожалению, преподносятся нам в качестве чего-то в высшей степени ценного и достойного подражания. Я опять-таки укажу здесь, в интересах экономии времени, лишь на одно из последних достижений в этом роде — на образ Павла Теплова из романа Л. Обуховой «Заноза». И притом не столько для того, чтобы продемонстрировать, так сказать, образчики его размышлений, — читатель может сам проверить правильность моих оценок, открыв любую главу романа, — но для того, прежде всего, чтобы обратить внимание на причины, рождающие тот склад мышления, который так характерен для Павла Теплова.

Правда, автор, по его собственному заявлению, как будто бы и не стремится представить Павла «человеком героического толка». Он снабжает его целым рядом естественных человеческих слабостей и даже заставляет его однажды самого перечислять все свои недостатки.

«Он растроганно и покаянно бормотал: — Но я хуже, чем ты представляешь. Вот мои недостатки: я бываю слаб, слаб сердцем. Нет, не то, что ты опять подумала, а просто прощаю, когда нельзя прощать. Даже кажется, что подпадаю под чужое влияние... понимаешь, вдруг задумываюсь: не правее ли другой, чем я? От излишней доброты это идет, что ли? Потом я, наверно, сибарит. Это не главное, конечно, но, если можно, я люблю понежиться. Просто стыдно признаться, как это было до Сердоболя. И еще... — Он запнулся, но продолжал, вздохнув: — Еще я чувственный. А говорят, что это плохо. Так считается, что плохо».

Вот так вот. Совсем, как видите, не идеальный герой. Впрочем. Тамара, к которой обращена его покаянная речь и «драматическая» любовь к которой так же призвана, по замыслу, выявить некоторые недостатки характера героя, — Тамара прощает своему избраннику эти маленькие его слабости. Даже и то, что он чувственный. Ведь если сама она «не спешила к любовным радостям», то это «не потому, что в душе ее недоставало жара. Может быть, — подчеркивает автор, — как раз наоборот: рано начинают те, кому отпущено мало...»

Прощает, понятно, своему герою все эти маленькие слабости и Л. Обухова. Прощает потому, что в главном — в деле (Павел работает редактором районной газеты), в сво-

их общественных позициях, в содержании своего общественного «я» — герой вызывает у нее несомненное сочувствие. Она считает его человеком думающим, интересным, самостоятельным — в полной мере, что называется, «интеллектуальным героем». И боже мой, сколько страниц отведено под пространные раздумья, рассуждения Павла на всякого рода высокие темы! С каким упованием следит автор за каждым, так сказать, «изгибом» мысли своего героя, как тщательно и бережно стремится донести до нас каждое его слово...

Но — в сторону иронию — здесь-то и заключено самое поразительное. В самом деле, почему так невыносимо скучно, предельно неинтересно читать все эти «самостоятельные» рассуждения и размышления героя? Не потому ли, что не чувствуешь в них никакой реальной, осязаемой связи с конкретным миром, окружающим Павла? Действительно, с какими реальными впечатлениями жизни Павла связаны, например, следующие его размышления:

«В наш век революций, думал Павел, мы привыкли ко всему, что случается, прибавлять слово «борьба». Мы боремся за мир, за счастье, за увеличение надоев молока, за сокращение сроков строительства электростанций, за воспитание нового человека. Мы, не веря в бога, сами себе приписываем абсолютное могущество: будет так, как мы захотим. Но всегда ли мы знаем, чего мы хотим?»

Прежде всего человек хочет быть счастливым, хотя понятие о счастье весьма расплывчато. Сюда входит и минимум благосостояния, и обладание тем, кого любишь, и справедливое социальное устройство вокруг. Однако все это вместе взятое может еще и не быть счастьем, а только условием его. Многие по прошествии времени с удивлением вспоминают: мы были счастливы тогда-то и тогда-то, но даже не замечали. Но это неверно. Они были только спокойны, или удачливы, или еще что-нибудь. Счастье ни с чем не путаешь. Когда оно приходит, никто не ошибается, что это такое. Счастье — это с полным напряжением сил делать то, что хочешь и что должен делать. Когда это совпадает. Одна из самых серьезных жизненных неудач — не попасть в стантовую жилу своего времени, в ее главный поток. Не суметь отличить исторически основное от наносного. В каждой эпохе есть свой авангард. Судьба его грудна. Но

быть в этом авангарде — социальное счастье человека! На историю, в общем, работают все. Но по-настоящему счастливы только те, кто делает это сознательно».

Приведенный отрывок показателен для самого склада мышления героя, характеризует общее направление и природу его раздумий. Как всегда у Павла, слова-то здесь вроде бы и хорошие, как говорится — «правильные», но что скрывается за этой слишком общей «правильностью», какой реальный смысл имеют эти слова — хотя бы в отношении того, что происходит вокруг героя, — все это, как видим, понять довольно трудно.

В чем же тут дело? Почему человек, и в самом деле любящий, как видно, поразмышлять, подумать, ударился вдруг в этукую «умственность», почему не только не в состоянии выбраться он из этих общих слов, мимо значительных умозаключений, но, напротив, даже привык к этакому «парению» мысли, любит его и не способен ни на что другое? Содержание романа дает убийственно ясный ответ на этот вопрос — разумеется, помимо желаний автора. Ведь не случайно же на протяжении всего того времени, которое провел Павел в Сердобольском районе, работая редактором газеты, мы ни разу не видим, чтобы пробудился в нем какой-то человеческий, живой интерес к кому-нибудь из тех, для кого, собственно, он работает. Ни разу не остановился его взгляд на реальном, живом человеческом лице, ни разу не взгляделся Павел в эти живые черты, не попытался задуматься о том, как живет этот человек, как складывается его каждодневная жизнь, что нужно ему для счастья, что заботит его, мешает ему жить. Все это присутствует в раздумьях Павла лишь в самом общем, абстрактном виде, а люди, реальные, живые люди, которым он готов как будто отдать себя, — словно бы и не жил он среди них. Нет, не от «излишней доброты» прощает Павел там, где нельзя прощать! И не оттого мысль его так неконкретна и схематична, что не хватает ему ума. Не хватает другого. Откуда же и наполниться ей реальным содержанием, если не привык Павел Теплов задумываться о простых, земных вещах, о том, что видит он — вернее, не видит — вокруг себя? И откуда взяться этой привычке, если нет у него ни настоящего интереса к людям, ни настоящей человеческой доброты, если проходят

мимо него десятки, сотни живых человеческих судеб, и ни одна из них не привлекает его взгляда, потому что равнодушен Павел Теплов к людям.

Вот здесь-то и видишь, что выработка верных жизненных позиций, верное направление самостоятельного духовного развития человека действительно имеют своим условием обладание некоторыми немаловажными человеческими качествами — качествами, которых так не хватает Павлу Теплову. И вопрос о характере, о роли этих качеств имеет настолько существенное значение для нашего разговора об облике передового человека нашего времени, что я позволю себе задержать внимание читателя еще одним литературным примером. Ведь человеческая доброта, интерес и внимание к людям тоже бывают разные. И не всякая доброта, не всякий интерес способны дать здесь нам то, что мы ищем. В этой связи я и хочу напомнить один недавний спор, который разгорелся на страницах «Литературной газеты» вокруг образа главного героя повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балув».

## 4

Читателей не нужно учить непосредственному отношению к литературе. Они не отказывают ее героям ни в своей любви, ни в своей ненависти. Они и спорят о них так, как будто литературные герои — живые люди.

Было время (для иных, впрочем, оно и сейчас еще не прошло), когда критика поглядывала на эти читательские споры несколько косо и свысока. Они казались ей слишком наивными, и она считала недостойным себя опускаться до столь «элементарного» отношения к персонажам романа или трагедии. Она твердо знала, что литература — это не сама жизнь, а лишь ее отображение. И, преисполненная желанием обучить писателей всем правилам такого отображения, внимательно следила за тем, насколько послушно они следуют ее предписаниям.

Но теперь, кажется, вполне уже обнаружилось, что в читательской непосредственности есть свой смысл. И даже большой. Если учесть, что для тех, кто читает литературные произведения и критические статьи о них, важно не только то, каковы художественные достоинства и недостатки изображения. Им хочется еще понять, как в

самой жизни следует относиться к Мансуровым или к Гмызиным, к братьям Ершовым, к Вальганам или Бахировым.

Литературные герои отвоевали наконец себе право на то, чтобы критики относились к ним по-человечески. Как к живым людям. И теперь никого уже не удивляет, когда на страницах печати разгорается вдруг спор о том, хорош или плох герой какой-нибудь книги. Никто не видит ничего необычного, когда писатель С. Антонов, взявшись за критическую статью, признается в том, что Балуев, герой повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев», сначала «понравился» ему, а потом вызвал какую-то «смутную антипатию». Когда Г. Макогоненко, продолжая разговор, тоже говорит о своем «чувстве» к герою. И когда Я. Эльсберг, споря с С. Антоновым и Г. Макогоненко, возмущенно спрашивает: как, Балуев — бюрократ и чиновник?!<sup>1</sup>

Ну что же, это, повторяю, только к лучшему, что критики перестали стесняться говорить о своих чувствах, более того — перестали стесняться чувствовать. К лучшему хотя бы уже потому, что читателям легче теперь разбираться в их статьях, легче их понимать. Критик не представляется им теперь уже условной фигурой: по крайней мере они видят, что он любит, что ему не нравится, и им ясно, с кем они имеют дело. С другой стороны, и критикам легче теперь спорить друг с другом — предметом спора снова стали конкретные, живые люди, а в конкретных оценках конкретных вещей позиции спорящих сторон выявляются, как известно, определеннее, яснее, чем в общих рассуждениях. Они и значительнее стали, эти споры, — ведь, что ни говори, а разговор о том, нравится или не нравится вам тот или иной человек — это, в конечном счете, всегда разговор о вашем идеале.

Вот этим-то своим внутренним, принципиальным смыслом и представляется мне очень важным и знаменательным упомянутый спор о Балуеве. Спор этот идет так.

Объясняя, почему Балуев сначала понравился ему, а потом вызвал какую-то «смутную антипатию», С. Антонов указывает на те черты известного «эгоцентризма» и «рационализма в решении дел душевных», которые насторожили его в Балуеве, изменили

его отношение к нему. Есть ли в Балуеве эти черты, не грешит ли здесь С. Антонов излишне пристрастным отношением к герою В. Кожевникова? Нет, эти черты в Балуеве и в самом деле есть.

Конечно, героя повести В. Кожевникова нельзя сравнить с теми руководителями, которые при взгляде на лицо подчиненного, вспоминают только о его деловых качествах и круге его служебных обязанностей. Балуев знает в своем строительном коллективе каждого человека — знает, чем он живет, к чему стремится; Балуев умеет душевно поговорить, вызвать на откровенность, он следит за судьбами своих людей, заботится о них. Словом, никак не сравнишь здесь как будто бы Павла Балуева с Павлом Тепловым из обуховской «Занозы». Павел Балуев может тут многому поучить Павла Теплова.

Но вот что любопытно. Ведь С. Антонов-то прав: забота о человеке идет у Балуева не «от души», не от сердечной потребности. И эта особенность «доброты» Балуева выявлена в повести более чем отчетливо — и в прямых авторских замечаниях, и в психологической мотивировке его поступков.

В самом деле, раньше, когда техники на строительстве было мало, а людей — тысячи, Балуев, как видно из книги, вроде бы и не испытывал никакой особой нужды в душевных беседах со своими подчиненными. Почему? Да потому, что можно было неплохо руководить, вполне обходясь без этого. Зато теперь, когда техника заменила тысячи людей, когда на трассе их остались считанные единицы и роль каждого рабочего неизмеримо выросла, Балуев, как умный человек, оказался дальновиднее многих своих собратьев. Он быстро понял, что теперь требуется знать «каждого не только в лицо, ибо один рабочий, управляя мощным механизмом, делал теперь столько же, сколько раньше сто». Теперь, как свидетельствует автор, «возникла необходимость руководства один на один, с глазу на глаз». И поскольку люди, как знает Балуев, «нуждаются не только чтобы с ними душевно говорили о производстве, но и о них самих», а от людей теперь слишком много зависит, — Балуев решил, что в интересах дела следует включить доброту, внимание и заботу в круг своих служебных обязанностей.

Балуев не просчитался — доброта оказалась могущественным средством. Так сказать, действенным методом организации производственных успехов. Во всяком слу-

<sup>1</sup> См. статьи С. Антонова, Г. Макогоненко и Я. Эльсберга в «Литературной газете» от 4, 21 и 30 марта 1961 года.

чае, автору такой поворот дела представляется вполне правильным. «То, что Павел Григорьевич считал, что по нынешним временам хозяйственный отвечает за состояние души человека не меньше (!), чем за состояние техники, в этом была немалая доля правды», — признает писатель. И разъясняет: «Действительно, у хороших людей машина всегда в хорошем состоянии. И если машина оказывалась в плохом состоянии, — исправлять ее надо было, начиная с человека. Вот почему, — добавляет В. Кожевников, — Балуев знал наизусть всех своих людей и требовал того же от своих подчиненных». Вот почему, оглядывая свой строительный отряд, ожидающий перед началом решающей операции сигнала к действию, он тревожится совсем не о том, правильная ли намеченная схема операции. Это могло бы волновать его раньше. Теперь его тревожит другое: «не произошло ли за эти сутки что-нибудь такое, что могло нарушить самочувствие людей, от которых зависел исход операции?» А вдруг Лупанин узнал, что Капа Подгорная дала согласие Борису Шпаковскому выйти за него замуж? А вдруг Мехов снова получил из дома злобное, оскорбительное письмо и чувствует себя сейчас бесконечно униженным и несчастным?.. И Балуев жалеет, что не успел вовремя все это выяснить, поговорить заблаговременно с людьми, попытаться привести их, если окажется нужным, в более или менее нормальное душевное состояние. Согласно с тем, «как понимал свой служебный долг Балуев, ему надо было выяснить это, чтобы предотвратить опасность».

Словом, так ли уж далеко ушел Павел Балуев от Павла Теплова? И не прав ли С. Антонов, когда говорит, что Терехова, знакомая Павла Григорьевича, верно «раскусила душу» Балуева, сказав ему однажды: «Вы хороший, добрый. Но добрый не потому, что вы такой всегда, а потому что считаете: сейчас добрым правильнее и нужнее всего быть?» Ведь и в самом деле получается так, что Балуев настолько привык обращаться с «добротой», как с искусным методом руководства, что для доброты без «расчета», доброты непосредственной почти уже и не остается в его жизни места... Во всяком случае, обоснование балуевской заботы о человеке соображениями долга настолько отчетливо выступает на протяжении всей повести, что, право же, как-то не

ощущаешь почти, тепло ли, холодно ли самому Балуеву от его доброты, нужны ли ему и в самом деле, интересны ли ему сами по себе, близки ли по-человечески, душевно те люди, к которым он и внимателен, и добр, и заботлив...

Вот об этих-то чертах душевного облика Балуева и говорит С. Антонов, они-то и настораживают его.

И тут вступает в спор Я. Эльсберг. Он настолько влюблен в Балуева, что просто слышать не хочет о нем ничего «дурного». Он отчаянно обороняется от нападков своего оппонента (вернее, своих оппонентов, потому что Г. Макогоненко присоединился, в общем, в своей статье к С. Антонову); он всеми силами стремится защитить, отстоять Балуева, доказать, как говорится, его «положительность». Так бывает, когда человеку, крепко с чем-то сжившемуся, полюбившему что-то, вдруг указывают на явные изъяны в предмете его любви. А он не хочет смотреть на эти изъяны, они не мешают ему, все в нем противится тому, чтобы взглянуть на них другими, трезвыми глазами. «Ах, вы говорите, — у него нос картошкой? Неправда! Глаза у него голубые!»

Действительно, нечто похожее в споре Я. Эльсберга с С. Антоновым и Г. Макогоненко есть. С той разницей, что речь идет не о голубых глазах и система доказательств имеет соответственно более развернутый характер. Как, Балуев «эгоцентрист»? — возмущенно спрашивает Я. Эльсберг. — Но повольте, какой же это эгоцентризм, когда Балуев всю свою жизнь посвятил общему делу, когда он любит свое дело, увлечен им и личное счастье неотделимо для него от общественного? Нельзя же отвлекаться от вопроса — что представляет собою «я» героя!..

Получаются, словом, «голубые глаза». Как будто бы С. Антонов хоть сколько-нибудь усомнился в том, в чем убеждает его Я. Эльсберг. Как будто бы С. Антонов говорит об отсутствии в Балуеве именно любви к труду, не верит в его преданность общему делу. Как будто речь идет не о том, что при несомненном наличии в балуевском «я» всех этих общественно ценных «слагаемых», в нем ощущается все же явная недостаточность некоторых других, также весьма общественно ценных «слагаемых».

Но с этим Я. Эльсберг никак не хочет согласиться. Опуская почти все, что говорит С. Антонов по существу дела, Я. Эльсберг

вспоминает о теории «разумного эгоизма». Рассуждения Балужева о необходимости заботы о другом человеке, которые С. Антонов называет «примитивными» и «эгоцентрическими» («каждый должен... беречь каждого человека, для себя беречь... от нравственности каждого человека зависит мое материальное, жизненное благополучие»), — рассуждения эти, говорит Я. Эльсберг, есть ведь не что иное, как своеобразное изложение теории «великого Чернышевского!» А теория, как известно, хорошая, верная...

И опять получаются «голубые глаза». Как будто «примитивное» и «эгоцентрическое» связано здесь не с тем именно, что Балувев слишком «по-своему» усваивает эту теорию. Как будто бы дело не в том, что рациональное обоснование необходимости проявлять заботу о другом превращается у Балужева, в сущности, в главное и почти неперемное предварительное условие всякого доброго поступка. Но ведь по отношению к такого рода «разумному эгоизму» революционные демократы вряд ли согласились бы признать свое авторство. Недаром же говорили они, что истинно нравственным человек становится только тогда, когда принципы «разумного эгоизма» превращаются в «потребность внутреннего существа его», входят в его плоть и кровь — так, что делаются «инстинктивно необходимыми» и доставляют «внутреннее наслаждение». Кстати, и Плеханов замечал в свое время, что если нравственные поступки человека вытекают только из рациональных соображений, это отнюдь не свидетельствует еще о присутствии в нем подлинного «нравственного инстинкта».

Однако Я. Эльсберг упорно не желает обращать внимания на все эти «тонкости». Видимо, он считает их не столь уж важными, когда речь заходит, как он выражается, о «крайне существенных чертах облика нашего современника». И вот тут действительно стоит остановиться и задуматься: а может быть, и в самом деле не так уж это все и важно? Может быть, зря обвиняет С. Антонов автора повести в том, что тот предлагает читателю отнестись к Балужеву, «этому не самому приятному герою, как к человеку будущего», вместо того чтобы взглянуть на него более критически? Ведь не все ли равно в конце концов, откуда берутся у Балужева доброта, внимание, забота о людях? Достаточно того, что они есть, а что до остального, то существенны ли в самом деле все эти психологические «нюансы»?

Нет, не все равно! И не нюансы это, а именно суть дела.

Спору нет — хорошо, что есть в Балужеве уже и эта хотя бы «служебная доброта». Как говорится, дай бог побольше начальников, которые «по долгу» были бы внимательны к своим подчиненным. Балувев в этом смысле — лицо, несомненно, положительное, и Павлу Теплову очень неплохо было бы кое-что занять у него.

Но не нужно на радостях и преувеличивать степень этой положительности. Ведь «административная задушевность» балуевского типа вряд ли может быть нашим нравственным идеалом. В сущности, в ней еще мало настоящего уважения к другим людям. А позволяет она себе многое: она стучится в сердце человека, не испытывая в том истинной, непосредственной потребности. Обращаясь к душевной неопытности, она предлагает ей себя за чистую монету, хотя золота в ней явно не хватает. Она не стесняется вызвать человека на откровенность, она использует для этого все способы, она трезво и расчетливо подбирает к нему ключи, она на все приучается смотреть холодными глазами «организатора», заботящегося лишь о том или прежде всего о том, чтобы в нужную минуту подопечные его в точности выполнили все, что им задано по программе. И вот уже молодой выученик Балужева, комсорг Витя Зайцев, «счастливая глазами», докладывает своему наставнику: «Музыка — это чудесное средство для того, чтобы с человеком по душам поговорить. Я даже сам не думал, что она такими возможностями располагает... Вы понимаете, комсорг — это же лицо! Попробуйте с человеком без достаточных оснований на морально-этические темы заговорить — обидится... А тут вдруг музыка... Чайковский...»

Нет, что ни говори, а хотя «задушевный администратор» много лучше, конечно, администратора «незадушевного», задушевности этой никак все-таки не хватает еще на то, чтобы можно было признать его настоящим человеком даже и для нашего только времени. Потому что и в наше время коммунистическая нравственность, требуя от человека многого, требует и того, чтобы заинтересованность в других людях, внимание к ним, забота о них, доброта и чуткость, стремление к душевному общению с ними вошли в его плоть и кровь, стали его непосредственной нравственной природой, естественной сердечной потребностью. Когда это есть

в человеке, ему, чтобы совершить доброе дело, не нужно подбадривать себя тем, что этого требуют от него интересы долга. Напротив, самый закон коммунистической заботы и душевной заинтересованности в других, ставший его плотью и кровью, будет диктовать ему и нормы его административного поведения. Сможет ли стать он при этом хорошим администратором — это, конечно, совсем другой вопрос. Но менять или смешивать из-за этого критерии — дело отнюдь не полезное и достаточно неблагодарное. Ясность критериев помогает лучше видеть и лучше понимать. А сейчас, когда литература наша стремится взглянуть на сегодняшнюю нашу жизнь с точки зрения перспектив ее развития к коммунизму, это тем более важно. И в этом смысле «продолжение знакомства» с героем повести В. Кожевникова в высшей степени, я думаю, полезно и поучительно.

В самом деле, попробуем задать себе вопрос: что было бы, если бы Павел Теплов, любящий, как мы видели, самостоятельно поразмыслить над жизнью, перенял бы от Балуева его заботу о людях, его умение вглядываться в их судьбы — словом, стал бы много внимательнее к ним, освоил бы, так сказать, балуевский метод отношения к ним? Вывело бы это его на дорогу действительно плодотворного, самостоятельного осмысления явлений жизни — того осмысления, в котором можно было бы увидеть хотя бы залог верных жизненных позиций, показательных для передового человека нашего времени? Да, конечно, в раздумьях его прибавилось бы, наверное, конкретности; новый угол зрения дал бы ему, бесспорно, возможность проявить сообразительность и самостоятельность в изыскании новых практических, организационных решений, новых способов и средств реализации поставленных перед ним задач. Но что до более широких и общих вопросов жизни, до подлинно творческой, имеющей большую общественную значимость работы сознания — то тут, думается, мало что изменилось бы. Потому что важно не только то, чтобы в поле зрения думающего человека были реальные люди, реальная жизнь, — важен и угол зрения на эту реальность. Ведь в наше время высшим и единственно правильным исходным принципом передового общественного мировоззрения, передовых общественных позиций может быть только гуманистический принцип, рассматривающий благо

человека как высшую цель и высшее мерило всех общественных ценностей. И не случайно этот принцип торжественно провозглашен на первых страницах такого документа нашей эпохи, как проект новой, третьей Программы Коммунистической партии Советского Союза: «Все во имя человека, все для блага человека». В этом есть властная историческая необходимость, потому что весь ход мировой истории, весь опыт борьбы людей за лучшее будущее неопровержимо доказал великую мобилизующую силу этого лозунга, признанного единственно достойным людского рода. С этим не могут не считаться даже враги коммунизма. И это закономерно, что этот принцип взят в наше время на такое широкое вооружение всякого вида социальной демагогией, что даже самые реакционные, самые антидемократические общественные режимы нашей эпохи стремятся, как фиговым листком, прикрыть им свое безобразие, свою полную несостоятельность. Потому что, повторяю, в глазах всего человечества этот лозунг имеет огромную притягательную силу, он получил всеобщее признание трудовых людей, с ним нельзя не считаться, его нельзя обойти. Потому-то, применительно и к отдельному человеку нашего времени, мы судим о его убеждениях, о подлинной ценности его общественных позиций всегда в зависимости от того, умеет ли он и в самом деле смотреть на человека и его реальное благо как на высшую цель и единственное мерило оценки событий и фактов жизни. А что тут может дать нам Павел Теплов, даже и обогащенный балуевской «административной задумчивостью»? Разве лишь опять какие-нибудь общие слова, лишенные всякого реального содержания...

## 5

И вспоминается здесь мне снова «Деревенский дневник» Е. Дороша — это неторопливое, вдумчивое повествование о вещах самых простых и привычных, о буднях небольшого района, такого же, как Сердобольский, где подвизался Павел Теплов. Нет в книге Е. Дороша ни громких слов, ни общих «философических» рассуждений — факты, конкретные наблюдения, точная запись того, что увидел автор, с кем встречался, о чем разговаривал, о чем в связи с этим думал.

Но сколько в этих дневниковых записях настоящей поэзии ума, сердца, чувства, ка-

кой мужественной силой самостоятельной мысли веет со страниц этой книги, какой масштабностью кругозора поражает она всякого, кто привык серьезно думать о нашей жизни, к каким значительным обобщениям подводит она своего читателя!.. Порой действительно просто поражаешься: откуда берется все это, что дает лирическому герою книги подняться до такой значительности мысли, что сообщает его взгляду такую остроту, позволяет ему так глубоко, до самого корня, проникать в самые привычные, знакомые, простые, то есть в самые, по сути дела, сложные явления жизни?

И вот тут-то, вдумываясь, понимаешь, что всем этим книга обязана только одному — тому, так сказать, с помощью смотреть на вещи, той направленности взгляда, которая имеет своей исходной и конечной точкой реального человека, его благо. «Совмещение» этой исходной точки с коммунистическим идеалом и дает в руки то всеобъемлющее и надежное мерило «добра» и «зла», направляет по тому единственному пути анализа жизненных явлений, на котором только и может самостоятельная, ищущая мысль нашего современника обрести силу, значительность, широту, истинность.

Вспомним хотя бы те несколько страниц «Дневника», которые посвящены некой Пелагее «из самой дальней нашей деревеньки «Жаворонки». Эта Пелагея работала свицаркой и жила неплохо, даже дом капитально отремонтировала, хотя работала она в семье одна, а кормить ей приходилось троих детишек да старого деда. И вот обнаружилось, что Пелагея воровала: выписут поросятам молока, а она им ничего не даст, продает. Отдали Пелагею под суд, который происходил тут же, в колхозе, и который, зойдя в ее тяжелое семейное положение, присудил ее к одному году принудительных работ с отбыванием в колхозе.

Вот и вся история. Казалось бы, что в ней такого особенного, почему привлекла она внимание писателя? Мало ли событий куда более значительных, проблем более важных? Но так может показаться разве лишь какому-нибудь Павлу Теплову, отнюдь не лирическому герою книги Е. Дороша. Перед ним живой человек, и не может, не умеет он пройти мимо него.

И вот он начинает вглядываться в судьбу молодой, сильной женщины с грубоватым, но приятным лицом, проворными, лов-

кими движениями, которые выдают умелую, быструю работницу. Он прислушивается к тому, что говорят про нее в деревне, как объясняют случившееся. А деревенские женщины видят здесь прямо-таки некую закономерность: вся семья, мол, у них такая, и отец ее поворовывал, и мать, и дед ее — тот самый, что грязный такой всегда (потому и прозвали его Маращий), — дед тоже вор. Да и сама Пелагея не первый уж раз попадает.

Слушает рассказчик все эти разговоры, понимает, что в чем-то правы, конечно, деревенские женщины — семья не воспитала в Пелагее сколько-нибудь твердых нравственных правил. А все-таки мешает ему что-то принять их сторону полностью. Почему все-таки так случилось, что Пелагея рядом с иными своими сверстницами выглядит так, словно бы явилась из прошлого?

«Пелагея грамотна, — читаем мы в «Дневнике», — но благом этим почти не пользуется, потому что нет у нее ни времени, ни привычки к чтению. У нее все права советского гражданина, но ей до них дела нет, если не считать того, что она в горло вгрызается каждому, кто посягнет на ее усадьбу, обсчитает трудоднями... Вот ее судили за кражу колхозного молока, но стыда особенного она не испытывает — не у людей ведь украла, в колхозе... Нельзя все же сказать, чтобы она была совсем равнодушна к своему колхозу; она и на собраниях покричит, и у колхозца посудачит с бабами о колхозных делах, но дела эти не очень-то понимает. Общественное добро представляется Пелагее неким мирским пирогом, от которого не худо бы отхватить кусок побольше, а что до всего другого, о чем говорят на собраниях всякого рода «представители», — впрочем, весьма редко выступающие перед Пелагеей, — то в это она не вникает, поскольку не видит от их слов прямой для себя пользы.

Так что же, во всем этом виноват вздорный старичонка Маращий?

Эта молодая женщина, с крепким, золотистым, будто из необожженной глины телом языческого божка и угрюмым, номышленным взглядом, оставила надежду выйти замуж, особенно после того, как прижила без мужа двоих детей. Она лишена многих радостей, доступных ее сверстницам. У нее осталась одна лишь работа, преследующая одну только цель — прокормить, одеть и обути себя и семью. И вся живость ее ума —



а Пелагея неглупа,— вся сообразительность, находчивость, догадливость, которые при должном воспитании могли быть направлены на пользу многим, тем самым и ей на пользу, и семье, переработались у нее постепенно в хищную, упрямую добычливость.

Неужто и в этом во всем повинен один Мараший?»

Конечно, деревенские женщины отчасти правы, продолжает свою мысль рассказчик, «но не это занимает меня, а то, повторяю, что никому, по совести говоря, нет дела до Пелагеи. Конечно, если бы она голодала со своими детьми, если бы кто-нибудь из них тяжело заболел или случился пожар, тогда бы и соседи, и колхоз, и существующие для этого учреждения приняли в судьбе Пелагеи посильное участие. А все то, что занозой входит в меня сейчас, когда я думаю о внучке Марашия, все это не повод для сочувствия и помощи со стороны соседей, колхоза, учреждений... В сущности, ведь и самой Пелагее до себя никакого дела нет, если не считать забот материальных. Она способна представить себе, что могла бы жить лучше, то есть больше зарабатывать, иметь мужа, но она едва ли способна вообразить, что могла бы стать иной, более культурной, заинтересованной в общественной жизни, в том, что происходит в мире, понимающей радости, какие приносит литература, искусство, знакомство с научными открытиями...»

Я не буду дальше цитировать эти раздумья, я хотел только показать тот путь, которым идет писатель. Вот так — внимательно, вдумчиво вглядываясь в реального, живого человека, судьба которого занозой вошла в душу, шаг за шагом наблюдая его жизнь, пытаюсь понять его интересы, заботы, мир его радостей и болей,— Е. Дорош и ведег нас к тем большим, принципиальному значению общественным проблемам, без понимания которых, без интереса к которым нельзя представить себе сколько-нибудь серьезного думающего человека нашего времени. Да и может ли быть иной путь к тому ясному, верному взгляду на жизнь, к пониманию ее реальных задач, к тем верным жизненным позициям, которых требует от настоящего человека нашего времени его преданность коммунистическому идеалу?

Потому-то и приобретает такое принципиальное значение в процессе формирования передовой человеческой личности нашего общества способность человека «занозой»

принимать в себя судьбы тех, кого он видит вокруг,— та проникающая все существо человека, определяющая работу его сознания реальная любовь к людям, которая одна может дать ему и силу, и мужество, и действенную ненависть ко всему, что враждебно человеку, и надежные критерии оценки самых различных явлений жизни. Без этого условия, без этой привычки рассматривать все явления жизни через их преломление в судьбах живых, реальных людей невозможна никакая плодотворная работа мысли, невозможны ни верность оценок, обобщений, выводов, ни правильность отношения к жизни и к своему делу в ней.

Конечно, процесс этот чрезвычайно сложен, и я говорю здесь только об условиях, в которых возможно, но отнюдь, конечно, не гарантировано верное его протекание. Тут могут быть и ошибки, и срывы, и отклонения в сторону от прямой дороги. Однако вне этих условий, повторяю, и вообще не может быть речи ни о каких мировоззренческих или нравственных завоеваниях в процессе становления передовой человеческой личности нашего времени. Литература дает тому немало подтверждений — иногда самых как будто бы неожиданных, но зато тем более, может быть, убедительных. «Иркутская история» А. Арбузова способна послужить здесь, во всяком случае, достаточно выразительным примером, хотя, повторяю, на первый взгляд, может быть, и неожиданным: какую, в самом деле, связь имеет история любви Сергея и Вали с вопросом об условиях формирования передового общественного мировоззрения, верных общественных позиций человека нашего времени?

Однако Маркс недаром говорил, что «отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку» и что поэтому в нем ярко обнаруживается, насколько «естественное поведение человека стало человеческим или насколько человеческая сущность стала для него естественной сущностью...» Ис этой точки зрения недолгая, но безоблачная семейная идиллия Сергея и Вали имеет, как мне представляется, самое прямое отношение к интересующей нас проблеме, помогает уяснить ее действительный смысл. По крайней мере она дает некоторое представление о принципах и нормах человеческого поведения, вытекающих из того способа вырабатывать свои убеждения и

взгляды, который, мягко говоря, не страдает излишней внимательностью к живым людям. И еще раз убеждает в том, что когда эти принципы и нормы становятся уже и непосредственной нравственной природой человека, то тут, честное слово, остается только бить тревогу...

В самом деле, ведь просто диву даешься, как же это можно считать то, что представлено в Сергее Сергине, за нечто достойное самого высокого признания (недаром же в пьесе утверждается, что он «всех ближе» к коммунизму стоял)?!

Да, конечно, все у Сергея как будто бы «как нужно», все, как «положено» настоящему человеку, — и работает прекрасно, и общественник он («У меня нагрузок много. Я ведь комсорг — и все такое»), и книги читает, и знает, что «надо подражать положительным героям», и «итальянское кино» смотреть любит («Они очень правдиво показывают, как народ мучается, страдает... И как-то сразу видишь все свои преимущества»), и в карты не играет («А по-моему, кто в карты играет — тот исключительный дурак... Жизнь очень короткая»), и «над собой работает», и доклады о международном положении делает, и с женой своей прежней разошелся по вполне правильным мотивам («В помощи друг друга не нуждались — так я думаю... Ненстоящая, значит, была любовь»). А главное, — и поступает-то он в пьесе всегда благородно, правильно — полюбил девушку с сомнительной славой и, невзирая на пересуды, на сплетни, сделал ее своей женой, стал воспитывать, помогать ей становиться на правильный путь...

Все это так, все это очень хорошо, даже учитывая легкий, ласковый юмор писателя в отношении некоторых проявлений сергинской природы... Но отчего же все-таки как-то неуютно становится, глядя на семейную идиллию Сергея и Валю, на то, как шагает Сергей по жизни, как дружит, как любит, как ссорится, как относится к людям? Неуютно, холодновато, хоть и видишь, что и в самом деле Валя любит его, и кажется он ей самым прекрасным человеком на земле, и не может она ни в чем упрекнуть своего мужа. Да и товарищи относятся к нему с уважением, хорошо относятся, ценят...

А все-таки не покидает ощущение, что нет в Сергее чего-то очень важного, может быть

самого главного, — тепла какого-то сердечного, что ли, непосредственности, естественности человеческой, того, что в старину «душой» называли. Откуда берется это ощущение, отчего оно?.. Не в тот ли момент возникает оно, когда признается он в любви к Вале? Помните эту сцену? Валя на своем мистифицированном дне рождения, дразня Сергея, начинает читать вслух, не называя автора, его, Сергеевы, письма. И придумывает, что будто бы в этих письмах ей советуют бросить Виктора и идти замуж за автора писем. Происходит такой разговор:

В а л я. ...Слышал, какой мне совет про тебя дают? Только я лучше не за него, а за тебя замуж пойду — верно, Витенька?

В и к т о р. Ну что озоружешь?

В а л я. Мне Сергей говорил — ты по ночам мое имя во сне произносишь?

В и к т о р. Хватит смеяться-то...

В а л я. Может, он мне врал... дружок твой?.. А хотите, скажу, Сереженька, почему он от меня отступается? Не такая обо мне слава идет, чтобы меня женой назвать. Помните, как про меня ребята у кино говорили?

С е р г е й. Это неправда... Скажи ей, Виктор...

В а л я. Заступаетесь? Ну что ж, это даже благородно — за друга заступиться. Только он что-то молчит, друг-то. А теперь уходите все...»

И вот тут Сергей объявляет, что письма эти писал он, что он любит Валю, и делает ей предложение. «...Я не знаю, как мне жить теперь — если ты не согласишься моей женой быть... Просто не знаю». Произносит эти слова и тут же поворачивается к Виктору: «Я бы никогда не сказал, Витя, только ты сам от нее отступился».

Емкая сцена!.. Все как будто правильно, все благородно — таил, сдерживал любовь, чтобы другу «не мешать», и только когда тот «отступился», предложил сразу же руку и сердце... Но уж больно все «как по нотам», не правда ли? А потом, позднее, когда Виктор, и в самом деле не помышлявший до сих пор о женитьбе, осознает вдруг, что любит Валю, и говорит об этом Сергее, просит его оставить Валю, уехать?.. «Нет, теперь не уеду», — говорит Сергей и тут же добавляет: — «А перед тобой я чист, Виктор, — ты сам отказался от нее. Разве не так? Молчишь... Вот, батя, видишь — молчит он. (Подходит к Виктору.) Забудем про все Витя, — ради нас всех будем дружить по-старому».

Откуда эта назойливая нота: я чист, я честно поступил, я хороший, ты сам отступился?..

Ну, а если бы Виктор не «отступился»? Так бы и молчал Сергей, потому что формального «права» не было «претендовать» на ту, без которой, как он говорит, он жизни своей не может себе представить? Но это все как-то не «доходит» до Сергея, это все для него «китайская грамота», он вряд ли и подозревает о том, что можно несколько иначе, сердцем, понять, почувствовать смысл происшедшего. Не живое чувство бьется здесь перед нами, мучится, спорит, отстаивает свое право на существование, не живая душа, а прямо-таки что-то такое, что напоминает некую ходячую математическую выкладку, составленную на «честность». «дружбу», «любовь» и так далее. «Отступился» Виктор, сигнал получен — шелк! — нравственное устройство сработало, «разрешение» на «любовь» выдано..

И потом, ну если и в самом деле верит Сергей в то, что Виктор отступился от Вали по причине ее дурной «славы»? Да как же после этого может он совершенно спокойно протягивать ему руку «на дружбу»? И эг имени Вали, что ли, дороже которой у него никого нет? Да и каково это слушать Виктору от того, кто отнял у него любовь? Но это все — чувства, «эмоции», это жизнь. Она «выкладкой» не предусмотрена. Друг, который любит мою жену, но оскорбил ее; я, который стал мужем своей жены после того, как друг оскорбил ее; жена, которая любила Виктора и только должна еще полюбить меня, — ситуация обозначена — шелк! — устройство включилось: «Забудем про все, Витя, — ради нас всех будем дружить по-старому»..

...Или, может быть, ощущения эти возникают в тех сценах, где Сергей, предложив Вале руку и сердце, ходит по сцене счастливый и абсолютно убежденный, что Валя будет его женой? «Конечно, может, сейчас она меня и не любит, но я сделаю так, что буду ей нужен... Она согласилась наконец...» Да и как же не согласиться, как же не полюбить? Так должно быть, иначе быть не может. «Эх, Витечка, много ли оно стоило — веселье мое? — вспоминает потом Валя. — Дешевка! Меня и звали так — Валька-дешевка. Вот тогда он меня и полюбил, Сережа... Женой своей назвал. И эта его любовь меня человеком сделала». Ведь это же, это же... Не знаю уж, как это и назвать!

Во всяком случае, такого подхода к «женскому вопросу» русская литература, не раз, как известно, обращавшаяся к подобным темам, еще, кажется, не знала! И это умиленное любование совершенным подвигом, эта «по гроб благодарная» Валя, эта непробиваемо-благородная поза Сергея, не спросившего даже, любит ли его та, кому он предложил стать его женой, это отсутствие всякого гребета, взволнованности, сомнений, страха перед тем, что тебе ответят, жажды знать, любим ли ты, то есть того, чего не может не быть во всякой влюбленной живой душе, — все это мы должны признать за образец разрешения нравственных проблем?..

Конечно, в общем-то Сергей, как говорится, «неплохой парень». И, «нападая» на него, я «нападаю» только на те настоящие черты, которые преподносятся нам, однако, как нечто весьма положительное, нечто «от будущего». Это так. Но вдумайтесь, читатель, в эти черты, взгляните — не станет ли вам несколько зябковато при мысли о том, что а вдруг именно они станут основными нравственными чертами человека будущего и будет этакая «автоматическая добродетель» населять землю коммунизма, будут ходить по ней этакие нравственные роботы? Чтобы представить себе это наглядно, сходите, если вы москвич, в театр Вахтангова. Не знаю, как в других театрах, а здесь артист Ульянов предельно отчетливо выразил авторский рисунок роли. Смотреть на это, надо сказать, тяжело и трудно. Да и Ю. Борисова в этом смысле играет не менее выразительно — во всяком случае, в сопровождении хора, выступающего иной раз прямо-таки в роли комментатора у замочной скважины, она передаст вам всю глубину благодарности очастливленной Вали, всю нравственную основу этой семейной идиллии. Сходите. Может быть, вы уловите тогда нечто общее в происхождении тех принципов, которые лежат в основе балуевской «доброты», и тех, которые олицетворяет в себе нравственное устройство Сергея Серегина. При всем кажущемся несхождении этих принципов и те и другие, как видим, равно не «приспособлены» для реальных людей, не умещается в их прокрустовом ложе живая жизнь, тесно ей, холодно, не по себе. Не потому ли это так, что и создавались-то они хотя и для людей, но не по их мерке, что рождены они не любовью к людям, а ка-

ким-то иным способом измерения жизни, основанным, выражаясь известной формулой, на представлении о человеке не как о цели, а как об объекте приложения неких самодовлеющих схем и требований? Вот тут-то, думая о живой душе, впитывающей в себя любые принципы подобного происхождения, и понимаешь, что не так уж, может быть, и далеки друг от друга «реальный», «земной», «не идеальный» Балув и сияющий своими «вершинами» Сергей Серегин, по всем внешним данным вроде бы и «не похожий» на героя повести В. Кожевникова... Вот тут-то и убеждаешься лишний раз, какое огромное, определяющее значение при выработке правильных принципов отношения человека к жизни, его позиций, его, говоря обобщенно, мировоззрения имеет «ориентировка» его на живых людей, деятельная любовь к ним, уважение к ним, признание их единственным мериллом любых норм, правил и порядков, бытующих в человеческом обществе. По отношению к общей проблеме формирования передового общественного мировоззрения человека наших дней, к вопросу об условиях этого формирования пример с «Иркутской историей» имеет, конечно, достаточно частное значение. Но распространите, следуя известному совету Чернышевского, по неопровержимым законам аналогии, которая прослеживается между самыми различными проявлениями духовной деятельности человека,— распространите по этим законам все то, что сказано в связи с данным конкретным примером, на все остальные области человеческого духа, на все остальные сферы нашего общественного мировоззрения, и вы получите эту проблему в полном ее объеме.

## 6

Заметки мои подходят к концу, и из тех соображений, которыми мне хотелось поделиться с читателем,— соображений, конечно же, далеко не всеобъемлющих, касающихся только некоторых сторон затронутой проблемы,— мне остается высказать несколько «заключительных», не то чтобы подводящих какие-то итоги, но имеющих все же, как мне представляется, некоторые своего рода «ключевые», что ли, значение по отношению ко всему тому, что уже сказано.

На примере хотя бы той же «Иркутской истории» мы могли уже видеть: то, что

мы называли проблемой «реальной любви к людям», имеет самое прямое отношение не только к выработке передового общественного мировоззрения наших дней, обеспечивает не только верную «ориентировку» самостоятельной, ищущей мысли — ту «ориентировку», примеры которой дает нам, скажем, «Деревенский дневник» Е. Дороща. Гуманистический, устремленный к людям и во всем исходящий от людей способ «видения» и оценки окружающего неизбежно оказывается в самой прямой связи и с непосредственной нравственной натурой человека, определяет нормы его поведения, формирует самую его душу. И к тому, что сказано уже по этому поводу, я хотел бы добавить теперь, хотел бы обратить внимание еще на один очень важный аспект этой неразрывной, прямой связи. Я хотел бы всячески подчеркнуть тот факт, что только умение, способность сердцем болеть за судьбы живых, реальных, окружающих тебя людей является, в сущности, единственным источником возникновения в человеке и таких высоких, ценных его черт, как решительность, мужество, бескомпромиссность,— качеств настоящего борца, способного оставаться верным своим идеалам в любых условиях и в любых условиях делать все возможное для их претворения в жизнь. Без этого, понятно, трудно, невозможно представить себе человека, которого мы могли бы назвать истинным героем нашего времени. Но откуда же взяться всему этому в человеке, если сердце его глухо к заботам и болям, к надеждам и радостям людским? Что подымет и властно толкнет его тогда на защиту правды, что заставит «ввязаться в драку», пожертвовать, если нужно, собой? Абстрактная, головная «любовь» к справедливости, представления, усвоенные из книг, из учений наставников? Ненадежная это еще основа; при двух-трех неудачных попытках отстаивать свои «принципы» человек, движимый только такого рода стимулами, неминуемо поубавит свой пыл, неминуемо теряет «вкус» к борьбе. Потому что «занозой» входит в человека только то, чему открыто его сердце. Вспомните «После свадьбы» Д. Гранина, вспомните молодого героя этого романа — Игоря Малютина, который лишь под угрозой исключения из комсомола согласился поехать в деревню, в МТС. И вспомните, как через некоторое время тот же самый Игорь решительно отказы-

вается уехать из МТС, где он работает начальником ремонтных мастерских, отказывается, хотя есть полная и вполне «честная» возможность вернуться на родной завод, к любимому делу; отказывается даже под угрозой разрыва с женой, которую он по-настоящему любит. В чем дело, что произошло? Понравилась сельская жизнь, понравилось жить «на природе»? Но чем тогда объяснить столь заметные перемены в его характере? Чем объяснить, что Игорь, который на первых порах был таким «смирным» и послушным исполнителем даже заведомо вредных, заведомо неправильных распоряжений, теперь все чаще и чаще начинает спорить, не соглашаться, и все явственнее твердеет его характер, все явственнее прорезаются в нем черты смелости, решительности, мужественности, которых так не хватало Игорю раньше? На первых порах, когда ему приходилось выбирать: либо ссориться и делать то, что считаешь правильным, либо жить спокойно, выполняя, что требуют,— Игорь всегда выбирал второе. Нехорошо как-то, неприятно это было, но... «В конце концов пропади пропадом все эти эмтээсовские порядки, пусть все идет, как шло... Что мне, больше всех надо?» Однако теперь Игорь уже не может не схватиться с директором, когда тот отдает приказ сеять в грязь, сеять во что бы то ни стало, несмотря на непрерывные дожди.

Чем это объяснить, почему это так? А потому только, что каждый день жизнь ставит его лицом к лицу с такими фактами, когда он не может не чувствовать, что от него тоже зависит, как будут жить люди, которых он теперь хорошо знает, многих из которых любил. От него тоже зависит, получат ли его добрые друзья, знакомые, да просто люди, жизнь которых со всеми ее заботами, горестями и радостями у него каждый день на глазах, вдоволь хлеба, будут ли они сыты, одеты, обуты, станет ли их жизнь богаче, содержательнее. Все чаще и чаще испытывает Игорь чувство какой-то непонятной вины перед колхозниками, все чаще начинает ощущать те невидимые, но прочные нити, которые связывают нелегкую жизнь окружающих его людей с тем, как будет жить он, Игорь Малютин. И вот это-то чувство личной, сердечной ответственности за жизнь людей, эта саднящая боль за них, эта «жажда деятельного добра» и входит «занозой» в его душу и не позволяет ему отводить глаза, встре-

чаясь с неправдой. Только поэтому Игорь и начинает становиться человеком, которого уже есть за что уважать, которому есть уже в чем поверить и на которого уже можно в чем-то положиться...

...Есть у нас категория людей, которые все как будто хорошо понимают, все видят «резвыми глазами»; их не поймаешь на «удочку идеализма», они знают вроде бы и что такое «добро» и истинное лицо зла распознать сумеют. Но вот что до того, чтобы вступить за добро там, где нужно за него вступить, встать на дороге зла, когда ты способен встать на этой дороге, всего этого — ни-ни, «упаси, господи, и помилуй», как говорится. На работе, добросовестно проделывая все, что от них требуется «по службе», они «тише воды, ниже травы»; они посмеиваются над горячностью молодого парня, рвушегося на трибуну, чтобы обличить, скажем, несправедливый поступок какого-нибудь бюрократа,— зелен, мол, еще, несмыслен, не понимает ничего, плетью обуха не перешибешь и т. д.; они язвительно иронизируют над тем, кто пытается доказать им, что «каждый на своем «участке», в своей конкретной работе должен добиваться лучшего, должен вести борьбу за правду,— это, видите ли, для них «теория малых дел»; они на все взвывают с «философским» спокойствием людей; «познавших истину» и погруженных в холодное «созерцание» развертывающихся перед ними актов «человеческой комедии»...

Для неискушенного юнца может показаться, что более «передового» и «прогрессивного» и представить себе невозможно. Ну, а если взглянуть на всю эту философию общественной пассивности с точки зрения задач нашей сегодняшней борьбы, потребностей нашего общественного развития? Вот тогда-то и становится ясным как день, что ведь, в сущности, каким бы оскорбительным и невозможным ни показалось представителям этой «философии» такое сравнение, но «философия» их вырастает на той же психологической почве, что и бурная деятельность таких, например, выразительных социальных типов, как секретарь обкома Любов из сборника «Трудная весна» В. Овечкина. Помните? «Много повидавший в жизни; неплохо разбиравшийся в людях и несколько скептически-холодный в обращении с окружающими, он,— пишет В. Овечкин,— не любил угодников и подхалимов, едко подшучивал над ними, а не под-

халимов, не «молчалиных», работников с головой на плечах и самостоятельным взглядом на вещи, пытавшихся иногда даже возражать ему кое в чем, совершенно не терпел... Не питал Лобов теплых чувств к подхалимам, с неприязнью и брезгливостью относился к «флюгерам», семь раз на неделю менявшим свои убеждения и «научные» теории, и все же такие люди благополучно уживались возле него и даже численно множились. Он, Лобов, сам своей нетерпимостью к инакомыслящим и развел вокруг себя этот «холуизм», над которым потом порою издевался на заседаниях бюро или пленумах обкома.

Однажды, рассказывает В. Овечкин, «заведующий городским отделом коммунального хозяйства в порыве служебного усердия и угодничества заасфальтировал часть переулка, в котором занимал квартиру Лобов, — от главной улицы до секретарского особняка и чуть дальше, на несколько метров, чтобы только хватило «ЗИСу» развернуться по ровному. А еще метров сто переулка до другой мощеной улицы так и остались без асфальта, в колдобинах. Лобов, вернувшись из отпуска и увидев перед своим домом такой совершенно «крокодильский» факт подхалимского недомыслия, возмутился, вызвал незадачливого благоустроителя города в обком, поносил его там последними словами, заставил в течение суток заасфальтировать переулок до конца, вспоминал потом этот случай на сессиях городского и областного Советов, цитировал под громовой хохот зала строки Щедрина из «Истории одного города». И все же этот завкомхоз остался на своем месте, даже взыскания не получил. А заместитель председателя облисполкома по строительству — прекрасный работник, заботливый хозяин... заслуженный, авторитетный в народе человек, командир крупных партизанских отрядов во время Отечественной войны — однажды крепко поспорил с Лобовым по поводу генерального плана восстановления и реконструкции двух городов области... довел спор до Москвы, добился пересмотра одобренных в обкоме проектов и... поплатился за это трехмесячным отпуском... а затем переводом на другую работу...»

Узнав о том, что начальник метеорологической службы области Метелкин поставлял, оказывается, в обком такие прогнозы, какие желательно было иметь начальству,

Лобов «хотел до упаду, окрестил Метелкина «чемпионом области по холуизму», потешался над ним властью, отвел ему целых десять минут в своем отчетном докладе на партийной конференции, опять с цитатами из Щедрина и Гоголя, сделал из него посмешище на всю область. Но с работы его все же не сняли». А вот начальника управления сельского хозяйства, опытного, старого агронома, который «иногда отваживался и особое мнение записать на бюро обкома», при первой же возможности откомандировали «на укрепление кадрами» в новую соседнюю область. «Умен был Лобов, — пишет В. Овечкин. — Это чувствовалось и по его содержательным выступлениям на пленумах и конференциях, и по тому, как он решал вопросы на бюро, и по его пронизывающему взгляду на людей...»

Но почему же он держал в областных аппаратах малоспособных работников? Почему не гнал подхалимов, терпел этот «холуизм» в своем ближайшем окружении?.. Может быть, из ревности к чужому авторитету не выносил он присутствия рядом с собой людей с ясной головой и незаурядными организаторскими способностями? Или при всем том, что он работал сам энергично и даже как будто старался поднять область, где-то в глубине души у него было холодное равнодушие к делу, которым он руководил? И совершенно безразлично было ему, кто здесь останется за него, в случае если его переведут на другое место? Кто из его воспитанников будет вершить здесь дела за первого секретаря, кто за второго — это его нисколько не интересовало и не заботило? «После меня — хоть волк траву ешь». Пусть хоть Метелкина назначают заведующим сельхозотделом обкома.

И не от этого ли внутреннего равнодушия к делу — то есть к людям, для которых это дело делается, — бывают и такие случаи («хуже, чем с Лобовым», как говорит писатель), когда «способный и энергичный работник, что называется, видный деятель, как бы нарочно окружает себя бездарными, бесцветными людьми в роли своих ближайших помощников»? «Для того чтобы на их фоне его блистательная персона еще ярче сияла... И держит в первых заместителях, а затем рекомендует на самостоятельный пост... такого человека, который заведомо провалит дело...»

Представители той категории «всепони-  
мающих» скептиков, о которой я говорил,  
согласятся здесь с каждым словом В. Овеч-  
кина. Да, скажут они, конечно — карьеризм,  
конечно — равнодушие, конечно —  
наплевать этому Лобову на людей, для кото-  
рых он вроде бы работает. Но как возму-  
тятся они, если сказать, что ведь они-то  
родня этому самому Лобову... И даже  
союзники. Однако от правды никуда не де-  
нешься, и цена всех на свете высоких слов  
проверяется всегда только делом. Истори-  
ческое развитие не прекращается ни на ми-  
нуту, оно не знает отдыха, и борьба ново-  
го со старым не ослабевает никогда, хотя  
и принимает весьма различные историче-  
ские конкретные формы. И всякий практиче-  
ский «нейтралитет» в этой борьбе есть объ-  
ективно равнодушие к судьбе нового, есть  
пособничество старому в его сопротивле-  
нии новому, которое побеждает тем бы-  
стрее, чем больше сил собирает под свои  
знамена. Так было во все времена, так об-  
стоит дело и сейчас. Потому-то во все вре-  
мена история нуждалась в героизме, муже-  
стве, стойкости, а в наше время, может  
быть, больше, чем когда бы то ни было,  
потому что такой сложной, острой, напря-  
женной, необычной борьбы, которая идет  
сейчас за построение того самого справед-  
ливого, человеческого общества, которое мы  
с гордостью сможем назвать коммуниз-  
мом, — такой борьбы мир еще не знал.  
И если во все периоды истории смысл жизни  
всякого настоящего человека своего време-  
ни заключался в том, чтобы правильно оп-  
ределить свои позиции, понять, какого уча-  
стия в исторической борьбе требуют от не-  
го конкретные обстоятельства его времени,  
в чем состоит эта борьба, то в наши дни и  
подавно. Конечно, задача эта не такая уж  
простая — об этом и идет все время речь в  
нашей статье. Но это-то и требует от наше-  
го поколения особой ответственности. Это-  
то и делает такой острой исторической не-  
обходимостью выработку в передовых лю-  
дях нашего поколения высоких нравствен-  
ных черт бойца, высокой общественной ак-  
тивности.

И вот тут-то, отчетливо сознавая это, и  
нельзя не понять, какое огромное значение  
для удовлетворения этой исторической не-  
обходимости имеют позиции человека и в  
его конкретном деле, там, где он работает,  
где вокруг него люди. Потому что борцы  
редко рождаются в изолированных от

внешнего мира кабинетах; нравственные ка-  
чества, необходимые для борьбы, выраба-  
тываются лишь в повседневной практике, в  
делах и поступках. Абстрактной любви к  
людям вообще не существует, чувство рож-  
дается только при встрече с реальностью,  
и если ты не даешь ему волю там, где во-  
круг тебя люди, если ты сдерживаешь свои  
порывы, не вступаешь «в драку» там, где ты  
и можешь и должен драться, борца из те-  
бя не получится, и когда придет день, и  
жизнь потребует от тебя проверки всех  
твоих качеств, ты окажешься перед ней  
растерянным и беспомощным, и она отбро-  
сит тебя в сторону за ненадобностью, что-  
бы ты не мешал ее победному маршу...

Вот почему, когда я вижу в литературе  
образ такого «героя-практика», каким пред-  
стает перед нами, например, Иван Федосе-  
евич со страниц «Деревенского дневника»  
Е. Дороша, я готов признать, что это, мо-  
жет быть, одно из самых больших прибли-  
жений к образу того нашего современника,  
которого мы можем назвать истинным ге-  
роем наших дней. Этот старый человек, «ко-  
торый вот уже более четверти века. удач-  
ливо руководит самым богатым здешним  
колхозом и почти всегда виноват перед на-  
чальством, потому что все делает по-свое-  
му», вызывает истинное уважение — не тем  
даже, что у него удивительная хозяйствен-  
ная сметка, а тем, что всегда, в любых об-  
стоятельствах он видит перед собой людей,  
для которых он работает, и находит в себе  
и силы и мужество поступать всегда толь-  
ко так, как это будет лучше для них. По-  
тому-то и «горой» за него колхозники, по-  
тому-то и руководит он больше четверти  
века своим колхозом, потому-то и оказы-  
вается он в конечном счете всегда прав, по-  
тому-то и верят в него люди и пойдут за  
ним, как говорится, «в огонь и в воду».

Кстати сказать, пример Ивана Федосе-  
евича нагляднее всего, может быть, показы-  
вает, что когда я говорю о тех героях  
нашего времени, которым посвящена эта  
статья, я отнюдь не имею в виду, что это  
люди каких-то «избранных» профессий, оп-  
ределенного общественного положения, что  
это какая-то каста «интеллектуалов», куда  
закрывает доступ «простым людям». Подлин-  
ный глубокий демократизм этого типа ге-  
роев наших дней в том и состоит, что они  
плоть от плоти и кровь от крови народа,  
что в складе их мировоззрения выража-  
ются передовые тенденции развития народа,

что в складе их натуры мы видим лучшие черты народного характера. Эти качества, эти черты могут отличать в равной мере и ученого, «интеллекта», человека умственного труда, и рабочего, колхозника, организатора производства — словом, такого же человека конкретного, практического дела, такого же «героя-практика», каким предстает перед нами Иван Федосеевич.

Конечно, практика практике рознь. Конечно, когда мы говорим о формировании передовой человеческой личности нашего времени, огромное значение имеет то, как осознает человек свою деятельность на конкретном своем «участке», нет ли у него тут узости, правильно ли представляет он себе место и значение своих конкретных дел и стараний в более широкой, общей перспективе. Это, в сущности, центральный вопрос, и здесь проходит известный водораздел между людьми, делающими как будто бы и одни и те же дела, но достигающими, однако, весьма различных результатов. Ведь вот возьмем, скажем, такую ситуацию. Предположим, что Иван Федосеевич работает в области, которой руководит Лобов. Ведь одно дело, если Иван Федосеевич, борясь у себя в колхозе, например, против хлуйства, подхалимства, угодничества, пребывает в полной уверенности, что они здесь с Лобовым союзники, — недаром же клеймит тот Метелкиных, даже Шедрина цитирует!.. И совсем другое дело, если за речами Лобова Иван Федосеевич видит его реальные дела. Тогда даже и «домашние» свои проблемы будет решать он с несколько более далеким прицелом, чтобы люди видели непорядки не только у себя под носом, но учились бы сознавать и более широкую свою ответственность; чтобы борьба против «домашних» непорядков не выглядела бы в глазах людей как борьба, которую ведут и Лобовы, и не укрепляла бы тем самым лобовских позиций, а, наоборот, подрывала бы их в корне. Кстати сказать, Иван Федосеевич как раз тем и отличается, что это, судя по всему, человек широкого кругозора, настоящий гражданин своей страны. Это чувствуется во всем, хо-

тя он и занят всегда делами как будто бы чисто «домашними», своими, «узкими». И в этом его существенное отличие от многих иных «героев-практиков», знакомых нам по литературе...

Да, практика практике, конечно, рознь. Но если Иван Федосеевич, всеми силами укрепляя свой колхоз, занимаясь своими конкретными делами, всей своей «практикой» сеет в людях «разумное, доброе, вечное», если он учит их видеть жизнь в ее широкой перспективе, если он пробуждает в них, как говорит Е. Дорощ, потребность в «социальном творчестве», то какая же еще «практика» нужна, чтобы человек чувствовал себя идущим в ногу со временем?!

Мне остается еще раз повторить, что, конечно, высказанные соображения и впечатления ни в коей мере не претендуют не только на какую-либо «окончателность», но даже и на более или менее полный охват всех сторон затронутой проблемы. Этого, не говоря уж о моих личных возможностях, нельзя сделать и по известным объективным причинам, о которых я упомянул в начале статьи. Поэтому я даже и не извиняюсь перед читателем за ту неполноту, которую он обнаружит неизбежно в этих заметках, где взяты только некоторые, хотя, как мне представляется, и достаточно существенные стороны проблемы. Я поделился всем, что мне показалось интересным и важным, и высказал в этой связи все, что мог высказать. Недосказанное же, как говорится, пусть доскажут другие.

Впрочем, главное, конечно, доскажет время — опыт нашей жизни, опыт нашей литературы. Потому-то и ждем мы тот день, когда появится в литературе сильный, большой человек, в котором мы увидим правдивый портрет лучших людей нашего времени. Тогда, понятно, и яснее нам будет многое...

Ведь день, когда в литературу придет такой герой, — хороший это будет день. Не только для нашей литературы, но, конечно, и для самой жизни прежде всего, для нас с вами, читатель.





# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Е. Добин.** Справедливость.— **А. Турков.** Разговор трудный, но необходимый. **А. Кондратович.** «Дело наживное».— **Н. Прянишников.** Как не стоит писать о Чехове.— **М. Злобина.** Сюрпризы Сомерсета Моэма.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**С. Воробьев.** Опыт кубинских партизан.— **Евг. Бурче.** Воспоминания летчика-героя.— **М. Кораллов.** Живая древность.

## Литература и искусство

### СПРАВЕДЛИВОСТЬ

**Юрий Герман.** Один год. Роман. Редактор **Вс. Воеводин.** «Советский писатель». Л. 1961. 632 стр.

**В** романе «Один год» Ю. Герман вернулся к героям и событиям двух своих довоенных повестей: «Лапшин» и «Жмакин». По сравнению с ними роман значительно обогатился. Усложнился сюжет. Характеры Лапшина и Жмакина и других персонажей раскрыты с несравненно большей психологической зоркостью.

Хотя действие повести по-прежнему протекает в тридцатых годах, общий ее характер определяется событиями последних лет. Решительная борьба против извращений социалистической законности обусловила и возвращение к старому художественному замыслу и знаменательные изменения в нем.

В каком-то маленьком учреждении — рассказывалось в довоенной повести — молодой монтер Жмакин возглавил группу, критиковавшую начальника гаража. В отместку начальник скрытно вывез на своей машине несколько аккумуляторов, находившихся у монтера на заливке. Жмакина осудили, и он покатился со ступеньки на ступеньку, став вором-профессионалом. Распутывался узел довольно просто. Достаточно было одной очной ставки Жмакина с начальником гаража.

В романе правда раскрывается трудно. За судьбу бывшего вора разворачивается борьба между людьми, для которых справедливость и человечность — высшая заповедь революции и самый меч революции — оружие и оплот гуманизма, и чинушами, холодными и равнодушными к людям, но не холодными и не равнодушными к своей карьере и благополучию. Эти чинуши опасны, и борьба с ними нелегка, потому что свою сущность они маскируют мнимой «государственной» фразеологией. Бок о бок со старым работником угрозыска Лапшиным, с его бригадой, с его начальником Баландиным, верными хранителями заветов Дзержинского, в этом же самом здании, в кабинетах, расположенных рядом, действуют люди, зараженные духом бюрократизма и бездушия, — Митрохин, Занадворов и другие.

Резче всего столкнуты позиции обеих сторон в двух разговорах: Лапшина с Митрохиным и Лапшина — Баландина — Занадворовым. Лапшин уже как будто прижал Митрохина к стене, выяснив его недобросовестность в следствии по первому делу Жмакина. Но Митрохин пускает в ход все

средства. И мнимое покаяние: «Маху дал, ошибся, сильно ошибся... Не бей лежачего, Иван Михайлович...» И грубую лезть: «У тебя полет другой, недаром ты у нас первый человек, а я нормальный работник, стремлюсь, конечно, стараюсь, этого у меня никто не отнимет, но до тебя-то, как и всем нашим, не дотянуть». И ядовитое застрашивание показной и фальшивой бдительностью: «...все гайки до отказа завинчивать, а не интеллигентшину разводить, не либерализм, не чикаться туда-сюда, базар кончать со всей решительностью, по-нашему, как от большевиков требуется, а не от всяких там сопливых нытиков-маловеров...»

Митрохин губит Жмакина вовсе не со зла. Ему просто нужно козырнуть перед начальством «высоким процентом раскрываемости». И, может быть, это самое страшное в людях такого типа. Сейчас Митрохин испуганно дерется против тех людей, которые стараются установить несправедливость первого осуждения Жмакина. «За Жмакина, так ведь это же под меня!» — вырывается горьким воплем у Митрохина. — «Это же последний будет удар по моему авторитету...»

— Да разве признать свою ошибку и вовремя исправить ее означает удар по авторитету? — возражает Лапшин.

В столкновении Лапшин — Митрохин хорошо выявлены оба характера. В нем средоточие того важного общественного конфликта, который развернут Ю. Германом в «Одном годе» (в довоенных повестях его не было). С незаурядной ловкостью замуфлировал Митрохин боязнь за собственное благополучие. Занадворов еще спорливее. Когда он ратует за «авторитет», это совершенно как бы не относится к нему лично. Занадворов добивается, чтобы газеты замалчивали преступления, делая вид, что не существует ни убийств, ни казнокрадства, ни взяточничества. «Заливать страницы наших газет всеми этими помоями мы постараемся никому не позволить. Ясно? И материал нашим врагам по собственной воле давать мы тоже не разрешим».

Роман начинается с письма, полученного Лапшиным. Пишущий — Жмакин — сообщает, что он убежал из лагеря и сделает «хорошие хлопоты» Лапшину. «Вы еще наберетесь неприятностей... вспомните ваш курорт и как мне тут опять довели, пока

вы наслаждались природой... Ждите. Будет шум и тарарам».

Письмо развязное. Даже наглое. Жмакин — человек, ожесточенный несправедливостью, исковерканный, понаторевший в воровском ремесле. Но Лапшина больно задело сообщение сотрудника, что Жмакину после отбытия срока Митрохин «пришил» чужое преступление. И голос совести напряженно держит в памяти имя и судьбу Жмакина.

Вскоре Лапшин случайно натывается на приехавшего тайно в Ленинград Жмакина и ведет его в угрозыск. По дороге, в приступе давней болезни, Лапшин падает без чувств. Оказывается, что в отпетом вору не заглохли те чувства, которые заставили его когда-то в дворовой драке заступиться за обиженную девочку. Жмакин бежит к зданию милиции, кидает отнятый было им у Лапшина пистолет в форточку дежурного с криком, что под аркой Лапшин помирает. А ведь здесь поставлена на карту чудом обретенная свобода!..

Но это вовсе не эффектный сюжетный «наигрыш», после которого должна следовать благодная «перековка».

Жмакин — не симпатиченький парень, готовый «перестроиться». Когда-то он благородно, не щадя себя, вступился за обиженную девочку. Но совсем недавно он беззастенчиво обокрал угощавшего его летчика, с ножом напал на «перековавшегося» Хмелю, который отказался укрыть его. Правда, все это произошло до того, как усилиями Лапшина и его бригады он обрел долгожданную свободу. Но вот Жмакин уже не должен скрываться, он работает в гараже. Как бы мимоходом он козыряет своей сознательностью. «Я без газеты как без рук».

Но, взявшись за газету, он «голосом, исполненным восторга и завистливого восхищения», читает вслух заметку о хорошо знакомом ему Юрке Полякове, который ловко обкрадывал доверившихся ему людей, в том числе писателя Евгения Петрова и артиста Ханова. «Это надо же...» — не без гордости восклицает Жмакин. «Ах ты, Юрка-Юрец!.. Дружок-корешок, можно сказать...»

И не это самое страшное. Уже после выхода на вольную дорогу Жмакин устраивает в ресторане отвратительную сцену Клавде. В припадке ревности он испуганно, взахлеб, грязными и гнусными сло-

вами обзывает беззаветно полюбившую его женщину. А Жмакин хорошо знает, что она его горячо любит.

Отношения между Лапшиным и Жмакиным отнюдь не душевны и не сентиментальны. Был момент, когда Лапшин, потеряв надежду на исправление Жмакина, дает себе слово больше о нем не думать.

Но он не может не думать!.. Точная, ничего не пропускающая память уже зацепила жалобу Жмакина на неких братьев Невзоровых, выступавших когда-то свидетелями по его делу. Жмакин тревожит, не выходит из головы, хотя есть много дел и поважнее. Скажем, сложный и, к несчастью, оборванный узел нераскрытого дела гибели Самойленко. Ее заметные следы ведут к какой-то дворничихе. А от нее к геологу, дружившему с Самойленко и уехавшему в самый день смерти Самойленко.

Развертывается детективный сюжет, построенный очень умело, с действительным знанием дела. Вернувшийся наконец геолог сообщает, что с Самойленко ездили на охоту два брата, фамилию которых он запомнил. Юноши спортивной внешности, «очень приятные, воспитанные, из интеллигентной семьи». Из еле заметных знаков, из почти стершихся звеньев складывается вдруг цепочка: Самойленко — братья Невзоровы — Жмакин.

В «Одном годе» детективная фабула несравненно более захватывает, нежели в повестях. Интересно проникать в тайники профессионального искусства Лапшина и следить, как во мгле начинает брезжить истина. Но если бы дело заключалось только в этом, выигрыш был бы не столь велик. В сложных перипетиях расследования раскрывается не только следовательский облик, но и благородный характер выученика Дзержинского, настойчиво пытающегося извлечь нить, могущую установить действительных виновников преступления — Невзоровых — и невиновность Жмакина.

Перед нами не только умный, настойчивый следователь. И не только чувство справедливости движет им. В нем забилося живое, неотступное чувство сострадания. Перед глазами Лапшина стоит Жмакин, каким он его увидел в больнице. Нахальный, развязный «щипач», перерезавший себе вены, плачет в клинике для душевнобольных. «Он отвернулся от Лапшина и глазами, полными слез, стал смотреть в окно. Лапшин напряженно поспывал за его спи-

ной». Это единственная строчка, где Ю. Герман позволяет себе намекнуть на то, что происходит в душе Лапшина, на страстность человеколюбия, таящегося под спокойной и размеренной деловитостью.

Это самая сильная нота романа. Именно потому, что Ю. Герману удалось ее сдержать, почти даже скрыть ее. Мы хорошо знакомы — в особенности по русской литературе — с этой внешней нотой сочувствия к ущемленному несправедливостью, запутавшемуся, настрадавшемуся человеку. С истинным драматизмом написаны эпизоды голодных странствований Жмакина после бегства из лагеря по обледенелой пустыне, смертный бой со свирепой волчьей стаей. Отчаявшемуся, томимому страшным одиночеством в огромном городе, озирающемуся, как затравленный зверь — нет ли за ним погони? — Жмакину остается только покуснуть себя бритвой.

Тонко раскрыто душевное состояние Жмакина перед самоубийством. Не циничность отчаяния, а безразличная тоска. Уже «решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни выпить. Ничего». С непреодолимым волнением читаются страницы, где Жмакин «психует» в бане, по-настоящему заболевая манией преследования. С меньшим — сцены в больнице. Жмакин уже не озорует и, совсем раздавленный, признается Лапшину, что «все во внутренностях прямо-таки трясется. И слезы текут. Ничего такого нет, обращаются культурно, а текут слезы и текут».

Возможно, что «секрет» успеха образа Жмакина в переплетении драматизма с юмором.

Вот Жмакин — уже благополучный работник гаража — сталкивается лицом к лицу с летчиком, которого он в свое время обокрал. Жмакин мгновенно кидается летчику на шею, называя «Степкой» (хотя летчика сроду так не звали), и, отводя в сторонку, пытается уговорить его, чтобы тот не затеял скандала. Летчик упорствует. Тогда Жмакин с ходу переходит в контратаку. «Между прочим, все это получается довольно странно. Международное положение острое, как никогда... а один летчик — Виталик (уже не Степка, а Виталик. — Е. Д.) — в это время, как сумасшедший, занимается своим пропавшим барахлом».

Летчик ведет Жмакина в милицию. Со следователем Окошкиным Жмакин держится на короткой ноге, даже с оттенком снисхо-

длительности: «Окошкин? Приветик, Василий. Это Жмакин беспокоит. Как жизнь молодая? Тут я снизу, от дежурного. Дело имеется довольно-таки неотложное».

Окошкин требует, чтобы Жмакин расплатился за уворованное. Распаяя себя, Жмакин произносит длинные тирады, в которых перемешаны «моя кошмарная жизнь», «я человек трудовой» и даже — «зарабатывать на себе я никому не позволю». Ему начинает казаться, что он и впрямь глубоко и незаслуженно оскорблен летчиком. И только Лапшин приводит его в чувство.

После сдачи экзамена на водителя машины Жмакин слышит от Головина: «Человек вы способный, даже одаренный». Оказывается, этого Жмакину говорить нельзя. Хвалить его можно только в самой умеренной дозе. «Во всяком случае, Лапшин никогда такой опрометчивой фразы бы не произнес...» В ответ на похвалы Головина Жмакин «позволил себе с ним не согласиться. Иронически улыбаясь, он сказал, что не считает себя просто способным. Он еще всем покажет — каков он таков, некто Жмакин. Они у него слезами умоются — все эти шофершики и инструкторшики. Он «не две и не три плановые нормы «ездок» будет выполнять, он переворот сделает в технике вождения грузомашин и в технике переброски грузов...»

А в конце концов его даже вызовут в Кремль.

«Куда?» — изумляется Головин. «В Кремль! — непоколебимо твердо сказал Жмакин. — А что?»

Лапшин прекрасно понимает, что Жмакина вредно перехваливать. К сожалению, сам Ю. Герман подчас склонен перехваливать своих героев.

Зачем нужно было под занавес, к концу повести, заставить Жмакина совершить молодецкий воинский подвиг? Это — заправское приключенческое похождение, в котором герой обязательно выходит сухим из воды вопреки всем законам естества. Эпизод противоречит всему духу романа, серьезному и правдивому. Он излишен и потому, что бой Жмакина на жизнь и на смерть с бандитом Корнухой вполне раскрыл перед читателем всю меру его нравственного возрождения. По собственной воле он один на один отчаянно дерется с опаснейшим «бийцей», ставя на карту жизнь, чтобы оправдать доверие своего спасителя Лапшина.

Непомерно восторжен отец Клавдии, Корчмаренко. Плакаты юный аскетический чекист Толя Грибков. Неправдоподобно, что Лапшин, несравненно более умный и опытный, нежели Грибков, почтительно ссылается на его «изречения».

С досадой встречаешь в романе нотки умиленности. Чересчур приподнято звучит в устах работников угрозыска фраза: «Вычистим мы с тобой, Ваня, от всякой пакости нашу землю, посадим сад, погуляем на старости лет в саду». Не веришь, что актриса Балашова, враждебно воспринимающая малейший оттенок выпренности, повторяет эту фразу и умиляется: «Удивительно хорошо! Чисто, главное, необыкновенно...»

Во время допроса одного из братьев Невзоровых Лапшин внезапно прикрывает ладонью глаза. «Это с ним случилось не часто, но все-таки случалось — вот так, внезапно, делалось стыдно за лгущего человека». Не вяжется это с характером Лапшина, много чего повидавшего на своем веку.

Слащаво описан Альтус, «большой» начальник Лапшина. И хотя Ю. Герман старается оживить его странным, «словно чужим или приклеенным» румянцем на очень бледном лице и взглядом «светлым и пристальным», Альтус остается бесплотным, так же как Толя Грибков.

Большое место и в романе и в жизни двух главных героев занимают актрисы Балашова и Клавдия. Завершаются обе любовные линии благополучно. Но путь к этому полон душевных невзгод и мук.

Жмакин — бешеный, взвинченный, юродствующий — уходит от Клавдии после страшного признания, что он карманник, беглый. Он твердо решает, что вернется только тогда, когда «очистится». Лапшину же мешают ощущение несвободы, скованности в чужой артистической среде, в особом мире, где в ходу многозначительные слова — «наигрыш», «подтекст», — которых Лапшин не понимает. Он боится показаться смешным, если признается в своей любви к Балашовой, выдаст себя хоть чем-нибудь. А Балашова искренне, сильно полюбила Лапшина и не понимает, как он этого не видит.

Перед драматизмом истории Жмакин — Лапшин эти душевные перипетии как-то стусеваются. В характере Балашовой есть душевная тонкость и теплота. Но явно не хватает женской интуиции, попыток проникнуть в скрытые волнения замкнутого,

стеснительного, сдержанного человека. История ее взаимоотношений с Лапшиным идет как-то параллельно главному драматическому руслу, слабо соприкасаясь с ним.

Клавдя теснее и драматичнее вплетена в основной узел романа. Точно подмечена Ю. Германом ее мгновенная, безошибочная догадка: Жмакин врет, он на скверной дороге. Больше всего она бонтается, как бы Жмакин не заметил, что она давно уже ему не верит. Превосходно угадано ее поведение в отвратительной сцене ревности, которую устраивает Жмакин, неожиданно встретив ее в ресторане с квартирантом Гофманом. На мгновение это кажется невероятным: гнусная ругань, которой обливают ее Жмакин, как-то не задевает Клавдю. Она остается спокойной.

Но сразу же убеждаешься в правде ее поведения. Да, только так и могло быть... Просто душа Клавди неотступно прикована к несчастному, исковерканному, собой не

владеющему, любимому ею человеку. И главное, несмотря на всю чудовищность только что происшедшего, Клавдя чувствует свою власть над ним. Она знает, что только она, только ее слово, смех, прикосновение могут его успокоить.

Психологический рисунок здесь точен и уверен.

Может быть, отношения Лапшин — Балашова отступают на задний план потому, что история Лапшин — Жмакин значительнее? Но ведь значительность в искусстве далеко не всегда измеряется удельным весом явления. Мне кажется, дело здесь в том, что в изломанной судьбе Жмакина, вернее в борьбе за его судьбу, Ю. Герман выразил лучшее, что есть в его даровании, даровании превосходного рассказчика, мастерски владеющего искусством драматически насыщенного, напряженного повествования.

Е. ДОБИН.

★

## РАЗГОВОР ТРУДНЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫЙ

М. И с а к о в с к и й. О поэтическом мастерстве. Издание третье, дополненное. Редактор И. Вайнберг. «Советский писатель». М. 1960. 168 стр.

Каждый день на столы редакций обрушивается новая волна писем. Нередко и на квартиру к тому или иному писателю вместе с газетами и журналами приходит конверт или даже весьма увесистая банда роль с адресом, написанным незнакомой рукой.

Помимо обычных писем с пожеланиями, отзывами, советами, вся эта корреспонденция содержит огромное количество разнообразных рукописей. За каждой рукописью угадывается особая человеческая судьба, на каждое — пусть крохотное, уместившееся на четвертушке тетрадного листка — стихотворение возлагаются чьи-то надежды.

Впрочем, оговоримся: среди стихов встречаются и такие, которые с полным правом можно приравнять к «простым» письмам. Бывает в жизни время, когда, ощущая значительность происходящих вокруг и в своей собственной жизни событий, человек испытывает потребность сказать об этом не будничным слогом, а приискать форму выражения, соответствующую торжественности момента. Во время Великой Отечественной войны никому не казалось странным, что

люди, совсем не склонные дотоле к «бумагомаранию», вдруг складывали неумелые строки и посылали их домой жене, матери, любимой или даже в редакцию адресовали, — не с тем, чтобы прослыть поэтами, а потому, что казалось невозможным уложить все жившее в душе в обычное письмо.

Нередко стихотворные письма возникают как отзвук прочитанной книги или даже отдельного стихотворения. Поддаваясь заразительной силе этого образца, ощущая в себе мысли и чувства, близкие прочитанному или им разбуженные, читатель старается приобщиться к тому высокому поэтическому строю, который привлек его. Ему кажется, что с автором можно говорить лишь на языке стихов. К тому же ему инстинктивно хочется таким образом продлить или даже усилить эстетическое наслаждение, которое он испытывал при чтении, ощутить писателя своим собеседником.

При больших или меньших способностях к версификации читатель может даже неплохо воспроизводить те или иные внешние особенности стиха полюбившегося ему поэта. Но он не обманывается насчет того,

что его стихи — событие его собственной биографии, а отнюдь не явление искусства.

Самая сложная часть редакционной и писательской почты — это рукописи, авторы которых мечтают стать творцами новых книг.

Человек, первым прочитавший рукопись одаренного автора, чувствует себя именинником. Пусть она написана еще неровно, пусть на десятках страниц дарование словно бы покидает пишущего, будто рудная жила, внезапно теряющаяся среди пустой породы, — опытный литератор рад прийти начинающему на помощь своими советами.

И если автор трудолюбив, если он требователен к себе, тогда на полках появляется новая книга, а в литературе — новое имя.

Разумеется, скоро только сказка сказывается. Но все же появление такой рукописи, в которой угадывается будущая книга или хотя бы возможность появления других книг, что будут написаны со временем этим, пока еще неизвестным автором, — всегда радостная неожиданность, праздник.

«Талант — редкость, — писал В. И. Ленин. — Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех (во сто раз больше «грехов» личных разных, буде есть таковые...) перед рабочей демократией, если вы талантливому сотруднику не притянете, не поможете ему».

Слова эти, обращенные к редакционным работникам по совершенно конкретному поводу, имеют вместе с тем и более общее значение. Они дышат уважением к писательскому дарованию и к специфике литературного труда. Примечателен совет поддерживать талант «осторожно»: видимо, Владимир Ильич предостерегал против навязывания писателю чего-либо, не соответствующего природе его дарования.

Но талант действительно редкость. Многие рукописи вызваны к жизни другими причинами: желанием поделиться пережитым, увиденным, услышанным. Стремлением написать книгу в подражание другой, прочитанной и очень понравившейся. Ложным представлением о легкости писательского труда, не требующего, на первый взгляд, никакой специальной подготовки (не то что изучение нотной грамоты или разыгрывание гамм!). Жаждой славы или — увы, бывает и так — мечтой о «богатой» жизни.

...Позади многие годы, прошедшие в бурное время, полные разнообразных встреч

и драматических происшествий. Кажется, только сядь и запиши все, как оно было, по порядку, без умалчивания и прикрас — и роман готов!

Но что это — все? И как это — по порядку? День за днем с тех самых пор, как себя помнишь? И совсем ни о чем не умалчивая, даже о том, что монотонно повторяется в жизни, как шпалы на тысячеверстном пути? Но ведь тогда, пожалуй, целой жизни не хватит, чтобы довести книгу до конца! И как быть, если что-то из пережитого тобой уже не ново для читателя, уже описано, да еще так ярко, что, кажется, нечего добавить к сказанному?

Мучительные это вопросы, но великое счастье, если они встанут перед взявшимся за перо человеком сразу и заставят его трезво оценить степень необходимости затеянного им труда, осознать, что литература — это особый мир, где действуют свои строгие законы, и в соответствии с этим придиричиво взвесить собственные возможности.

Но бывает, что автор не задается этими вопросами, а исписывает груды бумаги в полной уверенности, что те строчки, которые вызывают в его памяти яркие воспоминания, так же воздействуют и на читателя, — и вдруг, в ответ на обращение в редакцию, получает отрицательный отзыв о своей работе.

Он не верит глазам: в книге описана его собственная жизнь, а рецензент нередко упрекает его за неправдоподобие; он чуть не плакал, когда писал некоторые сцены, а его уверяют, что они скучны.

Сгоряча он решает, что рукопись попала в руки зонила и завистника, неизвестно почему препятствующего ему войти в литературу. Он и не подозревает, что читавший его рукопись работник был бы очень рад, если бы она оказалась удачной. И не просто потому, что тогда стало бы одной хорошей книгой больше, а потому, что это не единственная беспомощная в художественном отношении вещь, которую ему приходится читать день за днем и год за годом, а затем вежливо растолковывать автору его ошибки. Он бы и сам рад на чем-либо глазом отдохнуть!

Но предположим, что наш автор в отличие от некоторых других нашел в себе мужество не последовать первому движению сердца и не затеял безнадежной тяж-

бы с рецензентом, перенося ее из инстанции в инстанцию, не стал обходить другие редакции, засгавляя тратить время на чтение все той же рукописи. Да и не только во времени дело: известны случаи, когда на рецензирование совершенно безнадежных произведений разные редакции затрачивали в общем немалые суммы.

Допустим, что наш автор оказался вдумчивым, самокритичным: перечитав свой труд, убедился в правоте рецензента и зашел за переделку написанного.

Трудно поручиться, что его не ждет новое разочарование, хотя он полон бескорыстной готовности отдать этому делу годы самоотверженного труда.

«Талант — это труд», — вычитал он из книг и наивно обрадовался: так разве ж, мол, я отказывался от того, чтобы работать?

Определение, родившееся в полемике с теми, кто изображал художника ленивым баловнем судьбы, на которого бог весть откуда слетает всемогущее вдохновение, — определение, заведомо подразумевающее наличие у человека ярких способностей к творческому труду, наш автор принял за исчерпывающее.

Как предостеречь его от напрасной траты времени и сил, как предотвратить горечь разочарования и, быть может, озлобление, которое доведется ему испытать в будущем против «гонителей» его несуществующего таланта?

А с другой стороны, как поручиться, что где-нибудь в тайниках его души не скрывается какая-то, пока что вяло тлеющая искра подлинного дарования?

Вопросы эти имеют самое первостепенное значение в той области литературной жизни, которая носит прозаическое название «работа с молодыми и начинающими авторами».

Представление о трудности и ответственности писательского труда, о тяготах, которые испытывает даже большой, вполне определившийся талант, прежде чем сказать миру свое, новое слово, — вот что, пожалуй, надо в первую голову внушать людям, которые, пусть из самых лучших побуждений, намереваются всецело посвятить себя литературе.

«Я отлично понимаю, — пишет М. Исаковский в своей книге «О поэтическом мастерстве», вышедшей уже третьим изданием, — что далеко не все начинающие писать та-

лантливый, что далеко не всем им дано стать поэтами...

И я много раз думал о том, что было бы весьма полезно рассказать этим людям, что такое поэзия, почему она одним дается, а другим нет, что требуется от человека, обладающего поэтическими способностями, каким должен быть этот человек, как он должен работать, к чему стремиться».

М. Исаковский считает свой сборник, куда вошли статьи и отрывки из писем к начинающим авторам, только началом такого разговора.

Очень хорошо, что этот разговор, принимающий иногда довольно суровый оборот, ведет человек, имеющий на него полное моральное право: сам прошедший нелегкую жизненную школу, испытавший трудности самостоятельного овладения «казами» литературы и в то же время никогда не претендовавший на особое положение или на какие-либо «скидки» по отношению к своему творчеству по этой «уважительной причине».

Это важно подчеркнуть потому, что среди части молодых авторов еще встречается стремление козырнуть своим жизненным опытом или происхождением в надежде компенсировать отсутствие таланта, трудолюбия или пробелы в образовании.

Характерно, что М. Исаковский, радушийся любой искорке таланта, обычно тщательно взвешивающий каждое слово даже в разговоре о явно неудачных стихах и не раз отказывающийся определять с менторской категоричностью «степень одаренности» своих корреспондентов, дает резкую отповедь тем из них, кто склонен демагогически жаловаться на отсутствие поддержки молодым дарованиям.

«...Мои корреспонденты, — пишет М. Исаковский, — представляют дело таким образом, что Горький помогал буквально всем пишущим, всем, кто обращался к нему. И всех он, как говорится, вводил в литературу. В некоторых письмах ко мне так прямо и значится: Вас-то, мол, Горький научил писать, Вас-то он ввел в литературу; теперь Вашим священным долгом является сделать то же самое со мной. Этих товарищей не смущает то обстоятельство, что Горький никогда не давал мне советов, как нужно писать, и я никогда не посылал Горькому своих стихов ни на консультацию, ни для «продвижения в печать», как выражаются некоторые... И вообще говоря, Горький узнал

о моем существовании лишь после того, как вышла из печати моя книга стихов «Провода в соломе». Впрочем, это вопрос особый и дело не в нем. Дело в том неверном представлении о работе Горького с начинающими авторами, которое существует у многих молодых (да и не только у молодых) людей...»

И далее, обращаясь к одному из них, печалюшемуся о том, что «очень мало у нас М. Горьких, когорый обращал особое внимание к (!) подрастающему поколению», М. Исаковский решительно замечает:

«Горький растил таланты. А если таланта нет, то тут уж ничего не поделаешь... И уж если Вам кто нужен, то нужен в первую очередь обычный школьный учитель, а вовсе не Горький».

«Жестокость» этого отзыва мнимая. Начинаящий автор, находящийся не в ладах с обихованной грамматикой и тем не менее уже считающий возможным жаловаться на проявляемое к нему «равнодушие»,— явление, к сожалению, не столь уж редкое и очень мало привлекательное. Если даже предположить, что ему наяву снится сон, будто он не хуже Пушкина, не обязательно будить его одними только сладкими поцелуями. Бывают нужны и горькие лекарства.

Я подробно останавливаюсь на этой «мелочи», потому что в практике переписки с начинающими авторами часто встречаешь излишнюю уклончивость, снисходительность, поправки, подчас граничащие с прямой неправдой. Причины этого понятны: неприятно доставлять человеку огорчение, да и боязно наскочить на такого корреспондента, который разобидится, начнет ругаться и жаловаться во всевозможные общественные организации на несправедливость и нечуткость.

Однако снисходительные отзывы о явно плохих произведениях дезориентируют автора, сбивают его с толку, укрепляют в нем необоснованные надежды и заставляют уже с недоверием относиться к справедливым оценкам написанного им.

Одним из распространенных аргументов в защиту собственных опытов, который часто применяют начинающие авторы, является ссылка на то, что и профессиональные литераторы печатают слабые стихи.

М. Исаковский «выбивает» это оружие из рук оппонентов тем, что критика, которой он подвергает в своих статьях болсе или

менее известных поэтов, не менее остра и непримирима, чем его отзывы о начинающих.

Особенно принципиально в этом смысле его выступление о стихах Алексея Маркова, которые одно время усиленно печатались и расхваливались в некоторых газетах и журналах. В отличие от тех своих собратьев, которые восставали против редких попыток критики отметить серьезные недостатки стихов молодого поэта (см., например, письмо Тихона Семушкина в газете «Комсомольская правда» от 29 мая 1957 г. «Еще раз о критической дубинке»), М. Исаковский спокойно и обстоятельно разобрал несколько стихотворений А. Маркова, показав их идейную и художественную несостоятельность.

Защищая свои произведения, начинающие часто апеллируют к мнению знакомых, товарищей по работе и т. д. Иногда эти отзывы преподносятся чуть ли не как «признание широких читательских масс», «трудящихся», а то и народа в целом.

Нет горше самообмана! Восторженность окружающих автора почитателей в одних случаях объясняется понятным пристрастием к «своему» поэту, добродушным желанием подбодрить его, а в других — неразвистостью их собственного вкуса, о чем напоминает М. Исаковский в одном из писем.

Требую «всенародного» признания для своих произведений, хорошо принятых в сравнительно небольшой аудитории, авторы, сами того не ведая, смешивают с профессиональным искусством любительское.

Сказать про стихи, картину или спектакль, что они любительские,— право, не значит обидеть авторов или исполнителей пьесы.

Любительство представляет собой питательную почву для большого, настоящего искусства.

И не только потому, что многие профессиональные актеры, певцы и художники начинали свой путь в кружках и студиях самодеятельности, а поэты — в стенгазетах и литературных объединениях.

Даже не ставший актером или писателем человек много приобретает для себя от изучения привлекающего его вида искусства.

«...Любительство,— писал немецкий поэт И. Бехер,— создает вообще благоприятную атмосферу для искусств, и именно потому, что им занимаются повсеместно, любитель



не впадает в заблуждение, будто он выдающийся талант. Поэтому, если мы стремимся к культурному обновлению и расцвету искусств, нам следует поощрять любительство и ободрять любителей; пусть они занимаются искусством и отваживаются выступать со своими несовершенными произведениями.

В этих словах заключается очень важная мысль, к которой близко подходит и М. Исаковский в статье «О поэтическом таланте».

Огромная тяга к искусству, к литературе, к поэзии, существующая в нашей стране, имеет различные проявления, оттенки, градацию.

Рядом с авторами, обладающими несомненным ярким дарованием, существуют не только заведомые неудачники, которые все понапрасну, без всяких оснований рассчитывают «войти в литературу», но и такие люди, чьи эстетические потребности полностью, без всякого ущерба будут удовлетворены в атмосфере любительского спектакля или рукописного журнала.

Книга М. Исаковского помогает начинающему «познать самого себя», проверить свои силы и устремления и сделать верный выбор.

А. ТУРКОВ.

★

### «ДЕЛО НАЖИВНОЕ»

Иван Мельниченко. Пока ты молод. Роман. Редактор В. Чукреев. «Молодая гвардия». М. 1961. 188 стр.

О языке романа И. Мельниченко «Пока ты молод» автор напутственного предисловия к произведению В. Кочетов отзывается весьма положительно. По его мнению, роман написан «хорошим, образным языком, каким обычно одаренные поэты пишут прозу».

Но вот фраза в самом начале романа: «О приближении весны Федору Воротынцеву подсказывали и ревматические боли в ногах, нарастающие с каждым днем»<sup>1</sup>. Автору кажется, что «подсказать», притом «подсказать о чем-нибудь», — более художественное выражение, чем «сказать», «говорить»; это видно из того хотя бы, что в другом месте так же выражается бывший помещик, человек как-никак с образованием: «Въехав в деревню, сразу же поинтересовался о вашем доме. Люди и подсказали мне...» Так обращается автор с глаголами и предложениями. Дальше мы увидим, что ему также недостает смыслового и звукового ощущения слова. «Как же теперь он мог... — пишет И. Мельниченко о главном герое, — не потеревить в ладонях комок их зернистой, жирной, плодучей земли?» Сколько грехов против русского языка в одной этой фразе: «потеревить комок» вместо «помять», да еще и «потеревить в ладонях», а не пальцами...

«— Наташа, — слегка картавя, ответила

девушка...» При всем желании невозможно картавя произнести слово «Наташа».

К сожалению, подобные примеры языковых ошибок в небольшом романе «Пока ты молод» можно найти на многих страницах. При этом создается впечатление, что многое здесь объясняется склонностью И. Мельниченко к литературной претенциозности. Ему, например, не нравится слишком простое слово «откровенность», и он его заменяет более высоким, как он думает, — «откровением»: «За чаем в каждом доме... говорят, как у Толстого, Бальзака, Горького. Одно одобряют, другое порицают. Иначе не может быть, потому что это жизнь. А литературе не хватает этого откровения»; «И просила, чтоб от папы я утаила свои откровения»; и еще, наконец: «Не раз он порывался сказать ей об этой своей неловкости и уже видел заранее ее благодарный взгляд в минуту такого его откровения». Не путает ли автор слова «откровенность» с «откровением», что свидетельствует лишь о страсти его к велеречивости и «интеллигентным» словам.

Мы видим эту черту и в тяготении к тому, что кажется автору смелым «нововведением» — таким, как «упрежденцы», «саморекомендующие воспоминания», «порожный голос», «прилюдно записывать» или искусственное словцо «первопопавшийся» («он присел на первопопавшуюся свободную скамью неподалеку от эскалатора», «он разлил вино и предложил пер-

<sup>1</sup> Здесь и дальше в цитатах разрядка наша. — А. К.

вопавшийся тост» и уж совсем необъяснимое — «он почти каждый день уезжал с первовопавшегося вокзала за город»), и к тому, что представляется ему красивым, поэтическим стилем, как, например: «Выпили. Затем наступило долгое, непреодолимое, тягостное для обоих молчание. Снова его рука потянулась к бутылке. Тихие, робкие всплески, скорей даже шепот разливаемого вина. Беззвучно соприкоснулись стенки розоватых стаканчиков»; И. Мельниченко не понимает, что это своего рода «северянщина», самое дешевое салонное эстетство, особенно нелепое и смешное, когда речь идет о студентах-комсомольцах. А в иных случаях И. Мельниченко буквально не ведает, что творит. Вот любимцу автора Сергею Воротынцеву вспомнилось народное слово «замолаживать», «кажется бытующее только лишь в этой округе» (его родного села Копповки). Бытует оно, прямо скажем, издавна и почти повсеместно и означает «псамурнеть», «заволакиваться тучами», «клониться к ненастью». Воротынцев вначале так и понимает это слово: «Замолаживает, не иначе. Юго-восток вон как потемнел», — но потом вдруг при явном одобрении со стороны автора начинает оригинальные поиски корней этого слова: «Молодо... Молодить... Замолаживать... Хорошо!» И, наконец, уже начисто забыв значение слова, смело восклицает: «Такое встретишь, куда бы ты ни поехал и ни пошел по всем замолоченным — именно замолоченным! — землям неповторимой Родины». Тут остается только руками развести.

Ясно, что рекомендация, гласившая будто бы роман И. Мельниченко написан «хорошим, образным языком, каким обычно одаренные поэты пишут прозу», как нельзя более субъективна. Других сторон романа «Пока ты молод» как художественного произведения мы касаться не будем. Тем более, что и в предисловии к нему сказано о «некоторых изъянах в композиции», о том, что роману не хватает «развернутых характеристик действующих лиц» и т. д.

Впрочем, у автора предисловия есть, кажется, свои критерии оценки литературных произведений. Как ни странно, но, по его мнению, художественные качества не имеют решающего значения. «...Язык, композиция, мастерство изложения — дело наживное, они

приходят с годами писательского труда, с опытом,— заявляет он.— Меня в рукописи молодого автора привлекли острота, убежденность и ясность авторских позиций».

Ну что ж, раз язык, композиция, мастерство изложения — дело наживное и ни то, и ни другое, и ни третье не имеет серьезного значения, обратимся к авторским позициям.

Для этого нам придется последовать за автором в среду литераторов, молодых поэтов, студентов Литинститута.

Быт студентов-литераторов, как он описан в романе И. Мельниченко, отличается от студенческого быта, достаточно известного нам в жизни, тем, что «литераторы» работают над изучаемыми предметами гораздо меньше. Более праздные, чем обычные студенты, они больше развлекаются, причем развлечения эти невысокого сорта (вечеринки, попойки с беспорядочной болтовней). Но есть один предмет, который их вроде бы и занимает, — литература. Правда, и этот интерес проявляется у них своеобразно: мы ничего не узнаем об их отношении к писателям и произведениям советской литературы, к книгам Горького, Маяковского, Николая Островского, Фадеева, Шолохова; неизвестно, что они думают о литературной традиции, о современном значении русской классической литературы. О современной же западной литературе у них вполне невежественное представление. Для них не существуют Томас Манн, Хемингуэй, Арагон, Бехер, Неруда, другие писатели, которых знает советский читатель. Для молодых литераторов из романа И. Мельниченко зарубежная культура — лишь бугивуги, кабаки, распущенная и извращенная чувственность, литературное трюкачество, презрение к человеку, цинизм, безверие... Положительные персонажи восстают против «всей этой западной гнили», «отрицательные» на нее молятся и, как умеют, стараются подражать, но и те и другие представляют себе созданный их ленивыми умами образ зарубежной культуры совершенно одинаково.

Если бы такое учебное заведение действительно существовало, то единственное, о чем следовало бы писателю, его окончившему, заботиться, в чем убеждать, — это о том, чтобы оно немедленно было закрыто. Но такого учебного заведения в природе, конечно, нет, да и сам автор думает о другом, потому что не в обучении, сопровождаемом практической связью с жизнью, как

ее понимает вся советская общественность, он видит суть дела. Главное в жизни его студентов-литераторов — их собственное «творчество» и литературно-политическая борьба между собой.

С самого начала романа обозначается и под конец вполне проясняется расстановка сил, центральный конфликт всей книги. Пусть роман действительно плохо сложен — все же композиция в нем есть, и смысл ее ясен. На одном полюсе — молодой поэт Сергей Воротынцев, его друг Борис Мишенин и несколько эпизодических персонажей; все это «почвенные» герои, отстаивающие, по мысли автора, современное передовое, подлинно советское и национальное русское искусство. На другом полюсе — такие же молодые, но уже насквозь испорченные поэты Семен Железин и Куталова, которые быстро совращают еще и зарубежного студента Виктора Вершильского<sup>1</sup>.

О Железине и Куталовой в романе говорится с предельной резкостью. Они космополиты, ревизионисты и растленные нигилисты. Автор ясно предвидит и позорное будущее этих студентов. Подобно Виктору Вершильскому, оказавшемуся в 1956 году на стороне венгерских контрреволюционеров, они несомненно в конце концов найдут свое место в лагере предателей. Именно с этой целью и рассказывается в романе история белогвардейца Виктора Олишева, который в юности был поэтом, издал карманную книжницу «Кресты», полную ненависти к человеку», а потом стал врагом и палачом своего народа. Один из положительных героев книги прямо утверждает, что «вся эта история с Вершильским и его нашими, домашними приспешниками» очень уж напоминает ему похождения Виктора Олишева: «Да, да, начиналось все кабаком поэтического, а кончилось кабаками коричневых рубашек. Иначе, наверно, и не могло быть...»

<sup>1</sup> Роман, что называется, «списан с натуры», и, кажется, для некоторых его действующих лиц «невольными натуралистами» послужили вполне определенные лица. Однако подобное отношение писателя к действительности сопряжено в иных случаях с известными неудобствами. По поводу одного из произведений такого рода А. М. Горький как-то заметил, что «с таким своеобразным пониманием реализма автору давно бы пора уже нарваться на глупейший скандал...» (Собрание сочинений, т. 28, стр. 897).

А потому поэт Сергей Воротынцев и другие положительные герои романа не доверяют и никогда не будут доверять таким людям, как Железин и Куталова.

Воротынцев читает своему другу Николаю Лаврухину стихотворение «Трусы нам дышат в затылки». И Лаврухин размышляет после чтения: «Думал я о тех, кого ты называешь трусами... Вначале я не согласился, но затем признал твою правоту. У меня самого даже появилось неплохое определение: это люди ряженой фразы, которой они прикрывают свою трусость... А ты не думаешь, что они скоро начнут переодеваться? Так сказать, применительно к трусости и хитрости. Тогда-то и заиграет их ряженая фраза. Во имя мести нам обрядят слова свои цитатами и, пэквыривая в зубах после сытного обеда, будут подсмеиваться над малейшими ошибками тех, кто сейчас наступает на них».

Обращаем внимание читателей, что здесь мы уже имеем суждение не о 1956 году, а о будущем, видимо уже о наших днях. Но откуда это болезненное восприятие нынешней литературной обстановки — обстановки, когда «проливной дождь смысл все наносное, что мешало некоторым идейно незрелым людям правильно видеть действительность» (Н. С. Хрушев). Обстановка, освежившей людей, обстановки, в которой они почувствовали, что «стало легче дышать, творить и бороться» (Н. С. Хрушев). Где и как может рождаться столь безнадежное представление о нашем литературном процессе и не только о нем?

И тем не менее здесь — во всем том, что сказано о Железине и Куталовой, — заключается едва ли не самая главная цель романа «Пока ты молод».

Советские люди непримиримо относятся к «людям ряженой фразы», к ревизионистствующим ренегатам и осознают опасность идейных колебаний и шатаний. Вместе с тем, обвиняя, надо доказывать. Так установилось в нашей жизни, иначе рискуешь сбиться на клевету. Так и в литературе, иначе будешь воспитывать не бдительность, а озлобленность, подозрительность, ничем не оправданное недоверие, разжигать никому не нужную вражду. Известно, что в художественном произведении всегда реко-

мендуется не только называть, но и показывать. В произведениях же, подобных роману «Пока ты молод», без этого немислимы ни убежденность, ни ясность авторских позиций. Поэтому, как бы ни был уверен автор в своих представлениях о Железине и о Куталовой, было бы неплохо, если бы он, как говорится, конкретизировал и развернул их. Мы охотно присоединились бы к взглядам автора, если бы его заключения были доказательными и безусловными.

Между тем И. Мельниченко явно предпочитает называть, обзывать, проводить аналогии, приклеивать ярлыки — все, что хотите, но не показывать. Ясности, убедительности, конкретности изображения Железина и Куталовой как раз и не хватает. Все энергичные заявления о том, что они сегодняшние ревизионисты и завтрашние лишь маскирующиеся трусы и предатели, — в сущности своей висят в воздухе.

Вот, скажем, как обрисовывается Железин: «Сеня носился с книжками, авторы которых начали беречь старые людские раны вместо того, чтобы лечить их. Сеня и сам не скупился на стихи с такой же колодки. Правда, удачных было маловато, но Сеня знать не хотел о своих неудачах: было бы горячо, остальное приложится. Когда же его вешие кумиры посрамились, Сеня в отчаянье написал горькое стихотворение об обманчивой весне: он умолял набухшие почки повременить, не распускаться, а то, мол, того и гляди мороз ударит».

Характеристика довольно туманная, малоконкретная, намекающая, но ничего не доказывающая. Все есть в этой характеристике — вражда, ненависть, нет только малого — ясности. С какой «колодки» писал стихи Сеня? С какими книжками «носился» Железин? Какие людские раны бередили авторы этих книжек? Какие «вешие кумиры» Железина «посрамились»?

Обо всем этом из романа вы так и не узнаете: автор пытается создать образы «противников», всячески избегая конкретности, точности, что совсем не свидетельствует о его гражданском мужестве.

Конечно, лучше всего облик Железина и Куталовой прояснили бы их стихи, но и здесь автор больше клеймит («хлыстовские радения в стихах вокруг наших недостатков», «нет ни настоящего человека, ни запахов и красок родной земли» и т. п.), чем дает конкретное и реальное представление.

Помимо туманной аллегории Железина об обманчивой весне, автор приводит четверостишие Куталовой:

...От продрогшего города  
Ничего мы не ждем.  
Все размыто и вспорото  
Позапрошлым дождем...

Стишки, конечно, дрянь, но увидеть в них что-либо, кроме эпигонских перепевов, пожалуй, невозможно.

Еще один криминальный пример приводится автором: после хорошей поэмы о силезских рабочих Виктор Вершильский пишет стихотворение о безногом инвалиде Отечественной войны в бане; это «стихотворение, что говорится, без сучка, без задоринки, отточено до блеска...», но в нем «под внешним воспеванием... смакуется укороченное тело».

Сказано это, конечно, совсем не изящно и все так же темно и не очень грамотно. То же самое можно сказать и о литературных высказываниях Железина, вроде следующего: «Я считаю, поэт должен прежде всего обращаться к первоисточнику чувств человеческих, а не к отправлениям этих чувств».

Вот и все. Даже самый дотошный читатель не усмотрит во всех этих намеках и экивоках сколь-нибудь определенного направления. Автор же усмотрел в них все, вплоть до будущего предательства. Вконец возмущенный Воротынцева бросает Железину: «Не кажется ли тебе, что вы слишком много жужжите и следите? По скатерти нашего стола следите, чтобы аппетит людям испортить... Послеженной скатертью дорога!..»

Куда дорога? И что делать с Железиным и Куталовой? Еще раз «отхлестать», как говорится в романе? Но ведь если их позорное будущее действительно не вызывает сомнений и доверять им, «людям ряженой фразы», как бы они ни вели себя, нельзя, то «отхлестать» — не мало ли этого будет? И здесь, пожалуй, у автора романа не хватает последовательности, ясности и убежденности позиций.

Помимо «остроты, убежденности и ясности авторских позиций», В. Кочетову понравился в романе «Пока ты молод» главный герой — Сергей Воротынцева. Писатель говорит в предисловии, что с интересом следил за тем, как Воротынцева ищет и находит «путь борьбы за коммунистическое»

завтра человечества». Очень нравится этот «лирический герой» и самому И. Мельниченко. Он окружен в романе атмосферой всеобщего восхищения. Героиня романа Наташа полюбила Воротынцева за его «просторную щедрость», друзья находят, что у него «ума палата», профессор Олишев (брат белогвардейца) завидует душе, таланту, мужеству Сергея. «Будет в тебе что-то орлиное...» — со слезами восторга заявляет он герою. Стихи Воротынцева вызывают интерес и признание и у Наташи, и у друзей, и у профессора Олишева, и у колхозников, и у рабочих.

Но понравится ли главный герой романа читателям? Как они оценят его творения? Вот Сергей Воротынцев делает такое признание: «Если умирает близкий тебе человек, тебя начинают стеснять, вызывают ничем неодолимую брезгливость все предметы и вещи, которыми пользовался умерший». Но так говорить и так относиться к умершим близким людям может только очень плохой человек.

А чем дальше, тем все больше проявляет себя «цельная» натура молодого поэта. В любви, например, он так же эгоистически примитивен, как в своем отношении к памяти близких людей, и так же приправляет грубость своей моральной позиции претензией на «поэтичность». Вот он на первом майском вечере знакомится с девушкой и про себя замечает: «В ней что-то есть. Руки у нее какие-то светлые, тонкие, плечи покатые. Ну что еще. Узкие глаза, что, по моему, всегда ценилось в русских женщинах». Он сразу же и весьма откровенно начинает за ней ухаживать. «Они как-то незаметно, по крайней мере им так казалось, вышли из комнаты и, пройдя в конец полутемного коридора, сели на подоконник. Наташа умела хорошо слушать. Он читал стоя Блока, Бунина. Свои стихи. Читал долго. Когда уснул, она тоже прочла бунинскую «Рыбачку». После последней строки «Он был смелей, он моря не боится» ему вдруг вспомнилась ее маленькая родинка у самого угла рта. он присел рядом с ней, решительно обнял и поцеловал. Несмотря на волнение, почувствовал обжигающее прикосновение легких пушинок вокруг родинки».

Оставим в стороне до пародийности смешное описание этой сцены — нам сейчас важнее проследить душевный склад героя. Его не проведешь: если уж девушка читает

стихи о смелости, он-то знает, что это значит... При второй встрече он считает, что пора отбросить всякие там поэтические иносказания. Но девушка не пожелала пойти ему навстречу, и эта «нечуткость» не на шутку рассердила его.

«Сергей нахмурился и, закусив нижнюю губу, отвернулся. Она снова приблизилась к нему.

— Ну чего ты, Сережа?.. Перестань хмуриться. Я, конечно, виновата во всем... (?)»

— Не в этом дело. Штатпы надо ели...

— Какие штатпы?

— А вот такие, как сейчас. «Сережа», «Сереженька», «Сергуня», а как дойдет до главного, так сразу — штатпы. У каждой одни и те же: «Ты хороший. Будем друзьями». Когда же этому будет конец, черт побери?!»

Это вскоре же после стихов Бунина и Блока...

«Позиция» у Воротынцева в этом вопросе выражена, может быть, слишком уж прямо, ясности и убежденности хоть отбавляй...

Мы шутим, разумеется. Не эту «позицию», конечно, имеет в виду В. Кочетов, когда пишет, что Сергей Воротынцев «ищет и находит правильный жизненный путь — путь борьбы за коммунистическое завтра человечества». Должно быть, он имеет в виду непосредственно общественные взгляды и поступки героя.

Обратимся к ним.

Сергей Воротынцев считает себя представителем «простых людей» в литературе.

На студенческой вечеринке он провозглашает тост «за то, что любим», — за «землю», за «чернозем», заявляя тем самым о своей близости к деревне и шире — к родной «почве».

Но нетрудно убедиться, что эта претензия героя неосновательна.

Воротынцев родился в деревне, его мать была колхозницей; сам же он, учась в десятилетке, был «колхозником» не больше, чем большинство городских школьников. А потом стал московским студентом.

Может быть, он, родившийся и выросший в деревне, лучше, чем горожане, знает сельское хозяйство? Да нет же, и это не так.

На летние каникулы Воротынцев едет в родное село Копповку. По дороге от железнодорожной станции его и возницу, дядю Гришу, застигает сильнейший ливень.

Сергей в восторге: «Ведь здорово все это?» Но дядя Гриша озабоченно и хмуро отвечает: «Дождик-то без малого на месяц опоздал... Мужик здоров с хлебом, а не с небом». Оказывается, ливень положил созревшую пшеницу. «Бывшему колхознику» Сергею Воротынцеву это и в голову не пришло.

Знание деревни у поэта скудное, приблизительное. Более того, у него нет уважения к рядовым сельским труженикам. «Говорят, труд делает человека мудрым,— рассуждает он.— Но труд, конечно, труду рознь, даже если он в каждом случае полезный. Дед Ермоленко грудился всю свою жизнь. Однако и до революции и после он трудился как робот. А вот дядю Гришу (депутата райсовета.— А. К.) сделал мудрым труд самого высокого качества — осознанный».

Эти размышления так бесстыдны, что, в сущности, нечего о них больше и толковать.

Но есть в деревне Копповке один рядовой труженик, к которому даже Сергей Воротынцев вряд ли решился бы применить пришедшее ему на ум слово «робот». Это его мать, всю жизнь тяжело работавшая «неосознанным трудом», чтобы прокормить сына — образованного человека, поэта. И вот он приехал...

Но пусть читатель сам обратится к тем страницам книги, где изображена эта встреча матери и сына (стр. 53—54). Мы уверены, что и он будет поражен нарисованной картиной. С одной стороны — мать, годами ждавшая своего «знаменитого» сына и теперь не сводящая с него влюбленных глаз, растерянно мечущаяся по комнате, а с другой стороны — наш герой, не проявляющий к матери никакого интереса, равнодушно вззирающий на ее хлопоты и даже не спрашивающий о ее здоровье и жизни. Читать эти страницы мучительно. В. Кочетов утверждает, что в романе не хватает развернутых характеристик действующих лиц. Ну, здесь характеристика дана вполне достаточная.

Таков этот «черноземный» поэт на каникулах, в деревне, в отношениях с простым народом. А дальше рыбалка, купание, шахматы и прочее. «У меня ведь своя работа есть», — отвечает Воротынцев дяде Грише, попросившему его поработать в колхозе Самодовольство, грубость даже со своей матерью, барское пренебрежение к «роботам», равнодушие к жизни народа, ко всему, кроме собственных успехов и удоволь-

ствий... И непонятно, как может Воротынцев кому-либо показаться человеком, «борющимся за коммунистическое завтра».

Остаются стихи молодого поэта. Может быть, здесь сказались истинные черты его природы? Наверное, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», и судить о нем невозможно.

Как уже говорилось, к стихам Воротынцева все окружающие относятся с восторгом. Самый процесс их создания рисуется в романе в высоком, романтическом духе: «бунтующее воображение», «обжигающий озноб, словно от неожиданного крика в ночи», «охмеляющий восторг» и т. д.

Но, к сожалению, составить скольконибудь определенное представление о поэзии Сергея Воротынцева так же трудно, как и о поэзии Железина и Куталовой. «Я не хочу, чтоб боль воспоминаний...» — строчка из одного стихотворения.

Когда бессонницей становится Россия,  
В такие ночи можно поседеть,—

две строчки из другого стихотворения. «Синеглазые люди у синего моря живут» — строка из третьего. Вот, собственно, и все, что читатель узнает о «творчестве» героя. Да еще в разной связи припоминаются два стихотворения. В одном из них говорится, что «русский характер не лучше и не хуже других, но шире», в другом речь идет о вшине, которая зацвела второй раз в году. Если к этому прибавить, что Воротынцев решительно огказывается в своих «произведениях» от какой-либо критики имеющихся у нас недостатков (считая почему-то, что критика противоречит идеям советского патриотизма и принципам нашего искусства), то сведения о поэзии и «творческих познаниях» героя романа будут исчерпаны.

Конечно, при известном воображении можно представить себе некоторые особенности поэзии Сергея Воротынцева, но понять, почему его стихи со столь банальными или бессмысленными строчками вызывают всеобщее восхищение, нет никакой возможности.

Правда, есть еще у Воротынцева стихотворение «Трусы нам дышат в затылки», в котором выводятся на чистую воду «упрежденцы» вроде Железина и Куталовой. Но судя по всему, в нем, как и во всей поэзии Воротынцева, больше злобы, чем оправданной ненависти; подозрительности, чем бдительности; поспешного наклеивания ярды-

ков, чем ясности и убежденности. Однако об этом мы уже писали.

Таков главный герой романа «Пока ты молод».

Наверно, у И. Мельниченко были добрые намерения. Но вышло из-под его пера нечто неприглядное. А опытные старшие товарищи, вместо того чтобы помочь

молодому писателю, незаслуженно расхвалили и выставили на всеобщее обозрение его неудачный роман и успокоили насчет мастерства («дело наживное»). Именно это и обязывает говорить о книге «Пока ты молод» столь подробно и требовательно.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

## КАК НЕ СТОИТ ПИСАТЬ О ЧЕХОВЕ

А. Ф. Захаркин. Антон Павлович Чехов (Очерк жизни и творчества). Редактор А. Дубовинов. «Советская Россия». М. 1961. 160 стр.

Беря в руки книгу А. Захаркина «Антон Павлович Чехов», читатель вправе думать, что она написана специалистом по Чехову. Однако на ее страницах то и дело встречаются вещи, весьма странные для специалиста.

Так, на одной из страниц читаем: «Образ земского врача занимает большое место в творчестве писателя, он стоит в центре таких произведений, как «Следователь», «Враги», «Беглец», «Попрыгунья», «Припадок», «Случай из практики» и др.». Из названных здесь рассказов земский врач фигурирует лишь в одном («Враги»). В «центре» же остальных стоят либо вовсе не врачи («Следователь», «Беглец», «Припадок»), либо врачи, но отнюдь не земские («Попрыгунья», «Случай из практики»).

Кстати, о рассказе «Враги» (1887) автор очерка замечает: «Писатель здесь поднялся (?) до раскрытия непримиримых противоречий между демократом и баринном, между трудом и праздностью, поднялся до обличения барства». Иначе говоря, до написания этого рассказа Чехов будто еще не был писателем-демократом с ярко выраженной социальной тематикой, между тем как он уже был автором таких рассказов, как «Маска», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Злоумышленник», «Ванька», «Тотский и тонкий», «Смерть чиновника»...

Разбирая пьесу «Чайка», А. Захаркин пишет: «...если Треплев в первом акте бросает к ногам Нины убитую чайку и тем самым как бы говорит, что судьба Нины предрешена — она трагична, то автор заставляет зрителя увидеть другое: убитая чайка — это мечты об искусстве, о славе самого Треплева. Это его мечты убивает Чехов, так как они бесплодны, мертворожденные и не нужны людям».

Тут все неверно, начиная с того, что Треплев приходит с убитой чайкой в первом акте: не в первом, а во втором. И говорит он при этом (и без всяких «как бы») не о судьбе Нины Заречной, а о своей собственной («скоро таким же образом я убью самого себя»). Главное же в том, что Чехов отнюдь не «заставляет зрителя» видеть в образе чайки мечты Треплева, как это кажется автору очерка, да еще такие, какими обрисовал их последний.

Любопытно, что разбор пьесы заканчивается традиционной фразой: «Чайка стала эмблемой Художественного театра». Выходит, что эмблемой театра стало нечто, символизирующее мечты, «бесплодные, мертворожденные и не нужные людям».

Вообще безответственность многих утверждений автора удивительна. Иные из них как-то даже неудобно опровергать — столь явно они неверны при всей своей «благонамеренности». Например, о пьесах Чехова (вместе взятых): «Нашему народу они близки тем, что в них раскрываются судьбы простых людей, их талантливость и трудолюбие». Интересно было бы знать, кого же персонально понимает здесь автор? Может быть, Фирса с Дуняшей из «Вишневого сада»? Или сторожа земской управы Феропонта из «Трех сестер»?

Большую часть очерка составляют переписки чеховских произведений. Горький в своей статье о Чехове писал: «Передавать содержание рассказов Чехова еще и потому нельзя, что все они, как дорогие и тонкие кружева, требуют осторожного обращения с собою и не выносят прикосновения грубых рук, которые могут только смять их...» Между тем автор очерка берется за это деликатное дело довольно храбро, и вот что у него получается (подчеркивания в цитатах — наши).

В «Доме с мезонином» Чехов «показывает жизненные явления во всей их сложности. Лидия Волчанинова обрисована им как человек черствый, ограниченный и вместе с тем деятельный, волевой. Доступными ей средствами она пытается облегчить жизнь крестьян... Характерно, что Лида лишена тонких и глубоких чувств, она отмахивается от искусства, так как оно, по ее мнению, не приносит пользы народу. В идейную борьбу с ней вступает художник... Рассказ заканчивается госкливым возгласом художника: «Мисюся, где ты?» Любовь их разрушена, растоптана Лидой — этой сухой и черствой женщиной». Вот так же «разрушена» пересказчицом «вся сложность» этого произведения, которую он сам же подчеркнул в начале своего пересказа.

С не меньшей решительностью пересказывает он и «Даму с собачкой» (по поводу которой Горький же писал Чехову: «После самого незначительного Вашего рассказа — все кажется грубым, написанным не пером, а гочно поленом»): «Анна Сергеевна и Гуров, полюбившие друг друга, вступают в конфликт с обществом... Герои душевно порвали с прошлым, они не смирились перед силами враждебного мира, а наоборот, вступают с ним в борьбу». Можно подумать, что это действительно герои — не в условно-литературном смысле этого слова, а в самом настоящем, реально-жизтейском.

Еще хуже обстоит дело с пересказом чеховских пьес. Конфликт, лежащий в основе «Трех сестер», автор очерка излагает так, будто он сводился к борьбе за жилплощадь: «Сначала Наташа выселяет Ирину из ее девичьей комнаты, и она вынуждена ютиться в комнате вместе с Ольгой. Потом Ольга оставляет дом и переезжает в казенную квартиру. Ирина собирается уезжать куда-то далеко, сама не знает куда. Маша решает не бывать в родном доме».

Курьезными являются некоторые страницы, посвященные «Вишневому саду». Во втором акте этой пьесы есть сценка, где Раневская, отдав прохожему последний золотой, говорит «испуганной» Варе и затем Лопухину: «Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне взаймы!..» Тот отвечает. «Слушаю». И вот на основа-

нии этой сценки автор очерка вносит в характеристику Раневской такой «пункт»: «Привыкшая повелевать, Раневская приказывает Лопухну дать ей деньги».

А вот замечание, касающееся поэтики «Вишневого сада»: «Сравнительно длинные монологи произносят не только главные действующие лица, но и второстепенные. Монологи по преимуществу пассивны (активными и являются только речи Трофимова, Ани и Лопухина, а Гаев обращается то к шкафу, то к природе, Раневская — к саду)». Невероятно, но так именно и напечатано!

Пытаясь определить общественно-политическое лицо Чехова, автор очерка пишет: «Народолюбие, постоянная забота о судьбах тружеников голжали Чехова на выработку определенной программы». Тут же приведена «запись» Чехова: «Если вы зовете вперед, то непременно указывайте направление, куда именно вперед». В следующем абзаце сказано, что программа, которой Чехов придерживался, «заклучалась в активной борьбе с общественным строем, душившим в человеке все живое. Не поняв исторической миссии пролетариата как строителя новой жизни и не связав с ним своей судьбы, писатель постоянно звал вперед, но направления не указывал».

Итак, получается: 1) Чехов активно боролся с современным ему общественным строем в России и постоянно звал вперед; 2) он же, Чехов, полагал, что зовущие вперед должны непременно указывать направление, но сам направления не указывал.

Разумеется, кроме пересказов и «литературоведческих» рассуждений, подобных вышеприведенным, в очерке содержится известное количество биографических сведений о Чехове. Но они либо общезвестны, либо случайны в смысле отбора (так, на странице 59 ни с того ни с сего помещен эпизод о мангусте, загрызшем змею), а иные и неверны. В числе профессоров-медиков, которых слушал Чехов-студент, почему-то назван Гнмирязов. На странице 60 сообщается, что Чехов «посылал деньги голодающим в Новгородскую губернию», а он посылал их в Нижегородскую.

Во всяком случае, наличие биографических сведений, в том числе бесспорных и нужных, не искупает низкого уровня книги: в целом

**Н. ПРЯНИШНИКОВ.**



## СЮРПРИЗЫ СОМЕРСЕТА МОЭМА

Сомерсет Моэм. *Дождь. Рассказы. Перевод с английского. Составление, редакция и примечания М. Лорие. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 432 стр.*

«Я не могу заставить себя судить своих ближних; хватит с меня того, что я их наблюдаю», — так писал Сомерсет Моэм, подводя итоги своей долгой жизни в искусстве. Моэм решительно отрицает «проповедническую» (иначе говоря, идейную) литературу. Позиция наблюдателя возводится им в высший творческий принцип. Если верить Моэму, он никогда не осуждал людей «за то, что в них было плохого, и не хвалил за хорошее». Он стремился быть беспристрастным и объективным и настойчиво культивировал в себе терпимость — добродетель, за которой можно угадать если не равнодушие, то, во всяком случае, известный душевный холодок. Со свойственной ему откровенностью Моэм признается, что люди занимают его лишь в качестве материала для работы. Он коллекционирует характеры, как филателист — марки. С годами за Моэмом прочно утвердилась репутация пронизательного, ироничного и точного мастера, писателя-джентльмена, с холодным интересом и чуть свысока наблюдающего перипетии человеческой жизни.

Можно возмущаться цинизмом Моэма (как это не раз делали критики) и опровергать его взгляды. Это очень легко, но, по правде говоря, бессмысленно. Тем более, что Моэм сам себя опровергает.

Моэм — писатель необычайно удачливой судьбы. Впрочем, успех его не случаен. Моэм не делает секрета из того, что писал часто ради денег, потакая вкусам толпы. Он, что называется, играл наверняка и добился от жизни всего, что хотел и мог получить. Не удивительно, что существующий порядок (по выражению Моэма) лично его вполне устраивает. На этом основании Моэму часто, не скупясь, приклеивали ярлыки реакционера, охранителя и т. д. Но тут начинаются сюрпризы Моэма. Творчество этого преуспевающего буржуазного писателя отличается резко выраженной антибуржуазной направленностью. Можно сказать, что Моэм — своего рода социальный парадокс: моральный критерий, которым он руководствуется в своем творчестве, находится в очевидном противоречии с его социальным положением и даже политической деятельностью. Этическая и эстетическая система Моэма сложилась под знаком ненависти и

презрения к буржуа. Буржуазное для него — синоним аморального и безобразного, и он настойчиво демонстрирует эту порой скрытую от поверхностного взгляда сущность.

Несоответствие между видимостью и действительностью — постоянная тема творчества Моэма, неисчерпаемый источник конфликтов, как драматических, так и комедийных (вплоть до самых легковесных). При всем разнообразии и несходстве рассказов, вошедших в сборник «Дождь», почти в любом из них можно обнаружить этот мотив. Всегда добиваясь полной определенности, Моэм ставит точку лишь после того, как доберется до подоплеки, извлечет на свет божий все тайны. Для него не существует табу, налагаемых традиционной моралью, ему неведом пietet по отношению к таким священным понятиям, как патриотизм, религия, культура. Его изыщное перо заставляет порой вспомнить скальпель хирурга, он действует бесцеремонно, с четкостью и бестрепетностью медика, препарирующего «натуру».

Один из самых сильных рассказов Моэма, «Дождь», разоблачающий религиозный фанатизм, дает ясное представление об идейной позиции и художественном методе писателя. Скомпрометировать лицемерных, недостойных служителей бога нетрудно. Моэм — атеист, ему важно дискредитировать самую идею, показать бесчеловечность, противоестественность христианской морали. Потому он выбирает принципиального противника. Миссионер Дэвидсон, несущий слово божье чернокожим, — фигура до некоторой степени героическая. У него сухое аскетическое лицо и вера святого. Он бесстрашен и не шадит себя; если его призывает долг, он без колебаний бросится в бушующие волны и на утлой лодке переплывет море... Борцов за идею (даже заблуждающихся) принято уважать. Моэм презирает Дэвидсона, его одержимость, его цель. Из отдельных деталей, из обрывков разговоров в рассказе возникает страшная картина миссионерской деятельности Дэвидсона, который, спасая грешников от будущих мук в аду, превращает их жизнь на земле в ад. С деловитостью буржуа разработал он точную тарифную шкалу грехов:

«Я штрафовал их, если они не приходили в церковь, и я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична... За каждый грех приходилось платить деньгами или работой». В конце концов нравственность не могла не возторжествовать, и островитяне вынуждены были понять, что все, что они считали естественным, — грех. Уже восемь лет, «благодарение богу», они не танцуют — вот идеальный образ миссионерского рая! (Кстати сказать, в «Дожде», как и в других рассказах, отчетливо обнаруживается отношение писателя не только к церкви, но и к «просветительной миссии» британского империализма. И хотя в жизни Моэм играл порой весьма двусмысленную, чтобы не сказать больше, роль, в своем творчестве он сохраняет независимость и бескомпромиссность.)

Все это составляет фон рассказа. На переднем плане — столкновение Дэвидсона с проституткой Сэди. Моэм к ней столь же безжалостен, что и к миссионеру. Сэди — бесстыжая, вульгарная девка, спокойно уверенная в своем праве торговать собой. Она не испытывает никаких душевных неудобств от своей профессии, плевать ей на мораль, на Дэвидсона, на проповеди, на все ей плевать. Убедить Сэди невозможно — ее можно лишь сломить, и Дэвидсон берет в свои худые руки «бичи господни», точнее, используя свое влияние и связи, добывается высылки Сэди на родину, где ее ожидает каторжная тюрьма. Дни и ночи проводит теперь миссионер с Сэди, готовя ее к ниспосланному «свыше» испытанию. Свершилось чудо — Сэди раскаялась, ее душа, по словам Дэвидсона, «чиста и бела, как первый снег». Неприличная, неряшливая, грязная, Сэди молится о спасении души. Какой язвительный портрет раскаявшейся Магдалины! Моэм настойчиво компрометирует христианскую идею очищения через страдание, он убежден, что несчастье и боль не облагораживают, а принижают человека. Вот итог победы Дэвидсона — отупевшая от страха, затравленная женщина, в которой нет ничего человеческого, никакой надежды на душевное возрождение.

Но главный козырь Моэм приберегает под занавес — в ночь перед прибытием парохода преподобный Дэвидсон падает в греховные объятия спасенной им Сэди. Ее яростным криком «Свиньи, свиньи!» кончается «Дождь».

Сюрпризы, которыми, как правило, заканчиваются новеллы Моэма, немало способствуют их занимательности. Однако в этих неожиданных развязках, всегда тщательно и расчетливо подготовленных, есть художественная закономерность — они раскрывают реально существующее противоречие между видимостью и действительностью.

Падение миссионера не только торжество грешной плоти над христианской моралью. По мысли Моэма, религиозный фанатизм не что иное, как извращенный половой инстинкт. (После душеспасительных молитв с Сэди миссионер чувствовал себя совершенно опустошенным; он похудел, ему снятся «странные сны» — горы Небраски, похожие на женские груди.) Нет смысла вступать в обсуждение этого вопроса. Важно другое: моэмовская трактовка разрушает принятое представление, связывающее фанатизм с силой духа; она вообще исключает его из сферы духовной жизни. Это всего лишь страсть — изнуряющая, жестокая, разрушительная, и человек, охваченный ею, способен на все — на подлость, на подвиг, он пойдет на костер и других пошлет. Для рационалиста Моэма, преклоняющегося перед силой разума, страсть — всегда порабощение, она приближает человека к зверю. (Не случайно роман, в котором наиболее открыто и непосредственно выражено отношение Моэма к жизни, носит название «Бремя страстей человеческих», а в точном переводе — «о рабстве человеческом»). Слепая страсть к жестокой, корыстной и тупой женщине доводит героя до полного нравственного рабства. Он становится человеком, лишь сбросив бремя унижающей страсти.)

Моэм неоднократно возвращается к этой теме. В новелле «Записка» он подает крупным планом искаженное лицо прелестной миссис Лесли, убившей любовника, — «то была омерзительная маска», в ней не было ничего человеческого. Моэм, собственно, ставит на одну доску миссис Лесли и преподобного Дэвидсона, недаром же оба так безудержно мстительны. И преступления, совершенные во имя Христа, не более оправданны, чем убийство из ревности. С тем существенным различием, что религиозный фанатизм опаснее других страстей, так как чаще рядится в одежды благоразумия и идейности. Моэм решительно срывает эти пышные покровы, обнажая низкую

истину. Разумеется, это еще не вся истина, поскольку Моэм рассматривает социальные явления исключительно в моральном аспекте.

В предисловии к русскому изданию рассказов Моэма Джеймс Олдридж пишет, что Моэм судит английское буржуазное общество с позиций аристократа. Это справедливое положение нуждается в дополнении. Дело в том, что в среде столь милых его сердцу аристократов писатель тоже не находит реальных ценностей, которые можно было бы всерьез противопоставить буржуазии. В рассказе «На окраине империи» Моэм столкнулся в напряженном смертельном поединке аристократа Уорбертона и «выскочку» Купера. Превосходство изысканного, красивого, неизменно подтянутого и сдержанного Уорбертона над злобным хамом Купером, постепенно теряющим человеческий облик, очевидно. К тому же Купер как истый сын своего класса — ярый расист. «Черномазые» для него не люди, а аристократ Уорбертон, презирающий Купера, поэтически справедлив и добр к малайцам. Но исход поединка — убийство Купера — взрывает это устойчивое моральное соотношение. Уорбертон, разумеется, не сам убивает Купера, он достаточно умен и опытен, чтобы таскать каштаны из огня чужими руками. Тем не менее эта смерть, как говорится, — на его совести. Тогда-то и обнаруживается, что Уорбертон по меньшей мере столь же бесчеловечен, как и Купер. (Пожалуй, его хладнокровная жестокость еще страшнее и безнадежнее.) Отдав необходимые распоряжения, связанные со смертью Купера, Уорбертон тщательно побрился, принял ванну, с аппетитом позавтракал, аккуратно разрешил обертку «Таймса» («приятно разворачивать плотные, шелестящие страницы») и с привычным удовольствием принялся изучать сообщения о рождениях, смертях и свадьбах своих лондонских друзей. («Наконец-то у леди Ормскерк родился сын. Господи, до чего, должно быть, рада ее высокородная матушка!») Несколько месяцев назад «этот болван Купер» навлек на себя гнев Уорбертона, распечатав прибывшие в его отсутствие газеты и нарушив тем самым заведенный годами порядок. Маленькие причуды и педантизм резидента теперь уже не кажутся безобидными — ради того, чтобы без помех читать свой «Таймс» полуторамесячной давности, Уорбертон, не колеблясь,

перешагнул через жизнь человека. («Огромная тяжесть свалилась с его души».)

В решающую минуту Моэм-художник берет верх над Моэмом-снобом. Конечно, он питает к аристократам слабость, они импонируют его эстетическому чувству, которое оскорбляют вульгарность и пошлость буржуазии. Но Моэм понимает, что это недостаточно веский довод. Притом ему хорошо известно, что их песенка спета. Главное же, он, как говорится, видит аристократов насквозь, он слишком хорошо их знает, чтобы позволить себе идеализировать их.

Однако же и скептик Моэм не обходится без иллюзий. В прекрасной дали вырисовывается некий остров надежды; он таит обещание, очень туманное и порой сомнительное, но все же не опровергнутое для Моэма окончательно, — обещание счастья и свободы. (Разумеется, для одиночек, но массы и не интересуют Моэма.) Тут, впрочем, необходимо небольшое отступление.

Моэм — неутомимый путешественник. В Англии ему не по себе. Охота к перемене мест, жажда новых впечатлений и просто любопытство бросали его из одного конца планеты в другой. С жадным интересом посещает он музеи и картинные галереи Европы. Но более всего влекут его далекие тропические страны, еще не раздавленные железной пятой цивилизации. В романе «Луна и грош» Моэм, презирающий «восторги», теряет всякую сдержанность, описывая райскую красоту Таити. Красота, которая в Европе представлялась ему привилегией искусства, была здесь как бы достоянием самой жизни. Описывая таитян, малайцев, африканцев, Моэм всегда подмечает их грацию, изящество, естественную красоту (а не ту пресловутую экзотичность, которой увлекались многие европейцы), в его изображении они гармонично сливаются с природой. Но притягательность этого мира заключалась не только в красоте. «Индивидуальность могла здесь развиваться без помех», — говорил писатель (имея в виду своих соотечественников). Для индивидуалиста Моэма, с неприязнью наблюдающего подавление и нивелировку личности в цивилизованном обществе, этот критерий является решающим. В бегстве от гнета, лжи, корысти буржуазного мира его герои обретают счастье и свободу (для Моэма это понятия равнозначные — точнее, счастье есть свободное самовыражение личности).

Биржевой маклер Стрикленд в сорок лет

оставляет службу — единственный источник доходов, дом, жену; на Танти расцветает его могучий гений художника. Талантливый хирург Абрагам, которого в Англии ожидали богатство и блестящая будущность, без колебаний меняет все это на безвестное полунищее существование в Александрии — здесь он находит себя («Луна и грош»). Капитан Медоуз, в далекие годы юности отвергнувший любимой женщиной и с тех пор покинувший родину, умирает счастливым — этот нищий, одинокий старик прожил жизнь, как хотел, не гонялся за богатством, был верен себе, своей любви (рассказ «Возвращение»). В новелле, иронически названной «Падение Эдварда Барнарда», речь идет об освобождении героя. Здесь перевернуты все ходячие представления. Симпатии автора безраздельно отданы Барнард, который ведет себя непорядочно: нарушил все обещания, бросил любящую и богатую невесту, изгнан с работы за нерадивость; а Изабелла, бывшая невеста героя, и его друг Хантер, наследник автомобильных предприятий, оба «изумительные», великодушные, безупречные, безжалостно высмеяны. Их слова, их мысли убийственно банальны — почти на грани пародии. Так и кажется, что эта парочка разыгрывает голливудский фильм из жизни благородных миллионеров. Иное дело Эдвард. Расставшись с карьерой «делового человека», он становится человеком. Юмористический вариант дан в прелестной новелле «Источник вдохновения». Беглец — добродушный мистер Форрестер, бросивший свою жену, известную и чрезвычайно изысканную писательницу; на ее чинных лите-

ратурных вечерах («священнодействиях») его «так и подмывало раздеться — посмотреть, что из этого выйдет». Мистер Форрестер нашел прибежище не на Танти, а у своей кухарки, в плебейском районе Лондона; расстояние не всегда измеряется километрами: для миссис Форрестер, отправившейся на трамвае на поиски мужа, — это путешествие в другой мир.

Очень непохожи друг на друга эти герои Моэма, и представление о счастье у них совершенно разное. Но в одном их судьбы неизменно повторяются: с общепринятой точки зрения счастливые герои Моэма — неудачники и отщепенцы, по тем или иным причинам (но всегда добровольно) порвавшие с обществом. И еще одно роднит их — они бескорыстны, в отличие от нормальных представителей буржуазного мира.

Итак, подводя итоги, можно с полным основанием сказать, что на практике Моэм го и дело изменяет своему джентльменскому принципу невмешательства. Он не только наблюдает людей, он судит их. Даже терпимость, которой он так гордится, обманчива: встречаясь с жестокостью, корыстью, лицемерием, он сам становится нетерпимым и жестоким. Объективный тон изложения не может скрыть авторские симпатии и антипатии, тенденциозность Моэма. И хотя он рассматривает действительность с позиций отдельного человека, он в лучших своих произведениях прорывается к социальным обобщениям. Словом, Моэм, в отличие от многих, лучше своей репутации. В этом легко убедиться — нужно лишь прочитать его.

М. ЗЛОБИНА.

★

### Политика и наука

## ОПЫТ КУБИНСКИХ ПАРТИЗАН

Эрнесто Че Гевара. Партизанская война. Перевод с испанского. Редактор Л. В. Келарев. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 136 стр.

Автор этой книги Эрнесто Че Гевара — видный государственный деятель, герой кубинской революции, друг и сподвижник Фиделя Кастро. В настоящее время он министр промышленности Кубы. Его имя хорошо знакомо советской общественности. В конце прошлого года он возглавлял Экономическую миссию Революционного правительства Кубы, посетившую СССР и ряд

стран народной демократии. Эрнесто Че Гевара побывал в различных городах нашей страны, встречался с рабочими заводов, выступал по московскому радио и телевидению.

В книге «Партизанская война» изложены общие принципы партизанского движения. Рассказывается о методах ведения боя в различных географических условиях. Автор

говорит также о конкретных формах организации партизанского отряда, его стратегии и тактике.

При поверхностном чтении книги «Партизанская война» может сложиться впечатление, что труд Гевара носит теоретический характер и предназначен лишь для читателей, проявляющих интерес к истории партизанской войны. Однако такой вывод был бы ошибочным. Рассказывая о конкретных вопросах, обобщающих опыт партизан Кубы, автор затрагивает более широкий круг проблем. В книге говорится о партизанах как о выразителе воли народных масс, борющихся против своих угнетателей, о значении партизанской борьбы в современных условиях Латинской Америки. В первой главе, носящей название «Сущность партизанской борьбы», автор пишет: «Победа кубинского народа над диктатурой Батисты была не только триумфом, весть о котором подхватили информационные агентства всего мира. Эта победа опрокинула устаревшие представления о народных массах Латинской Америки, наглядно продемонстрировав способность народа путем партизанской борьбы освободиться от правительства, которое его угнетает».

Развивая эту мысль, Гевара считает, что революционное движение на латиноамериканском континенте должно извлечь из успеха кубинской революции несколько важных уроков. В частности, говорит он, народные массы могут победить в войне против регулярной армии; не всегда нужно ждать, пока созреют все условия для революции — повстанческое движение может само их создать.

Нынешнее экономическое и политическое положение в Латинской Америке, пишет Гевара, где народы подвергаются двойному гнету — гнету иностранных монополий и эксплуататоров национального происхождения, — дает возможность для развертывания широкого выступления трудящихся масс, все более убеждающихся, что борьбу за социальные требования нельзя вести только в форме выступлений в защиту гражданских свобод и непосредственных материальных требований. «В этих условиях недовольство народа принимает все более решительные формы и размах и выливается в сопротивление, которое в определенный момент приводит к началу борьбы, вызванной действиями властей».

Партизанская война, говорит Гевара, является лишь этапом обычной войны. Партизанские отряды из небольших и разрозненных групп могут превратиться в повстанческую армию народа и нанести решающий удар даже по очень сильному врагу. Примером стала Куба. На Кубе прочнее, чем где-либо, чувствовали себя иностранные и прежде всего североамериканские монополистические тресты и картели. Однако режим диктатора Батисты был сметен народным гневом, и власть перешла в руки народа.

Кубинская революция — это революция глубоко народная, национально-освободительная, антифеодалная. В вооруженной борьбе против реакции приняли участие самые широкие круги народа.

Революционное правительство, возглавляемое Фиделем Кастро, принимает меры, направленные на ликвидацию существовавшего полукolonиального положения в стране, на оздоровление ее экономики, на повышение благосостояния ее трудящихся, на ликвидацию господства чужеземного капитала. Завоевав политическую и экономическую независимость, кубинский народ приступил к созидательному труду, направленному к расцвету нации.

Обо всем этом автор кратко говорит в заключительной главе — «Анализ положения на Кубе, ее настоящее и будущее».

Книга «Партизанская война» написана с большим знанием дела и представляет несомненный интерес для советских читателей, горячо симпатизирующих героической Кубе.

В настоящее время эту работу Эрнесто Че Гевара усердно игнорируют враги кубинского народа. Они, очевидно, полагают, что достаточно изучить способы и методы ведения партизанской войны, о которых рассказывается в книге, и можно уже рассчитывать на свержение правительства Фиделя Кастро. Для организации «партизанского движения» они забрасывают диверсионные группы в горные районы Кубы. Но империалисты забывают, что кубинские партизаны выражали подлинные интересы большинства народа, в то время как диверсанты, проходящие предварительную подготовку на территории США, защищают лишь корыстолюбивые, эгоистические интересы небольшой группы национальных предателей и чужеземных монополистов.

«Партизанская борьба — это борьба масс, народная борьба; партизанский отряд как вооруженное ядро является боевым авангардом народа, его главная сила в том и состоит, что он опирается на население», — говорит Гевара.

Забрасывая диверсантов и шпионов в леса Кубы, империалисты не могут рассчитывать на какую-либо поддержку кубинского народа, познавшего блага свободы и демократии. Интересы, за которые борются реакция и ее империалистические покровители из США, — это интересы эксплуататоров народа, выброшенных с кубинской территории.

Касаясь одного из предвыборных выступлений Кеннеди, Фидель Кастро в речи на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН заметил: «...Кеннеди... должен был бы понять, что в горах невозможно устроить революцию, направленную против крестьян, и тем более — опираясь на помещиков. Нужно понять наконец, что всякий раз, когда империализм пытался активизировать контрреволюционные группы, крестьянская

милиция в течение нескольких дней ликвидировала эти попытки».

Кубинский народ готов встретить во всеоружии любителей авантюры. Недавний разгром вторгшихся на остров диверсионных банд — наглядное тому подтверждение.

Книга Гевара посвящена памяти Камило Сьенфуэгоса, крупнейшего руководителя партизанской борьбы, погибшего в 1959 году.

«Армия, органически связанная с народом, состоящая из крестьян и рабочих, хорошо обученная и психологически подготовленная к любым неожиданностям, непобедима», — пишет в заключении своей книги Эрнесто Че Гевара. — Эта армия станет тем более непобедимой, чем больше будет основания применить к ней и ко всему народу слова нашего бессмертного Камило: «Армия — это народ в военной форме». Поэтому, как бы ни стремились монополии к устранению «дурного примера» Кубы, наше будущее лучезарно как никогда».

С. ВОРОБЬЕВ.

★

## ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕТЧИКА-ГЕРОЯ

А. В. Ворожейкин. Истребители. Редактор В. Н. Смолин. Воениздат. М. 1961. 300 стр.

Место, где разворачиваются события, описанные в этой книге, — район реки Халхин-Гол. Там летом 1939 года Советская Армия самоотверженно, неся поначалу немалые потери, защищала дружественную нам Монгольскую Народную Республику от нападения японских империалистов.

Перед тем как давать оценку книге, хотя бы вкратце расскажем о ее авторе. Ныне генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, он — один из наиболее прославленных советских боевых летчиков — лично сбил в воздушных боях в Монголии, а затем в Великую Отечественную войну пятьдесят два вражеских самолета. Летчик-комиссар, А. В. Ворожейкин много времени уделял партийно-политической работе, воспитанию подчиненных. Его повествованию присуща большая психологическая глубина, трезвая оценка обстановки с учетом имевшихся в то время недостатков.

Характерна и такая особенность биографии автора: в противоположность многим другим выдающимся летчикам, он отнюдь не стремился в авиацию с юности, никогда

не мечтал о полетах. Он стал летчиком по зову партии и освоил эту профессию упорным трудом. Может быть, поэтому мы находим в книге спорное, на наш взгляд, отрицание роли призвания. Но вместе с тем своим личным примером автор доказывает, что отличным летчиком можно сделаться и не имея призвания. Овладение самолетом, передаваемо чудесное чувство полета привили А. В. Ворожейкину такую любовь к авиации, что дальнейшая жизнь вне ее становится невыносимой. Это чувство, владеющее всеми без исключения летающими людьми и непонятное «земным» людям, особенно отчетливо проявляется в тех строках книги, где описывается пребывание автора в госпитале после серьезного повреждения позвоночника, а затем его новые полеты и воздушные бои, когда каждый резкий маневр самолета отзывался в спине жестокой болью. Однажды из-за страшной боли пилот даже потерял сознание в воздухе.

Книг, посвященных суровым будням, повседневной работе летчиков и наземного

обслуживающего состава, у нас издано уже немало. Если такие книги, как правило, плохо удаются тем, кто лишь поверхностно знаком с авиацией, то написанные летчиками в большинстве случаев покоряют своей достоверностью. Это качество присуще и книге А. В. Ворожейкина. Она правдива, человечна, лишена какой бы то ни было лакировки. Эмоциональный авторский рассказ «берет за душу». Хотя повествование охватывает небольшой период времени — всего три месяца, в течение которых А. В. Ворожейкин участвовал в боях за независимость Монгольской Народной Республики, — автору удалось убедительно показать, как необстрелянные новички превращались в закаленных воздушных бойцов. Он приводит ряд примеров высокого героизма советских летчиков, а также братской дружбы между советским и монгольским народами.

В начале военных действий наши войска, в том числе и авиация, находились в невыгодных условиях: японцы не только превосходили нас по численности как на земле, так и в воздухе, но уже имели опыт войны в Китае. А когда были подтянуты наши подкрепления, они оказались связанными запрещением вести наступательные действия, перелетать маньчжурскую границу, хотя было известно, что там накапливаются крупные японские силы. Наша оборонительная тактика расценивалась противником как признак слабости, побуждала его к еще более наглым действиям и в конечном счете привела к затяжке войны и лишним потерям.

Автор описывает множество воздушных боев, причем сумел найти для каждого боя свежие краски, избежать повторений. В книге хорошо показано, как геройский поступок одного летчика вдохновляет на подвиги его товарищей. Глубоко западает в память такая простая, но обнаруживающая высокое благородство души фраза С. Грицевца, ответившего, когда его спросили, не боялся ли он смерти: «Только ненормальные люди смерти не боятся. Но есть совесть, она сильнее смерти».

И очень правильно автор пишет дальше: «У летчиков, как это бывает у людей физического труда, профессия не оставляет следов в виде мозолей на руках или угольной пыли, вкрапленной в кожу; она въедается в нервы, оставляет свои заметки на сердце, и время их никогда не выветривает».

Подкупает откровенное признание автора в собственной неумелости и беспомощности, которые он ощущал во время первых воздушных боев. Однако никак нельзя согласиться с его мыслью, что «кто не был сбит, тот еще не полноценный истребитель». Верно, что однажды был сбит даже А. И. Покрышкин, но ведь И. Н. Кожедуб не был сбит ни разу!

Пожалуй, в этой книге впервые обрисована с такой широтой полная ежедневных волнений жизнь жен летчиков — их боевых подруг.

Недостаточно места, на наш взгляд, уделено описанию самоотверженной работы авиационного технического состава, от которого во многом зависит успех каждого полета. Это упущение особенно удивляет в книге автора-комиссара — от него естественно было ждать большего внимания к рядовым и незаметным труженикам авиации.

Из отдельных недостатков и неточностей, которые бросились нам в глаза при чтении книги, упомянем следующие. На страницах 64 и 66 даны противоречивые описания приземления на вражескую территорию летчика Забалуева: в первом случае он выбрасывается на парашюте, а во втором — сажает самолет на землю. Неверно утверждение (стр. 88), что установка пушек на истребитель «И-16» не отразилась на его маневренности. Под фотографией (вклейка между стр. 112 и 113) неправильно указана фамилия летчика: должно быть не Мошин, а Мошнин.

Но все это частности. В целом же воспоминания А. В. Ворожейкина — патриотичная, волнующая, глубоко человечная книга.

Евг. БУРЧЕ.

## ЖИВАЯ ДРЕВНОСТЬ

**И. У. Будовниц. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI—XIV вв.). Ответственный редактор Л. В. Черепнин. Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 488 стр.**

Предисловие к этой книге написано по академическим канонам и как будто обещает читателю работу традиционно-исследовательскую. Но это не должно отпугивать тех, кто не чувствует себя достаточно подготовленным специалистом-историком.

Первые же страницы труда И. Будовница увлекут любого читателя, если только он интересуется историей нашей Родины. Автору посчастливилось совместить увлекательность с безукоризненным академизмом и, рассуждая о делах давно минувших дней, написать книгу глубоко современную.

Сыграла ли здесь свою роль эрудиция? Да, конечно. Знать языки древние и новые, свободно владеть неизданным рукописным богатством старинной русской письменности и изданной во многих странах новейшей историографической литературой — не пустяки. Осведомленность автора зачастую переходит через грань необходимой научной основательности и доставляет уже эстетическое наслаждение. Известно, однако, немало примеров, когда чудовищная эрудиция оказывается для читателя еще более обременительной, чем для самого мученика науки. Значит, не в одной лишь эрудиции дело. Она просто условие работы, фундамент, без которого не выстроишь здания.

Быть может, в этой книге покоряет методология? Да, конечно, И. Будовниц — последовательный и убежденный марксист, сохраняющий верность историческому материализму и диалектике на протяжении всей книги. Однако и верной методологией дело не исчерпывается.

На наш взгляд, отличительная особенность книги — страстное отношение автора к своему предмету. И. Будовницу внутренне необходимо доказать сделанные им выводы; он не «излагает факты», а бьет ими по цели, он стремится убедить — и потому, читая книгу, не просто знакомишься с результатами труда, совершавшегося где-то за кулисами, а становишься активным участником творческого процесса мышления. Создать такой труд можно было, лишь будучи влюбленным в Россию, в ее народ, в его великую и еще далеко не изученную историю.

В чем же конкретно новизна и достоинства книги? Обратимся к примеру.

Наверное, еще в начальной школе затверживаем мы дату «988 год». В восьмом классе нам уже точно известно, что Владимир, вернувшись из похода на Херсонес, приказал согнать в реку всех киевлян, стаяг изображения старых богов, сбросил статую Перуна в Днепр...

Так рассказывают о «крещении Руси» старые и новые труды, на которых воспитывалось множество поколений. Но И. Будовниц обращается к источникам, близким к упомянутому событию, и мы вместе с ним убеждаемся, что даже отзвука об этом событии не сохранилось у русских книжников ко времени «Древнейшего летописного свода», то есть у следующего поколения! «Воображаемое», как пишет И. Будовниц, событие не оставило следа и в иностранных хрониках, а непременно должно было оставить, если бы действительно имело место «феерические сцены» крещения тысяч или даже десятков тысяч людей. Нет, оказывается, ничего о массовом крещении русского населения ни в византийских хрониках, ни в польских анналах, ни в венгерских летописях, ни у Козьмы Пращского, ни в современных документах папского престола, ни у немецких хронистов. Из последних крещение Владимира отмечает один только Титмар Мерзебургский, но он так мало осведомлен об этом событии, что даже спутал византийскую царевну Анну с Еленой, а само крещение Владимира отнес ко времени после 996 года...

Больше того, даже на вопрос, где и когда произошло крещение, древнейшие источники не дают ответа. Так, в «Повести временных лет» утверждается, что крещение произошло в Корсуни, и оспаривается версия о Киеве и иных местах.

И. Будовниц приходит к выводу, что крещение Руси было длительным процессом распространения христианства среди населения Древнерусского государства, что оно «не было актом единовременным и массовым».

Следующий очерк после «Крещения Руси» назван «Теория общественного примирения». Все в этом очерке живо, но лучшей его



частью является, конечно, раздел о знаменитом «Поучении» Владимира Мономаха — памятнике глубоко самобытным, как доказывает автор, полемизируя с академиком М. П. Алексеевым. И. Будовниц отстаивает мысль, что «Поучение» — отклик на киевское восстание 1113 года и главное в нем — призыв к властителям умерить «несытость», не применять в управлении крайних средств, не отгораживать себя от подданных тиунами и прочей администрацией. Автор пронизательно и мастерски обнажает социальный стержень «Поучения». В том же мастерстве, думается, секрет успеха таких очерков, как «Идея единства Русской земли», «Русь и степь», и прежде всего, конечно, очерка «Слово о полку Игореве».

Что нового можно сказать на шестнадцати страницах о «Слове», которому посвящены многочисленные и многотомные исследования? Оказывается, можно, если автор обладает оригинальной и цельной концепцией, а не отыскивает случайные детали, пропущенные предшественниками.

В «Истории древней русской литературы» Н. К. Гудзий писал, что автор «Слова», боясь не угнаться за буйной фантазией Бояна, решает писать по «былинам сего времени». «Но на словах отказавшись следовать за Бояном, автор «Слова» на деле идет по его стопам...» Сказано совершенно ясно, однако же рассудить, где автор идет «по стопам», а где пишет «по былинам», очень чепросто. И. Будовниц, интерпретируя отдельные «темные» места, устанавливает отношение автора «Слова» к «песнотворцу» Бояну иначе, чем Н. К. Гудзий и другие исследователи. В его трактовке раскрывается четко осознанная полемичность создателя «Слова» к Бояну, если угодно, борьба «новатора» с «классиком» или, еще гочнее, столкновение поэта, мыслящего грезво и «государственно», с певцом рыцарства, грубадуром, «романтиком», неспособным на реалистическую оценку горькой действительности. В трактовке И. Будовница автор «Слова» — это художник идейного, социального плана, всем сердцем ощущающий трагедию Руси и всеми помыслами принадлежащий своему времени, тогда как Боян — это своего рода «жрец чистого искусства», готовый петь и о старом Ярославе, и о Мстиславе Тмутараканском, и о временах Трояна («вечи Трояни»), — словом, о чем угодно, лишь бы звенели мечи, гремела битва и разносилась слава и песнь о храб-

рости ради храбрости, удалстве ради удалства.

Нечего и говорить, что И. Будовниц в полемике автора «Слова» с Бояном на стороне того, кто ненавидит «черного ворона» — половина и для кого исконный враг — это прежде всего варвар, «поганный раб», покрывающий свет тьмою, славу — позором, свободу — насилием: «На реце на Каяле тьма свет покрыла... Уже снесся хула на хвалу, уже тресну нужда на волю».

Трудно, попросту невозможно останавливаться в рецензии на каждом очерке. И потому приходится лишь упомянуть о тонких по социально-психологическому анализу портретах Андрея Боголюбского, Кирилла Туровского и даже о таком свежо написанном очерке, как «Моление Даниила Заточника», по характеристике И. Будовница — памятнике ранней дворянской публицистики.

Эго делаешь с сожалением. Но это позволяет приблизиться к завершающим главам, без разбора которых общий замысел работы остался бы неочерченным. Композиция книги такова, что события более чем трех веков оказываются в поле зрения автора и читателя. Ее начало посвящено самым ранним произведениям общественно-политической мысли Руси — «Слову о законе и благодати» митрополита Иларiona и «Древнейшему летописному своду», — созданным в первую половину XI века, в то время, когда Русь, достигнув огромных хозяйственных и культурных успехов, занимала видное положение в международной жизни Европы и когда ее публицистика была исполнена веры в мощь государства. Заканчивается груд очерком «Куликовская победа», ибо это событие оставило позади века феодальной междоусобицы и трагедию татарского нашествия, долгое «недоумение в людях» и экономико-политический кризис страны, сумевшей напряжением всех сил проложить дорогу в будущее.

Исторически оптимистичная, эта композиция подчинена не только внешней хронологической последовательности; она выражает внутреннюю закономерность духовного развития Древней Руси и глубокую убежденность самого автора в неисчерпаемости сил народа. Именно в главах о кровавой године торжества Батыева и его не менее лихих последователей — Неврюя, Кавгадыя, Алчедая, — когда, по словам летописца, «кусок

хлеба не шел в рот от страха», особенно остро ощущима эта убежденность в победе нравственного и прогрессивного начала.

Делая социальный разрез общества того времени, автор показывает повсеместное вырождение власти, предательство князей, измену бояр, продажность и угодливость церкви, пресмыкавшейся перед Золотой Ордой, и одновременно — непримиримость народа к «насилию поганых», его стойкость, воспетую в повестях о Меркурии Смоленском, о разорении Рязани Батыем и в других памятниках, прославивших воинов, которые приняли смерть ради родного края. Как бы опускаясь с верхних ступеней общества к его «низам», все глубже и глубже проникая в социальные недра Руси, автор настойчиво ведет читателя к первоисточкам национальных сил, добившихся возрождения страны на следующем — «московском» — этапе ее развития.

Постепенно, исподволь нарастающий «мотив Москвы» (ему посвящен предпоследний, двенадцатый, очерк книги) подготавливается всем предшествующим изложением, сконцентрированным вокруг идеи единства и непосредственно связанной с нею идеи централизованной власти. Оплаченное потоками пота и крови единство, осуществленная в итоге вековой борьбы необходимость централизации — вот, разумеется, главная причина «возвышения Москвы», о которой пишет автор. Но, раскрывая эту генеральную причину, И. Будовниц сосредоточивает

свое внимание на одном очень существенном оттенке, остававшемся скрытым для всей дворянско-буржуазной, а частично и советской историографии.

Если Тверь, соперничавшая с Москвой за верховную власть над Русью (географическое положение Твери ничуть не хуже московского, и тверские князья никому не уступали в ловкости), опиралась в своей политике прежде всего на внешние силы — Литву и Орду, то Москва — на плебейские массы, на ремесленников и торговцев, на «черных людей». Множеством фактов доказывает автор, что, стремясь «возглавить объединительное движение русских земель за создание единого централизованного государства, Москва с самого начала опиралась на передовые общественные элементы в лице горожан».

В этом зерно всей концепции И. Будовнича.

В нашей историографии есть достойная и плодотворная традиция — создавать труды, не только весомые по собраным в них фактам, не только литературные по стилю, но в первую очередь гражданские по своим целям. Не «модернизирующие» историю, не «опрокидывающие» политику в прошлое, а открывающие богатства прошлого будущему. В духе этой высокой традиции и написана книга «Общественно-политическая мысль Древней Руси».

**М. КОРАЛЛОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**700 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ В КОСМОСЕ.** Специальный выпуск. Издательство «Известия». М. 1961. 158 стр. Цена 10 к.

Четырнадцатого апреля вышел изданный в «Библиотеке «Известий» специальный выпуск «Советский человек в космосе» — о Юрии Алексеевиче Гагарине, а 9 августа, в день юржественной встречи в Москве второго героя-космонавта, появилась брошюра о Германе Степановиче Титове.

Содержание этой оперативно выпущенной книжки разнообразно и интересно. Открывается она Обращением Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Правительства Советского Союза «К Коммунистической партии и народам Советского Союза! К народам и правительствам всех стран! Ко всему прогрессивному человечеству!» Далее следуют материалы, опубликованные в печати 7—9 августа, в частности сообщения ТАСС, охватывающие все этапы небывалого космического полета.

В выпуске помещены репортаж специального корреспондента ТАСС А. Романова, переданный с космодрома 6 августа, «Ракета идет ввысь» и сообщение специального корреспондента «Известий» Г. Остроумова «В районе приземления», статьи писателей Николая Грибачева «Космос, человек, мир» и Олега Писаржевского «Связь времен», выступления ученых — академиков А. Благонравова «Гордость человечества» и В. Амбарцумяна «Ради жизни», члена-корреспондента АН СССР Э. А. Асратяна и старшего научного сотрудника П. В. Симона «Все вперед и выше...»

Из нескончаемого потока приветствий советских людей Г. С. Титову составители книжки выбрали несколько очень взволнованных, идущих от сердца поздравлений. Эта приподнятость характерна и для всех других приветствий, летевших в Москву со всех концов нашей необъятной Родины.

Отклики из-за рубежа объединяет заголовок «Сутки, восхитившие мир».

«Эти дни отмечены многими большими и волнующими событиями,— сказал первый секретарь Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии Янош Кадар.— Совсем недавно был опубликован проект Программы Коммунистической партии Советского Союза, указывающий народам светлый путь к коммунизму. 5 августа в Москве закончилось совещание

представителей стран — участниц Варшавского договора, которое выразило непреклонную решимость добиться осуществления мирного урегулирования с Германией, обеспечить народам мир... И вот пришла замечательная весть о полете в космос второго советского пилота-космонавта Германа Титова!.. Накануне Никита Сергеевич Хрущев говорил мне о том, что ключ от космоса находится в кармане у советских ученых.. И вот люди советской науки вновь открыли перед человечеством дверь в космические дали.

Заключают брошюру документальная повесть А. Волкова и Н. Штанько «Отчий дом» — о Г. С. Титове и его семье — и очерк Б. Гусева и Н. Ермоловича «Из племянников отважных».

А. И.

★

**И. Н. ГАВРИЛЕНКОВ. О развитии социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление.** Госюриздат. М. 1961. 124 стр. Цена 42 к.

В проекте Программы КПСС указывается, что главным направлением развития социалистической государственности в период строительства коммунизма являются «всестороннее развертывание и совершенствование социалистической демократии, активное участие всех граждан в управлении государством, в руководстве хозяйственным и культурным строительством...».

Какие изменения будет претерпевать государственность по мере продвижения общества к коммунизму? Как в процессе дальнейшего развития демократии будет происходить постепенное превращение органов государственной власти в органы общественного самоуправления?

Эти вопросы не могут не интересовать каждого советского человека. Рассмотрение их и посвящена книга И. Гавриленкова.

Народнохозяйственная деятельность Советского государства, говорит автор, носит политический характер. Такое положение сохранится, пока существует государство, и будет преодолено лишь при коммунизме, когда отомрет государство. Но было бы неправильным полагать, что все организации современного типа останутся при коммунизме неизменными «Будут ли они называться комсомолом, профсоюзами или

как-то по-другому, но это будут общественные организации, через которые общество будет регулировать свои отношения», — указывал Н. С. Хрушев.

Широко используя фактический материал, И. Гавриленков показывает сущность и значение постепенной передачи функций государственных органов общественным организациям.

В книге подвергнуты критике буржуазные и ревизионистские извращения марксистско-ленинской теории государства и неправильное толкование тех процессов, которые происходят сейчас в развитии политической организации советского общества.

**В. Григорьев.**

★

**ИЗ ИСТОРИИ МЕСТНОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ.** Сборник статей. Госполитиздат. М. 1961. 264 стр. Цена 47 к.

Хорошо известна роль, которую партия всегда отводила печати. Но если советские читатели знакомы с историей государственной «Искры» и газет «Правда», «Вперед», «Пролетарий», то гораздо меньше известна история местных большевистских газет, особенно до революции.

Наши сведения об этом пополняет интересная книга «Из истории местной большевистской печати». Книга представляет собой сборник, состоящий из пяти статей. Они посвящены газетам «Забайкальский рабочий», «Уральский рабочий», «Кавказский рабочий листок», «Гудок» и «Донецкий колокол». Во многом различны были условия работы газет, но едины были стоявшие перед ними цели, единым был подлинный героизм их сотрудников, готовность принести величайшие жертвы во имя победы революции в России. Наконец одинаковы были огромные трудности — прежде всего цензурные, — которые приходилось им преодолевать. На какие только ухищрения не приходилось идти сотрудникам газет, сколько находчивости нужно было проявлять, чтобы донести правдивое, горячее большевистское слово до читателей-рабочих!

Часто газетам, преследуемым цензурой, приходилось менять название, переносить издание в другой город. Так было, например, с газетой «Уральский рабочий» (сначала она называлась «Рабочий», затем «Уральский рабочий», а потом редакция вынуждена была покинуть Пермь, и газета стала выходить под названием «Тюменский рабочий»).

Авторы сборника — К. Рубцов, Б. Балувев, Д. Ватейшвили, П. Шелест, И. Велигура — сумели донести до читателя множество интересных и поучительных подробностей работы большевистской печати в условиях дореволюционной России, бывших достоинством архивов или печатанных в изданиях, давно уже ставших библиографической редкостью.

Нужно пожелать Госполитиздату продолжить выпуск подобных сборников. Они помогают глубже понять следующее положение

из проекта Программы КПСС: «Центр международного революционного движения в начале XX века переместился в Россию. Героический рабочий класс России под руководством партии большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным стал авангардом этого движения».

**А. Иглицкий.**

★

**МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. С. БИРЮЗОВ.** Когда гремели пушки. Воениздат. М. 1961. 280 стр. Цена 71 к.

Воспоминания Маршала Советского Союза С. С. Бирюзова «Когда гремели пушки» — суровая книга. И вовсе не потому только, что речь там идет о годах войны, и даже не потому, что рассказ начинается с горьких дней отступления наших войск. Суров сам подход к боевым, кровью омытым событиям, ставшим предметом воспоминаний. Именно тогда, когда автор с пристрастной требовательностью вникает в минувшее, ищет корни неудач или неполных успехов, рассказ его наиболее весом и интересен.

Мемуарист конкретизирует общие, ныне широко известные причины отступления наших войск на первых порах Отечественной войны. Он пишет, в частности, о том, как был отвергнут И. В. Сталиным и не поддержан Г. К. Жуковым разумный план маршала Б. М. Шапошникова, план дислокации войск в западных пограничных округах. Он вспоминает боевых генералов, чьи достойные имена были запятнаны клеветой, призванной скрыть истинные ошибки, давшие себя знать летом сорок первого года.

О победах советского оружия маршал Бирюзов говорит содержательно, деловито.

Одна из ценных особенностей книги «Когда гремели пушки» — непримиримость к фальсификаторам недавней военной истории.

Книга удачно пополняет популярную серию воспоминаний о Великой Отечественной войне. Разумеется, мемуары этой серии кое в чем повторяют друг друга. Есть повторения, в какой-то мере неизбежные при общности материала, а есть и такие, которых можно было бы и избежать. Читательские симпатии к мемуарному произведению зависят от его самостоятельности, от того, много ли в нем страниц, открывающих нечто новое в казалась бы знакомом прошлом. приближающих это прошлое к нашему настоящему. В книге маршала С. Бирюзова такие страницы есть. И их немало.

**В. Кардин.**

★

**А. Е. КОБРИНСКИЙ.** Числа управляют станками. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. 192 стр. Цена 30 к.

Они очень молоды, эти станки. Настолько молоды, что инженеры и ученые не успели договориться о единой терминологии. Но они находят все большее применение. Да и не удивительно. В работу, где раньше трудилось тысячи людей, оказалось возмож-

ным «впрямь»... число. И результаты замечательные!

Вот примеры из книги, написанной доктором технических наук А. Е. Кобринским. Две недели нужно для того, чтобы обычными средствами и приемами изготовить одну из сложнейших деталей радиоаппаратуры—волновод. Применение станков с программным управлением сокращает это время до одного часа. На изготовление судового гребного винта требуется до трехсот часов, станок же с программным управлением позволяет выполнить эту работу, причем со значительно большей точностью, в пять—десять раз быстрее.

Автор вводит читателя в мир автоматов. Он знакомит с «органами чувств» машины и ее «скелетом», показывает, как станок «читает» задание. Много места в книге отведено людям — творцам новой техники.

В заключение автор пишет: «И если есть что-либо достойное удивления в автоматах с цифровым управлением — в этих машинах будущего, — то это в первую очередь труд, талант и изобретательность, вложенные в них Человеком».

А. Глухов.

★

**АНТАЛ ГИДАШ.** Избранные произведения в двух томах. Перевод с венгерского. Гослитиздат. М. 1960. Том I. 624 стр. Цена 1 р. 24 к. Том II. 612 стр. Цена 1 р. 29 к.

Имя Антала Гидаша давно уже известно нашим читателям. Два тома избранных произведений позволяют представить себе все многообразие творчества выдающегося венгерского писателя.

Стихи Гидаша двадцатых—тридцатых годов часто приводят на память взрывчатые поэтические прокламации, с которыми выступал в пору революции 1848 года Петефи. От Петефи — гневная отповедь снобам, видящим в народе только грубость и невежество, и страстное утверждение богатства народной души.

Многолетнее пребывание в нашей стране в ту пору, когда складывалась советская литература, дружба с ее творцами, совместная работа с ними в дни мира и войны не прошли бесследно для Гидаша, художника очень своеобразного, оригинального. Ораторские, агитационные приемы, выработанные Маяковским и Демьяном Бедным, традиция боевого оперативного поэтического отклика на конкретные политические факты — все это естественно вошло в поэтику ученика Петефи и обогатило ее.

Творчество Гидаша проникнуто благородным духом интернационализма. «Смерть Яноша Тубана» — баллада о венгерском коммунисте, погибшем в предгорьях Урала от белогвардейской пули, — невольно напоминает о судьбе Мате Залки, павшего на испанской земле. Сам испытывший горечь поражений в революционной борьбе, Гидаш всем сердцем отзывается на трагические вести из Испании («Двое мальчиков...»).

Поэт глубоко тосковал по родине, с которой был разлучен:

Если ж в песне спетой  
много боли этой —  
тридцать лет я не был дома! —  
на меня не сетуй!

Но не простая горечь изгнания и утрат водит пером Гидаша. Его интерес к жизни старой Венгрии, к ее людям продиктован желанием «дознаться: как и отчего и где мы сплеховали» в прошлых революционных схватках, чтобы победить в будущем. Даже в дни тягчайшей реакции он предрекает неминуемый праздник улице Жасмина, населенной городской гольтибой.

Свидетель и участник Венгерской Коммуны 1919 года, Гидаш в романе «Господин Фицек» глубоко вскрывает те противоречия внутри пролетарского движения, которые впоследствии погубили революцию. Полным ненависти взглядом следит он за ее будущими предателями — социал-демократами Шниттером и Доминичем. Роман написан с глубоким проникновением в самую суть сложнейших процессов и с великой болью за людей, опутанных ложью и предубеждениями.

Победа венгерского народа над своими врагами позволила Анталу Гидашу вернуться на родину и сделаться свидетелем ее новой жизни. Радостью от встречи с родной землей, небом, шумными улицами, где всюду, как ласточки, реют венгерские слова, звучит его лирика последних лет.

А. Турков.

★

**СЕЙФУЛЛИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ.** «Советский писатель». М. 1961. 298 стр. Цена 77 к.

Читателям старшего и среднего поколений хорошо знакомо имя Лидии Николаевны Сейфуллиной. Молодежь ее знает меньше. Ведь расцвет творчества Сейфуллиной падает на двадцатые—тридцатые годы. Тогда она создала свои замечательные книги, ставшие советской классикой, — «Правонарушители», «Перегной», «Виринея», — в которых горячо, страстно, талантливо писала о том новом, что происходило в стране и в сердцах людей.

Но мы благодарны ей не только за книги. В памяти людей, ее знавших, Лидия Николаевна осталась как человек с доброй и чуткой душой, честной и необычайно отзывчивой.

Выпущенный «Советским писателем» сборник воспоминаний поможет читателю воссоздать образ писательницы и, что особенно важно, привлечет внимание к ее книгам.

Воспоминания написаны современниками писательницы, встречавшимися с ней в разные годы: когда она еще только искала свое место в жизни — была актрисой, учительницей, — и тогда, когда, вступив на литературную стезю, получила широкую известность и в числе ее друзей оказались М. Горький,

Маяковский, Новиков-Прибой, Лариса Рейснер, а также другие советские писатели, и в военные годы, и в последний период ее жизни.

Книгу открывают записи сестры Лидии Николаевны — З. Н. Сейфуллиной. Это наиболее полный из помещенных в книге рассказ о жизненном и творческом пути писательницы — с раннего детства и до последних дней. Здесь приводятся интересные письма Л. Н. Сейфуллиной к сестре, написанные в Москве в 1942 году.

Имя Л. Н. Сейфуллиной тесно связано с возникновением журнала «Сибирские огни». Она была одним из его самых активных организаторов и сотрудников. В первом номере «Сибирских огней» были напечатаны ее «Четыре главы», а во втором — повесть «Правонарушители». Об этом времени в жизни Л. Сейфуллиной вспоминают писатели Г. Пушкирев, Кондр. Урманов, А. Коптелов, Савва Кожевников, Анна Караваева.

Много в сборнике и других интересных материалов. Так, о постановке в Вахтанговском театре пьесы «Виринея» (инсценировка одноименной повести) рассказывает Алексей Попов. О своей горящей дружбе с Лидией Николаевной пишет А. Есенина (сестра Сергея Есенина). Чувством большой любви и уважения к Л. Н. Сейфуллиной проникнуты строки воспоминаний Веры Смирновой, Сергея Сартакова, Вл. Бахметьева, Г. Кунгурова и других.

Все эти люди, близко знавшие Л. Н. Сейфуллину, говорят о тех удивительно сердечных и принципиальных отношениях с друзьями, с товарищами по перу, которые всегда были характерны для Лидии Николаевны. «Страстности ее оценок сопутствовала необычайная правдивость души... Она была принципиальна до строгости, и люди, пошедшие на сделку с совестью, боялись Сейфуллиной», — пишет Вл. Лидин.

Эти черты облика писательницы будут еще долго служить примером страстного и честного отношения к жизни, к людям, к делу, которым каждый из нас занимается.

Г. Койранская.

★

**М. ЧАРНЫЙ.** Артем Веселый. Критико-биографический очерк. «Советский писатель». М. 1960. 135 стр. Цена 41 к.

Артем Веселый (Николай Иванович Кочуров) был из числа тех беспокойных и неутомимых художников, которые никогда не остаются довольными тем, что они создают. Взыскательно и одержимо работал он над каждой своей страницей. Последнее (четвертое по счету) издание его романа «Россия, кровью умытая» вышло в 1936 году, но и этот вариант, за которым стоял шестнадцатилетний подвижнический труд, автор не считал окончательным и дал ему скромный подзаголовок — «Фрагмент». Вся литературная биография писателя представляла собой, говоря его собственными словами, «оготелое ученичество».

Участник революции и гражданской вой-

ны, свидетель невиданного в истории движения народных масс, Артем Веселый в своем творчестве стремился непосредственно воспроизвести это массовое движение. Писатель думал, что вместо одиночных и разрозненных голосов в новой литературе должен мощно звучать только многоголосый хор самого народа. В этом стремлении в самой художественной ткани передать разлившееся и вспененное народное море надо искать, по моему, объяснение своеобразия прозы писателя — с ее сознательной бессюжетностью и композиционной разбросанностью, с ее пестрыми и разнотипными диалогами, с ее подчеркнутым упором на самобытное народное слово. Что он во многом заблуждался и что без образов индивидуальных героев нельзя передать характер народа — это в конце двадцатых годов стало ясно самому Артему Веселому.

И вновь Артем Веселый возвращается к уже написанным своим вещам, шлифует и переделывает их. От издания к изданию обогащается и живопись его романа, углубляется видение автора.

Литературное наследие Артема Веселого невелико. Но то, что написано им, — роман «Россия, кровью умытая» и рассказы, в которых отразилось бурное революционное время, исторический роман «Гуляй Волга» — сохраняют свою познавательную и художественную ценность и сегодня.

В 1958 году, после двадцатидвухлетнего перерыва, Гослитиздат выпустил однотомник избранных произведений писателя. Тем удивительнее непостижимое равнодушие критики, которая почти никак не откликнулась на это издание.

Живой интерес поэтому вызывает работа критика М. Чарного «Артем Веселый». В ней рассказывается об основных вехах жизненного пути писателя (правда, менее обстоятельно, чем хотелось бы) и объективно доброжелательно разобраны его произведения. Не все в этой книге бесспорно, но уже один факт ее появления является отрядным событием в нашей литературной жизни.

Л. Левницкий.

★

**В. И. ДАЛЬ (КАЗАК ЛУГАНСКИЙ).** Повести, рассказы, очерки, сказки. Гослитиздат. М.—Л. 1961. 464 стр. Цена 84 к.

Белинский говорил об этом писателе, что «он умеет мыслить его (русского мужика.— Б. Я.) головою, видеть его глазами, говорить его языком. Он знает его добрые и его дурные свойства, знает горе и радость его жизни...» Герцен писал о нем: «Казак Луганский... прекрасно знал свой край и еще лучше свой народ». С уважением и любовью отзывались о творчестве писателя Пушкин и Тургенев.

Казак Луганский — Владимир Иванович Даль — более известен советским читателям как автор «Толкового словаря» и «Пословиц русского народа». Его повести, рассказы, очерки, сказки давно уже у нас не издавались.

А ведь повести и особенно физиологические очерки Даля, ставившие его в первый ряд русских литераторов сороковых годов прошлого века, показывавшие отличное знание им жизни, быта и языка русского народа, право же, давно заслуживали того, чтобы отдельным массовым изданием прийти к нашему читателю.

И вот перед нами долгожданный однотомник. Составители Л. Козлова и В. Петушков постарались представить Даля писателя как можно лучше. В книгу включены повести: «Бедовик», «Вах Сидоров Чайкин», «Хмель, сон и явь», «Павел Алексеевич Игривый», рассказы: «Мертвое тело», «Хлебное» дельце», «Двухаршинный нос», и очерки: «Петербургский дворник», «Денщик», «Уральский казак» и т. д. Сборник завершается наиболее интересными сказками Даля.

Этот однотомник еще и еще раз показывает необходимость серьезного знакомства читателя с писателями прошлого века, такими, как Н. Павлов, И. Панаев, В. Ф. Одоевский, Н. А. Полевой, которым до недавних пор (а некоторым и по сей день) очень не везло с изданиями. А ведь без этих и многих других имен представление о богатстве русской литературы будет далеко не полным, а читатель лишится знакомства со многими интереснейшими произведениями.

**Б. Яранцев.**

★

**Б. М. ЭЙХЕНБАУМ.** Статьи о Лермонтове. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1961. 372 стр. Цена 1 р. 62 к.

В исследовательской деятельности крупнейшего советского литературоведа Б. М. Эйхенбаума Лермонтов наряду с Л. Толстым занимал центральное место. Его работы о Лермонтове весьма разнообразны. Они носят биографический и историко-литературный, текстологический и комментаторский, исследовательский и научно-популярный характер.

В последний год своей жизни Эйхенбаум (умер он в 1959 году) был увлечен замыслом написать новую обширную монографию «Лермонтов и русская жизнь 30-х годов». К сожалению, Б. М. Эйхенбауму не удалось осуществить свой замысел. Остались только работы, на основе которых он начал создавать свой обобщающий труд. Они и вошли в сборник, открывающийся двумя статьями общего характера: очерком жизни и творчества Лермонтова и статьей «Литературная позиция Лермонтова». Далее следуют специальные статьи, посвященные драматургии Лермонтова, его прозе и лирике. В приложениях даны первые страницы начатой книги «Лермонтов и русская жизнь 30-х годов» и библиографический перечень работ Б. М. Эйхенбаума о Лермонтове.

В статьях, напечатанных в сборнике, отражены мысли и наблюдения исследователя за многие десятилетия, что делает книгу

глубоко содержательной и нужной для всех интересующихся историей русской классической литературы XIX века.

**Л. Светлов.**

★

**В. И. МАЛЫШЕВ.** Усть-Цилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар. 1960. 215 стр. Цена 1 р. 50 к.

Двенадцать лет назад ленинградский литературовед В. И. Малышев начал планомерное археографическое обследование Усть-Цилемского района Коми АССР. Почти каждое лето он выезжал сюда для поисков рукописей. В результате собрание Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР пополнилось четырьмястами рукописными книгами XV—XIX веков.

В книге В. И. Малышева, подводящей итог многолетним разысканиям на рудней Печоре, дается научное описание рукописных сборников и исследуются вопросы, связанные с возникновением и развитием письменной культуры в этом крае. Из монографии мы впервые узнаем, что на территории нынешнего Усть-Цилемского района Коми АССР в XVIII—XIX веках существовал своеобразный местный центр культуры, имелись свои переписчики книг и писатели из среды крестьян, сочинявшие литературные и исторические произведения.

В приложении к книге В. И. Малышев опубликовал ряд неизвестных произведений местных авторов. Среди них наибольший интерес представляет «Повесть о самосожжениях в Мезенском уезде в 1743—1744 гг.». В ней рассказывается о первых засельниках Пижмы и об изуверской деятельности старообрядческих глварей.

Труд В. И. Малышева — неугомиого собирателя, знатока и исследователя древнерусской письменности — подсказывает мысль о необходимости упорных и систематических поисков рукописных памятников и в других районах Советского Союза. Все это может значительно обогатить наши представления об истории русской культуры.

**Л. Домановский.**

★

**АЗИЗ НЕСИН.** Если бы я был женщиной. Юмористические рассказы. Перевод с турецкого. Издательство восточной литературы. М. 1961. 422 стр. Цена 1 р. 20 к.

Азиз Несин в своем творчестве — турок с головы до пят. Его полные подлинно народного лукавства сатирические сказки, его остроумные юмористические новеллы вызывают не только искренний смех, но и заставляют задумываться. Сатира, так же как и поэзия, в современной турецкой литературе воплощает самые передовые и в то же время наиболее самобытные традиции национального искусства. «Смех и размышление живут бок о бок в турецкой сагире. Размышление перевешивает смех. Поэтому турецкие сагирки считают сатиру очень серьезным делом... Долг интеллигента — осветить настоящее и будущее народа, чтобы под-

нять уровень его жизни», — пишет в авторском предисловии к сборнику Азиз Несин. И нужно признать, что делает он это замечательно. Более восьмидесяти рассказов, вошедших в сборник «Если бы я был женщиной», с самых разных сторон изобличают несправедливость, отсталость, безнравственность, подлость, гневно высмеивают ложь, жадность, тупость. Не так давно Азиз Несин, заподозренный в приверженности к коммунизму, был заключен в тюрьму.

Невероятно трудно, да и вряд ли стоит пересказывать его новеллы. Их нужно прочитать. От этого можно получить только удовольствие. А о самом сатирике читатель вполне достаточно узнает из короткого «Вместо послесловия» А. Бабаева. Там, кстати, сказано, что дважды рассказы Ази-за Несина получали первые премии на международных конкурсах писателей-юмористов.

Л. Баша.

★

**ФРЕД ВАНДЕР.** Корсика еще не открыта. Географиз. М. 1961. 128 стр. Цена 19 к.

Австрийский журналист Фред Вандер посетил остров Корсику — департамент Франции — и написал интересную, публицистическую взволнованную книгу.

«Большинству людей о Корсике известны только три вещи: это — страна бандитов, кровной мести и родина Наполеона. Правда о Корсике на протяжении веков упорно замалчивалась или искажалась». А вслед за этими горькими словами, которыми открывается книга, автор поясняет: Корсика — классическая страна национально-освободительного движения и народной партизанской войны; Корсика — страна, в которой никогда не было ни рабов, ни крепостных; Корсика — первая страна в Европе, где был учрежден народный парламент; Корсика — страна, где во время второй мировой войны возникло массовое народное движение против фашистских оккупантов, которое привело к освобождению острова.

В начале книги Корсика представляется читателю страной, полной внешних контрастов, то «глухой дырой», где селения «тонут в грязи, гостиницы скверны, улицы убийственны», то жемчужиной Средиземноморья с благоухающим маки (заросли кустарчика), живописными бухтами в оправе из зеленеющих пиний и пальм.

Но постепенно контрасты подходят к задний план и раскрывается подлинное лицо Корсики — страны суровых испытаний и тяжелой судьбы простого народа. В книге рассказывается о том, что в результате политики французских реакционных кругов Корсика и поныне продолжает оставаться экономически отсталой, здесь сохраняются

многие феодальные пережитки. Промышленность и сельское хозяйство Корсики развиты слабо, остров все более превращается в «заповедник старины», лакомый кусок для богатых туристов, падких до экзотики.

В книге даны живые зарисовки людей, их будней. С уважением и восхищением автор рассказывает о мужестве корсиканцев, их удивительной честности, гостеприимстве. С интересом читаются страницы, где говорится о борьбе населения Корсики против итальянских и немецких захватчиков. Мы узнаем, что первыми корсиканскими партизанами были коммунисты. По всей Франции и на Корсике, коммунисты совместно с другими патриотами организовали полупольное движение Сопротивления.

Автор заканчивает свою книгу мыслью о том, что простой народ Корсики не теряет надежды на лучшее будущее. «Если читатель спросит меня, какая участь ожидает этот многострадальный остров, то я отвечу так же, как мне на аналогичный вопрос ответил один корсиканский пастух: «Корсика не умрет никогда!»

Е. Р.

★

**АРТУР ЛУНДКВИСТ.** Вулканический континент. Путешествие по Южной Америке. Географиз. М. 1961. 368 стр. Цена 81 к.

Это образное название путевых очерков хорошо отражает состояние процессов на американском континенте.

Борьбу народов Латинской Америки за независимость ярко характеризует лавина народного гнева, стремление видеть свои страны свободными от засилья американского империализма (вспомним недавнюю поездку специального представителя президента США Эдлая Стивенсона). Факел свободы, зажженный Кубой, приближает час окончательного освобождения народов, час их свободного национального развития.

Лундквист-художник умело передаст особенности природы материка, нравы и обычаи его народов, их национальные и социальные цели. Венесуэла, Колумбия и Эквадор, Перу, Боливия и Чили, Аргентина, Парагвай и Бразилия — вот этапы пути, по которому автор ведет читателя. Он знакомит его с неповторимой красотой природы, с особенностями жизни нефтяников Венесуэлы и скотоводами Аргентины, с рабочими Чили и с индейцами Эквадора.

Книге предшествует предисловие И. Эрэнбурга. В заключительной статье В. И. Ермолаева говорится о тех переменах в политической жизни латиноамериканских государств, что произошли за пять лет после путешествия Лундквиста.

А. Могилев.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТЗДАТ

**В. И. Ленин.** О коммунистической прав-  
ственности. 296 стр. Цена 50 к.

**Программа Коммунистической партии Со-  
ветского Союза (проект).** 144 стр. Цена 15 к.  
**Устав Коммунистической партии Совет-  
ского Союза (проект).** 32 стр. Цена 3 к.

**Борьба за создание марксистской партии  
в России. Образование РСДРП. Возникнове-  
ние большевизма (1894—1904 годы).** Доку-  
менты и материалы 672 стр. Цена 96 к.

**Генеральный Совет Первого Интернацио-  
нала 1864—1866. Лондонская конференция  
1865 года. Протоколы.** 364 стр. Цена 77 к.

**В. Корионов, Н. Яковлев.** СССР и США  
должны жить в мире. Советско американ-  
ские отношения: прошлое и настоящее  
136 стр. Цена 16 к.

**На благо и счастье народа.** Сборник доку-  
ментов. 400 стр. Цена 66 к.

**Советская печать в документах.** 560 стр.  
Цена 84 к.

### СОЦЭКГИЗ

**Л. Безыменский.** Германские генералы —  
Гитлером и без него. 368 стр. Цена 71 к.

**К. Брутенц.** Против идеологии современно-  
го колониализма 359 стр. Цена 86 к.

**Д. Р. Вобликов.** Эфиопия в борьбе за со-  
хранение независимости (1860—1960). 218  
стр. Цена 28 к.

**И. А. Орловский, Г. П. Сергеева.** Соотноше-  
ние роста производительности труда и зара-  
ботной платы в промышленности СССР.  
144 стр. Цена 31 к.

**Решающий этап экономического соревно-  
вания двух систем.** 166 стр. Цена 20 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**М. Боровиков.** Песнь о целинном хлебе.  
Поэма. 64 стр. Цена 11 к.

**Н. Вержбицкий.** Записки старого журна-  
листа. 248 стр. Цена 45 к.

**С. Годинер.** Повести и рассказы. Перевод  
с еврейского. 294 стр. Цена 53 к.

**А. Корнев.** Берега. Стихи. 132 стр. Цена  
19 к.

**А. Межиров.** Ветровое стекло. Стихи. 108  
стр. Цена 13 к.

**Л. Озеров.** Светотень. Стихи. 188 стр. Це-  
на 15 к.

**В. Реймерс.** Твое тепло. Стихи. Перевод с  
литовского. 110 стр. Цена 13 к.

**С. Сартаков.** Не отдавай королеву. По-  
весть. 244 стр. Цена 46 к.

**П. Семьинин.** Добрый берег. Поэмы. 80 стр.  
Цена 25 к.

**А. С. Серафимович в воспоминаниях со-  
временников.** Сборник. 400 стр. Цена 90 к.

**П. Скосырев.** Наследство и поиски. Статьи  
Очерки. Заметки. 296 стр. Цена 75 к.

**Э. Ставский.** Все только начинается. По-  
весть. 296 стр. Цена 35 к.

**Г. Тушкан.** Птицы летят на север. Приклю-  
чения на охоте и рыбалке. 348 стр. Цена  
39 к.

**В. Шефнер.** Знаки земли. Стихи. 124 стр.  
Цена 11 к.

**В. Щербина.** Эпоха и человек. Литератур-  
но-критические очерки. 478 стр. Цена  
1 р. 12 к.

### ГОСЛИТЗДАТ

**Хуан Валера.** Хуанита Длинная. Повесть.  
Перевод с испанского. 275 стр. Цена 28 к.

**Остап Вишня.** Юморески. Перевод с укра-  
инского. 183 стр. Цена 25 к.

**Федор Гладков.** Мятежная юность. По-  
весть. Очерки. Статьи. Воспоминания. 495  
стр. Цена 96 к.

**К. Горбунов.** Ледолом. Роман. 399 стр.  
Цена 78 к.

**Илачандра Джоши.** Скиталец. Роман. Пе-  
ревод с хинди. 415 стр. Цена 66 к.

**Зульфия.** Стихотворения. Перевод с узбек-  
ского. 167 стр. Цена 33 к.

**Ангел Каралийчев.** Весна. Рассказы. Пере-  
вод с болгарского. 383 стр. Цена 57 к.

**Ф. М. Клиггер.** Фауст, его жизнь, деяния  
и низвержение в ад. Роман. Перевод с не-  
мецкого. 227 стр. Цена 51 к.

**Ольга Кобылянская.** Волчица. Рассказы.  
Перевод с украинского. 224 стр. Цена 44 к.

**Юрий Нагибин.** Ранней весной. Рассказы.  
463 стр. Цена 88 к.

**Божена Немцова.** Сказки. Повести. Расска-  
зы. Перевод с чешского. 644 стр. Цена 1 р.

**Василий Федоров.** Лирика. 287 стр. Цена  
52 к.

**Эрнест Хемингуэй.** Прощай, оружие! Пере-  
вод с английского. 287 стр. Цена 75 к.

**Таха Хусейн.** Зов горлицы. Повесть. Пере-  
вод с арабского. 107 стр. Цена 16 к.

**Август Цесарец.** Тонкина любовь. Повесть.  
Рассказы. Перевод с сербо-хорватского  
223 стр. Цена 50 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Аграновский, М. Ефимов.** Открытое  
письмо. Очерки. 96 стр. Цена 17 к.

**Виктор Боков.** Весна Викторовна. Книга  
стихов. 304 стр. Цена 60 к.

**Е. Босняцкий.** Иностранец. Роман. 383 стр.  
Цена 71 к.

**Ю. Давыдов.** Иди полным ветром. Повесть  
208 стр. Цена 46 к.

**С. Дангулов.** Ленин разговаривает с Аме-  
рикой. Рассказы. 157 стр. Цена 27 к.

**Жорж Коншон.** В конечном счете. Роман  
Перевод с французского. 232 стр. Цена 60 к.

**Сергей Ларионов.** Совесть. Рассказы и по-  
весть. Перевод с молша-мордовского.  
144 стр. Цена 22 к.

**П. Макрушенко.** Рассказы об Ильиче. 102  
стр. Цена 19 к.

**Елизар Мальцев.** Войди в каждый дом. Ро-  
ман. 416 стр. Цена 83 к.

**Е. Симонов.** Вершина без адреса. Доку-  
ментальная повесть. 351 стр. Цена 67 к.

**Зигмунд Скуинь.** Внуки Колумба. Роман  
Перевод с латышского. 319 стр. Цена 62 к.

**Стефан Цвейг.** Вальзак. Перевод с немец-  
кого. 496 стр. Цена 93 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**П. В. Галенко.** Социалистическая национализация основных средств производства в Польской Народной Республике. 334 стр. Цена 1 р. 22 к.

**Д. П. Горький.** Вопросы абстракции и об разование понятий. 352 стр. Цена 1 р. 32 к.

**Плутарх.** Сравнительные жизнеописания. В трех томах. Том 1. 564 стр. Цена 2 р. 20 к.

**В. Ф. Чуханов.** Некоторые проблемы топлива и энергетнки. 479 стр. Цена 2 р. 82 к.

**С. В. Шервинский.** Ритм и смысл (К изучению поэтики Пушкина). 272 стр. Цена 79 к.

**Л. М. Юрьева.** М. Горький и передовые немецкие писатели XX века. 212 стр. Цена 97 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Жоржи Амаду.** Габриэла. Роман. Перевод с португальского. 499 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Эммануэль д'Астье.** Семь раз по семь дней. Перевод с французского. 238 стр. Цена 69 к.

**Нильс Бор.** Атомная физика и человеческое познание. Перевод с английского. 151 стр. Цена 61 к.

**Андрей Гуляшши.** Контрразведка. Повесть. Перевод с болгарского. 181 стр. Цена 47 к.

**А. Карпинский и М. Раковский.** Польша на фоне мировой экономики. Перевод с польского. 221 стр. Цена 85 к.

**Когда приходит весна.** Сборник рассказов. Перевод с монгольского. 262 стр. Цена 82 к.

**Альберт Мальц.** Крест и стрела. Роман. Перевод с английского. 453 стр. Цена 1 р. 41 к.

**К. Марээани, В. Перло.** Доллары и проблема разоружения. Перевод с английского. 347 стр. Цена 79 к.

**Кемаль Тахир.** Люди плененного города. Роман. Перевод с турецкого. 325 стр. Цена 1 р. 3 к.

## СЕЛЬХОЗГИЗ

**П. Беличенко.** Новое в соревновании. 158 стр. Цена 22 к.

**И. Е. Глущенко.** Наследственность и изменчивость культурных растений. 552 стр. Цена 1 р. 55 к.

**П. М. Евсеенко.** Экономика и организация социалистического сельскохозяйственного производства. 639 стр. Цена 1 р. 26 к.

**Коллектив авторов.** Специализированные овощекртофелеводческие совхозы. 182 стр. Цена 24 к.

**Коллектив авторов.** Справочник свекловода. 192 стр. Цена 35 к.

**А. Н. Костяков.** Избранные труды. Том I. 806 стр. Цена 2 р. 29 к. Том II. 742 стр. Цена 2 р. 18 к.

**Ф. И. Травень, П. С. Дубинин.** Выращивание защитных лесонасаждений. 191 стр. Цена 26 к.

**М. Ю. Цынов.** Организация животноводства. 300 стр. Цена 52 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Сергей Антонов.** Порожний рейс. Рассказы. 120 стр. Цена 13 к.

**Т. Лешуков.** Текстильный цех республики. 156 стр. Цена 20 к.

**Н. Савостин.** Разнотравье. Стихи. 128 стр. Цена 28 к.

**В. С. Шинкарев.** Кукуруза — наше богатство. 48 стр. Цена 5 к.

## ГОСЛИТИЗАТ УЗБЕКСКОЙ ССР

**Хамид Гулям.** Рассказы о Кубе. Перевод с узбекского. 57 стр. Цена 7 к.

**Султан Джура.** Рождение истины. Стихи. Перевод с узбекского. 102 стр. Цена 26 к.

## ЛЕНИЗДАТ

**С. Калинин.** Вечно живая сила славных традиций (Ленинградский Кировский завод). 83 стр. Цена 8 к.

**А. Холодилов.** Мои земляки. Записки журналиста. 172 стр. Цена 16 к.

## ПОПРАВКА

В 8-й книге «Нового мира» в статье А. Меньшутина и А. Снявского «Давайте говорить профессионально» на стр. 251, перед абзацем, начинающимся словами «Однако недавно...», вынали следующие строки.

«Кстати, о терминах. Уж очень любит наш автор всякого рода «ягодки»: помимо клюквы, он отыскал в стихах Вознесенского и «клубничку», возмущившись описанием сибирских бань».

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 26/VII 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 28/VIII 1961 г.  
А 08702. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 87 600.  
Зак. 1355.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.